

Цѣна 1 руб.

Собрание сочинений
Н. А. ДОБРОЛЮБОВА

Критически провѣрен. текстъ, біографическій очеркъ, вступительныя статьи, примѣчанія, два портрета и автографъ.

Подъ редакціей

Вл. П. Кранихфельда

Томъ пятый



С.-Петербургъ.

Книгоиздательское Товарищество „Просвѣщеніе“,

Забалканскій проспектъ, собств. домъ № 75.

Библиотека

жел.

Всемирная библіотека.

Собранія сочиненій извѣстныхъ русскихъ и
иностранныхъ писателей.

IV-ая серія:

Собраніе сочиненій

Чарльза Диккенса.

Съ портретомъ автора.

33 тома по 75 к., въ изящн. перепл. 41 руб. 25 коп.

Допускается разсрочка платежа по 1 р. 50 к. въ мѣс.

Собраніе сочиненій

Элизы Оржешко.

Съ портретомъ автора.

12 томовъ по 75 коп., въ изящн. кол. перепл. 15 руб.

Допускается разсрочка платежа по 1 руб. въ мѣс.

Собрание сочинений
Н. А. Добролюбова.

1/38



Всесвітня бібліотека.

Збірання сочинень знаменитихъ
російськихъ и иностранныхъ писателівъ.

Въ эту серію входять слѣдующія
збірання сочинень:

I серія.

А. В. Амфитеатрова, подъ наблюденіемъ автора;
Л. Н. Андреева, со вступительной статьей проф. М. А. Рейснера;
Ф. М. Достоевскаго, съ многочисл. приложеніями;
Г. А. Мачтета, подъ редакціей Д. П. Сильчовскаго;
В. Г. Тана, подъ наблюденіемъ автора;
Ольги Шапиръ, подъ наблюденіемъ автора.

II серія.

Д. Я. Айзмана, подъ наблюденіемъ автора;
С. А. Ан-скаго, подъ наблюденіемъ автора;
Н. Н. Златовратскаго, подъ наблюденіемъ автора;
Б. А. Лазаревскаго, подъ наблюденіемъ автора;
А. И. Левитова, со вступ. статьей А. А. Измайлова;
В. В. Муйжеля, подъ наблюденіемъ автора;
Вас. И. Немировичъ-Данченко, подъ наблюденіемъ автора;
Н. Ф. Олигера, подъ наблюденіемъ автора;
Н. М. Осиповича, подъ наблюденіемъ автора.

III серія.

А. С. Пушкина, подъ редакціей П. О. Морозова и В. В. Каллаша;
М. Ю. Лермонтова, подъ ред. Арс. И. Введенскаго;
Н. В. Гоголя, подъ редакціей В. В. Каллаша;
И. А. Крылова, подъ редакціей В. В. Каллаша;
А. В. Кольцова, подъ редакціей Арс. Из. Введенскаго;
С. Т. Аксакова, подъ редакціей А. Г. Горнфельда;
А. Н. Островскаго, подъ ред. М. И. Писарева;
Н. Г. Помяловскаго, съ біограф. очерк. Н. А. Благовѣщенскаго;
А. А. Потѣхина, подъ наблюденіемъ автора;
П. М. Невѣжина, подъ наблюденіемъ автора;
С. В. Максимова, со вступ. статьей П. В. Быкова;
И. С. Никитина, подъ ред. А. Г. Фомина и Ю. И. Айхенвальда;
Н. А. Добролюбова, подъ редакціей В. П. Крайнихфельда;
Н. Я. Соловьева, съ портретомъ автора.

IV серія.

Чарльза Диккенса, со вступ. статьей Д. П. Сильчовскаго;
Элизы Оржешко, подъ ред. С. С. Зелинскаго;
Г. де Мопасана, съ критико-біографич. очеркомъ З. А. Венгеровой;
Эдгара По, съ критико-біографич. очеркомъ М. А. Энгельгардта;
Эмиля Зола, подъ редакц. и со вступ. статьями Ф. Д. Ватюшкова и
Е. В. Аничкова;
Георга Брандеса, съ предисловіемъ М. В. Лучицкой.

С.-Петербургъ.

Книгоиздательское Товарищество „Просвѣщеніе“,
Забалканскій просп., соб. д. № 75.

12/54-5
Собрание сочинений

Н. А. ДОБРОЛЮБОВА.

Критико-біографическій очеркъ, вступительныя статьи,
примѣчанія, бібліографическій указатель, два портрета
и автографъ.

Подъ редакціей

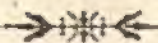
Вл. П. Кранихфельда.

Милый другъ, я умираю
Оттого, что былъ я честенъ
Но за то родному краю
Вѣрно буду я извѣстенъ.

Милый другъ, я умираю,
Но спокоенъ я душою....
И тебя благословляю:
Шествуй тою же стезею.

Н. Добролюбовъ.

Томъ V.



С.-Петербургъ.

Библиотека № 1.

Типо-лит. Акціонернаго О-ва „Самообразование“,

Забалканскій просп., д. № 75. редакц. сети.

Моск.-Винд., рыб. жел. дороги

Бумага безъ примѣси древесной массы.



Оглавленіе тома V.

	Стр.
Предисловіе редактора къ тому V	1
„Современникъ“ 1859 г.	
Отъ Москвы до Лейпцига, И. Бабста (№ 11)	21
Путешествіе на Амуръ, совершенное Р. Маакомъ (№ 12)	53
Современникъ 1860 г.	
Повѣсти и рассказы С. Т. Славутинскаго (№ 2). . .	89
Когда же придетъ настоящій день? (Наканунъ, повѣсть И. С. Тургенева) (№ 3)	115
Кобзарь Тараса Шевченка (№ 3)	195
Сочиненія А. И. Подолинскаго (№ 4)	210
Стихотворенія Ивана Никитина (№ 4)	223
Стихотворенія А. Н. Плещеева („Современникъ“, 1858 г., № 10)	261
Благонамѣренность и дѣятельность (Повѣсти и рассказы А. Плещеева) (№ 7)	277
Перепѣвы. Стихотворенія Обличительнаго поэта (№ 8).	312
Черты для характеристики русскаго простонародья (Рассказы изъ народнаго русскаго быта, Марка Вовчка (№ 9)	327

Отъ редактора.

Предисловіе къ тому V.

Статья Добролюбова, открывающая томъ V настоящаго изданія, написана по поводу книги, нынѣ утратившей всякое значеніе и интересъ. И тѣмъ не менѣе на нее слѣдуетъ обратить особенное вниманіе, такъ какъ въ ней отчетливо и ярко выразились историческіе взгляды критика.

Г. В. Плехановъ, въ своемъ исчерпывающемъ трудѣ о Чернышевскомъ прекрасно выяснилъ, что этотъ послѣдній, будучи матеріалистомъ въ философіи, оставался идеалистомъ въ своихъ историческихъ и общественныхъ взглядахъ. То же самое приходится сказать и о Добролюбовѣ. Жизнеспособный зародышъ діалектическаго матеріализма, по которому ходъ идей опредѣляется ходомъ вещей, можно отмѣтить присутствующимъ во многихъ статьяхъ Добролюбова. Но для полнаго развитія этого зародыша соціальная атмосфера, окружавшая Добролюбова, не могла, очевидно, создать надлежащей питательной среды. Онъ знаетъ и часто повторяетъ положеніе, составляющее силу діалектическаго метода, что не бытіе опредѣляется сознаніемъ, а сознаніе бытіемъ, и все-таки передъ необходимостью использовать этотъ методъ до конца

въ нерѣшительности останавливается каждый разъ и сворачиваетъ въ сторону просвѣтительства. Такъ поступаетъ онъ и въ статьѣ, написанной по поводу книги Бабста. Здѣсь онъ опредѣленно говоритъ, что «исторія дѣлается и всегда дѣлалась не мыслителями и всѣми людьми сообща», а создается борьбою классовъ, и что именно эта постоянная борьба классовъ лишаетъ исторію «логическаго, правильнаго, прямолинейнаго движенія». Тотъ же путь предстоитъ, разумѣется, и Россіи. Такъ думаетъ Добролюбовъ, и все-таки прибавляетъ: но мы должны избѣжать ошибокъ, сдѣланныхъ на этомъ пути Европой. Въ началѣ статьи онъ скромно заявляетъ объ этомъ только какъ о желаніи, которое можетъ и не исполниться. Но въ концѣ онъ уже перестаетъ различать желательное отъ неизбѣжнаго и утверждаетъ болѣе или менѣе категорически, что «нашъ путь будетъ лучше» западно-европейскаго, «мы можемъ и должны идти рѣшительнѣе и тверже, потому что вооружены опытомъ и знаніемъ».

Между началомъ и концомъ статьи явное противорѣчіе: если исторія дѣлается борьбой классовъ, стихійно, то кто же эти «мы», которымъ опытъ и знаніе помогутъ избавиться отъ ошибокъ исторіи? Противорѣчіе, котораго не разрѣшилъ Добролюбовъ, типично для его просвѣтительской позиціи. Такіе же, какъ онъ, просвѣтителі Герценъ и Чернышевскій — точно также были безсильны развязать запутавшіеся въ этомъ мѣстѣ клубки своихъ историческихъ построеній.

Рецензія Добролюбова на устарѣвшую нынѣ книгу Маака «Путешествіе на Амуръ» можетъ оказаться полезной для современнаго читателя въ

виду пробужденія къ Амуру и къ строящейся амурской желѣзной дорогѣ широкаго интереса. Лыбопытна очная ставка, на которую критикъ сводитъ оптимистическихъ и пессимистическихъ изслѣдователей Амура, и во всякомъ случаѣ окончательный выводъ Добролюбова былъ бы въ высокой степени полезенъ и для нашего времени, если бы онъ былъ своевременно выслушанъ и оцѣненъ: «въ вопросахъ подобнаго рода, какъ вопросъ о заселеніи и значеніи Амура, — говоритъ критикъ, — гораздо лучше преувеличенная осторожность, нежели преувеличенная довѣрчивость».

О большой статьѣ Добролюбова по поводу повѣстей и разсказовъ Славутинскаго можно было бы сказать, что значеніе этого писателя преувеличено критикомъ. Въ самомъ дѣлѣ, о художественныхъ достоинствахъ очерковъ Славутинскаго говорить совершенно не приходится. И хотя онъ пережилъ Добролюбова почти на четверть вѣка (ум. въ 1884 г.), но имя его, со страницъ «Современника» перешедшее въ концѣ концовъ на страницы «Русскаго Вѣстника» и «Историческаго Вѣстника», ничего не говоритъ современному читателю. Но вѣдь и Добролюбовъ не высоко оцѣниваетъ повѣсти со стороны ихъ художественныхъ достоинствъ. Напротивъ. Критикъ нѣсколько разъ предупреждаетъ читателя, что передъ нимъ не художественныя произведенія, а *блѣдные* очерки, къ которымъ даже не слѣдуетъ подходить съ эстетической оцѣнкой. Но нѣкоторыми сторонами очерки Славутинскаго ему близки и дороги. Почти за годъ передъ этимъ, послѣ выхода юньской книжки «Современника» за 1889 г., Добролюбовъ, въ пись-

мѣ къ бывшему своему товарищу И. И. Бордюгову, обращая его вниманіе на только что напечатанную въ журналѣ повѣсть Славутинскаго «Своя рубашка», относить ее «къ разряду статей, выражающихъ направленіе «Современника». Чернышевскій, съ своей стороны, такимъ образомъ поясняетъ это замѣчаніе Добролюбова:

Повѣсть показалась Николаю Александровичу совпадающей съ направленіемъ „Современника“ слѣдующими чертами:

Байдаровцы въ началѣ разсказа крѣпостные крестьяне, но авторъ не пользуется этимъ обстоятельствомъ для надругательства надъ помѣщиками, бывшаго тогда любимымъ упражненіемъ огромнаго большинства людей либеральнаго образа мыслей. Напротивъ, онъ показываетъ, что освобожденіе изъ-подъ помѣщичьей власти само по себѣ еще недостаточно для улучшенія быта освобождаемыхъ крестьянъ и очень возможны такія обстоятельства, что судьба ихъ станетъ хуже, чѣмъ была подъ властью помѣщиковъ не особенно дурныхъ.

Терехинъ человѣкъ честный, умный, заслуживающій уваженія; но онъ не хочетъ вмѣшиваться въ общественныя дѣла, чтобы не разстроить своихъ личныхъ. Если бы онъ съ самаго начала выступилъ противъ Вороненкова (бурмистра, а послѣ выкупа старосты), притѣсняющаго слабыхъ, они сгруппировались бы около умнаго защитника; они — большинство; нужно было имъ только соединиться, и власть перешла бы въ ихъ руки, Вороненковъ былъ бы низвергнутъ, они выбрали бы старостой Терехина или кого другого изъ людей хорошихъ, управленіе селомъ пошло бы такъ, что спокойствіе и благосостояніе всего сельскаго общества было бы обезпечено. Но Терехинъ предпочитаетъ свое спокойствіе общему благу: Вороненковъ не затрагиваетъ его, и онъ оставляетъ слабыхъ беззащитными отъ притѣсненій. Разсчетомъ спастись этимъ отъ личныхъ непріятностей оказывается ошибочнымъ. Личное дѣло принудило Терехина вступить въ борьбу съ притѣснителемъ слабыхъ. Остановивъ Вороненкова на дорогѣ, Терехинъ требовалъ освобожденія своего племянника отъ рекрутства, которому не долженъ

быть подлежать этотъ парень по закону. Вороненковъ отвѣчалъ отказомъ, ругательствами, угрозами. Выведенный изъ терпѣнія Терехинъ сказалъ ему:

„Слушай же ты, песь-міроѣдъ!.. Отселева — недругъ ты миѣ заклятой, и я тебѣ недругъ!.. Вотъ сначала людской судъ насъ разсудитъ, а тамъ — вѣдь недолго намъ ждать — придетъ и судъ Божій!.. Думать я, грѣшникъ, прожить вѣкъ спокойно, не вступаясь въ мірскія дѣла... суди жъ меня Господь... не хотѣлъ все я взяться за мірскую правду, а теперича, вотъ тебѣ Христосъ!... возьмуся!..“

Совѣсть мучить его за то, что онъ не защищалъ обижаемыхъ. Возвратившись въ селеніе, онъ говоритъ приходившимъ къ нему пріятелямъ:

„Упрекайте меня, братцы, подѣломъ миѣ! Вотъ за то, что я позабыть хотѣлъ про мірскую обиду, и меня задѣлъ злодѣй мірской. Только твердо вамъ говорю: я-то опомнися, въ разумъ пришелъ! Не позабудьте же рѣчей моихъ: за мірское дѣло надо стоять дружно, такъ Богъ велитъ! Надо стоять, живота не жалѣючи!.. И какъ вы тамъ хотите, а я за міръ потягаюсь съ Тарасомъ Вороненковымъ. Дѣло порѣшенное, и я на все готовъ!..“

Но онъ не позаботился приготовить свое сельское общество къ борьбѣ съ Вороненковымъ, и когда ему пришлось начать борьбу, оно не было готово поддержать его: онъ не вступался за міръ, и міръ не успѣлъ организовать свои силы, чтобы вступить за него; беззаботность его о благѣ общества стала причиной его гибели.

Очевидно, что и «Своя рубашка» (въ отдѣльномъ изданіи «Чужая бѣда») привлекла Добролюбова не художественными достоинствами, а неприкрашенной правдой крестьянской жизни, какъ понималъ эту послѣднюю критикъ. И такъ какъ въ годы, предшествующіе реформѣ, крестьянская жизнь привлекала къ себѣ особенное, напряженное вниманіе современниковъ вообще и «Современника» въ частности, то неудивительно, что Добролюбовъ въ данномъ случаѣ предпочелъ «неудовлетворяющую эсте-

тическимъ теоріямъ дѣйствительность» (т. е. очерки Славутинскаго) «безукоризненному», но «отвлеченному» искусству. Любопытно само по себѣ это противопоставленіе, которымъ оканчивается статья Добролюбова. Въ немъ чувствуется ближайшее сродство съ той «эстетической антиноміей», которая не разъ вставала передъ Бѣлинскимъ, въ видѣ самодовлѣющаго искусства», съ одной стороны, и «дѣльной», отвѣчающей запросамъ жизни «беллетристики» — съ другой. И Бѣлинскій и Добролюбовъ, оба были весьма чутки къ эстетическимъ впечатлѣніямъ, доставляемымъ истинными произведеніями искусства, но, въ интересахъ широкой пропаганды освободительныхъ идей, они не хотѣли и не могли отказаться отъ услугъ произведеній, «не претендующихъ принадлежать къ области искусства», если эти произведенія были «дѣльны» и, «вызывая вопросы», будили общество.

Чтобы покончить со Славутинскимъ, замѣчу, что вскорѣ въ немъ сильно разочаровался и самъ Добролюбовъ. Приглашенный одно время въ «Современникъ» на амилуа внутренняго обозрѣвателя, Славутинскій доставилъ много хлопотъ редакціи, которой приходилось выправлять и передѣлывать статьи новаго сотрудника. О томъ, какъ досадилъ Славутинскій редакціи вообще, а Добролюбову въ частности, можно судить по слѣдующему любопытному эпизоду. Послѣ смерти Добролюбова пріятель его А. П. Златовратскій въ письмѣ (еще неопубликованномъ) къ Чернышевскому счелъ необходимымъ *каяться*, что ввелъ въ заблужденіе редакцію «Современника», рекомендовавъ ей Славутинскаго.

Какъ уже было сказано въ предисловіи къ то-

му I настоящаго изданія, статья Добролюбова «Когда же придетъ настоящій день?» воспроизводится здѣсь въ двухъ редакціяхъ: первоначальная ея редакція, возсозданная Чернышевскимъ по корректурнымъ оттискамъ, дана въ текстѣ, а въ примѣчаніяхъ указаны всѣ измѣненія, внесенныя при печатаніи статьи въ «Современникъ». Я не собираюсь анализировать здѣсь каждое изъ этихъ измѣненій въ отдѣльности. Заинтересованный читатель легко, при желаніи, разберется въ нихъ безъ посторонней помощи. Скажу только, что если часть этихъ измѣненій объясняется цензурными требованіями или указаніями, то многія изъ нихъ вызваны иного рода соображеніями, о которыхъ придется сказать ниже.

Добролюбовъ, точно также какъ и Чернышевскій, быстро и умѣло приспособился къ требованіямъ современной ему цензуры. Онъ хорошо изучилъ ея страхъ предъ словами и фразами и умѣлъ, не поступаясь содержаніемъ своихъ идей, облекать эти послѣднія въ формы, въ цензурномъ смыслѣ пристойныя и благонадежныя. Такъ было и съ данной статьей. Подчищенная къ тому же въ послѣдній моментъ, она не заключала въ себѣ ничего страшнаго для цензурнаго ока. Однако, съ выходомъ мартовской книжки «Современника» (за 1860 г.) со статьей Добролюбова на цензора этого журнала обрушились административныя кары. Добролюбову, лѣчившемуся въ это время за границей, сообщили со словъ Чернышевскаго, что цензору сдѣлали выговоръ, въ рѣзкихъ выраженіяхъ поставивъ ему на видъ вредное направленіе «Современника»¹. И дѣй-

¹ См. «Матеріалы» стр. 575

ствительно, въ данной статьѣ Добролюбову удалось провести черезъ цензурныя рогатки свою воинствующую мысль съ большей опредѣленностью, чѣмъ въ какомъ бы то ни было иномъ мѣстѣ. И не даромъ В. И. Засуличъ называетъ эту статью «революціоннымъ завѣщаніемъ», оставленнымъ Добролюбовымъ подрастающей молодежи образованныхъ классовъ¹. Выбравъ эпитафю для своей статьи призывное начало извѣстнаго стихотворенія Гейне («Стучи въ барабанъ и не бойся!»), критикъ здѣсь и въ самомъ дѣлѣ является барабанищикомъ и въ то же время знаменосцемъ новаго дѣйствительнаго поколѣнія, которое въ эту эпоху только начинало развертывать свои силы и устанавливать позиціи. Съ горячей вѣрой въ «неотразимую потребность новой жизни, новыхъ людей», критикъ впервые позволяетъ себѣ здѣсь отнестись къ «лишнимъ людямъ» старшаго поколѣнія со значительной долей терпимости и даже примиренности. Какъ будто, заглянувъ въ будущее, онъ тѣмъ самымъ не могъ не поставить въ рамки исторической перспективы и живую для него современность. Къ «лишнимъ людямъ» — говоритъ онъ здѣсь — надо отнестись снисходительно, потому что нельзя же не признать, что «рвать у мертваго зубы противно», а между тѣмъ такую именно миссію и возложила на нихъ исторія. И, отвернувшись отъ современности, какъ отъ избытка уже прошлаго, Добролюбовъ страстно зоветъ впередъ, къ общественному подъему, къ «русскому Инсарову». «Онъ необходимъ для насъ, безъ него вся наша жизнь идетъ какъ-то не въ зачетъ, а служить только кануномъ другого дня. Придетъ же онъ, наконецъ, этотъ день!»

¹ „Сборникъ статей“ В. И. Засуличъ, т. II, стр. 304.

Болѣе или менѣе благополучно миновавъ Сциллу, — этотъ острый утесъ цензурной кладки, — критикъ едва-едва не потерпѣлъ крушенія въ Харибдѣ, — въ водоворотѣ литературныхъ отношеній того времени.

Началось дѣло съ безтактности цензора Бекетова, который, изъ угодничества передъ Тургеневымъ, послалъ послѣднему статью Добролюбова въ корректурныхъ листахъ. Тургеневъ оскорбился статьей и потребовалъ отъ Некрасова выбросить все начало, въ которомъ онъ усмотрѣлъ насмѣшки надъ своимъ литературнымъ авторитетомъ и еще какіе-то ехидные намеки на себя. Тургенева поддержали и нѣкоторые другіе писатели, какъ, напр., Анненковъ, который въ разговорѣ съ Панаевымъ выразилъ ему свое возмущеніе по поводу «безобразнаго похода на такого великаго человѣка, какъ Тургеневъ» и т. д. Исторія принимала характеръ большаго литературнаго скандала, который могъ даже угрожать дальнѣйшей судьбѣ «Современника». Некрасовъ пытался было успокоить разгорѣвшіяся страсти, но всѣ его попытки оставались безуспѣшными. Добролюбовъ рѣшительнѣйшимъ образомъ отказался измѣнять статью въ угоду обиженному художнику и заговорилъ о своемъ выходѣ изъ «Современника». Со своей стороны, не поддавался никакимъ увѣщаніямъ и Тургеневъ, отвѣтившій Некрасову лаконической запиской: «Выбирай: я или Добролюбовъ». И Некрасовъ выбралъ, едва ли даже раздумывая надъ поставленнымъ ему ультиматумомъ, — слишкомъ очевидна была для него вся неумѣстность придирокъ и требованій Тургенева, и какъ бы значительна ни была цѣнность для «Современника» такой огромной литературной вели-

чины какъ Тургеневъ, все-таки не онъ, не Тургеневъ, а именно Добролюбовъ и его другъ и единомышленникъ Чернышевскій составляли основную силу и ядро журнала.

Разрывъ Тургенева съ «Современникомъ», состоявшійся еще до выхода мартовской книжки журнала, породилъ въ петербургскомъ обществѣ и особенно въ литературныхъ кружкахъ множество слуховъ и сплетенъ. Говорили, что статья Добролюбова состоитъ изъ сплошныхъ ругательствъ по адресу Тургенева. А когда книжка вышла и когда увидѣли, что никакихъ ругательствъ въ ней нѣтъ и что, напротивъ, вся статья написана въ сдержанно-почтительномъ къ Тургеневу тонѣ, стали утверждать, будто Добролюбовъ струсилъ и смягчилъ статью.

Сравненіе первоначальнаго текста статьи, въ томъ ея видѣ, въ какомъ она впервые стала извѣстной Тургеневу и въ какомъ Чернышевскій (по корректурнымъ оттискамъ) включилъ ее въ изданіе, съ измѣненіями, съ которыми статья появилась въ «Современникѣ», убѣдитъ читателя въ явной несправедливости всѣхъ этихъ толковъ и сплетенъ. Если кое-гдѣ и сдѣланы Добролюбовымъ нѣкоторыя незначительныя смягченія, то въ цѣломъ произведенія въ статьѣ поправки не только не говорятъ объ уступчивости критика, но, даже наоборотъ, о желаніи его, подъ давленіемъ пересудовъ, усилить выразительность отдѣльныхъ своихъ замѣчаній.

Впрочемъ, напрасно было бы отыскивать въ статьѣ отдѣльныя мѣста и фразы, которыя могли вызывать въ Тургеневѣ большее или меньшее возмущеніе противъ критика. Изъ объясненія Чернышевскаго, приведеннаго мною въ критико-біогра-

фическомъ очеркѣ, читатель могъ усмотрѣть, что раздраженіе противъ Добролюбова накапливалось въ Тургеневѣ исподволь и только прорвалось въ эпизодъ съ критической статьей о «Наканунѣ».

Статьей о «Кобзарѣ» Добролюбовъ заглаживаетъ наконецъ доктринерскую несправедливость своего великаго предшественника по отношенію къ многострадальному пѣвцу Украйны. Съ высоты того алтаря, на которомъ въ 40-е годы прошлаго столѣтія приносились жертвы во имя «общечеловѣческаго духа», Бѣлинскій въ высшей степени враждебно отнесся къ малорусскому поэту, не увидѣвъ въ «хохлацкомъ либерализмѣ» Шевченка ничего болѣе кромѣ узости, провинціализма и тяготѣнія къ отжившему.

Добролюбовъ взглянулъ на поэзію Шевченка совсѣмъ иначе, и данная имъ оцѣнка легла въ основу нашего современнаго отношенія къ поэту. «Никто — сказалъ Добролюбовъ — не откажетъ малороссійскому, какъ всякому другому, народу въ правѣ и способности говорить своимъ языкомъ о предметѣ своихъ нуждъ, стремленій и воспоминаній; никто не откажется признать народную поэзію Малороссіи. И къ этой-то поэзіи должны быть отнесены стихотворенія Шевченки. Онъ — поэтъ совершенно народный, такой, какого мы не можемъ указать у себя. Даже Кольцовъ нейдетъ съ нимъ въ сравненіе, потому что складомъ своихъ мыслей и даже своими стремленіями иногда отдаляется отъ народа».

Въ статьѣ о второстепенномъ поэтѣ пушкинской школы А. И. Подолинскомъ (1806—1886), котораго когда-то сочувственно встрѣтилъ Пушкинъ, но котораго уже Бѣлинскій (въ 1834 г.) считалъ неоправдавшимъ возлагавшіяся на него надежды,

Добролюбовъ ограничилъ себя опредѣленною задачею. Критикъ хочетъ выяснить, почему поэтъ, не лишенный дарованія, не сумѣлъ использовать и выявить этого послѣдняго въ своемъ творествѣ. Эта задача сузила рамки статьи, и поэтическая физономія Подолинскаго очерчена поэтому здѣсь безъ достаточной выпуклости и яркости.

Большая статья о стихотвореніяхъ И. С. Никитина (1824—1861) появляется въ настоящемъ собраніи сочиненій Добролюбова *впервые*. Напечатанная въ 4-ой книжкѣ «Современника» за 1860 г., она почему-то была пропущена Чернышевскимъ, и никто изъ послѣдующихъ издателей Добролюбова не вспомнилъ этого пробѣла. А между тѣмъ статья эта заслуживаетъ самаго серьезнаго вниманія. Единственный недостатокъ ея, за который можно было бы упрекнуть критика, произошелъ не по его винѣ. Добролюбовъ не могъ предвидѣть, что Никитинъ, къ творчеству котораго онъ подошелъ съ большимъ и сочувственнымъ интересомъ, уже кончаетъ и свою поэтическую дѣятельность и даже жизнь, и что ближайшій же годъ унесетъ въ могилу поэта, на одинъ мѣсяць раньше критика. А между тѣмъ, критикъ не только не подводитъ итоговъ дѣятельности Никитина, но строитъ свою статью какъ бы въ предвидѣніи дальнѣйшей и, можетъ быть, длительной эволюціи, въ которой онъ горячо желаетъ помочь поэту. Отъ этого, при явной симпатіи къ поэту, онъ относится къ нему съ тѣмъ большею суровостью, чѣмъ больше ожиданій и надеждъ возлагаетъ на него въ будущемъ. И можно сказать, что большинство замѣчаній и упрековъ, которые Добролюбовъ шлетъ по адресу поэта — «очарованіе текущей изящной словесности», кро-

потливая работа надъ внѣшней отдѣлкой, холодная реторика общихъ мѣстъ, недостатокъ сосредоточенности чувства и т. д. — тяготѣютъ и сейчасъ надъ музой Никитина, съ тою лишь разницею, что сейчасъ эти замѣчанія могутъ и должны быть вставлены въ иную оправу. Единственно, чего никакъ нельзя принять изъ оцѣнки, сдѣланной Добролюбовымъ, — это замѣчаніе критика, будто Никитинъ былъ слабъ и подражателенъ въ «описательной» части своей поэзіи.

Житель города, человѣкъ исключительно социальныхъ настроеній и чувствъ, Добролюбовъ не оцѣнилъ, какую на самомъ дѣлѣ огромную роль занимаетъ въ творествѣ Никитина природа, о которой поэтъ въ одномъ изъ своихъ писемъ говоритъ, какъ о своей «нравственной опорѣ», о «свѣтлой сторонѣ жизни». Въ стихотвореніи «Поэту» онъ пишетъ:

Пойми живой языкъ природы,
И скажешь ты: прекрасенъ міръ!

Двѣ статьи объ А. Н. Плещеевѣ (1825—1893), написанныя Добролюбовымъ въ разное время (первая напечатана въ «Современникѣ» 1858 г., № 10, а вторая — 1860 г., № 7) соединены здѣсь вмѣстѣ. Какъ было уже сказано по другому поводу, такое соединеніе соотвѣтствуетъ принятому Чернышевскимъ плану, отъ котораго онъ, впрочемъ, въ данномъ случаѣ почему-то отступилъ. Первая статья посвящена критикомъ стихотвореніямъ Плещеева, изданнымъ въ 1858 г. Двѣнадцать лѣтъ передъ этимъ Бѣлинскій болѣе чѣмъ сухо встрѣтилъ первыя литературныя выступленія Плещеева. Не называя поэта по имени, критикъ («Взглядъ на русскую литературу 1846 г.») отнесъ первую кни-

жечку стиховъ Плещеева къ «эфемернымъ явленіямъ», которыя сегодня перелистываются для того, чтобы завтра же быть забытыми. Эту слишкомъ суровую оцѣнку поэзіи Плещеева не раздѣлили, впрочемъ, другіе критики, болѣе близкіе поэту и по возрасту и по настроеніямъ, какъ, напримѣръ, А. П. Милуковъ и В. Н. Майковъ. Послѣдній даже черезъ-чуръ перегнулъ оцѣнку въ другую сторону, увидѣвъ въ Плещеевѣ преемника Лермонтову и выразителя «духа времени». Вскорѣ послѣ этого дебюта, получившаго въ критикѣ столь различную оцѣнку, Плещеевъ, понесшій жестокую кару по дѣлу Петрашевскаго, надолго замолкъ. Лишь по возвращеніи изъ ссылки онъ получилъ возможность возобновить литературную дѣятельность, «съ робостью новичка», по выраженію Добролюбова, печатая свои стихотворенія подъ неполной фамиліей А. П — ва. Но мотивы его поэзіи на этотъ разъ оказались иными.

Начавъ въ 1846 г. со знаменитаго, полного юношеской вѣры стихотворенія «Впередъ безъ страха и сомнѣнія», Плещеевъ теперь принесъ съ собою изъ ссылки исповѣдь «болѣзненной тоски и безотрадныхъ думъ». Этотъ рѣзкій контрастъ между гордыми мечтами юности, съ одной стороны, и сожалѣніемъ о безплодно растраченныхъ силахъ молодости, съ другой, и обратилъ на себя вниманіе критика. Обратилъ вниманіе, какъ явленіе въ нашей литературѣ слишкомъ частое и поэтому подлежащее разслѣдованію и изученію. Анализируя съ этой стороны музу Плещеева, Добролюбовъ не уменьшаетъ, но и не преувеличиваетъ значеніе Плещеева какъ поэта, которому онъ справедливо отводитъ на нашемъ Олимпѣ второстепенное мѣсто.

Во второй статьѣ («Благонамѣренность и дѣятельность»). Добролюбовъ разсматриваетъ исключительно прозаическія произведенія Плещеева. И здѣсь критикъ удачно сближаетъ Плещеева — не по размѣрамъ таланта, а только по свойствамъ послѣдняго, — съ Тургеневымъ, съ которымъ у Плещеева можно отыскать много общаго и въ міровоззрѣніи.

Такъ какъ излюбленнымъ типомъ беллетристическихъ произведеній Плещеева является «лишний человекъ» средняго калибра во взаимодействіи съ засасывающей его общественной средой, то анализъ этого взаимодействія Добролюбовъ и положилъ въ основу своей статьи. Въ итогъ критикъ приходитъ къ выводу, что среда, заѣдающая лишнихъ людей, состоитъ изъ такихъ же людей, какъ и они сами: у всѣхъ есть добрыя склонности, но нѣтъ инициативы въ характерѣ, нѣтъ рѣшимости на самостоятельную дѣятельность. Критикъ ставитъ въ заслугу беллетристу то обстоятельство, что въ его отношеніяхъ къ этимъ платоническимъ героямъ, которыхъ вотъ ужъ двадцать лѣтъ превозносятся наши романы и повѣсти, чувствуется вѣяніе сострадательной ироніи.

Небольшую замѣтку Добролюбова о стихахъ «Обличительнаго поэта» можно объяснить той сгущенной полемической атмосферой, которая создавалась вокругъ «Свистка». Тонъ этой замѣтки тоже полемическій и даже задорный, и цѣль ея — защита «Свистка» и вообще той легкой сатиры, которой Добролюбовъ придаетъ «большое значеніе» и успѣхъ которой служитъ для него символомъ, что либеральная «иллюзія [о нашемъ быстромъ прогрессѣ и т. п.] уже близки къ концу». Неожиданные выпады критика противъ отдѣльных стихотво-

реній Лермонтова, Полонскаго, Фета нельзя, конечно, принимать серьезно въ этой иронической замѣткѣ, гдѣ авторъ, иронизируя надъ другими, острить и надъ самимъ собой, приписывая себѣ (Лиліеншвагеру) невѣроятныя претензіи: гг. Лиліеншвагеръ и другіе, — по предположенію критика, — «полагаютъ, навѣрное, что они, между прочимъ, горятъ небеснымъ огнемъ и призваны міру повѣдать нѣчто художественное».

Что касается самого «Обличительнаго поэта», то о немъ мы находимъ въ замѣткахъ очень мало свѣдѣній и замѣчаній. Замѣтимъ, что подъ псевдонимомъ «Обличительный поэтъ» скрывается поэтъ Д. Д. Минаевъ (1835—1889), извѣстный въ послѣдствіи переводчикъ, пародистъ и юмористъ. Добролюбовъ знаетъ Минаева только по его первымъ литературнымъ выступленіямъ («Перепѣвы»), но отмѣченное критикомъ отсутствіе глубины въ пародіяхъ обличительнаго поэта осталось навсегда характернымъ свойствомъ сатиры этого бойкаго версификатора.

Статья Добролюбова «Черты для характеристики русскаго простонародія», написанная по поводу рассказовъ Марка Вовчка (М. А. Марковичъ), находится какъ будто въ видимомъ противорѣчій со статьей, помѣщенной въ этомъ же томѣ, о рассказахъ Славугинскаго. Въ самомъ дѣлѣ. Тамъ онъ провозглашалъ тезисъ о необходимости «прекратить приторное любезничаніе съ народомъ». Тамъ онъ безъ всякой деликатности обошелся со всѣми слишкомъ, по его мнѣнію, «деликатными» бытописателями дореформеннаго крестьянства, а будущихъ «простонародныхъ повѣствователей» приглашалъ къ прямому, строгому и мужественному воззрѣнію

на народъ. Здѣсь онъ, какъ бы забывая свои недавніе завѣты, привѣтствуетъ писательницу, которая, съ нашей точки зрѣнія, повинна въ идеализаціи народа во всякомъ случаѣ не менѣе, если не болѣе, своихъ «деликатныхъ» предшественниковъ.

Однако, если присмотрѣться внимательно, то никакого противорѣчія между этими двумя статьями нѣтъ. И та и другая статья Добролюбова подсказаны ему глубокой вѣрой въ народъ, который если и осужденъ условіями соціальной жизни бродить во тьмѣ, то во всякомъ случаѣ одушевленъ такими же стремленіями къ свободѣ, какими одушевлена была и вся лучшая интеллигенція того времени. Наставая на необходимости писать о народѣ только *правду*, не подсахаривая ее и не злоупотребляя крестьянскимъ сердцемъ, Добролюбовъ вѣрилъ, что правда эта не идетъ въ разрѣзъ съ его идеализаціей народа. Народъ невѣжественъ, — такъ что жъ? Эмансипація, снявъ съ него цѣпи, дастъ ему и просвѣщеніе. Но зато въ народѣ много нравственной силы, много стойкости. «Въ народѣ — писалъ Добролюбовъ еще въ 1859 г. по поводу распространенія обществъ трезвости, — есть такая сила на добро, какой положительно нѣтъ въ томъ развращенномъ и полупомѣшанномъ обществѣ, которое имѣетъ претензію одного себя считать образованнымъ и годнымъ на что-нибудь дѣльное». И вотъ эту моральную силу и стойкость народа демонстрируетъ теперь Марко Вовчокъ воздушными силуэтами своихъ идеализированныхъ пейзажъ и главнымъ образомъ пейзажковъ. Добролюбовъ и самъ сознаетъ, что характеры у Марка Вовчка едва намѣчены, а факты случайны. Слыть не можетъ не чувствовать, что и эта писательница злоупотребляетъ, 115

крестьянскимъ сердцемъ. Но она подкупила его тѣмъ, что въ это крестьянское сердце, въ тревожные дни кануна эмансипаціи, вложила гордое отвораченіе къ рабству и пламенную, жертвенную любовь къ свободѣ.

По поводу этой статьи Добролюбова Чернышевскій (въ письмѣ отъ 2 августа 1860 г.) высказалъ опасеніе, что статья едва ли пройдетъ черезъ цензуру въ такомъ видѣ, чтобы можно было ее печатать. «Надобно сказать вамъ, что о крѣпостномъ правѣ рѣшительно запрещено писать».

Вл. Кранихфельдъ.

„Современникъ“ 1859 г.

Отъ Москвы до Лейпцига.

II. Бабста. (Изъ „Атенея“.) Москва. 1859.

Двѣ великія партіи существуютъ издавна между русскими учеными по вопросу объ отношеніяхъ Россіи къ другимъ народамъ Европы. Одна партія выражаетъ свое убѣжденіе на этотъ счетъ формулою: «Россія цвѣтетъ, а Западъ гніетъ»; а когда ея представители приходятъ въ нѣкоторый паеосъ, то начинаютъ пѣть про Россію ту самую пѣсню, которую, по свидѣтельству г. Милюкова, въ недавно изданныхъ имъ замѣткахъ о Константинополѣ (стр. 130), оборванный мальчишка въ константинопольской кофейной пѣлъ про Турцію, а — именно:

Нѣтъ края въ свѣтѣ лучше нашей Турціи, нѣтъ народа умнѣ османлисовъ! Имъ Аллахъ далъ все сокровища мудрости, бросивъ другимъ племенамъ только крупицы разумѣнія, чтобъ они не вовсе остались верблюдами и могли служить правовѣрнымъ.

Нѣтъ города подъ луною, достойнаго быть предметомъ нашего многоминаретнаго Стамбула¹, да хранить его пророкъ. Нѣтъ въ немъ счета дворцамъ и кіоскамъ, дорогимъ камнямъ и лунолицымъ красавицамъ.

Если бы Черное море наполнилось вмѣсто воды чернилами, то и его не достало бы описать, какъ сильна и богата Турція, сколько въ ней войска и денегъ, и какъ все народы завидуютъ ея сокровищамъ, могуществу и славѣ.

¹ Здѣсь разумѣй Москву съ ея сороками, но никакъ не Петербургъ.

Г. Милуковъ завѣряетъ, что его проводникъ изъ грековъ, переведши ему эту пѣснь, нагнулся къ нему и шепнулъ, въ pendant къ ней: «собаки! настоящія собаки!..» (стр. 131).

Но дѣло не о собакахъ...

Въ противоположность первой великой партіи, сейчасъ охарактеризованной нами, другая партія должна бы говорить: «нѣтъ, Россія гніетъ, а Западъ цвѣтетъ». Но столь крайней и дерзкой формулы до сихъ поръ въ русской литературѣ еще не появлялось, и конечно не появится, ибо никто изъ насъ не лишенъ патріотизма. Партія, противная турко-подобной партіи, останавливается на положеніяхъ, гораздо болѣе умѣренныхъ и основательныхъ. Она говоритъ: «Каждый народъ проходитъ извѣстный путь историческаго развитія; Западъ вступилъ на этотъ путь раньше, мы позже; намъ остается еще пройти многое, что Западомъ уже пройдено, и въ этомъ шествіи, умудренные чужимъ опытомъ, мы должны остерегаться отъ тѣхъ паденій, которымъ подверглись народы, шедшіе впереди насъ».

Къ этой второй изъ двухъ великихъ партій принадлежитъ и г. Бабстъ, какъ удостовѣряютъ насъ между прочимъ его путевыя письма, о которыхъ мы намѣрены теперь говорить. Нужно отдать справедливость г. Бабсту: онъ является въ своихъ письмахъ очень ловкимъ адвокатомъ того дѣла, за которое взялся. На каждомъ шагу онъ умѣетъ напомнить намъ, какъ насъ опередила Европа; въ каждомъ нѣмецкомъ городкѣ умѣетъ найти какое-нибудь полезное или пріятное учрежденіе, котораго у насъ еще нѣтъ и долго не можетъ быть; по каждому изъ главнѣйшихъ нашихъ вопросовъ онъ пред-

ставляетъ такія соображенія и параллели, изъ которыхъ ясно, что если ужъ Западъ гнѣтъ, то и наше процвѣтаніе придется назвать плѣсенью... Приведемъ нѣсколько такихъ параллелей, сдѣланныхъ имъ мимоходомъ, во время краткихъ отдыховъ отъ скаканія по желѣзной дорогѣ, какъ онъ самъ выразился о своемъ путешествіи (стр. I).

Въ Берлинѣ, говоря о неудобствахъ бюрократіи вообще, г. Бабстъ отдаетъ однакоже справедливость прусскому чиновничеству и дѣлаетъ при этомъ слѣдующія замѣчанія (стр. 45—47):

Взгляните на прусскаго полицейскаго, на берлинскаго *Schutzmann*, войдите въ первое присутственное мѣсто, въ почтамтъ, въ тюрьму, и на васъ повѣетъ все-таки инымъ воздухомъ; вы чувствуете себя и среди бюрократической атмосферы свободнѣй, самостоятельнѣй; вы знаете, что честь ваша не будетъ и не можетъ быть оскорблена наглýmъ поступкомъ, безнаказанною, безсознательною грубостью; вы начинаете сознавать себя человѣкомъ свободнымъ, который имѣетъ свои права, начинаете понимать, что не вы существуете, работаете и живете для чиновничества, но что послѣднее существуетъ для васъ. Съ нами, русскими, происходятъ, какъ мнѣ показалось, самыя разнообразныя измѣненія съ первымъ шагомъ за границу. Мы, какъ хамелеоны, непрерывно мѣняемъ цвѣта, покуда наконецъ не успѣемъ примѣниться. Сначала русскій является такимъ подобострастнымъ, вѣжливымъ, такъ боязливо подходитъ къ чиновнику на дорогѣ, къ полицейскому, что обращаетъ на себя общее вниманіе. „Вѣроятно, русскій“, случалось мнѣ не разъ слышать о какомъ-нибудь пассажирѣ, о чемъ-то упранивающимъ чиновника желѣзной дороги, и упранивающимъ непременно уже о какомъ-нибудь снисхожденіи, о чемъ-нибудь противномъ правиламъ дороги. Чиновники при дорогахъ вообще чрезвычайно вѣжливы, и рѣдко встрѣтишь съ ихъ стороны отказъ, если только есть какая-нибудь возможность услужить. Но потомъ, видя какъ все угодно, видя, что люди здѣсь свободны, нашъ братъ начинаетъ чувствовать въ себѣ сознаніе

собственного достоинства, самостоятельности, начинаютъ хорохориться, и у многихъ прорываются ужь барскія замашки, своевольничанье и даже грубость, — но это до перваго оппора. Дадутъ окрикъ, укажутъ на законъ, и опять сдѣлаешься какъ шелковый. Привыкнешь, конечно, обойдешься и станешь дѣйствительно гражданиномъ, уважающимъ законъ, сознающимъ свои права и обязанности, — къ сожалѣнію только, кажется, до перваго шага на родной почвѣ, гдѣ васъ разомъ обдастъ иною жизнью, гдѣ вы, и послѣ короткаго отсутствія, несмотря на радость свиданія съ близкими и друзьями, несмотря на родную вашему сердцу жизнь, чувствуете себя сначала чужою и не по себѣ. Вы отвыкли уже немножко отъ дикой обстановки, хоть и изъ Европы же замеченой, но дикой по формѣ и переложенной какъ-то на казацкіе нравы, и въ то же почти мгновеніе вы чувствуете, какъ въ васъ самихъ начинаютъ шевелиться скиѣскія привычки, и смотришь — едва ступилъ на родную почву — поровнишь уже кого нибудь выбранить, хоть извозчика на первый разъ.

Позвольте вамъ сообщить нѣсколько наблюдений.

Много пришлось мнѣ проѣхать таможенъ: вездѣ васъ встрѣчаетъ чиновникъ съ холодною вѣжливостью; берутъ ваши вещи, съ невозмутимымъ спокойствіемъ осматриваютъ ихъ; вездѣ довольно народа, все это дѣлается быстро, но безъ шума, безъ суетни, безъ грубости, безъ дикихъ формъ; комнаты, гдѣ смотрятъ вещи, — удобныя; для всѣхъ есть мѣсто, и отпускаютъ васъ очень скоро.

Но вотъ бросаетъ пароходъ якорь въ Кронштадтъ. Подъѣзжаетъ лодка съ таможенными чиновниками и солдатами. Былъ съ нами на пароходѣ денщикъ одного офицера, съ которымъ ѣздить за границу. И онъ, и мы всѣ съ любовью привѣтствовали родной край. „Вотъ они, орлы-то наши!“ — закричалъ, не выдержавъ, служивый, глядя на усачей таможенныхъ. — Сейчас признаешь. Военственное есть нѣчто“. Мы засмѣялись, но не прошло десяти минутъ, какъ слухъ нашъ былъ оскорбленъ самымъ грубымъ ругательствомъ, которымъ чиновникъ чествовалъ одного изъ почтенныхъ, увѣнчанныхъ медалями, усачей. Вотъ мы и у пристани въ Петербургѣ. Всѣ наши вещи взяли, ввели всю ватагу пассажировъ въ комнату. У однихъ дверей стоятъ два часовыхъ, чтобы никого не впускать въ ком-

нагу, гдѣ досматриваются вещи и куда должны входить пассажиры по частямъ. Грѣшно каждому изъ насъ было бы пожаловаться на чиновниковъ петербургской таможни. Они несравненно любезнѣе и обходительнѣе многихъ заграничныхъ. Такъ же вѣжливо спрашиваютъ васъ, нѣтъ ли чего запрещеннаго, всѣми силами стараются скорѣе васъ отпустить: но спросимъ ихъ же самихъ, и каждый изъ нихъ самъ сознается, что виѣшняя обстановка дика, многосложна, запутанна и отзывается осязнымъ положеніемъ. „Что, брать, воинственное есть нѣчто?“ спросилъ я служиваго, съ грустью ожидавшаго своей очереди. „Точно, ваше благородіе, порядокъ-то тотъ лучше-съ.“

Идете вы въ Берлинъ на желѣзную дорогу. Законъ говоритъ, и въ каждой каретѣ прибито объявленіе, что для избѣжанія сумятицы вы должны извознику платить впередъ, дабы извозчики не имѣли права толпиться у подъѣзда къ станціи. И дѣйствительно, вы прѣѣзжаете, носильщики берутъ ваши вещи, вы выходите, извозчикъ отѣѣзжаетъ, а на его мѣсто тотчасъ же становится другой. Вѣдь очень просто, кажется. Посмотримъ же на наши станціи. Извозники кричатъ: кто проситъ прибавки, кто ругается, что не додали; жандармы кричатъ, чтобы отѣѣжали, казаки граціозно приседаютъ папайками; а вѣдь ларчикъ такъ просто открывается, и можно избѣжать всей этой безурядицы. Дѣло тоя ко въ томъ, что тамъ нечего полиціи — ни изъяснить закона, ни истолковывать его по-своему. Постановленія объ извозникахъ найдены прибитыми въ каждой каретѣ или келыскѣ; каждый извозчикъ знаетъ грамотѣ, и онъ не можетъ отговориться незнаніемъ, точно такъ же какъ ни полиція, ни кто иной не можетъ съ него потребовать ничего лишняго. Чего бы мы, слѣдовательно, ни коснулись, какой бы вопросъ ни затронули — результатъ одинъ, что безъ грамотности ничего не сдѣлаешь и что въ образованіи одно спасеніе.

Замѣтки и сравненія такого рода безпрестанно дѣлаются г. Бабстомъ въ его письмахъ. Осматриваетъ онъ библіотеку въ Бреславльскомъ университетѣ: его поражаетъ обыкновеніе, господствующее здѣсь, — снабжать книгами изъ нея учителей гим-

назій, даже иногородныхъ, онъ сравниваетъ съ этимъ прекраснымъ обыкновеніемъ печальное положеніе нашихъ библіотекъ, въ которыхъ большая часть книгъ похоронена, какъ въ гробу, — точно будто библіотека имѣетъ единственно назначеніе архива. — Ходитъ онъ въ Берлинъ по гуляньямъ и музеямъ: онъ обращаетъ вниманіе читателей на то, какъ дешевы и просты у нѣмцевъ изящныя удовольствія, какъ легко доступъ въ музеи, какъ развитъ интересъ къ изящнымъ искусствамъ во всемъ народонаселеніи. — Проѣзжая мимо одного мѣстечка, нашъ путешественникъ встрѣчаетъ сцену мирной семейной жизни саксонскаго лѣсничаго: онъ не упускаетъ рассказать, какъ жена лѣсничаго прядетъ ленъ и пряжу отдаетъ ткать, какъ самъ лѣсничій носитъ пальто изъ грубой парусины, ходитъ пѣшкомъ и пр. И затѣмъ прибавляетъ: «Бѣдный, глупый окружной начальникъ саксонскихъ королевскихъ лѣсовъ! Какъ же ты не дошелъ, много учившись и трудившись, до простой операціи съ попенными деньгами, обращающимися въ хорошихъ лошадей, въ коляски, шляпки, тонкое полотно, вытканное, можетъ быть, изъ той же пряжи, которую продала твоя жена?» (стр. 91). Осматриваетъ г. Бабстъ элементарную школу въ Лейпцигѣ: и тутъ находитъ онъ поводъ сдѣлать нѣсколько любопытнѣйшихъ примѣненій къ нашему быту, указывая на отношенія между собою служащихъ лицъ въ лейпцигской школѣ. Здѣсь, говоритъ онъ, все просто, все показываетъ вамъ, что люди, собранные здѣсь, имѣютъ въ виду одну цѣль, и общими силами, каждый въ своей сферѣ, къ ней стремятся. Директоръ — это тотъ же учитель, только съ большей опытностью, и другіе учителя довѣряютъ ему, но и сами имѣютъ

въ своемъ дѣлѣ голосъ и сужденіе. Затѣмъ, переходя къ нашимъ училищамъ, г. Бабстъ разсуждаетъ (стр. 134—135):

Вся разниа между такою организаціей училищъ и другою, внѣшнимъ образомъ, пожалуй, съ нею и сходною, состоитъ въ томъ, что здѣсь директоръ имѣетъ значеніе и первенство дѣйствительно только потому, что онъ ведетъ цѣлое заведеніе, а вовсе не потому, что онъ старше чиномъ или кавалеръ, тогда какъ въ иныхъ мѣстахъ онъ прежде всего начальникъ, и изъ-за начальническаго своего значенія забываетъ свое настоящее положеніе и цѣль своей должности. Въ одномъ мѣстѣ цѣль и назначеніе каждаго директора и учителя — воспитаніе, образованіе дѣтей, въ другомъ обязанность директора — это быть исправнымъ по службѣ, чтобы была у дѣтей хорошая выправка, чтобы на ногахъ мозолей не было, чтобы дружно кричали дѣти „здравія желаю!“, чтобы застегнуты были мундиры. Можегъ ли директоръ, будь онъ отличнѣйшій человѣкъ и педагогъ, заботиться и дѣйствовать въ пользу образованія такъ, какъ бы ему хотѣлось, когда —

Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ —

все вниманіе его было обращено не на ученіе, а на порядокъ, когда пріѣзжавшіе ревизовать его начальники объ ученіи не только не заботились, но даже и не могли справиться, когда они больше всего смотрѣли на стѣны да на мундиры когда подъ заботой о нравственности дѣтской разумѣлась забота о стрижкѣ волосъ. Чиновничество всосалось во всѣ стороны нашей педагогической жизни, развилось до удивительныхъ размѣровъ и породило такую сложную администрацію, которой подобную не встрѣтимъ мы въ цѣломъ мірѣ. Штатный смотритель, стоя въ полномъ мундирѣ, униженно передъ директоромъ училищъ, распекаетъ въ свою очередь бѣднаго уѣзднаго учителя, осмѣлившагося явиться къ нему безъ формы. Каждая гимназія совершенно, подумаешь, на военномъ положеніи, — столько въ ней сторожей и солдатъ: одни для чистоты, другіе для порядка, одни, чтобы по субботамъ сѣчь мальчиковъ, другіе, чтобы мыть ихъ. Довольно того, что въ гимназіяхъ на сторожей расходуется гораздо болѣе денегъ, чѣмъ на всѣхъ

учителей. Но кому это неизвѣстно? Всѣ мы это хорошо знаемъ, у всѣхъ у насъ оно передъ глазами; наши директора, наши учителя, — первые отъ этого страдаютъ и жаждутъ выйти изъ такого неестественнаго положенія; имъ, главнымъ образомъ, оно невыносимо и грустно, — я же съ своей стороны прибавлю здѣсь одно скромное замѣчаніе, что и за образцами ходить не нужно далеко. Администрація нашихъ частныхъ пансіоновъ, которые въ отношеніи къ ученью не только ни въ чемъ не уступаютъ гимназіямъ, но даже во многомъ превосходятъ ихъ, хотя лучшіе учителя одни и тѣ же и здѣсь и тамъ, — администрація ихъ своей простотой и экономіей, могла бы во многомъ служить образцомъ для будущей реформы гимназій. И это не мое личное мнѣніе, но многихъ изъ моихъ почтенныхъ товарищей-учителей. Когда содержатель пансіона съ 4 надзирателями и прислугой изъ пяти, шести человѣкъ можетъ вести заведеніе, гдѣ обучается до 150 мальчиковъ, неужели же невозможно то же самое и въ гимназіяхъ? Наконецъ, за образцами можно обратиться и къ нашей старинѣ. Она иногда можетъ дать очень спасительные совѣты. Я самъ воспитывался въ гимназій, которая въ 1838 г. управлялась директоромъ да совѣтомъ учителей, изъ которыхъ одинъ исправлялъ директорскую должность, когда самъ директоръ отлучался на ревизію уѣздныхъ училищъ. При гимназій былъ всего только одинъ сторожъ (*Calefactor*), и все было въ порядкѣ. Я помню живо наше удивленіе, когда вдругъ явилось разъ въ 1840 г. во время утренней молитвы, новое лицо, и когда намъ объявили, что это инспекторъ. Къ чему? зачѣмъ? — это вѣроятно хорошо никто не могъ объяснить, — ни мы, ни директоръ, ни самъ инспекторъ, ниже кто другой. Инспекторъ былъ прекраснѣйшій человѣкъ, умѣвшій снискать въслѣдствіи глубокое уваженіе цѣлаго города, но самъ же сознавался, что онъ — лицо, совершенно лишнее, мало того, — что его появленіе внесло своего рода безурядицу, вмѣсто ожидаемаго свѣжего порядка, — безурядицу уже потому, что директоръ не могъ сносить новаго лица, съ которымъ ему пришлось дѣлить свои занятія.

Вообще письма г. Бафста наполнены указаніями на хорошія стороны европейской жизни, которыхъ

еще недостаетъ намъ. И этого еще мало, что онъ признаетъ въ Европѣ много хорошихъ сторонъ: онъ даже не думаетъ, подобно нѣкоторымъ изъ нашихъ мыслителей и ученыхъ, — что Европа умираетъ, что въ ней нѣтъ живыхъ элементовъ. Напротивъ, онъ подсмѣивается надъ широкими натурами, которыя свысока смотрятъ на мѣщанскія привычки Европы. Пусть тамъ и мѣщанскія натуры, — замѣчаетъ онъ, — да вотъ умѣли же устроить у себя то, чего широкія натуры никакъ не могутъ добиться, при всемъ своемъ желаніи! . . . И при этомъ почтенный профессоръ не сомнѣвается, что Европа все будетъ идти впередъ, и теперь даже лучше — тверже и прямѣе, — чѣмъ прежде. Въ прежнемъ своемъ шествіи она, по мнѣнію почтеннаго профессора, дѣлала много ошибокъ, состоявшихъ именно въ томъ, что вѣрила въ возможность совершить что-нибудь вдругъ, разомъ; теперь она поняла, что этого нельзя, что прогрессъ идетъ медленнымъ шагомъ и что слѣдовательно все нужно измѣнять и совершенствовать исподоволь, понемножку . . . На этомъ медленномъ пути у Европы есть теперь надежные путеводители: гласность, общественное мнѣніе, развитіе въ народахъ образованности — и общей и спеціальной. Съ этимъ она уже неудержимо пойдетъ впередъ, и никакія катастрофы впредь не увлекутъ ее. Теперь даже и геніальные люди, и сильныя личности не нужны Европѣ: безъ нихъ все можетъ устроиться и идти отлично, благодаря дружному содѣйствію общества, умѣющаго избирать достойныхъ и честныхъ дѣятелей для каждаго дѣла. Вотъ подлинныя слова г. Бабста (стр. 17):

Геніальные государственные люди рѣдки; они являются въ тяжкія переходныя минуты народной жизни; въ

нихъ выражаетъ народъ свои задушевныя стремленія, свои потребности, свое неукротимое требованіе порѣшить со старымъ, дабы выйти на новую дорогу и продолжать жизнь свою по пути прогресса; но такія переходныя эпохи наступаютъ для народа вѣками, и *сильно сдается намъ, задачи ихъ и значеніе въ исторіи чуть ли не прошли безвозвратно*. Запасъ свѣдѣній и знаній въ европейскомъ чело- вѣчествѣ сталъ гораздо богаче, гражданскія права расши- рились, сознаніе правъ усилилось, и наконецъ довѣріе къ насильственнымъ переворотамъ, вслѣдствіе горькихъ опы- товъ, угасаетъ. *Потребности государственныя и обще- ственныя принимаются всеми близко къ сердцу, глас- ность допускаетъ всеобщій народный контроль, уваже- ніе къ общественному мнѣнію въ образованномъ прави- тельствѣ воздерживаетъ его отъ произвольныхъ распо- ряженій*, и оно же заставляетъ невольно выбирать въ го- сударственные дѣятели людей пользующихся извѣстностью, людей, специально знакомыхъ съ частью государственнаго управления, въ челѣ которой ихъ ставятъ, а не перваго проходимца; широко же разлитое въ народѣ образованіе, и общее и специальное, даетъ возможность выбора достой- нѣйшаго. Въ Европѣ прошло или проходитъ по крайней мѣрѣ то время, когда еще думали, что хорошій кавалеристъ можетъ быть и отличнымъ правителемъ, плохой шефъ поли- ціи или попросту полицеймейстеръ — директоромъ важнаго специального училища. Такія явленія возможны были прежде, ко- гда государственная жизнь была проще и не такъ сложна, когда хорошій полководецъ могъ быть дѣйствительно хоро- шимъ администраторомъ.

Такимъ образомъ, по мнѣнію г. Бабста, не одна Россія «*hat eine grosse Zukunft*», какъ говорилъ одинъ сладенькій нѣмецъ, скакавшій вмѣстѣ съ г. Бабстомъ по желѣзной дорогѣ. Европа тоже имѣ- етъ будущее, и очень свѣтлое. Намъ еще нужно пройти большое пространство, чтобы стать на то мѣсто, на которомъ стоитъ теперь европейская жизнь. И мы должны идти по тому же пути разви- тія, только стараясь избѣгать ошибокъ, въ кото-

рыя впадали европейскіе народы, вслѣдствіе ложнаго пониманія прогресса.

Во всемъ этомъ мы совершенно согласны съ г. Бабстомъ. Желаніе его мы раздѣляемъ, не раздѣляемъ только его надеждъ, — ни относительно Европы, ни относительно нашей будущей неногрѣшимости. Мы очень желаемъ, чтобъ Европа безъ всякихъ жертвъ и потрясеній шла теперь неуклонно и быстро къ самому идеальному совершенству; но — мы не смѣемъ надѣяться, чтобъ это совершилось такъ легко и весело. Мы еще болѣе желаемъ, чтобы Россія достигла хоть того, что теперь есть хорошаго въ Западной Европѣ, и при этомъ убереглась отъ всѣхъ ея заблужденій, отвергла все, что было вреднаго и губительнаго въ европейской исторіи; но мы не смѣемъ утверждать, что это такъ именно и будетъ... Намъ кажется, что совершенно логическаго, правильнаго, прямолинейнаго движенія не можетъ совершать ни одинъ народъ при томъ направленіи исторіи человѣчества, съ которымъ она является передъ нами съ тѣхъ поръ, какъ мы ее только знаемъ... Ошибки, уклоненія, перерывы необходимы. Уклоненія эти обусловливаются тѣмъ, что исторія дѣлается и всегда дѣлалась — не мыслителями и всѣми людьми сообща, а нѣкоторою лишь частью общества, далеко не удовлетворявшею требованіямъ высшей справедливости и разумности. Оттого-то всегда и у всѣхъ народовъ прогрессъ имѣлъ характеръ частный, а не всеобщій. Дѣлались улучшенія въ пользу то одной, то другой части общества; но часто эти улучшенія отражались весьма невыгодно на состояніи нѣсколькихъ другихъ частей. Эти въ свою очередь искали улучшеній для себя, и опять насчетъ кого-нибудь другаго. Рас-

ширяясь мало-по-малу, кругъ захваченный благо-
дѣяніями прогресса задѣлъ наконецъ въ Западной
Европѣ и окраину народа, — тѣхъ мѣщанъ, кото-
рыхъ, по мнѣнію г. Бабста, такъ не любятъ наши
широкія натуры. Но что же мы видимъ? Лишь толь-
ко мѣщане почуяли на себѣ благодать прогресса,
они постарались прибрать ее къ рукамъ и не пу-
скать дальше въ народъ. И до сихъ поръ массѣ ра-
бочаго сословія во всѣхъ странахъ Европы прихо-
дится поплачиваться, напримѣръ, за прогрессы фа-
бричнаго производства, столь пріятные для *мѣщанъ*.
Стало быть, теперь вся исторія только въ томъ,
что актеры перемѣнились; а пьеса разыгрывается
все та же. Прежде городскія общины боролись съ
феодалами, стараясь получить свою долю въ бла-
гахъ, которыя человѣчество, въ своемъ прогрессив-
номъ движеніи, завоевываетъ у природы. Города от-
части успѣли въ этомъ стремленіи; но только от-
части, потому что въ правахъ, имъ наконецъ усту-
пленныхъ, только очень ничтожная доля взята бы-
ла дѣйствительно отъ феодаловъ; значительную же
часть этихъ правъ пріобрѣли мѣщане отъ народа,
который и безъ того уже былъ очень скуденъ. И
вышло то, что прежде феодалы налегали на мѣщанъ
и на поселянъ; теперь же мѣщане освободились и
сами стали налегать на поселянъ, не избавивъ ихъ
и отъ феодаловъ. И вышло, что рабочій народъ
остался подъ двумя гнетами: и стараго феодализма,
еще живущаго въ разныхъ формахъ и подъ разны-
ми именами во всей Западной Европѣ, и мѣщан-
скаго сословія, захватившаго въ свои руки всю про-
мышленную область. И теперь въ рабочихъ клас-
сахъ накопается новое неудовольствіе, глухо гото-
вится новая борьба, въ которой могутъ повторить-

ся всея явленія прежней . . . Спасутъ ли Европу отъ этой борьбы гласность, образованность и прочія блага, восхваляемыя г. Бабстомъ, — за это едва ли кто можетъ поручиться. Г-нъ Бабстъ такъ смѣло выражаетъ свои надежды потому, что предъ взорами его проходятъ все люди средняго сословія, болѣе или менѣе устроенные въ своемъ бытѣ; о роли народныхъ массъ въ будущей исторіи Западной Европы почтенный профессоръ думаетъ очень мало. Онъ полагаетъ, кажется, что для нихъ достаточно будетъ отрицательныхъ уступокъ, уже ассигнованныхъ имъ въ мнѣніи высшихъ классовъ, то есть если ихъ не будутъ бить, грабить, морить съ голоду и т. п. Но такое мнѣніе — во-первыхъ, не вполне согласуется съ желаніями западнаго пролетарія, а во-вторыхъ, и само по себѣ довольно наивно. Какъ будто можно для фабричныхъ работниковъ считать прочными и существенными тѣ уступки, какія имъ дѣлаются хозяевами и вообще — капиталистами, лордами, баронами и т. д. ! . . Милостыней не устраивается бытъ человѣка; тѣмъ, что дано изъ милости, не опредѣляются ни гражданскія права, ни матеріальное положеніе. Если капиталисты и лорды и сдѣлаютъ уступку работникамъ и фермерамъ, такъ — или такую, которая имъ самимъ ничего не стоитъ, или такую, которая имъ даже выгодна . . . Но какъ скоро отъ правъ работника и фермера страдаютъ выгоды этихъ почтенныхъ господъ, — все права ставятся ни во что, и будутъ ставиться до тѣхъ поръ, пока сила и власть общественная будетъ въ ихъ рукахъ . . . И пролетарій понимаетъ свое положеніе гораздо лучше, нежели многіе прекраснодушные ученые, надѣющіеся на великодушіе старшихъ братьевъ въ отношеніи

къ меньшимъ . . . Пройдетъ еще нѣсколько времени, и меньшіе братья поймутъ его еще лучше. Горькій опытъ научаетъ понимать многія практическія истины, какъ бы ни былъ человѣкъ идеаленъ. Въ этомъ случаѣ можно указать въ примѣръ на «Задумшевую исповѣдь» г. Макарова, напечатанную въ нынѣшней книжкѣ «Современника». Какія необдуманная надежды возлагалъ онъ на своего друга, какъ былъ исполненъ мечтами о благахъ, которыя долженствовали для него произрасти изъ дружескаго великодушія! И сколько разъ онъ обманывался, сколько разъ практическій другъ толковалъ ему яснѣйшимъ образомъ, что ему дѣло только до себя и что онъ, Макаровъ, тоже долженъ самъ хлопотать для себя, если хочетъ получить что-нибудь, а не надѣяться на идиллическія чувства друга. Но г. Макаровъ все не хотѣлъ вѣрить, все предавался сладостнымъ мечтамъ и дружескимъ изліяніямъ . . . Долго печальные опыты проходили ему даромъ и не раскрывали глазъ на настоящее дѣло . . . Но наконецъ и онъ вѣдь очнулся же, и написалъ же грозную «Исповѣдь», въ которой не пощадилъ своего гнѣва на свои же прошедшія отношенія . . .

А что ни гласность, ни образованность, ни общественное мнѣніе въ Западной Европѣ не гарантируютъ спокойствіе и довольство пролетарія, — на это намъ не нужно выискивать доказательствъ: они есть въ самой книгѣ г. Бабста. И мы даже удивляемся, что онъ такъ мало придаетъ значенія фактамъ, которые самъ же указываетъ. Можетъ быть, онъ придаетъ имъ частный и временный характеръ, смотритъ на нихъ какъ на случайности, долженствующія исчезнуть отъ дальнѣйшихъ успѣховъ просвѣщенія въ европейскихъ капиталистахъ, чи-

новникахъ и оптиматахъ? Но тутъ ужъ надо бы привести на помощь исторію, которую призываетъ нѣсколько разъ самъ г. Бабстъ. Она покажетъ, что съ развитіемъ просвѣщенія въ эксплуатирующихъ классахъ только форма эксплуатаціи мѣняется и дѣлается болѣе ловкою и утонченною; но сущность все-таки остается та же, пока остается попрежнему возможность эксплуатаціи. А факты, свидѣтельствующіе о необезпеченности правъ рабочихъ классовъ въ Западной Европѣ и найденные нами у г. Бабста, именно и выходятъ изъ принципа эксплуатаціи, служащаго тамъ основаніемъ почти всѣхъ общественныхъ отношеній. Но приведемъ нѣкоторые изъ этихъ фактовъ.

Въ Бреславлѣ г. Бабстъ узналъ о безпокойствѣ между рабочими одной фабрики, требовавшими возвышенія заработной платы, и о прекращеніи безпокойства военною силою. Вотъ какъ онъ объ этомъ рассказываетъ и разсуждаетъ (стр. 37—38):

Вечеромъ, провожая меня на-верхъ, въ мою комнату, толстый Генрихъ сообщалъ мнѣ, что гдѣ-то около Бреславля было безпокойство между рабочими. „*Haben sie was von Arbeiterkrawall gehört, Herr Professor?*“ — *Nein.* — „*Es sind Cürassiere dahin gegangen, haben auseinandergejagt.*“ [Послали туда кирасиръ, и они разогнали работниковъ.] Дѣло въ томъ, что на нѣкоторыхъ заводахъ хозяева понизили задѣльную плату, работники отказались ходить на работу, конечно, начали собираться, толковать между собою. Это показалось бунтомъ, послали кирасиръ, и бѣдныхъ рабочихъ заставили разойтись и воротиться къ хозяевамъ на прежнихъ условіяхъ. Начини работники дѣйствительно бунтовать, позволь они себѣ насиліе, безчинства — тогда для охраненія общественнаго спокойствія и благочинія правительство самаго свободнаго государства въ мірѣ не только вмѣшивается, но и полное на это имѣетъ право; а какое же дѣло правительству до того, что работники не хотятъ

работать за низкую плату? Употребляетъ ли когда-нибудь полиція мѣры для вынужденія у фабрикантовъ возвышенія заработной платы? Такіе случаи чрезвычайно какъ рѣдки; а потому не стѣдуетъ притѣнять рабочихъ, иначе все проповѣди о благахъ свободной промышленности останутся пустыми и лишенными всякаго смысла фразами. Кто смѣетъ меня принудить работать, когда я не сошелся въ цѣнѣ? „Да зачѣмъ же они соединяются въ общества. Это грозитъ общественной безопасности!“ — Такъ велите фабрикантамъ прибавить жалованье. — Нѣтъ, это, говорятъ, будетъ противно здравымъ началамъ политической экономіи, — и на этомъ основаніи стачка капиталистовъ допускается, къ нимъ являюся даже на помощь королевско-прусскіе кирасиры, а такое кирасирское рѣшеніе экономическихъ вопросовъ, должно сознаться, очень вредно. Оно только доказываетъ, что въ современномъ намъ европейскомъ обществѣ *не выдохлась еще старая феодальная закваска* и старыя привычки смотрѣть на рабочаго какъ на человека подначальнаго и служащаго. Подобныя примѣры полицейскаго вмѣшательства въ дѣла рабочихъ и фабрикантовъ, *къ сожалѣнію, не рѣдки*, и мы можемъ утверждать только тѣмъ, что *лучшіе публичные органы не перестаютъ громко и энергически возставать противъ всякаго произвольнаго вмѣшательства въ отношенія между хозяевами и рабочими, капиталомъ и трудомъ*. Такой произволъ всегда наноситъ глубокія раны промышленности, и если не всегда, то по крайней мѣрѣ надолго оставляетъ горечь и озлобленіе между двумя сторонами, а послѣдствія этого бываютъ всегда болѣе или менѣе опасны для общественнаго спокойствія.

Разсужденія г. Бабста очень основательны; но рабочій вовсе не считаетъ утѣшительнымъ, что за него пишутъ въ газетахъ почтенные люди. Онъ на это смотритъ точно такъ же, какъ (приведемъ сравненіе — о ужасъ! — изъ «Свистка»!) глупый Ванька смотрѣть на господина, который ему обѣщалъ опубліковать юнкера, скрывнагося чрезъ сквозной дворъ и не заплатившаго извозчику денегъ . . . Да

и мы можемъ обратить г. Бабсту его фразу совершенно въ противномъ смыслѣ. «*Лучшіе публичные органы не перестаютъ громко и энергически возставать противъ всякаго произвольнаго вмѣнательства въ отношенія между хозяевами и рабочими, капиталомъ и трудомъ; и несмотря на то, произволь этотъ продолжается и попрежнему наноситъ глубокія раны промышленности. Не печально ли это? Не говорить ли это намъ о безсиліи лучшихъ органовъ и пр., когда дѣло касается личныхъ интересовъ сословіи?*» Г-нъ Бабстъ можетъ намъ отвѣтить, что до сихъ поръ они были безсильны; но наконецъ получаютъ же силу, и достигнуть цѣли. Но когда же это будетъ? Да еще и будетъ ли? Призовите на помощь исторію: гдѣ и когда существенныя улучшения народнаго быта дѣлались просто вѣдѣствіе убѣжденія умныхъ людей, не тынуженные практическими требованіями народа?

Но положимъ даже, что это «кирасирское рѣшеніе экономическихъ вопросовъ», по выраженію г. Бабста, есть не болѣе какъ случайность, хотя оно, по его же собственному замѣчанію, случается *къ сожалѣнію, перѣдко* . . . А что же сказать объ отношеніи большихъ фабрикъ къ ремесленному производству и о цеховомъ устройствѣ, доставившемъ такіе забавные анекдоты для пятаго письма г. Бабста? Это ужъ никакъ не случайность. Совершенно напротивъ: тутъ видимъ цѣлое учрежденіе, даже усовершенствованное въ послѣднее время, благодаря успѣхамъ новѣйшей фабричной цивилизаціи. «Послѣ того, говоритъ самъ г. Бабстъ, какъ рушились всѣ послѣдніе остатки крѣпостной зависимости и обязательнаго труда, когда земля сбросила всѣ средневѣковыя узы, стѣсняющія свободу

перехода ея изъ рукъ въ руки, слѣдовало бы, конечно, ожидать, чтобы развязали руки и остальнымъ отраслямъ народной промышленности, — но не тутъ-то было! Цеховыя учрежденія остались по-прежнему въ полной силѣ; они, слѣдовательно, стѣснили свободное развитіе народнаго труда, затруднили отливъ избытка земледѣльческаго народонаселенія къ промысламъ и были, смѣло можно сказать, главной причиною бѣдствія во многихъ, даже щедро надѣленныхъ природою и благословенныхъ мѣстностяхъ южной Германіи» (стр. 99). И въ самомъ дѣлѣ, — примѣры, приводимые г. Бабстомъ, удивительны! Напр., парикмахеры тянутъ въ судъ нѣсколько дѣвушекъ за то, что онѣ убирали волосы дамамъ и тѣмъ учинили подрывъ парикмахерскому цеху. Плотники и столяры спорятъ между собою, кому принадлежитъ право постройки деревянной лѣстницы; токари не дозволяютъ столярамъ придѣлывать къ стульямъ точеныя и рѣзныя украшенія. Одинъ цехъ пирожниковъ имѣетъ право печь только слоеные пирожки безъ варенья, а другой — пирожки съ вареньемъ, но безъ масла... Появился въ одномъ городкѣ какой-то третій сортъ пирожковъ, очень понравившихся жителямъ. Но ни одинъ изъ существовавшихъ въ городѣ пирожныхъ цеховъ не имѣлъ права печь и не позволялъ никому другому. Городъ остался безъ любимыхъ пирожковъ... Вообще, въ каждой мелочи, одинъ цехъ зорко и злобно слѣдитъ за другими, и, по словамъ г. Бабста, присутственныя мѣста завалены процессами и жалобами разныхъ цеховъ на нарушеніе ихъ правъ. И между тѣмъ ограниченіе и стѣсненіе промысловъ не только не уничтожается, но еще время отъ времени пополняется и совершенствуется

въ Германіи новыми постановленіями. Въ 1845 г. введены ремесленные испытанія и регламентація промысловъ, и съ того времени мелкая промышленность въ Пруссіи стала упадать. Несмотря на столь близкій примѣръ, въ 1857 г. въ Саксоніи сочинень былъ новый ремесленный уставъ, о которомъ г. Бабстъ отзывается какъ о нелѣпѣйшемъ созданіи канцелярской головы. По смыслу его, «вездѣ, при каждомъ удобномъ случаѣ, начальство имѣетъ право вмѣшиваться въ дѣла корпорацій, наблюдать за собраніями, за книгами. Ради ремесленныхъ корпорацій, женщинамъ запрещено заниматься разными ремеслами; ограничена также ремесленная промышленность въ деревняхъ; ни одна деревня не можетъ имѣть болѣе одного сапожника, портнаго, столяра, и то только съ разрѣшенія начальства», и т. д. (стр. 100). И надо замѣтить, что все это дѣлается въ видахъ покровительства ремесламъ отъ преобладанія большого фабричнаго производства! А фабричное производство, разумѣется, процвѣтаетъ совершенно свободно и съ каждымъ годомъ все болѣе тяготѣетъ надъ мелкою промышленностью. Противъ этого возможно одно средство, по замѣчанію г. Бабста, — уничтоженіе всѣхъ стѣсненій и свободная ассоціація ремесленниковъ. Но что же, — стараются ли облегчить пути къ этому тѣ классы, отъ которыхъ зависятъ въ Западной Европѣ регламентація или предоставленіе свободы мелкимъ промышленникамъ? Не заботятся ли они, напротивъ, о поставленіи всякаго рода препятствій и затрудненій на этомъ пути?

Конечно, г. Бабстъ и тутъ находитъ возможность утѣшить себя весьма справедливою мыслью, что «свобода труда непременно когда-нибудь вос-

торжествуетъ и разобьетъ въ концѣ послѣдніе остатки средневѣковыхъ промышленныхъ стѣсненій». Конечно, такъ; но мы не знаемъ, до какой степени практично такое утѣшеніе. Въ романтическихъ твореніяхъ оно очень хорошо: когда я читалъ, бывало, романы г. Загоскина и Рафаила Михайловича Зотова, то въ сомнительныхъ случаяхъ, гдѣ герою или героинѣ угрожала опасность, я всегда успокаивалъ себя тѣмъ, что вѣдь при концѣ непременно порокъ будетъ наказанъ, а добродѣтель восторжествуетъ. Но я не рѣшался прикладывать этого разсужденія къ дѣйствительной жизни, особенно когда увидѣлъ, что въ ней этого вовсе не бываетъ . . .

Впрочемъ, г. Бабстъ, какъ политико-экономъ, не долженъ быть упрекаемъ въ недостатокъ практичности . . .

Порукою за будущее служить для г. Бабста общественное мнѣніе. Въ доказательство великой силы его въ Германіи, онъ приводитъ слѣдующій фактъ. «Посмотрите, — говоритъ онъ, — какое великое значеніе имѣетъ здѣсь общественное мнѣніе: весной 1857 г. вышелъ проектъ новаго ремесленнаго устава (о которомъ говорили мы выше), а въ іюнѣ того же года собрались ремесленники въ Хемницѣ и Росвейнѣ, протестовали противъ стѣсненія промышленности, и правительство не рѣшилось предложить устава на обсужденіе палаты». Какое, въ самомъ дѣлѣ, сильное доказательство! . . Ну, а «кирасирское разрѣшеніе промышленныхъ вопросовъ» — одобряется общественнымъ мнѣніемъ? А всѣ стѣсненія цеховъ находятъ себѣ въ общественномъ мнѣніи защиту?.. Да и послѣ протеста ремесленниковъ что же сдѣлали,—сняли стѣсненія,

расширили свободу промысловъ? Ничего не бывало. Отчего же это общественное мнѣніе, заставившее оставить проектъ новаго устава, не заставило въ то же время сдѣлать и нѣкоторыя облегченія для мелкой промышленности? Не оттого ли, что здѣсь общественное мнѣніе (какъ угодно выражаться г. Бабсту) приняло для своего выраженія форму не совсѣмъ обычную? Не оттого ли, что хемницкія и росвейнскія сходбища были — не просто отголоскомъ общественнаго мнѣнія, а крикомъ боли притѣсняемыхъ бѣдняковъ, рѣшившихся наконецъ крикнуть, хотя это имъ и запрещено? . .

Но, разумѣется, и эта уступка была сдѣлана только потому, что новыя стѣсненія, предложенныя новымъ уставомъ, были собственно никому не нужны. Иначе общественное мнѣніе могло бы быть сдержано «кирасирскими возраженіями». И кто бы помѣшалъ въ Хемницѣ произвести въ 1857 г. то, что въ 1859 г. производили кирасиры около Бреславля, или что въ 1849 г. прусскіе солдаты дѣлали въ Дрезденѣ? Вѣдь самому г. Бабсту рассказывалъ старый чехъ, какъ тогда «упоенные побѣдой и озлобленные сопротивленіемъ, солдаты кидались въ дома и выбрасывали съ третьяго этажа обезоруженныхъ непріятелей, женщинъ и дѣтей, какъ они прокаливали плѣнныхъ или сбрасывали ихъ съ моста въ Эльбу» (стр. 88).

Не знаемъ, гдѣ г. Бабстъ нашелъ въ Европѣ существованіе «всеобщаго народнаго контроля» (стр. 17); но мы рѣшительно сомнѣваемся даже въ его возможности при теперешнемъ порядкѣ тамонныхъ дѣлъ. Да помилуйте, какой же тутъ «всеобщій народный контроль», когда въ одинъ мѣсяць путешествія, скача по желѣзной дорогѣ, изъ города въ

городъ, г. Бабстъ имѣлъ возможность сдѣлать такого рода наблюденія и замѣтки.

«Въ Берлинѣ, — говоритъ онъ, — не успѣли внести мои вещи, не успѣлъ еще я сбросить пальто, а ко мнѣ уже явились за паспортомъ, — точно изъ опасной страны пріѣхалъ. И вѣдь это все Богъ знаетъ для чего. Завелся такой порядокъ, и держится, а зачѣмъ, къ чему эти полицейскія мѣры, это няньчанье съ человѣкомъ и вѣчныя опасенія, — этого, я думаю, и самый рьяный защитникъ полицейскаго порядка хорошо объяснить не въ состоянii» (стр. 43). Отчего же это однако держится? Неужели въ силу того, что всеобщій народный контроль существуетъ и сила общественнаго мнѣнія велика?

Берлинское статистическое бюро, бывшее до 1844 г. самостоятельнымъ учрежденіемъ, было въ этомъ году подчинено департаменту торговли. Мѣра эта «вызвала справедливое неудовольствіе со стороны лучшихъ статистиковъ и ученыхъ Германіи; тогда сдѣлана уступка общественному мнѣнію, и въ 1848 г. статистическое бюро подчинено министерству внутреннихъ дѣлъ . . .» (стр. 56). Съ дрезденскимъ статистическимъ бюро поступлено еще лучше. «Еще въ маѣ, — говоритъ г. Бабстъ, — Энгель, директоръ его, жаловался, что ему нѣтъ покоя отъ камеръ, и что на него особенно негодуешь дворянская партія (Junkerthum) за нѣкоторыя данныя, имъ выставленныя относительно дворянскихъ имѣній, за напечатаніе приблизительнаго вычисленія ихъ доходовъ . . . Палата саксонская сильно, должно быть, озлобилась на статистику и отказала бюро въ прибавочныхъ 2,000 талерахъ, тогда какъ она же вотировала единогласно 25,000 талеровъ

на монументъ въ честь покойнаго короля . . . Когда я въ августѣ проѣзжалъ опять черезъ Дрезденъ, — включаетъ г. Бабстъ, — Энгель вышелъ уже, сказали мнѣ, въ отставку и посвятилъ себя частнымъ дѣламъ» (стр. 98) . . . Можетъ быть, и это тоже доказываетъ, что теперь повсюду въ Европѣ (исключая, конечно, Австрію!) «гласность допускаетъ всеобщій народный контроль» и что «потребности государственный принимаются всѣми близко къ сердцу»?

А до какой степени велика уже теперь сила образованія въ сравненіи съ силою грубаго произвола, объ этомъ очень краснорѣчиво можетъ свидѣтельствовать г. Бабсту исторія нѣмецкихъ университетовъ, которую онъ такъ хорошо излагаетъ въ своемъ четвертомъ письмѣ. Университетамъ ли ужъ, кажется, не быть опорами образованія? Вѣдь это учрежденіе вѣковое, высшее, свободное, укоренившееся въ народной жизни, особенно въ Германіи. И что же оказалось? Университеты ограничены, стѣснены, подвергнуты преслѣдованіямъ, въ которыхъ, по словамъ г. Бабста, каждое нѣмецкое правительство какъ будто хотѣло перещеголять другъ друга . . . И все это прошло такъ, какъ будто бы все было въ порядкѣ вещей. А между тѣмъ какъ безцеремонно поступали съ бѣдняками! Приведемъ слова г. Бабста (стр. 71):

Не будемъ говорить объ Австріи, гдѣ императоръ Францъ сказалъ въ Ольмюцѣ профессорамъ, что дѣло не въ знаніи, не въ ученіи, а въ томъ, чтобы ему приготовили подданныхъ, богобоязненныхъ и съ хорошимъ поведеніемъ, но даже Пруссія оказала въ дѣлѣ преслѣдованія особенное рвеніе. Вмѣсто того, чтобы обновить уничтоженіемъ остатковъ средневѣковаго устройства и расширить кругъ ихъ дѣйствія признавъ за ними право самостоятельности и ини-

ціативы во всемъ, что дѣйствительно ихъ касается, — самостоятельности и свободы, безъ которыхъ *universitas literaria* немыслима, а не глухихъ привилегій и исключительности, — нѣмецкія правительства не тронули послѣднихъ, а наложили руку на главное, на жизненную силу университетовъ, на свободу преподаванія.

Что же это доказываетъ? Неужели опять-таки то, что нынѣ въ Западной Европѣ «уваженіе къ общественному мнѣнію въ образованномъ правительствѣ воздерживаетъ его отъ произвольныхъ распоряженій»? . .

Нѣтъ, нельзя и думать, чтобы отнынѣ въ Западной Европѣ всѣ недостатки и злоупотребленія могли уничтожаться и всѣ благія стремленія осуществляться одною силою того общественного мнѣнія, какое тамъ возможно нынѣ по тамошней общественной организаціи. Такъ называемое *общественное* мнѣніе въ Европѣ далеко не есть въ самомъ дѣлѣ общественное убѣжденіе всей націи, а есть обыкновенно (за исключеніемъ весьма рѣдкихъ случаевъ) мнѣніе извѣстной части общества, извѣстнаго сословія или даже кружка, иногда довольно многочисленнаго, но всегда болѣе или менѣе своекорыстнаго. Оттого-то оно и имѣетъ такъ мало значенія: съ одной стороны оно и не принимаетъ слишкомъ близко къ сердцу тѣ дѣйствія, даже самыя произвольныя и несправедливыя, которыя касаются низшихъ классовъ народа, еще безправныхъ и безгласныхъ; а съ другой стороны и самъ произволъ не слишкомъ смущается неблагопріятнымъ мнѣніемъ тѣхъ, которые сами питаютъ наклонность къ эксплуатаціи массы народной и слѣдовательно имѣютъ свой интересъ въ ея безправности и безгласности. Если разсмотримъ дѣло ближе, то и окажется, что между гру-

бымъ произволомъ и просвѣщеннымъ капиталомъ, несмотря на ихъ видимый разладъ, существуетъ тайный, невыговоренный союзъ, вълѣдствіе котораго они и дѣлаютъ другъ другу разныя деликатныя и трогательныя уступки, и щадятъ другъ друга, и прощаютъ мелкія оскорбленія, имѣя въ виду одно: общими силами противостоятъ рабочимъ классамъ, чтобы тѣ не вздумали потребовать своихъ правъ... Самая борьба городовъ съ феодализмомъ была горяча и рѣшительна только до тѣхъ поръ, пока не начала обозначаться предъ тою и другою стороною разница между буржуазіей и работникомъ. Какъ только это различіе было понято, обѣ враждующія стороны стали сдерживать свои порывы и даже дѣлать попытки къ сближенію, какъ бы въ виду новаго, общаго врага. Это повторилось во всѣхъ переворотахъ, постигшихъ Западную Европу, и, безъ сомнѣнія, это обстоятельство было очень благопріятно для остатковъ феодализма, какъ для партіи уже ослабѣвавшей. Но для *мѣщанъ* эта робость, сдержанность и уступчивость была вовсе невыгодна: вмѣсто того, чтобы окончательно побѣдить слабѣющую партію и истребить самый принципъ, ее поддерживавшій, они дали ей усилиться, изъ малодушнаго опасенія, что придется подѣлиться своими правами съ остальною массою народа. Вслѣдствіе такихъ своекорыстныхъ ошибокъ, остатки феодализма и принципы его, произволъ, насиліе и грабежъ, до сихъ поръ еще не совсѣмъ искоренены въ Западной Европѣ, и часто выказываются то здѣсь, то тамъ, въ самыхъ разнообразныхъ, даже цивилизованныхъ формахъ...

Вообще, съ измѣненіемъ формъ общественной жизни, старыя принципы тоже принимаютъ другія,

безконечно-различныя формы, и многіе этимъ обманываются. Но сущность дѣла остается всегда та же, и вотъ почему необходимо, для уничтоженія зла, начинать не съ верхушки и побочныхъ частей, а съ основанія. Примѣръ этого находимъ мы опять у г. Бабста, въ разсказѣ о германскихъ университетахъ. Извѣстно, что въ XVII и въ началѣ XVIII вѣка университеты составляли реакцію всему, что только являлось новаго и смѣлаго. Это произошло вслѣдствіе того, что, утомленные въ борьбѣ съ духовенствомъ за свою самостоятельность и свободу, они отдались наконецъ въ руки тогдашней свѣтской власти и изъ свободной корпораціи сдѣлались чиновничьими учрежденіями. «Изъ нѣмецкихъ университетовъ, говоритъ г. Бабстъ, боявшихся за свои привилегіи, подчинившихся, ради сохраненія своихъ потерявшихъ уже всякій смыслъ корпоративныхъ формъ, вполнѣ государству, выходили самые ревностные донощики» (стр. 68). Такимъ образомъ, вліяніемъ враждебныхъ обстоятельствъ, къ XVII вѣку самый принципъ университетской жизни измѣнился. Вслѣдствіе этой перемѣны весь характеръ дѣйствій университетовъ сталъ совершенно другой: вмѣсто самостоятельности водворилось раболѣпство, вмѣсто стремленія къ развитію — гордость своей неподвижностью, вмѣсто дружнаго содѣйствія всякому совершенствованію — злобное стараніе мѣшать всякому развитію... Въ XVII и началѣ XVIII вѣка это выражалось въ самыхъ грубыхъ и неслыханныхъ формахъ. Карпцовъ, представитель лейпцигскаго юридическаго факультета, хвалился тѣмъ, что онъ подписалъ 400 смертныхъ приговоровъ; члены галльскаго университета настояли, чтобъ выгнанъ былъ изъ него философъ Вольфъ и

даже принужденъ былъ въ 24 часа оставить прусскія владѣнія, подъ опасеніемъ смертной казни; Спенера и Томазія, въ теченіе всей ихъ жизни, преслѣдовали профессора за ихъ вольнодумное направленіе, и т. п. Но времена измѣнились; смертныя казни ужъ не въ ходу; всюду проникли новыя формы общежитія... Измѣнились формы нетерпимости и насилія и въ университетахъ германскихъ; но нетерпимость и насиліе все-таки остались. Въ доказательство этого прочтите у г. Бабста то, что онъ говоритъ о положеніи приватъ-доцентовъ въ университетахъ, и то, что рассказываетъ объ исторіи Бекгауза съ Бекингомъ. По словамъ г. Бабста, во многихъ, преимущественно въ маленькихъ, нѣмецкихъ университетахъ господствуетъ въ величайшихъ размѣрахъ nepотизмъ; вообще же только тотъ и достигаетъ профессуры, кто поддерживается главными ординарными профессорами. Только они имѣютъ значеніе и голосъ въ факультетѣ. Приватъ-доценты составляютъ ученый пролетаріатъ: ихъ стараются забить на второй планъ, не давать имъ читать главныхъ предметовъ, и т. п. Оттого къ нимъ и слушателей ходитъ очень мало: всѣ находятъ болѣе выгоднымъ слушать ординарныхъ профессоровъ, «потому что какъ ни свободенъ буршъ, а чиновникъ и въ немъ сидитъ» (стр. 73). Такимъ образомъ тѣснили и Бекгауза, особенно когда увидѣли, что его лекціи привлекаютъ много слушателей (съ каждаго слушателя, какъ извѣстно, получаются деньги въ пользу профессора). На него опрокинулся цѣлый юридическій факультетъ боннскаго университета: сплетни, подсматриванье за частной жизнью доцента, клеветы и явныя оскорбленія безпрерывно преслѣдовали его. Наконецъ, когда онъ

объявиль, что будетъ объяснять своимъ слушателямъ пандекты, которые до сихъ поръ читались только ординарными профессорами, тогда факультетъ составилъ опредѣленіе, по которому Бекгаузъ потерялъ право читать лекціи . . . Бекгаузъ жаловался министру; министръ сказалъ, что тутъ его дѣло сторона. Тогда Бекгаузъ обратился къ самому королю, а между тѣмъ напечаталъ всю исторію . . . Журналы горячо за него вступились; «но чѣмъ кончилось дѣло, не знаю», — заключаетъ г. Бабстъ . . .

Все это было въ нынѣшнемъ году, послѣ столькихъ перемѣнъ и маленькихъ реформъ въ устройствѣ университетовъ, послѣ столькихъ и столь громкихъ толковъ о коренной ихъ реформѣ . . . Не то же ли это самое, въ сущности, что было и въ XVII вѣкѣ? И такъ будетъ до тѣхъ поръ, пока не измѣнится наконецъ самый принципъ университетскаго существованія въ Германіи — отношеніе его къ государственной власти . . .

Желаніе помочь дѣлу *какъ-нибудь* и *хоть сколько-нибудь*, замазать трещину хоть на короткое время, остановиться на полдорогѣ къ цѣли, удовольствоваться полумѣрой, въ надеждѣ, что потомъ авось это сдѣлается само собой, по неминуемымъ законамъ прогресса, — такое направленіе дѣятельности вовсе не есть исключительное свойство русскаго человѣка, какъ полагаютъ нѣкоторые патріоты. Такъ поступали дѣятели всѣхъ народовъ Европы, и отъ этой невыдержанности происходила, разумѣется, большая часть ихъ неудачъ. Въ этомъ смыслѣ мы признаемъ, что народы Западной Европы постоянно впадали въ ужасную ошибку. И тѣмъ болѣе мы удивляемся, какимъ образомъ могутъ нѣ-

которые ученые люди защищать благотѣльность паліативныхъ мѣръ для будущаго прогресса Западной Европы и отвергать реформы общія и рѣшительныя, какъ гибельныя для ея благоденствія. По нѣкоторымъ предметамъ грѣшнѣ въ этомъ отношеніи и г. Бабстъ, хотя нужно признаться, что у него въ иныхъ случаяхъ выражаются требованія довольно широкія. Говоря о предоставленіи гражданскихъ правъ евреямъ и требуя для нихъ рѣшительной полноправности, а не частныхъ льготъ, онъ приводитъ слѣдующее сравненіе. «Если вы хотите помочь разумному и дѣловому человѣку въ его предпріятіи, неужели вы найдете болѣе полезнымъ отпускать ему деньги по грошамъ, чѣмъ вручить ему весь капиталъ, чтобы онъ былъ въ состояніи приняться разомъ за производство» (стр. 11). Это сравненіе очень умно; но его слѣдуетъ относить не къ однимъ евреямъ: оно такъ же хорошо приходится и ко всѣмъ общественнымъ преобразованіямъ, необходимымъ для Западной Европы... Тратиться по мелочи тамъ рѣшительно не для чего; нужно непременно пустить въ оборотъ весь капиталъ, сколько его найдется.

Впрочемъ, если правду сказать, — въ Западной Европѣ часто и мелочь-то общественныхъ реформъ бываетъ фальшивая, либо краденая. Это довольно ясно, напримѣръ, по вопросу о чиновничествѣ, тоже излагаемому у г. Бабста. Видите, какое дѣло.

Бюрократія въ Пруссіи получила страшное развитіе. Штаты чиновниковъ составлены 30—40 лѣтъ тому назадъ и съ тѣхъ поръ почти не измѣнились. Тогда жалованье соотвѣтствовало цѣнамъ на жизненные потребности и было достаточно. Теперь цѣны на все возвысились, а оклады тѣ же. Чинов-

ники и учителя — стонуть, и по всей Германіи раздаются громкіе толки о прибавкѣ имъ жалованья. Но откуда взять прибавку? «Возвышеніе окладовъ, говоритъ г. Бабстъ, не можетъ быть безъ возвышенія бюджета, безъ новыхъ налоговъ; а если взваливаютъ на общество новыя тягости, то оно, кажется, имѣетъ полное право изслѣдовать и спросить, дѣйствительны ли и законны ли тѣ государственныя потребности, на которыя требуютъ съ него денегъ» (стр. 93). И по этому изслѣдованію оказывается вотъ что: возвышеніе задѣльной платы, при возвышеніи цѣнъ на все, дѣлается только для труда производительнаго; трудъ же прусскихъ чиновниковъ не только не производителенъ, но еще и обременителенъ для общества. «Въ Германіи общій и повсемѣстный говоръ, что чиновники и служащіе только мѣшаютъ своей черезчуръ навязчивой опекой развитію народной жизни, что ихъ уже слишкомъ много сравнительно съ потребностями общества, что занятія ихъ во многихъ отношеніяхъ слишкомъ велики. — Сообразивъ все это, придемъ къ тому результату, что большую часть занятій и дѣлъ, находящихся въ рукахъ чиновниковъ, можно и пора передать обществу, самимъ гражданамъ, распустить половину служащихъ-рабочихъ и распредѣлить всю получаемую ими доселѣ задѣльную плату между остальными» (стр. 96). Отличная мѣра! Но только что же станется съ распущенною то половиною прусскихъ чиновниковъ? Вѣдь не надо забывать, что они не только чиновники, но и люди, граждане, члены этого самаго общества. Надо же имъ чѣмъ-нибудь себя пропитывать, а они, кромѣ чиновническаго занятія, ни къ какому другому неспособны. Что же тутъ дѣлать съ ними?

Вѣдь не перебить же ихъ поголовно; а если хоть и въ тюрьму посадишь, то все кормить надобно. Великая ли же будетъ польза самому обществу, если вмѣсто тысячи людей, *quasi* дѣлающихъ что-то такое и за то получающихъ съ него деньги, будутъ эти самыя деньги получать 500 человѣкъ, да кромѣ того обществу на шею насядетъ еще 500 человѣкъ уже рѣшительныхъ тунеядцевъ!... А вѣдь тѣмъ непремѣнно должно кончиться, если прусское чиновничество будетъ такъ *уполовинено*, по совѣту г. Бабста. Такія *половинныя* мѣры именно и оказываются фальшивыми...

Да, счастье наше, что мы позднѣе другихъ народовъ вступили на попрѣе исторической жизни. Присматриваясь къ ходу развитія народовъ Западной Европы и представляя себѣ то, до чего она теперь дошла, мы можемъ питать себя лестною надеждою, что нашъ путь будетъ лучше. Что и мы должны пройти тѣмъ же путемъ, — это несомнѣнно, и даже нисколько не прискорбно для насъ. Объ этомъ говорить и г. Бабстъ: «Неужели обидно намъ, когда мы должны придти къ убѣжденію, что, оставаясь вполнѣ самостоятельными, мы все-таки проходимъ и проходили тѣ же эпохи историческаго развитія, какъ и остальные народы Европы? Не будь этого, мы были бы какими-то вырожденками челоуѣчества» (стр. 103). Что и мы на пути своего будущаго развитія не совершенно избѣгнемъ ошибокъ и уклоновъ, — въ этомъ тоже сомнѣваться нечего. Но все-таки нашъ путь облегченъ; все-таки наше гражданское развитіе можетъ нѣсколько скорѣе перейти тѣ фазисы, которые такъ медленно переходило оно въ Западной Европѣ. А главное, — мы можемъ и должны идти рѣшительнѣе и тверже по-

тому, что уже вооружены опытомъ и знаніемъ, а не самообольщеніемъ, въ родъ наивныхъ восторговъ нашей безыменной гласностью и обличительной литературой . . . Обольщаться своими успѣхами и приписывать себѣ излишнее значеніе всегда вредно уже и потому, что отъ этого является нѣкоторый позывъ почитать на таврахъ, умиленно улыбаясь . . . Наклонность къ этому всегда замѣчается у новичковъ въ дѣлѣ и у людей, отъ природы одаренныхъ нѣсколько маниловскимъ складомъ характера; они всегда готовы сказать: «довольно! пора отдохнуть». Но къ счастью у насъ есть такіе энергическіе дѣятели, какъ г. Бабеть, которые своими призывами и указаніями на то, что дѣлается у другихъ, пробуждаютъ и насъ отъ дремотной дѣны . . . Радуюсь этому прекрасному явленію, мы рѣшились своимъ слабымъ голосомъ аккомпанировать мощной рѣчи г. Бабета, съ кроткимъ намѣреніемъ замѣтить только, что и того, что сдѣлано у другихъ, все еще слишкомъ мало . . .

Путешествіе на Амуръ,

совершенное по распоряженію Сибирскаго отдѣла Императорскаго Русскаго Географическаго Общества, въ 1855 году, *Р. Маакомъ*. Одинъ томъ, съ портретомъ графа Муравьева-Амурскаго и съ отдѣльнымъ собраніемъ рисунковъ, картъ и плановъ. Изданіе члена-соревнователя Сибирскаго отдѣла С. Ф. Соловьева. Спб. 1859.

Статей, написанныхъ объ Амуръ въ послѣдніе два года, такъ много, что изъ перечня ихъ могла бы пожалуй составить даже особенная отрасль русской библіографической науки. Но при всемъ томъ мы до сихъ поръ не знаемъ объ Амуръ ничего положительнаго. Съ самаго начала, когда Амуръ только что сталъ входить въ моду, — мы знали положительно одно: что весь лѣвый берегъ Амура занятъ нами, и что мы черезъ это сдѣлали великое пріобрѣтеніе. Но теперь, послѣ множества статей и всякаго рода извѣстій объ Амуръ, и это первое положительное свѣдѣніе сдѣлалось какъ-то сбивчивымъ и неопредѣленнымъ. Съ одной стороны мы слышали и читали, что съ пріобрѣтеніемъ Амура мы сдѣлались обладателями *великолѣпнѣйшей рѣки въ мірѣ*, что мы теперь черезъ нее сдѣлались уже очень страшными соперниками англичанъ въ Индіи, что посредствомъ Амура суждено намъ сдѣлаться цивилизаторами Китая, и пр. Съ другой стороны, на-

противъ, раздавались увѣренія, что мы изъ Амура не можемъ извлечь ни малѣйшей пользы и что англичанъ въ Индіи намъ никогда не видать, какъ ушей своихъ. Кому вѣрить, — невозможно было рѣшить, потому что и заступники, и противники Амура представляли, въ подтвержденіе своихъ словъ, факты. Одни говорили, что плаваніе по Амуру лучше, чѣмъ по Миссиссипи, что тамъ давно уже устроены русскими правильныя сообщенія, что народъ туда переселяется густыми массами, что тамъ все даютъ чуть не даромъ, и пр. Другіе, напротивъ, стали увѣрять, что ничего подобнаго на Амурѣ нѣтъ и быть не можетъ, что тамъ все дорого, ничего не устроено и т. д. Провѣрять слова тѣхъ и другихъ было чрезвычайно затруднительно потому, что повѣрка должна была происходить на мѣстѣ; а между тѣмъ, пока статья, напечатанная въ Петербургѣ, появится на Амурѣ, и пока отвѣтъ на нее оттуда дойдетъ до Петербурга и напечатается, проходило обыкновенно полгода, а иногда и больше. А въ это время къ одному неосновательному извѣстію прибавлялось уже нѣсколько другихъ, и чуть ли не составлялась на ихъ основаніи цѣлая система разсужденій о жизни на Амурѣ.

Такое положеніе нашихъ свѣдѣній объ Амурѣ продолжается до сихъ поръ. Поэтому мы съ особеннымъ нетерпѣніемъ ожидали изданія путешествія г. Маака. Г-нъ Маакъ совершилъ экспедицію на Амуръ въ 1855 г., по порученію Сибирскаго отдѣла Русскаго Географическаго Общества, на иждивеніе члена-соребнователя Сибирскаго отдѣла С. Ф. Соловьева, пожертвовавшего на этотъ предметъ полпуда золота. На его же счетъ издано и описаніе путешествія г. Маака, о типографскомъ изыществѣ ко-

тораго было уже замѣчено въ «Современникѣ» мѣсяцъ тому назадъ. Изданіе украшено прекрасно сдѣланнымъ портретомъ графа Муравьева-Амурскаго; кромѣ того, къ нему принадлежитъ цѣлый альбомъ великолѣпныхъ рисунковъ, картъ и плановъ. Въ этомъ альбомѣ находится 17 ландшафтовъ и этнографическихъ рисунковъ, шесть таблицъ, въ которыхъ заключаются изображенія разныхъ предметовъ, относящихся большею частью къ домашнему быту пріамурскихъ народовъ, — десять ботаническихъ таблицъ, геогностическая карта береговъ Амура, карта распространенія древесныхъ и кустарныхъ растеній на берегахъ этой рѣки, планъ Айгуна и планъ Албазинскаго укрѣпленія. Всѣ рисунки исполнены превосходно; они большею частью рисованы первоначально самимъ же г. Маакомъ, а потомъ перерисованы въ Петербургѣ художникомъ г. Гуномъ; нѣкоторая же часть рисунковъ взята изъ портфеля г. Мейера, также посѣщавшаго Амурскій край, или срисована петербургскими художниками съ предметовъ, привезенныхъ г. Маакомъ.

Какъ видно, г. Соловьевымъ все сдѣлано для изящества и великолѣпія изданія, равно какъ и г. Маакомъ употреблены всѣ усилія для того, чтобы собрать сколько возможно болѣе точныя, полезныя и разнообразныя свѣдѣнія. Отчетъ его о своемъ путешествіи занимаетъ 320 страницъ въ четвертку; онъ идетъ день за день, исполненъ ученыхъ цитатъ, сообщаетъ весьма точныя описанія мѣстностей, растеній, ископаемыхъ — вездѣ съ латинскими названіями, очень обстоятельно описываетъ одежду, домашнюю утварь, рыболовные и звѣроловные снаряды и т. п. пріамурскихъ народовъ, дѣлаетъ даже филологическія и историческія соображенія. Не до-

вольствуясь этимъ, г. Маакъ приложилъ къ своему отчету особенныя статьи: 1) геогностическія изслѣдованія; 2) обзоръ кустарныхъ и древесныхъ растеній; 3) обзоръ животныхъ. Въ этихъ статьяхъ естественно-историческія свѣдѣнія представлены въ систематическомъ порядкѣ и въ ученой обработкѣ, подъ руководствомъ академиковъ Брандта, Рупрехта, гг. Максимовича, Менетріе, Бремера и Герстфельда. Въ концѣ же книги г. Маака находимъ тунгусскій лексиконъ, который составленъ г. Шифнеромъ изъ матеріаловъ, собранныхъ г. Маакомъ. Такимъ образомъ мы видимъ, что дѣятельность г. Маака была чрезвычайно обширна и многостороння, за что и нельзя не отдать ему должной справедливости.

И при всемъ томъ, послѣ книги г. Маака наши свѣдѣнія объ Амурѣ не сдѣлались особенно блестящими. Причиною этого надо считать неблагопріятныя обстоятельства, помѣшавшія полной успѣшности работъ экспедиціи, въ которой находился г. Маакъ. Объ этихъ неблагопріятныхъ обстоятельствахъ самъ г. Маакъ, въ предисловіи къ своей книгѣ, говоритъ слѣдующее:

Всего болѣе мѣшало намъ то, что мы ѣхали чрезвычайно быстро, останавливаясь рѣдко, и то на короткое время. Особенно успѣшно было путешествіе наше при плаваніи внизъ по Амуру. Чтобы дать понятіе объ этой успѣшности и о томъ, какъ она должна была препятствовать нашимъ ученымъ дѣйствіямъ, достаточно указать на одно обстоятельство, подробно изложенное въ историческомъ отчетѣ: спускаясь по Амуру, мы проѣхали всю ту часть его теченія, которая прорѣзываетъ Хинганскій хребтъ, менѣе чѣмъ въ сутки; а между тѣмъ эта часть Амура имѣетъ болѣе 100 верстъ длины и берега ея представляютъ одно изъ самыхъ интересныхъ для путешественника мѣстъ

во всемъ Амурскомъ краѣ. Конечно, на возвратномъ пути мы ѣхали не такъ быстро; но тогда уже время года не благопріятствовало ученымъ дѣйствіямъ и, сверхъ того, самое путешествіе было сопряжено съ такими трудностями, что работы, имѣвшія цѣлью одно только передвиженіе экспедиціи, поглощали почти все наше время.

Но отчего же экспедиція мчалась такъ быстро? Вѣдь она снаряжена была совершенно самостоятельно, Сибирскимъ отдѣломъ Географическаго Общества, на издѣвленіе г. Соловьева. Что же могло заставить ее такъ торопиться, вопреки всѣмъ ея существеннымъ надобностямъ? На это г. Маакъ не даетъ положительнаго отвѣта, и читатель долженъ довольствоваться слѣдующими строками, въ которыхъ указывается новое препятствіе для успѣховъ экспедиціи, но все-таки не объясняется его причина.

Много также мѣшало ученымъ работамъ экспедиціи то обстоятельство, что мы проѣхали большое пространство, и при томъ въ самое благопріятное для такихъ работъ время, не будучи совершенно независимыми въ нашихъ дѣйствіяхъ, въ продолженіе всего почти іюня 1855 г., мы ѣхали вмѣстѣ съ военнымъ отрядомъ, спускавшимся къ Маринскому посту, и, составляя какъ бы часть этого отряда, должны были во всѣхъ нашихъ дѣйствіяхъ сообразоваться съ его движеніями. Понятно, что при такомъ положеніи вещей интересы науки всякій разъ, когда имъ приходилось сталкиваться съ военными соображеніями, должны были уступать.

Вслѣдствіе такихъ обстоятельствъ книга г. Маака, по его собственнымъ словамъ, «не заключаетъ въ себѣ даже почти никакихъ общихъ выводовъ». Авторъ излагалъ свои наблюденія въ хронологическомъ порядкѣ, но «по недостаточности матеріа-

ловъ не рѣшался группировать факты и высказывать какія-либо соображенія о ихъ взаимной связи и значеніи». Такимъ образомъ г. Маакъ самъ признаетъ свою книгу полезною лишь въ видѣ матеріала для будущихъ путешественниковъ на Амуръ и изслѣдователей этого края. Что же касается до читающей публики, то она и книгою г. Маака далеко не избавлена еще отъ возможности кривыхъ толковъ и неосновательныхъ выводовъ объ Амурѣ. Въ особенности должно это сказать въ отношеніи къ вопросамъ промышленнымъ и торговымъ, которыхъ г. Маакъ почти вовсе не касается, занятый преимущественно естественно-историческими изслѣдованіями и наблюденіями этнографическими.

Само собою разумѣется, что, путешествуя въ 1855 г., г. Маакъ не могъ описывать всѣхъ прелестей и совершенствъ, недавно открытыхъ на Амурѣ нашими газетами и журналами. Все дивное устройство Амурскаго края произошло уже гораздо послѣ, преимущественно въ прошломъ году. Въ числѣ панегиристовъ Амура особенно отличался г. Д. Романовъ, въ статьяхъ своихъ, помѣщенныхъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ» и въ «Русскомъ Словѣ». Отъ статей въ «Русскомъ Словѣ» онъ недавно, впрочемъ, отказался печатно, говоря, что онѣ напечатаны въ искаженномъ видѣ. Но свои письма въ «Русскомъ Вѣстникѣ» онъ не только не отвергалъ, а даже защищалъ въ «Спб. Вѣдомостяхъ» противъ возраженій. Возраженія эти принадлежатъ г. Д. Завалишину, который въ теченіе вотъ уже двухъ лѣтъ выбивается изъ силъ, занимаясь разрушеніемъ наивныхъ восторговъ отъ Амура. Свѣдѣнія, представленныя г. Завалишинымъ, до сихъ поръ не встрѣтили серьезнаго, фактическаго опроверженія, хотя нѣкоторыя

изъ его статей напечатаны уже очень давно. Первые возраженія его г. Романову помѣщены были въ «Морскомъ Сборникѣ» 1858 г., № XI. Затѣмъ были статьи въ 1859 г., въ №№ V и VII «Морского Сборника», и наконецъ большая статья, составляющая начало цѣлаго ряда статей, въ № X «Вѣстника Промышленности», подъ названіемъ «Амуръ». Первой статьѣ г. Завалишинъ далъ еще спеціальное заглавіе: «Кого обманываютъ и кто окончательно останется обманутымъ?» Во всѣхъ этихъ статьяхъ могутъ быть своего рода ошибки и недосмотры, но изъ нихъ оказывается несомнѣннымъ одно: что восторги, возбужденные Амуромъ, преждевременны и преувеличены. И не потому нельзя ихъ считать основательными, чтобы въ самомъ дѣлѣ естественныя условія края были дурны; вовсе нѣтъ: что они хороши или могутъ быть хороши, — въ этомъ всѣ соглашаются. Но невозможно вѣрить панегиристамъ потому, что, вопреки ихъ увѣреніямъ, этими естественными условіями до сихъ поръ еще мы почти не пользовались и очень немного сдѣлали для того, чтобы хорошо ими воспользоваться впослѣдствіи. Относительно этого предмета г. Завалишинъ говоритъ въ статьѣ «Морского Сборника», отмѣчая свои слова даже курсивомъ, для большей рельефности:

«Мы всегда считали, что собственно занятіе Амура было дѣломъ второстепеннымъ, не представлявшимъ ни малѣйшаго затрудненія (кромѣ тѣхъ, которыя сами создадимъ) и всегда вполнѣ зависящимъ, при извѣстныхъ внѣшнихъ обстоятельствахъ, чисто отъ воли правительства, — да и не отъ приказанія даже его, а просто отъ дозволенія, — а что существенное дѣло именно и состояло въ предварительномъ подготовленіи тѣхъ условій, которыя одни мо-

гли сдѣлать занятіе полезнымъ и безъ которыхъ оно легко можетъ обратиться даже во вредъ, — не только здѣшнему краю, но и государству» («Морск. Сб.» 1859, № VII, стр. 39).

Затѣмъ г. Завалишинъ приводитъ множество фактовъ, доказывающихъ, что этого подготовленія до сихъ поръ на Амуръ не было и нѣтъ. Статьи г. Завалишина очень растянуты, наполнены повтореніями однихъ и тѣхъ же фактовъ, безпрестанными восклицаніями и обращеніями. Но факты, излагаемые въ нихъ, сами по себѣ очень любопытны и дѣлаются вдвойнѣ интересными по сравненію съ тѣмъ, что писали объ Амуръ гг. Романовъ, Назимовъ, корреспонденты «Сиб. Вѣдомостей», «Иркутскихъ Вѣдомостей», и пр. Мы приведемъ нѣкоторые изъ этихъ фактовъ.

Амуръ прежде всего, разумѣется, обращаетъ на себя вниманіе, какъ новое, прекрасное средство сообщенія. И вотъ являются статьи, въ которыхъ восхваляется сообщеніе по Амуру. Г-нъ Романовъ сообщилъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ», что американцы восхищаются плаваніемъ по Амуру и находятъ его несравненно-удобнѣйшимъ, чѣмъ по Миссиссипи, потому что въ Амурѣ нѣтъ подводныхъ камней и карчей, которыми наполнено русло Миссиссипи. Г-нъ Назимовъ напечаталъ, что еще въ 1857 г. началось правильное лѣтнее сообщеніе по Амуру и что съ будущаго года число пароходовъ удвоится. Мы, разумѣется, всему этому вѣрили. Но вдругъ является г. Завалишинъ и съ крайнимъ скептицизмомъ говорить въ одной статьѣ: «Всякая рѣка, страна, какія бы онѣ ни были, все это сами по себѣ (откидывая, разумѣется, крайности) большею частью безразличныя вещи, и будутъ всегда преимущественно тѣмъ,

что сумѣютъ изъ нихъ сдѣлать . . . Вѣдь была же Миссисиппи слишкомъ 200 лѣтъ въ рукахъ французъ и испанцевъ; а что они изъ нея сдѣлали, не смотря на всѣ природныя ея преимущества?» Къ чему же говорить это г. Завалишинъ? Да все къ тому же, чтобы доказать свою мысль, что Амуръ самъ по себѣ — ничего, и что сдѣлано въ немъ — очень мало. Въ подтвержденіе своихъ словъ г. Завалишинъ приводитъ и факты. Онъ говоритъ: здѣсь построены были пароходы «Аргунь» и «Шилка»; «Аргунь» отправилась въ 1854 г. и не возвращалась, оказавшись неспособною идти противъ теченія; «Шилка», отправясь въ 1855 г. осенью, недалеко отъ Шилкинскаго завода стала на мель и замерзла; въ 1855 г. спущена на устье Амура; но попытка идти противъ теченія и ей не удалась. Кромѣ этихъ двухъ, ходилъ по Амуру пароходъ «Надежда»; но и онъ, по тѣснотѣ помѣщенія и по глубокой осадкѣ, оказался неудобнымъ, и послѣ 1855 г., когда на немъ поднимался вверхъ по Амуру графъ Путятинъ, не доходилъ болѣе до Усть-Зен. Затѣмъ оставались два парохода, полученные изъ Америки: «Лена» и «Амуръ». Но «Лена» въ 1857 г. совершила только одинъ рейсъ, и то въ одну только сторону, во всю навигацію; она поднялась до Шилкинскаго завода, да тамъ и зазимовала. Г-нъ Назимовъ восхищался быстротою сообщенія, высчитавъ, что «Лена» совершила въ 30 дней 3,000 верстъ; но оказалось, что верстъ было не 3,000, а съ небольшимъ двѣ, и дней не 30, а болѣе; оказалось также, что на «Ленѣ» ѣхалъ генераль-губернаторъ, который не добхалъ на пароходѣ до конца, а бросилъ его. «Слѣдовательно, была причина, — говоритъ г. Завалишинъ, — что онъ бросилъ пароходъ? Что же ожидать тогда

частному лицу? А мы всегда говорили, что не можемъ принимать въ счетъ проѣздовъ какого-нибудь значительнаго лица или чрезвычайнаго нарочнаго, для которыхъ дѣлаются особенныя напряженія, а правильное сообщеніе и возможность сообщенія принимаемъ только тогда, когда они существуютъ для всѣхъ и каждого» («Морск. Сб.», № 5, стр. 16). А этого-то именно и не находятъ на Амурѣ г. Завалишинъ. Въ 1858 г. «Лена», по его словамъ въ другой статьѣ («Морск. Сб.», № 7), плавала столь же неудачно: отправясь отъ Шилкинскаго завода весною 1858 г., стала на мель, не доходя до Зеи, повредилась, дотащилась до Зеи, послѣ исправленія медленно поднялась до Стрѣлки, опять спустилась до Зеи, и опять кое-какъ, послѣ неуспѣшнаго плаванія, безпрестанно становясь на мель, дошла въ началѣ августа до Срѣтенска, гдѣ и осталась на зиму. Остается послѣдній пароходъ «Амуръ»: этотъ въ 1858 г. дошелъ разъ до Усть-Зеи, а возвращаясь назадъ, сталъ на мель, да тутъ и замерзъ. По этому поводу было напечатано, что «Амуръ» зимовалъ здѣсь; г. Завалишинъ замѣчаетъ, что это напоминаетъ зимнія квартиры Наполеона въ Россіи. Въ 1858 г. «Амуръ» три раза доходилъ до Усть-Зеи, — и то въ послѣдніе два раза уже не вплотъ, чтобы не попасть на мель, какъ въ первый разъ. Что же касается до увеличенія числа пароходовъ на Амурѣ, это было простое предположеніе, которое наши наивные публицисты не усомнились выдать за дѣло уже рѣшенное и осуществленное... Въ 1858 г. сообщенія по Амуру производились опять-таки тѣми же единственными «Леною» и «Амуромъ».

Но изобрѣтеніемъ небывалыхъ пароходовъ не ограничилось усердіе добрыхъ людей, прославляв-

шихъ наши успѣхи на Амурѣ. Увѣряли (г. Романовъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ»), что уже и непрерывныя почтовые сообщенія устроены — лѣтомъ на лодкахъ, зимою на тройкахъ съ колокольчиками. При этомъ г. Романовъ съ такою же гордостью, съ какою недавно «Русскій Вѣстникъ» возвѣщалъ, что «русскій народъ благодушенъ и вѣренъ» (см. «Р. В.» 1859, № 20), — прибавлялъ: «ни одно государство въ свѣтѣ не можетъ еще похвастаться [какъ они дорожатъ хвастаньемъ!!] непрерывнымъ сухопутнымъ путемъ отъ морей одной части свѣта въ другую». А у насъ, говоритъ, съ нынѣшней осени (1858) начинается такое сообщеніе: «вы можете взять себѣ подорожную изъ всякаго уѣзднаго города до Николаевска, садитесь въ кибитку, и нигдѣ васъ не потревожатъ верховою или собачьею ѣздою до самаго Восточнаго океана». Дѣйствительно, очень заманчиво; но г. Завалишинъ увѣряетъ, что и это вздоръ. Онъ приводитъ вотъ какіе факты за 1858 годъ. Письмо изъ Николаевска отъ 15 іюля получено въ Читѣ 1 ноября. Отправившійся изъ Николаевска въ началѣ августа штабъ-офицеръ доѣхалъ до Читы 14 ноября. Съ тѣхъ поръ были курьеры и пассажиры, доѣхавшіе на послѣднемъ пароходѣ до Благовѣщенска; но почты по Амуру изъ Николаевска не слыхали и ничего не получали; а слышали, что было двѣ почты черезъ Аянъ. Даже изъ Благовѣщенска (т. е. Усть-Зен) письмо отъ 2 августа получено въ Читѣ 20 сентября. Была ли еще разъ почта, — не могли дознаться: но что въ послѣдніе мѣсяцы не было почты даже изъ Благовѣщенска, въ томъ удостовѣряетъ, по словамъ г. Завалишина, посланный нарочно адъютантъ, чтобы узнать, отчего нѣтъ почты. На лодкахъ люди, имѣющіе всѣ сред-

ства, отправаясь немедленно по вскрытіи рѣки изъ Маринска, прибыли въ Читу 30 іюля. Осенью курьеры проѣзжали отъ Благовѣщенска до Читы не менѣе какъ въ мѣсяць. Столько же времени ѣдутъ и зимнимъ путемъ, даже по казенной надобности. Впрочемъ г. Завалишинъ увѣряетъ, что вообще лошадей здѣсь обязательно предписано давать *только* курьерамъ; прочіе должны дѣлаться какъ знаютъ. Къ этому онъ прибавляетъ, что по Шилкѣ нѣтъ проѣзда, а что отъ Стрѣлки должны сворачивать по Аргунн, по стародавнимъ станицамъ. Последніе отряды казаковъ, бывшихъ въ нарядѣ на сплавѣ, вмѣсто исхода августа и сентября, какъ разсчитывали, выходили только въ декабрѣ (см. «Морск. Сб.», № 7, и «Вѣстн. Пром.», № 10).

Факты такого рода не могутъ, конечно, свидѣтельствовать въ пользу непрерывныхъ сообщеній и правильныхъ почтъ въ пріамурскомъ краѣ, вплоть до Николаевского порта. И если увѣренія г. Завалишина справедливы (а они никѣмъ не опровергнуты), то мы вполне понимаемъ его сожалѣніе о тѣхъ бѣднякахъ, которые, будучи обнадежены увѣреніями панегиристовъ, вздумаютъ отправиться въ пріятное путешествіе по Амурскому краю и разочтутъ свое время и издержки по возгласамъ восторженныхъ публицистовъ.

Впрочемъ, несмотря на полное довольство всѣмъ сдѣланнымъ, самъ г. Романовъ признаетъ полезнымъ устроить желѣзную дорогу отъ залива де-Кастри до Джая, потому особенно, что 300 верстъ отъ устья теченіе Амура представляетъ большія трудности для плаванія . . . Американецъ Коллинсъ представилъ проектъ другой желѣзной дороги — отъ Читы до устья Селенги, гдѣ уже предполагалось по-

строить *Новый Аспинваль*. Само собою разумѣется, что сначала оба предположенія привѣтствованы были съ восторгомъ. Но г. Завалишинъ напомнилъ о перегрузкахъ, распутицахъ и пр., и вообще наскзалъ столько неудобствъ Коллинсу, что тотъ измѣнилъ свой проектъ. Но какое движеніе имѣлъ онъ потомъ, — неизвѣстно. Что же касается до г. Романова, то ему г. Завалишинъ ставитъ на видъ слѣдующія обстоятельства. Г-нъ Романовъ хотѣлъ заказывать желѣзо на Петровскомъ заводѣ и сплавлять по Амуру; но для желѣзной дороги нужно нѣсколько сотъ тысячъ пудовъ, а Петровскій заводъ выдѣлываетъ всего до 30,000 п. въ годъ, да и то желѣзо незавиднаго качества и дорого: цѣны самому дурному сорту петровскаго желѣза въ *Читѣ* — 1 р. 60 к., а это починный пунктъ сплава. Говорятъ, что на Петровскомъ заводѣ изготовлялись рельсы для дороги на золотые пріиски въ Нерчинскихъ заводахъ и обошлись въ 4 р. с. за пудъ. Да кромѣ того, надо для дороги и работниковъ, и для нихъ хлѣбъ. А взять этого всего — негдѣ рѣшительно. Самый сплавъ производить некому: сплавъ самый дешевый, по подряду купцовъ Зимина и Серебряникова, былъ 50 к. съ пуда, и хотя цѣну эту находили недешевою, но въ слѣдующемъ году и за такую плату не могли найтти вольныхъ подрядчиковъ и принуждены на 1858 г. возложить сплавъ на казачье войско за ту же цѣну. Но слухи о тягостяхъ и бѣдствіяхъ, претерпѣваемыхъ при этомъ рабочими, произвели то, что казаки, назначенные по наряду на сплавъ, платили отъ себя наемщикамъ до 40 коп. за одну сплавку, отдавая сверхъ того все, что приходилось получать отъ казны. Вслѣдствіе того, на 1859 годъ производили сплавъ казенными рабочими, употребивъ въ дѣло

даже каторжныхъ. А чтобы достать людей, сама казна прибѣгала, по словамъ г. Завалишина, къ различнымъ изворотамъ.

Такъ, въ 1857 г. придрались къ недонимкамъ, изъ которыхъ нѣкоторыя произошли вовсе не отъ вины казаковъ, а отъ собственнаго недоразумѣнія начальства, не знавшаго, какъ истолковать двухлѣтнюю льготу отъ повинностей высланнымъ изъ Читы казакамъ, и включать ли въ нее денежный сборъ, остановленный въ 1851 г.; какъ вдругъ, въ 1857 г. велѣно было не считать его включеннымъ въ льготу, и потребовали, сверхъ текущихъ повинностей, за два старые прежніе года. Я лично знаю одного казака, которому, съ тремя малолѣтними, пришлось заплатить за четыре души за два года вдругъ, кромѣ настоящаго, и у котораго взяли послѣдняго работника, единственнаго въ семьѣ изъ шести душъ. Если, слѣдовательно, при 50-копеечной платѣ надо прибѣгать къ такимъ средствамъ, то можно посудить, что будетъ стоить дѣйствительно сплавъ съ пуда въ операциі, гдѣ за все надо будетъ платить по вольнымъ цѣнамъ. . Для полноты разчета надо прибавить, что и въ 1857 и въ 1858 годахъ многіе казаки, со времени наряда на работы по сплаву, возвратились домой черезъ девять мѣсяцевъ; кромѣ того, въ 1858 г. было много больныхъ („Вѣстн. Пром.“, № 10, стр. 55).

Если бы казна и даромъ получала работу, то, по замѣчанію г. Завалишина, это еще не могло бы служить основаніемъ для разчетовъ въ частномъ предпріятіи. Въ казенномъ дѣлѣ могутъ быть обстоятельства и случаи, которые совершенно не должны входить въ кругъ промышленныхъ выгодъ, хотя сами по себѣ эти обстоятельства и имѣютъ, можетъ быть, свою долю вліянія на ходъ торговыхъ и промышленныхъ операцій. Для примѣра г. Завалишинъ рассказываетъ такой случай, въ одной изъ мѣстностей Амурскаго края.

Намъ извѣстенъ случай (а мы говоримъ только о такихъ, которые не остались безызвѣстны и начальству), что люди, назначенные вывозить только лѣсъ, рубленный подъ надзоромъ офицера совсѣмъ другими, потеряли 15 дней при сдачѣ этому самому офицеру, браковавшему у нихъ лѣсъ, который они не рубили, заставлявшему рубить новый и кончившему приѣмкою забракованнаго („Вѣстн. Пром.“, № 10, стр. 54).

Подобные слухи, повторяющіеся, какъ извѣстно, во многихъ мѣстахъ Россійской имперіи, вообще весьма невыгодно дѣйствуютъ на экономическое развитіе страны. Немудрено, что и на Амурѣ они производятъ то же дѣйствіе, уничтожая такимъ образомъ всѣ чудеса прогресса, торопливо провозглашеннаго опрометчивыми публицистами... Размышляя о подобныхъ случаяхъ, мы можемъ даже до нѣкоторой степени опредѣлить и причину такой опрометчивости публицистовъ нашихъ: они взглянули на дѣло очень абстрактно, — взяли въ расчетъ самую страну съ ея производительными силами, но не приняли въ соображеніе всей обстановки дѣла, — то есть людей и нравовъ, для которыхъ эта страна открываетъ новое поприще...

Но возвратимся къ желѣзной дорогѣ, проектированной г. Романовымъ.

По расчету г. Романова, нужно 5,000 рабочихъ для желѣзной дороги, и онъ рассчитываетъ въ этомъ случаѣ на мѣстные батальоны. Но, по словамъ г. Завалишина, линейныхъ батальоновъ отъ Кяхты до Николаевска всего 4, и изъ нихъ нельзя набрать 5,000 рабочихъ. Что же касается до казаковъ, то брать ихъ на работу не годится уже и потому, что они занимаются хлѣбопашествомъ, и «всякій взятый изъ нихъ работникъ уменьшитъ на нѣсколько

десятинъ производящую хлѣбъ пашню». И безъ того уже разныя служебныя и неслужебныя требованія разстроили у казаковъ хозяйство въ Нерчинскомъ краѣ, главномъ для продовольствія Амура. Обстоятельства эти произвели то, что пашня должна вѣкъ долженъ обрабатывать *шесть* десятинъ, чтобы а между тѣмъ требованія казны на хлѣбъ увеличились, вслѣдствіе передвиженія войскъ въ Забайкальскій край... Еще въ 1852 г. представленъ былъ офиціальныи разсчетъ, что каждый взрослый человекъ долженъ обрабатывать *шесть* десятинъ, чтобы могли быть удовлетворены обыкновенныя требованія на хлѣбъ въ здѣшнемъ краѣ. А тутъ еще безпрестанно наряжаютъ казаковъ-хлѣбопашцевъ на работы, которыя, равно какъ и требованіе на продовольствіе, все увеличиваются съ пріобрѣтеніемъ Амура. Естественнo, что при такихъ условіяхъ отнятіе 500 человекъ отъ пашни будетъ довольно чувствительно для края», и г. Завалишинъ увѣряетъ даже, что самымъ этимъ работникамъ нечего ѣсть будетъ: негдѣ будетъ достать 120,000 пуд. муки, которые, по его вычисленію, нужны для 5,000 работниковъ. Хлѣбъ и то уже прошлую зиму былъ въ Читѣ 80—90 копеекъ, а провозъ отъ Верхнеудинска до Читы (436 верстъ) былъ рубль серебромъ... («Морск. Сб.», № 5). А г. Романовъ возвѣстилъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ», что «благодаря новому пути, даже въ Петропавловскѣ мука продается, вмѣсто прежнихъ трехъ рублей, по 99 копеекъ!»...

Объяснивши всѣ удобства путей сообщенія въ Амурскомъ краѣ, панегиристы, разумѣется, рѣшили, что черезъ Амуръ должна происходить иностранная торговля Сибири. А рѣшивши это, они немедленно пришли въ умиленіе отъ ея широкаго раз-

витія. «Взглянуть на зарождающуюся иностранную торговлю Сибири, — такъ просто сердце радуется», восклицаетъ г. Романовъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ». «1857 годъ былъ, можно сказать, первымъ годомъ правильной торговли и начала торговаго пароходства по Амуру, и въ этотъ первый годъ цѣнность всѣхъ грузовъ, передвигавшихся по Амуру, простиралась до 1,000,000 руб. сер. Что же будетъ далѣе при такомъ богатомъ началѣ? И теперь уже жители Иркутска пьютъ кофе съ здѣшнимъ сахаромъ, курятъ сигары, привезенныя черезъ Николаевскъ изъ Маниллы и Гаваны, изъ Якутска дѣлаютъ заказы винъ здѣшнимъ американскимъ торговцамъ, и т. д. Не чудаки ли тѣ люди, которые утверждаютъ, что Амуръ вздоръ и что, кромѣ обремененія издержками, онъ Россіи ничего не принесетъ полезнаго?» . . . Къ этому прибавлялись извѣстія объ 11 судахъ, бывшихъ уже въ маѣ въ Николаевскѣ, о сахарѣ, доставленномъ по Амуру и продававшемся по 7 р. 50 к. за пудъ въ Иркутскѣ, и пр. Тутъ же, разумѣется, изъяснялись благія желанія, чтобы частная предпріимчивость взялась за дѣло, и раскрывались разныя надежды и ожиданія . . .

Все это встрѣчаемо было съ великимъ сочувствіемъ большею частью людей, привыкшихъ видѣть въ розовомъ свѣтѣ и будущность, и все, что совершается въ *настоящее время*, когда и пр. . . Но вотъ нѣсколько *общихъ* соображеній, представленныхъ по этому предмету г. Завалишинымъ въ «Морскомъ Сборникѣ» (№ 7, стр. 48—50).

Часто, чуть не безпрестанно, дѣлаютъ у насъ упрекъ частной дѣятельности въ недостаткѣ предпріимчивости . . . Полно, такъ ли? Это даетъ поводъ взглянуть въ это дѣло попристальнѣе. *Будьте увѣрены, что когда какое-либо*

явленіе доходить до степени общности, то причины его заключаются уже не въ однихъ только людяхъ. Вездѣ, гдѣ массы подвергаются незаконнымъ требованіямъ со стороны казны, онѣ вымещаютъ это на частныхъ лицахъ. Тогда законная частная дѣятельность становится невозможною; мѣсто ея занимаетъ незаконная, что въ свою очередь опять отражается на казнѣ. Такимъ-то образомъ, въ этомъ круговоротѣ все сдвигается съ принадлежащаго ему законнаго и выгоднѣйшаго мѣста; всякое правильное движеніе становится невозможнымъ; и вмѣсто его, къ общей невыгодѣ и тратѣ силъ, являются безпорядокъ и случайность; предпримчивость же можетъ существовать только тамъ, гдѣ есть прочное, разумное основаніе для разчета и соображеній въ постоянныхъ элементахъ и строгомъ законномъ огражденіи частной дѣятельности. Великое было бы, конечно, дѣло добиться отъ массъ (и въ этомъ-то и будетъ великая заслуга, несомнѣнно ожидаемая отъ образованія) сознанія справедливости законныхъ требованій; но никакими усиліями, никакими софизмами не добьются никогда спокойнаго подчиненія незаконнымъ требованіямъ, безъ того, чтобъ человѣкъ не искалъ въ свою очередь вознаградить себя за это на счетъ другого, да такъ еще, чтобъ урвать при случаѣ и на запасъ. И вотъ начинается между большинствомъ круговая порука насилій и обмановъ; бѣда тому только, кто руководствуется иными правилами: онъ будетъ непремѣнно смолотъ между двумя жерновами.

Возьмемъ примѣръ: человѣкъ подряжается у казны строить домъ. Что по-настоящему онъ долженъ принять въ соображеніе? Цѣнность матеріала, работы, продолжительность затраты капитала, разумные проценты. Все производство обезпечить онъ, повидимому, требуемыми закономъ документами; но едва прикоснулся къ дѣлу, какъ и начинаются всевозможныя трибуляціи. Работники не явились вовремя; отговариваются, что ихъ гоняли туда-то и гуда; вмѣсто ихъ на-скоро нанимаются другіе, дороже. Матеріаль не доставляется — потерялъ-де лошадей, на такомъ-то нарядѣ; вмѣсто онаго покупается или самимъ подрядчикомъ, или въ счетъ его, другой матеріаль; часто вся работа останавливается. Подрядчику конечно предоставляется взыскивать съ виновныхъ, съ ихъ поручителей. Но когда еще онъ добьется до удовлетворенія? Иногда

проходить года... Да это требуетъ и расходовъ и досуга, а между тѣмъ время идетъ. Иногда кончается тѣмъ, что работа передается другому, и первый подрядчикъ терпитъ убытокъ. Впередъ наука, — говоритъ онъ: — и при слѣдующемъ подрядѣ, непременно приметъ все это въ расчетъ: и лишнюю на запасъ заготовку матеріала, и заподраженіе лишнихъ людей, и другіе извѣстные расходы, и заломить цѣну вдвое; или, если сумѣетъ поставить силу на своей сторонѣ, самъ прижметъ рабочихъ, второстепенныхъ поставщиковъ; поставитъ похуже матеріалъ, выгадывая на всемъ этомъ... Теперь возьмемъ другой примѣръ: если казна беретъ у хлѣбопашца муку не по надлежащей цѣнѣ, онъ постарается непременно уменьшить убытокъ дурнымъ качествомъ ея, подмѣсю; если будетъ затрудненіе при сдачѣ — будетъ выгода развѣ пріемщику, а провіантъ все-таки поступитъ дурной; и это неминуемо отразится на тѣхъ, кто долженъ будетъ волею и неволею употреблять его, и выразится болѣзнями и нерѣдко смертностью.

Исходя изъ подобныхъ соображеній, г. Завалишинъ не соглашается съ г. Романовымъ въ томъ, что *«край развернется быстро, если будетъ идти такъ же, какъ въ настоящее время»*, и что нужно только дать туда денегъ и людей. Напротивъ, онъ приводитъ факты, по которымъ видно, что край вовсе не такъ хорошо устроился, какъ увѣряютъ, и что денегъ и людей много потрачено, — и все понапрасну. Показанія г. Завалишина говорятъ слѣдующее: вмѣсто *одиннадцати* иностранныхъ судовъ въ маѣ, оказалось по сентябрь всего пять, и то ничтожнаго количества тоннъ. Сахаръ не только въ Иркутскѣ не продавался по 7 р. 50 коп., но и въ Благовѣщенскѣ стоилъ 14 рублей, а на устьѣ Амура — по 9 р., такъ что провозъ отъ устья до Благовѣщенска обходится едва ли не дороже, чѣмъ провозъ отъ Нижняго до Кяхты. Изъ этого г. Завалишинъ

дѣлаетъ такое сравненіе: «Съ одной стороны, сахаръ изъ Россіи, оплатившій или пошлину въ песокъ, или акцизъ въ свекловицѣ, привезенный гужомъ за 6 и болѣе тысячъ верстъ, можетъ продаваться въ Иркутскѣ по 14 р., и даже продавался по 12; а съ другой стороны — худшаго качества сахаръ, при водяной доставкѣ моремъ и по великолѣпной, не полагающей препятствій рѣкѣ, не платя ни пошлины, ни акциза, продается въ Благовѣщенскѣ по 14 р.; во сколько же онъ обошелся бы съ доставкою въ Читу и Иркутскъ? А по общему отзыву, эта часть пути — самая трудная, а потому и самая дорогая для проѣзда, тѣмъ болѣе для провоза...» Въ самомъ дѣлѣ, соображеніе это довольно занимательно. Къ сожалѣнію для панегиристовъ Амура, оно не имѣло случая подтвердиться на практикѣ, потому что, по увѣренію г. Завалишина, «не только въ Иркутскѣ, но и во всемъ Забайкальѣ, никогда не было еще, и до сихъ поръ нѣтъ привоза никакихъ капитальныхъ товаровъ по Амуру въ сколько-нибудь значительномъ количествѣ» («Вѣстн. Пром.», № 10, стр. 61). Оттого небывалой дешевизны здѣсь дѣйствительно нѣтъ; все по прежнему выписывается изъ Россіи, и какъ это ни дорого обходится, но все же дешевле, чѣмъ черезъ Амуръ.

Такимъ образомъ оказывается, что привозъ не былъ особенно обильнымъ до сихъ поръ. Остается еще торговля мѣстными произведеніями, особенно вывозъ ихъ за границу. Вѣдь и на это много рассчитывали восторженные поклонники пріобрѣтеннаго нами Амура. Но г. Завалишинъ поражаетъ ихъ и насъ такимъ плачевнымъ замѣчаніемъ: «какой ужъ тутъ отпускъ за границу, если своимъ русскимъ продаютъ сухари по 6 рублей, а свѣжее мя-

со доходить до 12 р. с. за пудъ!». Въ другой статьѣ онъ объясняетъ, что такія цѣны стояли въ зиму съ 1857 на 1858 г., по случаю потопленія казеннаго скота, и что при этомъ продавцы требовали еще отъ покупателей, чтобы тѣ на каждый фунтъ хорошаго мяса брали фунтъ дурного . . . По такимъ-то разсчетамъ и вышла торговля на Амурѣ цѣнностью въ миллионъ . . . При такихъ условіяхъ не только намъ отпустить за границу было нечего, но и самимъ-то, пожалуй, выгоднѣе было бы покупать мясо, которое бы привозилось къ устью Амура въ консервахъ изъ Англіи. А къ этому еще г. Завалишинъ прибавляетъ слѣдующія обстоятельства:

Если мука и крупа приходятъ сюда подмоченными, сушеная капуста, не тронувшись съ мѣста, оказывается съ червями, масло — съ саломъ, медъ и соль — съ водою, постное масло — вытекшимъ, солонина до отправления испорченною, такъ какая тутъ еще будетъ торговля опускная, когда частный привозъ съ избыткомъ поглощается своими требованіями, какъ свидѣлствуютъ цѣны, показывая въ то же время и дороговизну снлава (которая будетъ еще неминуемо возвышаться), — и что вы при этихъ цѣнахъ будете отпустить за границу? При томъ, отпускъ за границу требуетъ другихъ пріемовъ и привычекъ, нежели обычныя у насъ. Голодный все съѣстъ; а для заграничнаго торгоа нельзя разсчитывать на это обстоятельство: нужно нѣчто иное. А кому же неизвѣстны грязность приготовления и неаккуратность, а иногда и недобросовѣстность нашей торговли?

Остается торговля съ прибрежными жителями по Амуру, и она также нашла себѣ панегиристовъ. Нѣкто г. Паргачевскій, служившій приказчикомъ у г. Зимина и самъ для себя пріобрѣтавшій соболей въ мѣнѣ съ инородцами, увѣрялъ, что русскіе поступаютъ въ торговлѣ съ инородцами такъ благо-

родно и великодушно, какъ никогда не поступалъ ни одинъ народъ въ мірѣ: никого не обижаютъ, не обманываютъ, пріобрѣтаютъ всеобщее сочувствіе и довѣріе, и пр. Вслѣдствіе всего этого г. Паргачевскій выводитъ между прочимъ, что нужно запретить манчурамъ продавать водку. Но противъ всѣхъ такихъ увѣреній и требованій г. Завалишинъ возражаетъ вотъ что («Вѣстн. Пром.», № 10, стр. 64—65):

Во всемъ этомъ нѣтъ правды, и мы не понимаемъ, что за несчастная страсть и манера увѣрять въ невозможномъ и, въ противорѣчіе собственнымъ сужденіямъ и вопреки постоянно повторяющемуся опыту предъ глазами, утверждать, что русскіе поступаютъ иначе, особливо въ приложеніи къ настоящему случаю, видя, какой сортъ людей дѣйствуетъ въ торговыхъ и другихъ предпріятіяхъ по Амуру, гдѣ при томъ и надзоръ, и управа надъ ними почти невозможны. Да пора бы, право, обратить вниманіе и на то противорѣчіе, что, когда дѣло дойдетъ до подробнаго разбора фактовъ, то все наполнено и частными, и офиціальными даже признаніями о печальныхъ явленіяхъ по всѣмъ отраслямъ и частной, и общественной дѣятельности, до того, что мы уже хвалимся (а вѣдь все то же, все прежняя замашка всѣмъ тщеславиться!) тѣмъ, что безошадно обнажаемъ свои язвы; когда дойдетъ до непосредственнаго приложенія, до того, чтобы имѣть съ кѣмъ-нибудь дѣло, то и начальники, и частные люди объявляютъ цѣлыя сословія мошенниками, что, конечно, такъ же несправедливо, какъ и общія похвалы. А лишь коснется до общихъ обзрѣній, до возгласовъ частныхъ и офиціальныхъ, тогчасъ русскіе являются образцовыми людьми, идеалами безкорыстія, самопожертвованія, исполнтельности и пр... Итакъ, относительно утвержденій г. Паргачевского повторимъ, что, зная, какіе люди тутъ большею частью дѣйствуютъ, сразу поймешь, что должно происходить, и что есть вещи и дѣла, которыя невозможно, чтобы не происходили, что торговля должна идти средствами *per fas et nefas*... А что эти торговля продѣлки не любятъ и тутъ гласности, доказательствомъ

самъ г. Паргачевскій, который, по словамъ бывшаго его хозяина Зимина, не хотѣлъ дать отчета, какими средствами онъ, независимо отъ пріобрѣтенныхъ для хозяевъ, пріобрѣлъ и для себя соболей. Увѣренія, что русскіе вели себя будто бы примѣрно, опровергаются вполнѣ предписаніемъ начальства, предъ отпращиваніемъ въ 1857 г., гдѣ прямо говорится, что дошло до свѣдѣнія его о насиліяхъ и обманахъ, что русскіе продавали винтовки и порохъ даже и тогда, когда не извѣстно было, не употребятъ ли ихъ противъ насъ самихъ. Это не тайна, какъ и то, что торговали и служащіе, которые, какъ неплатящіе повинностей и на готовомъ содержаніи, находились, конечно, въ выгодныхъ условіяхъ для торговли, особенно подмѣнивая при томъ немножко обмана. Что пріобрѣтенные такимъ образомъ мѣха они могли продавать съ выгодною для себя и съ большею выгодною для купца, особенно, когда продавецъ голоденъ, это ясно; но вѣдь не такая торговля можетъ имѣть залогъ будущаго развитія. Что касается до желанія, чтобъ запретить *манчжурамъ* продавать водку, то послѣ всего, что печатается объ откупахъ, очень понимаемъ, что русскимъ хочется имѣть такой выгодный товаръ (кто не знаетъ, какъ вѣренъ расчетъ на слабость инородцевъ къ водкѣ и табаку?) въ своихъ рукахъ; вѣдь не для своего же употребленія перекупаютъ они сами китайскую водку у манчжурскихъ торговцевъ? Что обманывали фальшивою монетою, оловянными и патертыми ргутью рублями, — это доказываютъ слѣдственные дѣла; относительно же довѣрчивости инородцевъ къ русскимъ и скрытности противъ манчжуръ и при нихъ, это точь-въ-точь, какъ у насъ все простонародье, особенно изъ бурягъ, ни за что не станетъ говорить откровенно при русскихъ чиновникахъ, а про ихъ притѣсненія и ни при комъ, — даже о томъ, что и помимо ихъ сдѣлалось гласнымъ. А развѣ можно при томъ предположить, чтобъ съ пріамурскими инородцами русскіе обращались лучше, чѣмъ со своими?

Скептическія положенія г. Завалишина, давно уже имъ повторяемыя въ нѣсколькихъ газетахъ и журналахъ, обратили на себя нѣкоторое вниманіе хвалителей нашихъ амурскихъ успѣховъ, и вслѣд-

ствіе того, напрімѣръ въ иркутской газетѣ, появились разныя сознанія въ промахахъ и исправленія прежде сообщенныхъ извѣстій. Но все это скрашивалось тѣмъ, что, конечно, теперь еще многого нѣтъ, время еще не настало, однако скоро оно настанетъ, и настанетъ непременно, какъ только край станетъ заселяться. «Денегъ и людей!» вопіялъ г. Романовъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ». «Надо колонизировать пріамурскій край, — изъяснялъ корреспондентъ «Спб. Вѣдомостей» еще въ прошломъ году, — въ большихъ размѣрахъ распространить тутъ русское населеніе, развитъ пароходство и судоходство по Амуру, т. е. сдѣлать изъ этой рѣки то, къ чему она предназначена самою природою: быть великимъ торговымъ путемъ для Восточной Сибири... Начало всему этому — заключалъ корреспондентъ — положено уже въ предыдущіе годы»... Затѣмъ слѣдовали извѣстія, что близъ устья Амура существуетъ ужъ городъ Николаевскъ, что вездѣ строятся казачьи станицы, что много есть ужъ по Амуру зародышей будущихъ городовъ и т. п. Это, по крайней мѣрѣ, было скромно, и потому нельзя было не поддаваться нѣкоторымъ надеждамъ. Но неугомонный г. Завалишинъ разрушаетъ и эти надежды. II, что всего горестнѣе, онъ показываетъ даже, какъ и отчего эти надежды несбыточны, и показываетъ такъ ясно и просто, что и усомниться трудно. Возьмемъ изъ его статей нѣсколько фактовъ и по этой части, чтобы дополнить характеристику того, что донынѣ дѣлалось и теперь дѣлается на Амурѣ.

Начнемъ съ того, что г. Завалишинъ, вопреки всѣмъ увѣреніямъ, что народъ валомъ валить изъ Россіи на Амуръ, утверждаетъ, что добровольныхъ

переселенцевъ до сихъ поръ *никого не было*. Какъ ни неожиданно подобное утвержденіе, но ему нельзя не повѣрить уже и потому, что иркутская газета, прежде говорившая о множествѣ переселенцевъ, сама тоже созналась, что добровольныхъ переселенцевъ дѣйствительно *никого не было*, но что они *непремѣнно будутъ* . . . И то хорошо, разумѣется; но теперь дѣло не о будущемъ, дѣло въ томъ, что теперь нѣтъ переселенцевъ. Были охотники въ 1855 г.; но послѣ ихъ не нашлось, несмотря на всѣ зызовы и льготы. Г-нъ Завалишинъ самъ удивляется этому и спрашиваетъ: «Кажется, давно ли было, что Амуръ составлялъ идеалъ стремленій всего здѣшняго населенія, и когда ничего не требовали, никакихъ льготъ, кромѣ дозволенія, хотя бы безмолвнаго, — хотя бы только непрепятствованія переселяться туда? Какъ же это случилось, что въ такой короткій промежутокъ дѣло повернулось такъ, что переселеніе на Амуръ, въ повсемѣстномъ почти убѣжденіи, сдѣлалось непривлекательнымъ? . . .» И въ отвѣтъ на эти вопросы онъ рассказываетъ слѣдующую простую исторію («Вѣстн. Пром.», № 10, стр. 69—71).

Добровольныхъ переселенцевъ 1855 г. сплавили на устье Амура, сказавъ имъ, что ихъ поселятъ близко: въ надеждѣ на это, зажиточные взяли съ собою много хлѣба и другихъ хозяйственныхъ предметовъ, и пригнали много скота, какъ *вдругъ имъ объявили, что они могутъ взять только небольшое, определенное количество всего*. Такимъ образомъ, тотъ, кто не имѣлъ провожавшихъ его родныхъ или знакомыхъ, съ кѣмъ могъ бы отослать излишнее, — чего не позволяли взять, бросили даромъ, или продали за безцѣнокъ кущамъ, особенно скотъ (по причинѣ страшной дороговизны прокорма около Шилкинскаго завода); а тѣ, разумѣется, перепродали, при слу-

чаѣ, и даже въ казну, съ огромнымъ барышемъ. И вышло то, что этотъ образъ дѣйствія доставилъ выгоду, конечно, однимъ спекулянтамъ-кушамъ, а на переселенцевъ пали все невыгоды. Надо сказать, что *такія же точно послѣдствія имѣли и все другія распоряженія, предпринятые будто бы для пользы края и улучшенія участи низшаго класса.* Оттого-то онъ и недовѣрчивъ къ подобнымъ обѣщаніямъ, и ничто его такъ не пугаетъ, какъ перемѣны, о которыхъ говорятъ ему, что для него онѣ къ лучшему. Настоящее положеніе добровольныхъ поселенцевъ на устьѣ Амура вотъ каково: можетъ быть, что они разъѣзжаютъ зимою съ колокольчиками и бубенчиками, да въ этомъ ли дѣло и желательный успѣхъ? На четвертый годъ пребыванія своего на мѣстѣ они не довели хлѣбопашества до *одной* еще десятины на ревизскую душу, оставались долѣе двухъ лѣтъ на казенномъ продовольствіи и задолжали въ казну. *Вотъ и говорятъ теперь, что они лѣнтяи, что нужны имъ строгости;* но извѣстно, что это средство — рѣшительно бесполезно.

Разумѣется, что послѣ этого нельзя было ожидать болѣе добровольныхъ переселенцевъ, особенно когда и послѣ нія извѣстія отъ выходившихъ съ Амура не были въ пользу переселенія. Какъ о характеристическомъ явленіи, упомянемъ о томъ, что нѣкоторые отставные нижніе чины, ные семейные, *вышли оттуда;* а какъ бы, казалось, не остаться на томъ привольѣ, которое, какъ увѣряютъ, существуетъ тамъ для нихъ, особенно когда уже разъ были на мѣстѣ?

Между казаками также не нашлось добровольныхъ переселенцевъ; вотъ и стали переселять казаковъ — конныхъ по наряду и выбору, пѣшихъ, — по жребію. Были правда, между казаками такъ называемые добровольно будто бы идущіе за другихъ; но это былъ только скрытый наемъ. *Такъ какъ открытый наемъ не допускался, то наемники объявляли, что идетъ за такого-то добровольно.* Но и тутъ, несмотря на то, что брали иногда огромную плату, эти наемщики были преимущественно изъ такихъ, которымъ или не при чемъ оставаться, или семья раздѣлялась такъ, что ни отправляющейся, ни остающейся части хозяйствовать было невозможно, или, наконецъ, ихъ побуждала крайняя нужда въ деньгахъ. Что же касается

до добровольныхъ изъ другого званія, въ небольшомъ числѣ (изъ расформированнаго гарнизоннаго полубаталіона), то это *исключительные случаи, объясняемые положеніемъ, въ какомъ они находились.*

Предполагаюгь еще одно средство: приглашать на Амуръ съ безвыгодныхъ или менѣе выгодныхъ мѣстъ. Но, во-первыхъ, гдѣ нѣтъ естественнаго добровольнаго предпочтенія, тамъ всѣ приманки льготами, вспомоцествованіями отъ театровъ, концертовъ и пр. искусственныя средства — капля въ морѣ; во-вторыхъ, по нашему убѣжденію, это очень вредно для будущаго, когда все же, рано или поздно, придется опять заселять и эти мѣста: вѣдь нельзя же, ради неимѣнія кѣмъ заселить одно мѣсто, превращать другія промежуточныя въ пустыни, да еще искусственными средствами. Хорошо и то, что люди сами живутъ тутъ и хотятъ жить, потому что, какъ бы худо мѣсто ни было, но кто прижился на немъ, тѣхъ удержать болѣе причинъ и легче, нежели водворять новыхъ.

Наконецъ, чтобы найми благовидный предлогъ выселить кого-нибудь на Амуръ, не выказывая прямого насилія, *прибѣгаютъ къ выселенію разбросанныхъ между государственными крестьянами чрезполосно казаковъ, подъ предлогомъ уничтоженія чрезполосности и сокращенія разстоянія.* Но зачѣмъ же не сдѣлали этого при образованіи войска? и за что эти люди будутъ отвѣчать за чужія ошибки? Мы давно, еще съ 1834 г., настойчиво обращали на это вниманіе. При обращеніи горныхъ крестьянъ въ пѣшіе казаки былъ самый благопріятный случай сдѣлать размѣнъ съ общими государственными крестьянами, какъ для уничтоженія чрезполосности, такъ и для сокращенія протяженія въ предѣлы соразмѣрности, чтобы сдѣлать возможнымъ доброе управленіе, а то десятый батальонъ, въ одну линію, протянуть слишкомъ на 300 верстъ. Тогда не сдѣлали этого, по доводамъ неосновательнымъ, а теперь выселяютъ для этого цѣлыя селенія!

Такимъ образомъ и принудительныя переселенія были очень слабы и только разстраидали экономію тѣхъ мѣстъ, откуда выселялся народъ. У казаковъ, которыхъ стали переселять по жеребью,

первымъ слѣдствіемъ этого была небрежность обработки своей земли и весьма естественное стараніе заблаговременно сократить свое хозяйство. А между тѣмъ новымъ переселенцамъ бѣсть было нечего. Въ 1857 г. хотѣли переселить на Амуръ цѣлую пѣшую казачью бригаду; 500 семействъ было переселено; но затѣмъ переселеніе вдругъ остановилось, по увѣренію корреспондента «Спб. Вѣдомостей» — *вслѣдствіе неопредѣленности нашихъ отношеній къ Китаю*. Но переселеніе началось раньше, чѣмъ получено извѣстіе о заключеніи айгунскаго трактата; когда же отношенія были болѣе неопредѣленны, — до трактата или *послѣ* него? . . . Настоящая причина остановки переселенія 3,500 семействъ, уже опредѣленныхъ жребіемъ и разстроившихъ свое хозяйство, заключалась въ томъ, что *хлѣба не было*; оттого и объявили, чтобы шли только тѣ, кто можетъ идти на *своемъ содержаніи*, а прочіе могутъ оставаться. Но это объявлено было уже въ августѣ, когда здѣсь только доканчиваютъ сѣно и убираютъ хлѣбъ; подъ паръ землю парятъ и поднимаютъ залежи къ слѣдующему году гораздо ранѣе лѣтомъ, и естественно, что всѣ назначенные жребіемъ къ переселенію ничего этого не дѣлали . . . Въ августѣ поправляться было уже нѣсколько поздно . . .

Участь переселенцевъ вообще была незавѣдна. Несмотря на увѣренія г. Романова, что «страну усиѣли и умѣли обезпечить продовольствіемъ, какъ это было всегда, а служащихъ въ ней — теплымъ и удобнымъ помѣщеніемъ», — оказывается, что и продовольствіе, и помѣщенія были въ положеніи весьма печальномъ. Смертность была очень велика: много казаковъ погибло на сплавкѣ 1857 г., много другихъ — при приготовленіи къ ней, когда,

по неимѣнію хотъ бы временной казармы при амурскихъ магазинахъ, на Ингодѣ, люди жили въ землянкахъ и больные не вмѣщались въ занимаемыхъ подъ лазареты домахъ. Хотя всѣ отряды едва ли доходили до 500 человѣкъ, число больныхъ доходило до 100, а смертность въ мѣсяць — до 15 человѣкъ («Морск. Сб.», № 7, стр. 52). Относительно помѣщеній для поселенцевъ г. Завалишинъ рѣшительно несогласенъ съ отрадными извѣстіями, которыя сообщались въ газетахъ. Писали, что въ Благовѣщенскѣ строится церковь, построено нѣсколько десятковъ домовъ; г. Завалишинъ увѣряетъ, что церковь не строится, а развѣ только что, можетъ быть, заложена; дома же въ сущности—не что иное какъ «мазанки въ одинъ плетень, поздно обмазанныя и потому зимою сырыя и холодныя, — отчего болѣзни и ихъ послѣдствія». Писали, что на Амурѣ станицы строятся; г. Завалишинъ говоритъ, что дѣйствительно строятся, но уже и переносятся на другія мѣста, не успѣвъ отстроиться; планы, судя по рисунку, — однообразны и неудобны («Морск. Сб.», № 5 и 7). Вообще хозяйственныя распоряженія въ томъ краѣ характеризуются, между прочимъ, слѣдующими эпизодами, рассказанными г. Завалишинымъ:

Мы остановились на причинахъ разстройства хозяйства, особенно у казаковъ. Первое отягощеніе составили штабныя постройки. Прежніе казаки имѣли значительный капиталъ, который преимущественно и поглощенъ постройками. Ихъ предназначено было окончить въ три года, и аргументъ, который тогда приводили въ причину такой поспѣшности, такъ страненъ, что не знаешь, что и думать. Чтобы понять, во что обошлась дѣйствительная стоимость этихъ построекъ, достаточно сказать, что чиновникъ осо

быхъ порученій при миѣ докладывалъ, что за бревно, за которое казна платила 15 коп., давали въ нѣкоторыхъ мѣстахъ по нѣскольку пудовъ хлѣба, стоявшаго тогда въ дорогой цѣнѣ; въ другихъ возили бревно по нѣскольку десятковъ верстъ, и оно обходилось по 1 р. 50 к. с. и дороже; къ тому же все передѣлки, неизбѣжныя при торопливомъ, ошибочномъ и неискусномъ веденіи работъ, разумѣется, не входили въ смѣту.

Несмотря на такую торопливость и такіе убытки казакамъ, постройки эти не достигли вполнѣ цѣли (такъ, напр., въ госпиталѣ 2-й бригады нельзя было держать зимою больных) и оставлены недокопченными; слѣдовательно, оказались не такъ необходимы, какъ говорили, по меньшей мѣрѣ — не такъ къ спѣху. Нынѣ одинъ изъ нихъ, какъ штабъ 4-го батальона и госпиталь 1-й бригады, истреблены огнемъ; другія, какъ 12-го батальона, сплавлены на Амуръ, чтобы извлечь изъ нихъ какую-нибудь пользу; предполагалось то же и со всеми зданіями штаба 2-й бригады. [„Морск. Сборн.“, № 7, стр. 64.] Остается разсмотрѣть обычныя жалобы на недостатки будто бы средствъ. Но если разсмотрѣть все средства — и гласныя, и негласныя, — то окажется, что средства были огромныя. Путь реквизицій, раскладокъ, нарядовъ, произвольныхъ цѣнъ за продукты и работу, — такой скользкій и покатистый путь, что разъ вступившему на него уже нѣтъ возврата, и движеніе будетъ все ускоряться на пути къ пропасти. Г-нъ министръ внутреннихъ дѣлъ говоритъ, что эти средства не только разорительны для народа, но и невыгодны для казны; но кто самъ не слѣдитъ за дѣйствительными случаями, тотъ и вообразить себѣ не можетъ, во что обращается это, повидимому, легкое для начальства, распоряженіе средствами въ послѣднихъ инстанціяхъ. Каковое бываетъ конечное употребленіе такихъ легко добытыхъ средствъ, приведемъ два примѣра, лично нами провѣренныхъ. При провозѣ пороха нарядомъ (это еще за прогоны), здѣсь, въ мѣстѣ главнаго начальства, собирали подводы для одного транспорта по шести дней сряду, послѣ опредѣеннаго дня, не считая запреценія отлучаться изъ селенія до того времени. Само собою разумѣется, что прогоны, платимые за нѣсколько часовъ проѣзда, не могли окупить потери нѣсколькихъ дней. И потомъ этотъ порохъ, стоившій казны — по рас-

цѣнокъ того, что она платила, — слишкомъ по двадцати рублей пудъ, вдругъ утопили, еще до отправления, въ Шилкинскомъ заводѣ, въ количествѣ до двухъ тысячъ пудовъ. Другое обстоятельство: когда добудутъ матеріалъ, работу, провозъ, далеко ниже дѣйствительной ихъ стоимости, говорятъ, что обошлось дешево, и потому изъ остаточныхъ суммъ даютъ награды людямъ, которымъ уже никакъ нельзя пожаловаться на скудость содержанія. Я бы почелъ это за клевету, если бы лично не слышалъ о томъ отъ самихъ, получавшихъ подобное награжденіе. [„Вѣстн. Пром.“, № 10, стр. 77.]

Вслѣдствіе всѣхъ фактовъ и соображеній, представленныхъ г. Завалишинымъ, являются слѣдующіе выводы о нашихъ прогрессахъ на Амурѣ:

1) Правильнаго сообщенія по Амуру нѣтъ еще ни лѣтомъ, ни зимою, и для желѣзной дороги нѣтъ никакихъ условій.

2) Торговли въ настоящемъ смыслѣ нѣтъ — ни русской, ни иностранной; приходъ иностранныхъ судовъ ничтоженъ.

3) Добровольнаго движенія для заселенія Амура нѣтъ.

4) Средства были, и средства огромныя; но растрачены не такъ, какъ слѣдовало, вслѣдствіе чего до сихъ поръ Россія должна была тратиться для Амура, а не Амуръ приносить пользу Россіи.

А окончательный выводъ изъ всего этого — прямо противоположенъ выводамъ, сдѣланнымъ г. Романовымъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ». Г-нъ Романовъ говоритъ: «край развернется быстро, если будетъ идти впередъ такъ же, какъ идетъ въ настоящее время». Г-нъ Завалишинъ утверждаетъ, напротивъ: «край можетъ развернуться только при условіи — если переменятъ путь, по которому до сихъ

поръ шли; иначе эта быстрота только пособить быстрѣе скатиться въ пропасть» («Вѣстн. Пром.», стр. 83).

Таковы два противоположныя воззрѣнія на существующее значеніе нашихъ поселеній на Амурѣ и нашихъ дѣйствій въ этомъ краѣ. Мы представляемъ ихъ читателямъ не съ тѣмъ, чтобы бросить тѣнь на самое пріобрѣтеніе Амура. Вовсе нѣтъ: пріобрѣтеніе останется пріобрѣтеніемъ и будетъ имѣть свою историческую цѣну. Но всякій согласится, что главное дѣло не въ самыхъ земляхъ, а въ томъ, чтобы ими воспользоваться. И въ этомъ-то отношеніи важно всякое указаніе сдѣланныхъ ошибокъ, всякое добросовѣстное разрушеніе несбыточныхъ надеждъ и преувеличенныхъ восторговъ... Можетъ быть, самъ г. Завалишинъ ошибается въ нѣкоторыхъ случаяхъ, и даже иногда преувеличиваетъ дѣло; но намъ кажется, что въ вопросахъ подобнаго рода, какъ вопросъ о заселеніи и значеніи Амура, гораздо лучше преувеличенная осторожность, нежели преувеличенная довѣрчивость. При томъ для людей, знакомыхъ съ общимъ порядкомъ дѣлъ въ нашемъ любезномъ отечествѣ, не можетъ быть ничего особенно страннаго и непонятнаго въ разсказахъ г. Завалишина. Очень нерѣдко мы видимъ, какъ частныя корыстные расчеты, небрежность, невѣжество или недобросовѣстность обращаютъ въ ничто и даже дѣлаютъ вредными самыя полезныя начинанія. Въ прошломъ мѣсяцѣ мы говорили о томъ, что производила, въ теченіе многихъ лѣтъ, неудовлетворительная администрація на Кавказѣ. Теперь намъ представился случай заговорить объ Амурѣ, и тутъ мы нашли печатно-оглашенныя свѣдѣнія о разныхъ распоряже-

ніяхъ низшей администраціи, вредныхъ для развитія края... Какъ и чѣмъ это поправить, и когда это можетъ быть поправлено,—мы не можемъ ничего сказать. Замѣтимъ только, что мы вовсе не хотимъ обвинять отдѣльныя лица и сваливать все на ихъ личные недостатки; это было бы съ нашей стороны очень опрометчиво. Мы очень хорошо понимаемъ, что гдѣ тотъ или другой недостатокъ восходитъ на степень общаго явленія, тамъ нужно искать причинъ его уже не въ свойствахъ того или другого лица, а гораздо глубже, — въ самомъ общественномъ порядкѣ . . .

Скажемъ, въ заключеніе, что г. Маакъ обѣщаетъ, въ предисловіи къ своей книгѣ, отправиться вскорѣ во вторую экспедицію на Амуръ. Точность и добросовѣстность его нынѣшнихъ замѣтокъ внушаютъ къ нему довѣріе, и мы не можемъ не пожелать, чтобъ онъ теперь былъ самостоятельнѣе въ своихъ дѣйствіяхъ, нежели въ первую экспедицію: тогда онъ, можетъ быть, представитъ намъ довольно обстоятельную и точную картину края и разрѣшитъ хоть отчасти ту путаницу, которая до сихъ поръ существуетъ у насъ въ свѣдѣніяхъ о нашемъ положеніи на Амурѣ.

„Современникъ“ 1860 г.

Повѣсти и рассказы С. Т. Славутинскаго.

Москва. 1860.

Лѣтъ семь тому назадъ была большая мода на повѣсти изъ простонароднаго быта, и по этому случаю глубокихъ критиковъ нашихъ занималъ тогда вопросъ: «можетъ ли простонародная жизнь быть введена собственно въ литературу, безъ всякаго ущерба для истины, цвѣта и значенія своего?» Одинъ изъ глубокомысленнѣйшихъ тогдашнихъ критиковъ рѣшилъ этотъ вопросъ отрицательно, на томъ основаніи, что «искусство имѣетъ свои неизбѣжные правила, сохраненіе которыхъ рядомъ съ случайнымъ, жесткимъ ходомъ жизни — невозможно; ибо какая есть возможность произвести эстетическій эффектъ и въ то же время цѣликомъ выставить быть, мало подчиняющійся вообще эффекту?» Воззрѣніе это до сихъ поръ тайкомъ сохраняется нѣкоторыми, и еще недавно выразилось, напр., осужденіемъ всѣхъ комедій Островскаго, какъ противныхъ условіямъ искусства и слишкомъ ужъ близкихъ къ жизни. Любопытствующіе могутъ еще долго, вѣроятно, любоваться, какъ это воззрѣніе черезъ неправильные промежутки продолжаетъ прорываться грязнымъ вулканомъ въ «Нашемъ

Времени». Но что странно до неприличія въ наше время, то было очень простительно семь лѣтъ тому назадъ, и мы вполне оправдываемъ глубоко-мысленнаго критика, вспомнивши о его затруднительномъ положеніи въ виду престопа народныхъ разсказовъ того времени.

Нужно вамъ сказать о происхожденіи тогдашней страсти къ подобнымъ разсказамъ, чтобы вы удобнѣе могли понять, почему мы критика считаемъ правымъ и даже весьма проницательнымъ въ этомъ случаѣ.

Семь лѣтъ тому назадъ о крестьянскомъ вопросѣ не было и помину, слѣдовательно разсказы о жизни крестьянъ (разумѣется, безъ всякаго отношенія къ ихъ юридическимъ правамъ или, правильнѣе сказать, обязанностямъ) никому не могли задѣвать за живое, никому не досаждали. А все другое въ то время казалось очень сомнительнымъ и встрѣчалось съ большимъ недоброжелательствомъ извѣстною частью публики, отъ которой преимущественно зависитъ процвѣтаніе русской литературы. Чтобы никому не раздражать, русскіе писатели изобрѣли было тогда особенный какой-то, даже не *средній*, а скорѣе общій родъ людей, которыхъ званіе, общественное значеніе, сословныя отношенія и проч. — оставлялись на догадку читателя, а изображалось только любящее сердце и мечтательное воображеніе. Но и тутъ выходила часто неудача. Изображенъ, наприимѣръ, въ повѣсти герой совершенно безъ всякаго знанія, и такъ искусно, что слѣдовъ нельзя найти: непомнящій родства, да и только. Но вздумается же автору замѣтить въ одномъ мѣстѣ, что герой крутилъ себѣ усъ; а въ другомъ мѣстѣ сказано, что онъ въ

танцахъ платьѣ у дамы оборвалъ: сейчасъ же офицеры и раздражаются, — мундиръ, дескать, нашъ мараютъ. И неосторожный авторъ наживаетъ хлопотъ... Въ этой-то крайности и рѣшились наконецъ къ мужикамъ обратиться; тѣхъ, дескать, какъ хочешь описывай: они не прочитаютъ, а кто прочитаетъ, такъ тотъ не обидится и на свой счетъ не приметъ. За то ужъ и досталось же бѣднымъ мужичкамъ! За нѣсколькими писателями, дѣйствительно наблюдавшими народную жизнь, потянулись цѣлыя толпы такихъ сочинителей, которымъ до народа и дѣла-то никогда не было, и думушки-то о немъ въ голову не приходило, а теперь довелось писать о немъ. Говорятъ, въ то время «Сказанія русскаго народа» Сахарова и «Пословицы» Снегирева поднялись въ цѣнѣ, и даже «Быта русскаго народа» Терещенка разошлось нѣсколько экземпляровъ. Съ помощью такихъ источниковъ, изъ русскаго народнаго быта стали отхватывать драматическія представленія на манеръ пословицъ Альфреда Мюссе, и разсказы въ самомъ безпримѣрномъ родѣ. Тогда-то обратили на себя общее вниманіе гг. Данковскій, Лазаревскій, Мартыновъ и многіе имъ подобные. Тогда-то г. Потѣхинъ сочинилъ «Крестьяночку», г. Михайловъ «Ау» и «Африкана», г. Меі — «Кирилыча», тогда-то принялись за изображеніе простаго быта даже такіе писатели, которые до того были насквозь пропитаны духомъ классической древности или полусвѣтскихъ салоновъ: такъ, г. Майковъ произвелъ тогда «Дурочку Дуню», а г. Авдѣевъ ухитрился изобрѣсть «Огненнаго змія». Словомъ — простонародная повѣсть точно такъ же обуяла тогда литературу, какъ въ 1856 и слѣдующихъ годахъ обличительные разска-

зы о взяточникахъ. Но разница была въ томъ, что крестьянскія повѣсти были на столько же деликатны, насколько обличенія невѣжливы.

Къ мужикамъ тогда приступали съ тою же манерою, какъ и ко всѣмъ другимъ членамъ общества, т. е. заставляли ихъ постоянно прикидываться непомнящими родства. Какъ мужикъ съ своей деревней связанъ, кѣмъ управляется, какія повинности несетъ, чей онъ и какъ съ бариномъ, съ управляющимъ, съ окружнымъ или исправникомъ вѣдается — это вы могли открыть весьма въ рѣдкихъ случаяхъ, — именно, когда попадался вамъ идеальный управляющій, какъ въ «Крестьянкѣ», или идеальный исправникъ, какъ въ «Лѣшемъ», наприкладъ... Житейская сторона обыкновенно пренебрегалась тогда повѣствователями, а бралось, безъ дальнихъ справокъ, сердце человѣческое, и такъ какъ для него ни чиновъ, ни богатствъ не существуетъ, то и изображалась его чувствительность у крестьянъ и крестьянокъ. Обыкновенно герои и героини простонародныхъ разсказовъ сгарали отъ пламенной любви, мучились сомнѣніями, разочаровывались — совершенно такъ же, какъ «Тамаринъ» г. Авдѣева или «Русскій черкесь» г. Дружинина. Разница вся состояла въ томъ, что вмѣсто: «я тебя страстно люблю; въ это мгновеніе я радъ отдать за тебя жизнь мою», они говорили: «я тея страхъ какъ люблю; я таперича за тея жисть готовъ отдать». А впрочемъ все обстояло какъ слѣдуетъ быть въ благовоспитанномъ обществѣ: у г. Писемскаго одна Марфуша даже въ монастырь отъ любви ушла, не хуже Лизы «Дворянскаго гнѣзда».

Въ виду такихъ-то данныхъ вышеупомянутый

критикъ и произнесъ свое рѣшительное сужденіе о невозможности примирить истину простонароднаго быта съ *незыблемыми* законами искусства. И дѣйствительно: законы искусства требуютъ, чтобы въ повѣсти или драмѣ строго и естественно развивалось содержаніе само изъ себя и представляло внутреннюю борьбу въ человѣкѣ какихъ-нибудь двухъ началъ; а жизнь нашихъ мужиковъ совершенно зависитъ отъ случайностей разнаго рода — отъ наѣзда станового, отъ расположенія духа управляющаго, отъ болѣзни барской собаки или лошади, отъ нетрезвости земскаго и т. п., и кромѣ того — внутренней борьбы въ нихъ никакой нѣтъ, потому что они, видите ли, «находятся еще въ первобытной непосредственности». Что прикажете дѣлать искусству въ такомъ затруднительномъ случаѣ? Семь лѣтъ тому назадъ, проищательный критикъ не могъ придумать другого разрѣшенія, какъ: отказаться искусству отъ полного воспроизведенія дѣйствительности простонароднаго быта.

Но повернулось дѣло иначе. Пряничныя и кукольныя фигуры мнимо-русскихъ людей, произведенныя по нуждѣ тароватыми мастерами, тотчасъ же брошены и забыты, какъ только явилась возможность смѣлѣе заглядывать въ другія сферы общества, болѣе знакомыя пишущему сословію и болѣе близкія читающей публикѣ. Пошли изображать чиновниковъ, офицеровъ, откупщиковъ, помещиковъ, и крестьяне стали являться въ повѣстяхъ только уже по своимъ отношеніямъ къ этимъ сословіямъ. Но въ это самое время, когда повѣствователи всего менѣе заботились о мужикѣ, и подошла незамѣтно пора настоящихъ рассказовъ изъ народной жизни.

Крестьянскій вопросъ заставилъ всѣхъ обратить вниманіе на отношеніе помѣщиковъ и крестьянъ. Литература хотѣла тотчасъ принять посильное участіе въ разрѣшеніи вопроса, и между прочимъ принялась было за путь беллетристической обработки существующихъ фактовъ. Но вскорѣ было соображено, что въ минуту серьезнаго и мирнаго разсужденія о дѣлѣ не деликатно болтать о фактахъ, выставляющихъ одну сторону въ нехорошемъ видѣ и могущихъ раздражать ее напоминаніями прошлаго, которое должно уже скоро кончиться. Итакъ, этотъ предметъ былъ беллетристикою оставленъ въ покоѣ; но не могла быть оставлена безъ вниманія жизнь крестьянъ и существующія условія быта ихъ. Разъясненіе этого дѣла стало уже не игрушкой, не литературной прихотью, а настоятельною потребностью времени. Безъ всякаго шума и грома, безъ особенныхъ новыхъ открытій, взглядъ общества на народъ сталъ серьезнѣе и осмыслился нѣсколько, просто отъ предчувствія той дѣятельной роли, которая готовится народу въ весьма недалекомъ будущемъ. вмѣстѣ съ тѣмъ появились и рассказы изъ народнаго быта, совершенно уже въ другомъ родѣ, нежели какіе являлись прежде. До сихъ поръ ихъ явилось еще очень немного, и къ числу этихъ немногихъ принадлежатъ рассказы г. Славутинскаго, на которые мы хотимъ теперь обратить вниманіе нашихъ читателей.

Г-нъ Славутинскій не возвышается надъ многими изъ предшествовавшихъ простонародныхъ рассказчиковъ — силою художественнаго таланта, а нѣкоторымъ изъ нихъ уступаетъ. Но преимущество его заключается въ другомъ, именно въ самомъ отношеніи его къ предмету, за который онъ берется.

Здѣсь имѣетъ онъ ту особенность, что говоритъ постоянно такъ, какъ взрослый человѣкъ долженъ говорить со взрослыми людьми о серьезномъ дѣлѣ. Онъ не подлаживается ни къ читателямъ, ни къ народу, не старается, примѣняясь къ нашимъ понятіямъ, смягчить передъ нами грубый колоритъ крестьянской жизни, не усиливается непременно создавать идеальныя лица изъ простаго быта. Онъ не считаетъ нужнымъ и щегольнуть сочувствіемъ къ простому классу, которое съ такимъ самодовольствомъ старались выставить на показъ нѣкоторые изъ прежнихъ, даже талантливыхъ писателей: «вотъ, молъ, я какой добрый, — какъ снисходительно мужиковъ расписываю; а стоятъ ли они этого?» Напротивъ, г. Славутинскій обходится съ крестьянскимъ міромъ довольно строго: онъ не щадитъ красокъ для изображенія дурныхъ сторонъ его, не прячетъ подробностей, свидѣтельствующихъ о томъ, какія грубыя и сильныя препятствія часто встрѣчаетъ въ немъ доброе намѣреніе или полезное предпріятіе. Но несмотря на это, признаемся, рассказы г. Славутинскаго гораздо болѣе возбуждаютъ въ насъ уваженіе и сочувствіе къ народу, нежели всѣ приторныя идилліи прежнихъ рассказчиковъ. Тѣ, бывало, смотря на народъ съ высоты своего величія, великодушно старались обойти его недостатки и выставить только хорошія стороны; они рассчитывали возбудить въ читателяхъ сожалѣніе, благосклонность къ низшему сословію, а трактовали его съ тою обидной ласковостью, которая обыкновенно происходитъ отъ увѣренности въ неизмѣримомъ превосходствѣ собственномъ. Такъ обращаются иногда съ маленькими дѣтьми, больными, сумасшедшими: оставляютъ ихъ говорить и дѣлать

глупости, капризничать, спорить, соглашаются съ ними для виду, даже въ нѣкоторыхъ случаяхъ подчиняются ихъ требованіямъ . . . Такое обращеніе бываетъ впрочемъ ужасно обидно для дѣтей, начинающихъ приходить въ сознаніе, и для здоровыхъ людей, которыхъ другіе считаютъ больными или поврежденными и потому не хотятъ принимать серьезно. Не особенно пріятно было и подобное отношеніе писателей къ народу для людей, дѣйствительно сочувствовавшихъ ему и понимавшихъ его жизнь. Оттого-то и пріятно видѣть то мужественное, прямое и строгое воззрѣніе на простой народъ, какое выражается въ разсказахъ г. Славутинскаго. Онъ говоритъ о мужикѣ просто какъ о своемъ братѣ: вотъ, говоритъ, онъ каковъ, вотъ къ чему способенъ, а вотъ чего въ немъ нѣтъ, и вотъ что съ нимъ случается, и почему. Читая такой разсказъ, и дѣйствительно становись въ уровень съ этими людьми, входишь въ ихъ обстоятельства, начинаешь жить ихъ жизнью, понимать естественность и законность тѣхъ или другихъ поступковъ, разсказываемыхъ авторомъ. И несмотря на то, что многое признаешь въ нихъ грубымъ и неправильнымъ, все-таки начинаешь болѣе цѣнить этихъ людей, нежели по прежнимъ, сахарнымъ разсказамъ: тамъ было высокомѣрное снисхожденіе, а здѣсь вѣра въ народъ. Такъ обыкновенно стараются расхваливать пріятеля, котораго считаютъ ниже себя и которому нужно еще составить репутацію; но человѣка, котораго вы признаете равнымъ вамъ и котораго значеніе и извѣстность уже утверждены, вы разбираете спокойно, смѣло и безпристрастно.

Впрочемъ притворное любезничанье съ народомъ

и насильная идеализація происходили у прежнихъ писателей часто и не отъ пренебреженія къ народу, а просто отъ незнанія или непониманія его. Виѣшняя обстановка быта, формальныя обрядовыя проявленія нравовъ, обороты языка доступны были этимъ писателямъ, и многимъ давались довольно легко. Но внутренній смыслъ и строй всей крестьянской жизни, особый складъ мысли простолюдина, особенности его міросозерцанія — оставались для нихъ по большей части закрытыми. Вотъ отчего нерѣдко писатели, даже хорошо изучившіе народную жизнь, вдругъ переносили въ нее отвлеченную идею, зародившуюся въ ихъ головѣ и обязанную своимъ началомъ вовсе не народному быту, а тому кругу, въ которомъ жили сами писатели. Выходила *народность* въ томъ же родѣ, какая была въ народныхъ пѣсняхъ, сочиненныхъ Нелединскимъ-Мелецкимъ и Дельвигомъ. Въ ихъ время было въ употребленіи нѣжное воркованье любящихся и томная задумчивость; цѣликомъ перешло это и въ народныя пѣсни, въ которыхъ красная дѣвица по цѣлымъ днямъ сидитъ въ грусти на бережку, поджидаячи милаго, а добрый молодецъ, котораго «погубили злые толки», хочетъ отъ нихъ въ лѣсъ бѣжать. Авторы, очевидно, не предполагали, что у красной дѣвицы есть работа дома либо на полѣ, и что если молодецъ убѣжитъ въ лѣсъ, то его поймають, и съ нимъ поступлено будетъ какъ съ бродягою. Подобнымъ образомъ, въ эпоху появленія простонародныхъ повѣстей было въ ходу «постановленіе собственнаго я въ разрѣзъ съ окружающей дѣйствительностью» и анализъ тонкихъ душевныхъ ощущеній; то же самое пошло и въ повѣстяхъ простонародныхъ: большею частью

брался простолюдинъ или простая женщина, какъ-нибудь напитавшіеся не тѣми понятіями, которыя господствуютъ въ окружающей ихъ средѣ, и затѣмъ онъ или она начинаютъ страдать и анализировать себя или предоставляютъ анализъ самому автору; поводомъ къ страданію обыкновенно служить любовь къ неровнѣ, и тутъ уже романтизмъ въ полномъ ходу. Все это теперь представляется очень забавнымъ, но въ то время читалось и даже правилось, потому что скрашивалось талантливymъ изложеніемъ и вѣрно-скопированными подробностями виѣшней обстановки. Дѣйствительно, талантъ и наблюдательность авторовъ поражали читателей до того, что искусственность и натянутость общей постройки повѣсти рѣдко кому были въ глаза. Но при этой натянутости, сдѣлавшейся общимъ свойствомъ простонародныхъ повѣстей тогдашнихъ, онѣ никакъ не могли пріобрѣсти прочнаго значенія. Натянутость эта происходила — частью отъ робости авторовъ, боявшихся выставять цѣликомъ всю жизнь простонародья, какъ она есть, частью же прямо отъ непониманія внутренняго смысла этой жизни и ея отношеній ко всѣмъ другимъ явленіямъ русскаго быта. Поэтому только съ обращеніемъ большаго вниманія на всѣ стороны быта низшихъ классовъ и съ уясненіемъ ихъ значенія въ государственной жизни народа возможно было ожидать болѣе полного и жизненнаго, естественнаго воспроизведенія народнаго быта въ литературѣ. Теперь время подошло къ этому, и начатки такого воспроизведенія мы видимъ въ разсказахъ г. Славутинскаго.

Въ повѣстяхъ его мы видимъ не отрывочное знаніе той или другой особенности жизни, — какого-

нибудь обряда, обычая, примѣты, причитанья или поговорки; нѣтъ, въ нихъ находимъ мы полный пересказъ наблюденій надъ цѣлымъ строемъ жизни, и кромѣ того пониманіе ея сокровенныхъ тенденцій и принциповъ, нигдѣ и никѣмъ невысказанныхъ, но постоянно проявляющихся на дѣлѣ. Этимъ пониманіемъ сущности дѣла, а не одной его внѣшности, особенно силенъ г. Славутинскій. Оно придаетъ ему то спокойствіе и увѣренность, съ которыми онъ всегда ведетъ свой рассказъ; видно, что предметъ, за который онъ взялся, вполне находится въ его распоряженіи. Владѣя такими данными, человѣкъ съ сильнымъ поэтическимъ характеромъ могъ бы, конечно, создать художественное цѣлое, могъ бы дать прочную, типическую жизнь лицамъ, которыхъ выводить, могъ бы сдѣлать свои повѣсти настолько выше предшествовавшихъ попытокъ, насколько нѣсни Кольцова выше романсовъ Дельвига и Мелецкаго. Но для этого, кромѣ знанія и вѣрнаго взгляда, кромѣ таланта рассказчика, нужно еще многое другое; нужно не только знать, но глубоко и сильно самому почувствовать, пережить эту жизнь, нужно быть кровно-связаннымъ съ этими людьми, нужно самому нѣкоторое время смотрѣть ихъ глазами, думать ихъ головой, желать ихъ волей; надо войти въ ихъ кожу и въ ихъ душу. Для всего этого человѣку, который не вышелъ дѣйствительно изъ среды ихъ, нужно имѣть въ весьма значительной степени даръ — примѣривать на себѣ всякое положеніе, всякое чувство и въ то же время умѣть представить, какъ оно проявится въ личности другого темперамента и характера, — даръ, составляющій достояніе натуръ истинно художественныхъ и уже незамѣнимый никакимъ знаніемъ.

Взамыгъ этого исключительнаго дара, мы находимъ у г. Славутинскаго вѣрный тактъ дѣйствительности, помогающій ему очень легко и искусно выбирать и располагать отдѣльныя черты его разсказовъ. Руководясь этимъ тактомъ, онъ не позволяетъ себѣ ни малѣйшей фальши въ представленіи дѣйствительности, и съ помощью его же приходитъ иногда къ такимъ идеальнымъ чертамъ, даваемыхъ самою жизнью, какихъ никогда не могли придумать прежніе, салонно-простонародные разсказчики наши.

Мы, противъ обыкновенія нашего, говоримъ о произведеніяхъ г. Славутинскаго въ общихъ чертахъ, не представляя частныхъ указаній, доказательствъ и выписокъ; это потому, что мы надѣемся на памятность нашихъ читателей: двѣ повѣсти г. Славутинскаго — «Своя рубашка» (названная въ отдѣльномъ изданіи менѣе затѣйливо: «Чужая бѣда») и «Трифонъ Аоанасьевъ» — были помѣщены въ «Современникѣ» прошлаго года, и читатели собственнымъ впечатлѣніемъ могутъ провѣрить наши слова. Впрочемъ, мы съ своей стороны готовы, въ подтвержденіе своихъ мнѣній, сказать нѣсколько словъ еще объ одной повѣсти г. Славутинскаго, «Читальница», довольно давно уже помѣщенной въ «Русскомъ Вѣстникѣ» и теперь тоже перепечатанной въ книжкѣ повѣстей.

Въ «Читальницѣ» мы видимъ дѣйствующими лица изъ разныхъ сферъ: отецъ Татьяны-читальницы, Нахраповъ, — управляющій откупомъ, купецъ, изъ крестьянскаго рода впрочемъ; воспитывается она у старушки генеральши Медынской; учитъ и образуетъ ее старикъ-учитель уѣздный, извѣстный въ городъ подъ именемъ *Селеки*; подъ конецъ жи-

ветъ она въ деревнѣ, съ своимъ дѣдомъ, дряхлымъ, спившимся старикомъ. Такимъ образомъ различныя сферы соприкасаются здѣсь одна съ другой, и авторъ относится ко всѣмъ имъ съ полнымъ безпристрастіемъ. Дѣдъ Татьяны и отецъ ея изображаются въ очень сжатомъ очеркѣ, такимъ образомъ (стр. 31—36):

Отецъ ея, Андрей Нестеровъ Нахрановъ, былъ свободный хлѣбопашецъ села М. в. Какъ многіе крестьяне этого села и другихъ окрестныхъ селеній, Андрей съ малолѣтства пошелъ по „питейной части“. Отецъ его, Несторъ Савиновъ, тоже большую часть жизни своей провелъ служа по кабакамъ да въ питейныхъ конторахъ. Впрочемъ, старшій Нахрановъ, когда сынъ его послѣдовалъ родительскому примѣру, уже нѣсколько времени какъ оставилъ питейную часть: ему не повезло какъ-то нанестѣдокъ, онъ чуть было не сгнилъ въ острогѣ за чрезчуръ уже рискованное дѣльце, а потому и рѣшился домаячить свой вѣкъ дома, въ родномъ уголкѣ. И сталъ Несторъ Савиновъ — ему было тогда лѣтъ около сорока — жить да поживать пріобрѣтеннымъ всячески прибыткомъ, размахисто погуливая на вольныя денежки и нѣсколько ихъ не сберегаячи. „Будетъ смышленье Андрюша, — говаривалъ онъ, — и самъ деньгу наживетъ, а я для него не работникъ. Вишь ты: не задалось мнѣ въ *хорошіе* люди выйти, хоть я и не хуже кого другого изъ нашей братіи умомъ да хитростью раскидывалъ. Вѣдь чего-чего не принялъ я на своемъ вѣку: и побоевъ, и страху разнаго, и больно много всякихъ трудовъ и скорбей, да и грѣха довольно-таки на душу прихватилъ... А что, много, что ль, нажитку у меня осталось?... такъ, пустяки сущіе... Но что мое, то мое. Я наживалъ, я самъ и проживу, а Андрюшкѣ, дураку эдакому, ничего не оставлю; да ему такія деньги и впрокъ, пожалуй, не пойдутъ. Пускай — какъ пришли, такъ и уходятъ!.. И того для Андрюшки довольно, что я его родить, да вотъ дорогу широкую указать. Чего жъ еще больше-го?..“

Такія разсужденія Несторъ Савиновъ повершилъ самымъ дѣломъ, а потому сынъ его, Андрюшка, съ одини-

надпятилѣтняго возраста сталъ жить на чужой сторонѣ, одинъ-одинехонекъ, безъ присмотра, безъ призора. Много обидъ и горя онъ вытерпѣлъ, много всякаго зла увидѣлъ, и научился помаленьку, но крѣпко и крѣпко, многимъ дурнымъ дѣламъ. Онъ имѣлъ умъ быстрый, смѣтливый, хитрый, предприимчивый, а нравъ — скрытный, смѣлый до дерзости, необыкновенно-упорный и жестокий; совѣсти же онъ совѣсть не имѣлъ. Лгать всегда и передъ всѣми, обманывать и обкрадывать всякаго, что входило съ нимъ въ какія-либо сношенія, поступать такимъ образомъ иной разъ и не изъ корысти, а изъ какого-то особеннаго удовольствія, для *практики*, какъ онъ выражался, вотъ въ чемъ заключалась вся жизнь Андрея Пестерова Нахранова, вотъ въ какой сферѣ вращались все его стремленія, надежды и дѣйствія. Онъ чрезвычайно скоро постигъ всю грамоту и весь смыслъ той глубоко-растлѣнной среды, которая у насъ въ народѣ славится подъ названіемъ *нижней части*. Дванадцати двухъ лѣтъ отъ рожденія онъ уже управлялъ откупомъ въ какомъ-то уѣздномъ городкѣ, гдѣ, впрочемъ, недолго пробылъ. Съ тѣхъ поръ онъ занимать всегда должности управляющихъ или главныхъ ревизоровъ по большимъ откупамъ. Впрочемъ часто, очень часто, приводилось ему мѣнять мѣста и хозяевъ, и почти нигдѣ добромъ онъ не оканчивалъ: то на него, бывало, насчитывали, то онъ насчитывалъ; то у него имущество задерживали, то онъ захватывалъ чужое имущество. Въ такихъ случаяхъ всегда заводились дѣла тяжёбныя; дѣла эти тянулись, путались, перепутывались, но постоянно или какъ-то въ пользу Нахранова: онъ изъ воды сухъ выходилъ, а все потому, что со всякимъ чиновнымъ людомъ завсегда старался жить какъ можно лучше, не жалѣлъ для этого хозяйскихъ денегъ и хозяйскихъ водокъ. Все рѣшительно чиновники, начиная съ мелкаго приказнаго полицейскихъ и судебныхъ мѣстъ и доходя до самого судьи, заслужающаго иногда въ уѣздѣ мѣсто представителя благороднаго сословія, находились у него на жалованьи, и все эти признательные чиновники за благостыню, перепавшую имъ отъ Нахранова, готовы были при случаѣ всячески помогать такому ловкому человѣку. Впрочемъ, все такіе процессы оканчивались обыкновенно мировыми, и часто обманутые Нахрановымъ хозяева-откупщики считали совер-

шенно необходимымъ не только вновь приглашать, но даже всячески переманивать его къ себѣ на службу. Упомянемъ здѣсь хоть мимоходомъ о тѣхъ блестящихъ качествахъ Нахранова, которыя дѣлали его столь драгоценнымъ для откупныхъ дѣлъ. Никто лучше его не могъ *залить* сосѣдняго или управляемаго имъ самимъ откупа, когда этотъ откупъ, по новымъ торгамъ, долженъ былъ поступить черезъ два-три мѣсяца къ другому откупщику, и когда новый откупщикъ, по неопытности или по скупости, не принималъ отъ прежняго содержателя, по особой сдѣлкѣ съ нимъ, въ завѣдываніе свое все откупныя дѣла, еще до окончанія срока содержанія. Никто лучше Нахранова не умѣлъ сдать въ казенное управленіе дурно идущаго откупа. Никто проворѣе и ловчѣе его не спускалъ съ рукъ не-нужнаго больше разиню-партнера въ откупъ, заставивъ его напередъ опорожнить свой карманъ для разныхъ пожертвованій, необходимыхъ будто бы для поддержанія откупного дѣла. Никто смѣлѣе и удачливѣе его не провозилъ въ откупъ деневаго контрабанднаго вина съ винокуреннаго завода какого-нибудь *прогрессиста*-барина. Никто, при случаѣ, не былъ жесточе Нахранова въ преслѣдованіи дерзкихъ крестьянъ-корчемниковъ, посягающихъ на покупку себѣ винца подешевле...

Но разскажемъ, также вкратцѣ, и о томъ, какъ именно происходили мировыя между Нахрановымъ и обманутыми имъ хозяевами. При такихъ великолѣпныхъ случаяхъ обыкновенно шель пиръ горою, и великодушіе обѣихъ сторонъ выказывалось въ широкихъ размѣрахъ. Хозяинъ, подпивши и обнимаясь съ мошенникомъ, по нужнымъ ему для извѣстныхъ цѣлей челоуѣкомъ, говаривалъ, бывало, громко въ такихъ выраженіяхъ: „Ну, Богъ тебя проститъ! Надулъ ты меня, разбойникъ ты эдакой, важно надулъ! Да и то сказать, самъ я виноватъ, не вспомнилъ во-время одиннадцатую заповѣдь: не зѣвай. Ну, поцалуемся же... Теперь, братъ, заживемъ мы съ тобой душа въ душу. Я вѣдь на тебя крѣпко надѣюсь"... А нужный челоуѣкъ, конечно, никогда не забывающій одиннадцатую заповѣдь, цаловать обыкновенно своего патрона и въ плечо, и въ локоть, и въ трудъ, даже слезы иногда при этомъ выдавливалъ изъ глазъ, да приговаривалъ тихонько, такъ однако, чтобы никто, кромѣ патрона, не слыхалъ его объясненій: „Виноватъ, благодѣ-

тель! врагъ попуталь, нужда смертная была. А вотъ, теперича, да на семь же мѣсь мѣсь проваляться, и пусть глаза мои лопнутъ, если пощечусь хоть на волосъ отъ вашей милости... Да я вѣкъ буду помнить... благодѣтель вы мой великій!.. А вотъ насчетъ-то дѣльца" ... и прочее, все въ такомъ же родѣ.

Какъ видите, выставлены передъ вами два человека простого званія, не очень привлекательные; но это еще ничего въ сравненіи съ тѣмъ, что развивается дальше, въ исторіи отца Татьяны. Онъ влюбляется въ одну мѣщанскую дѣвушку, хочетъ соблазнить, но, не успѣвъ, рѣшается жениться на ней; для успѣха сватовства опять употребляетъ разныя хитрости, дѣйствуя особенно на набожную и безтолковую генеральшу Медынскую, крестную мать дѣвушки, черезъ ея духовника. Дѣвушку почти принуждаютъ выйти за Андрея Нестерыча; и между тѣмъ вскорѣ послѣ свадьбы онъ начинаетъ пилить свою жену — зачѣмъ она унылый видъ имѣетъ и хвораетъ часто. «Вотъ не было печали, такъ черти накачали! Кабы во-время знанье да вѣданье! Экую жаръ-птицу подхватилъ себѣ!» и пр. въ этомъ родѣ безпрестанно говоритъ онъ въ глаза женѣ своей, и та, разумѣется, сохнетъ еще больше. Родивши дочь, Таню, она окончательно сдѣлалась больна; Андрей Нестерычъ бросилъ ее и завелъ себѣ Марю, — дѣвушку, которую онъ соблазнилъ и надъ которой потомъ надругался не въ примѣръ хуже, чѣмъ надъ женой своей. Скоро жена его умерла, и передъ смертью ея онъ пришелъ въ порывистое, изступленное раскаяніе и обѣщалъ, по ея желанію, отдать Таню на воспитаніе къ Медынской. Обѣщаніе это онъ исполнилъ, а самъ между тѣмъ продолжалъ прежнюю жизнь. Но

теперь въ немъ проявилось новое настроеніе: онъ былъ вѣчно недоволенъ и озлобленъ, и то, что прежде дѣлалъ изъ разсчета, съ самодовольнымъ наслажденіемъ корысти, то теперь сталъ дѣлать съ неудержимыми порывами злости, съ какой-то болью души. Онъ чаще и чаще сталъ обращаться къ прошедшему, припоминать все, что вытерпѣлъ и что заставилъ другихъ потерѣть, припоминать жену свою, и тоска его еще увеличилась. Заглушалась она только дикимъ, неистовымъ разгуломъ, въ которомъ онъ доходилъ до крайней степени мрачнаго изступленія, до забытья, въ которомъ то воображалъ себя судьей надъ товарищами, то жертвою, осужденною на казнь; иногда онъ заставлялъ даже отпѣвать себя, и ночью носили его въ гробу съ похороннымъ пѣніемъ по отдаленнымъ улицамъ города. Но чаще всего срывалъ онъ зло на своей Марѣ; придравшись къ чему-нибудь, онъ ругалъ ее и потомъ билъ нещадно — за все, про все, за взглядъ, за слово, за молчаніе, за печаль, за веселость; а потомъ, избивъ страшно, требовалъ, чтобы она плясала и тѣшила его самого и гостей. А между тѣмъ онъ любилъ эту женщину, да и она, несмотря ни на что, была къ нему страстно привязана . . .

Во всемъ этомъ чрезвычайно много правды, и взглядъ автора на основу характера этого лица совершенно вѣренъ. Это одна изъ сильныхъ русскихъ натуръ, хорошая въ основѣ, но безмѣрно жадная до жизни и между тѣмъ не имѣющая средствъ удовлетворить своей жадности. Обстоятельства толкнули его въ самый омутъ разврата, прежде чѣмъ онъ еще умѣлъ понять, гдѣ добро и гдѣ зло, и онъ не пассивно погрузился, но дѣятельно принялся ширять

въ этомъ омутѣ. Но когда онъ утомился, силы стало поменьше, дѣла пошли потяжелѣе, да тутъ еще и жена-то сгибла по его милости, — ему стало нехорошо на душѣ и пришло время оглядки на себя, пришла тоска и по напрасно-растраченнымъ юнымъ силамъ, и по безумно-загубленной жизни. Но, разумѣется, онъ не только не хотѣлъ въ этомъ признаться, онъ даже не понималъ истиннаго свойства и причины своей хандры, оттого и старался топить ее въ разгулѣ и пьянствѣ. Все это очень вѣрно соображено и замѣчено авторомъ, и намъ кажется, что именно такіе характеры съ такими результатами гораздо болѣе общи и близки русской жизни, нежели, напримѣръ, хоть бы питерчики г. Писемскаго. Но въ то же время мы должны замѣтить, что у г. Славутинскаго сдѣланъ лишь намекъ на развитіе этого характера, но не проведенъ онъ полно и послѣдовательно, не сдѣланъ художнически-цѣльно; оттого-то, разумѣется, большинство читателей пропускаетъ безъ вниманія это лицо, не замѣтивъ даже основы этого характера. Между тѣмъ въ художнической обработкѣ и при такомъ знаніи дѣла, какое видимъ мы у г. Славутинскаго, Андрей Нахраповъ могъ бы составить особенный типъ въ нашей литературѣ.

Но обращая вниманіе на художественный недостатокъ въ обрисовкѣ характера, мы должны указать и на жизненную правду въ постановкѣ этого лица. Авторъ не забыть вліянія среды, въ которой Нахраповъ родился и выросъ, и въ сквозъ всѣ гадости, дѣлаемые этимъ героемъ, видите однако, что самъ по себѣ онъ могъ бы быть и не таковъ, но все окружающее его было таково, что для успѣха въ немъ неглупому человѣку только и

надо было — совѣсти не имѣть. И хоть слабо развито это въ повѣсти, но все же замѣтно въ ней участіе другой силы, которая тянетъ Нахрапова на постыдный путь. Такъ между прочимъ является мимоходомъ Нилъ Александровичъ, баринъ-откупщикъ съ изящною важностью, съ большимъ значеніемъ въ аристократическомъ губернскомъ кругу, и какъ ни ужасенъ Нахраповъ, но читатель инстинктомъ чувствуетъ, что этотъ грубый злодѣй никогда не можетъ дойти до такого гнилого безобразія, какъ этотъ Нилъ Александровичъ. Жаль только, что въ повѣсти и это опять-таки не развито съ тою живою обстоятельностью, которая имѣетъ такое значеніе въ произведеніяхъ нашихъ писателей-художниковъ. Вообще дѣйствіе въ повѣстяхъ г. Славутинскаго идетъ чрезвычайно быстро; онъ идетъ прямо впередъ, несмотря по сторонамъ и не останавливаясь на второстепенныхъ обстоятельствахъ. Только заключительныя сцены, особенно трагическаго свойства, обрисовываются у него полнѣе и обстоятельнѣе. Такъ въ «Читальницѣ» остановился онъ надъ изображеніемъ послѣднихъ дней раскаявшагося Нахрапова. Нахраповъ, пьяный, въ дорогѣ убилъ Марѳу, совершенно ненамѣренно; чтобъ скрыть преступленіе, онъ, съ помощью кучера и сопровождавшаго его повѣреннаго по откупу, свидѣтелей дѣла, зарылъ Марѳу подлѣ дороги въ лѣску, и самъ же по возвращеніи въ городъ поднялъ дѣло о ея безвѣстной пропажѣ. Полиція, знавшая Нахрапова и Марѳу, употребила всѣ усилія къ разысканію, но ничего не могла узнать; черезъ полгода, весною, когда найдено было тѣло Марѳы, опять было слѣдствіе, и опять безуспѣшное. Но на этотъ разъ стали ходить какіе-

то слухи, неблагопріятныя Нахранову; а еще годъ спустя, одинъ изъ служителей откупа, обиженный Нахрановымъ, нашелъ средство опять поднять дѣло, и началось третье слѣдствіе, которое усилило прежнія подозрѣнія. Два года тянулось это дѣло, Нахрановъ почти раззорился на веденіе его и наконецъ-таки кончилось оно въ его пользу, какъ вдругъ онъ, истомленный и отчаянный, рѣшился самъ во всемъ признаться. Признание это было такъ неожиданно для всѣхъ, что его могли объяснить только разстройствомъ разсудка Нахранова, и Нилъ Александровичъ даже настоялъ, чтобъ его подвергли освидѣтельствованію въ присутствіи губернскихъ властей. При этомъ свидѣтельствѣ Нахрановъ выразилъ изумленіе, какимъ образомъ его искреннее признаніе могло заставить думать, что онъ сошелъ съ ума, и прибавилъ, что вѣдь не всякій же способенъ до конца жизни гнѣвить Бога нераскаянно. Этими отвѣтами остался очень недоволенъ губернаторъ и приказалъ написать въ протоколъ, что Нахрановъ признанъ «совершенно» неповрежденнымъ въ умъ, и слово «совершенно» подчеркнулъ собственноручно.

Тутъ-то и посадили Нахранова въ острогъ, и тутъ начинаются его сцены съ дочерью. Дочь его, Таня, росла все время въ домѣ старухи Медынской, пользовалась ея ласками, но къ счастью была удалена отъ вліянія приживалокъ и дворни, находясь подъ особымъ попеченіемъ старика-учителя Сенеки. Это былъ добрый и честный человѣкъ, скромный и убогій, но неутомимый и безкорыстный дѣятель въ своей средѣ, насколько силъ его хватало... Онъ разсуждалъ: «Если ужъ я живу въ мірѣ, такъ всякое дѣло мірское — мое дѣло. Хо-

рошее оно — надо его поддержать, не выпускать его изъ глазъ; дурное — надо попробовать, не уступить ли оно мѣсто хорошему». Разумѣется, дѣйствовать приходилось ему въ очень узенькой сферѣ, и средствъ у него не было, и потому пробы его противъ дурныхъ дѣлъ ограничивались одними увѣщаніями; а много ли же можно сдѣлать увѣщаніемъ? Но на людей простыхъ и юныхъ онъ могъ дѣйствовать благотворно, и подъ его-то вліяніемъ развилась Таня. *Сенека* убѣдилъ *Медынскую*, что Танѣ не нужно никакого особеннаго образованія, что онъ одинъ можетъ всему ее выучить, и съ раннихъ лѣтъ сталъ онъ ее готовить на подвигъ жизни. Будучи отчасти мистикомъ, онъ толковалъ ей о высокой цѣли и особенномъ назначеніи ея, приговаривая ее къ самоотверженію и труду на пользу общую. И Таня дѣйствительно готовилась на трудъ и горе, и привыкла считать чѣмъ-то должнымъ и неизбѣжнымъ все тяжелае и непріятныя происшествія своей жизни. А жизнь ея, разумѣется, протекала не весело въ домѣ *Медынской*: сама старуха была уже дряхла и почти ничего не понимала; а разныя приживалки и прислуга смотрѣли на Таню съ пренебреженіемъ. Она безпрестанно вспоминала о судьбѣ матери; дѣянія отца также не были отъ нея скрыты, хотя онъ очень рѣдко съ нею видѣлся и совершенно ни о чемъ не разсказывалъ ей и ее не разспрашивалъ. Даже послѣ смерти *Медынской* онъ самъ пожелалъ, чтобы она лучше взяла комнатку у старика-учителя, а не перешла къ нему. Онъ какъ будто боялся выказать себя передъ нею, да и дѣла его въ это время были ужъ очень плохи. Онъ пришелъ къ ней только въ ту минуту, когда задумалъ признаться въ

убійствѣ, и ей первой открылъ свое преступленіе. А потомъ, послѣ губернаторскаго рѣшенія, его посадили въ острогъ, и Таня къ нему ходить начала. Сначала онъ оскорблялся тѣмъ, что вотъ родная дочь его по состраданію навѣщаетъ, и былъ молчаливъ и суровъ, но потомъ смягчился и даже сталъ съ ней нѣженъ. Скоро онъ умеръ въ острогѣ; его предсмертное состояніе изображено довольно живо, равно какъ и впечатлѣніе, произведенное его смертью на Татьяну. Схоронивши его, Татьяна рѣшилась посвятить себя одинокой и трудовой жизни. Сложенія она была слабаго и болѣзненнаго, и потому ей не трудно было отказаться отъ супружескаго счастья; но она не пошла въ монастырь, чтобъ тамъ укрыться отъ житейскихъ тревоженій. Ея идеаль былъ въ другомъ родѣ: она осталась сначала у Сенеки — учить маленькихъ дѣтей; потомъ отыскала стараго своего дѣда, который, спившись, началъ уже побираться по міру, и уѣхала въ деревню — жить съ нимъ и ухаживать за нимъ. Она поддерживала его и себя своими трудами; зимой и въ ненастье шла она бабы наряды, весной ходила работать на огороды, а лѣтомъ на сѣнокосъ. Сначала эти работы утомляли ее, но мало-по-малу она свыклась съ ними. Кромѣ того, она учить крестьянскихъ дѣтей грамотѣ, лѣчить больныхъ, чему выучилась тоже у Сенеки, и ходить читать псалтирь по умершимъ, за что и названа «читальницей». За труды свои она ничего не проситъ, но принимаетъ вознагражденіе, какое дадутъ; только за чтеніе псалтиря ничего не беретъ она, искренно вѣруя, что этимъ заслужить отпущеніе грѣховъ отца своего . . .

Таковъ идеальный характеръ, найденный г. Сла-

вутинскимъ въ глуши русской жизни. Онъ едва намѣченъ, въ рисунокъ его нѣтъ той художественной полноты и яркости, какія мы привыкли видѣть въ замѣчательныхъ произведеніяхъ литературы. Это недостатокъ собственно исполненія. Но если отбросить въ сторону *незыблемыя* требованія искусства, то мы должны отдать полную справедливость автору за живую, умную и правдивую передачу дѣйствительной исторіи, за прямое и вѣрное указаніе на существующіи, не выдуманный, а присущій русской жизни идеальный образъ. Пусть это указаніе сдѣлано безъ особеннаго изящества и одушевленія; но мы рады тому, что все-таки указанъ такой фактъ, лучше и чище котораго не придумывали наши идеализаторы, при всемъ своемъ возвышенномъ настроеніи.

Кромѣ «Читальницы», въ книжкѣ повѣстей помѣщена «Исторія моего дѣда», тоже бывшая въ «Русскомъ Вѣстникѣ». Это исторія, какъ самъ авторъ предупреждаетъ, — въ родѣ Дубровскаго: богатый сосѣдь-помѣщикъ заѣдаетъ бѣднаго, но гордаго сосѣда, напустившись на него съ неправою тяжбою, которую однако всѣ оправдываютъ. Здѣсь является передъ нами весь произволь помѣщичьей власти въ прошломъ столѣтіи, и все безправіе, беззащитность — не только крѣпостныхъ, но даже и бѣдныхъ дворянъ передъ прихотью сильнаго магната. Разсказъ этотъ составляетъ «отрывокъ изъ записокъ», и къ нему очень идетъ короткій, сжатый и нѣсколько спѣшный тонъ г. Славутинскаго. Впрочемъ, даже и здѣсь иногда, хотъ и читаешь нѣчто въ родѣ хроники, хочется читателю отдохнуть на подробностяхъ, хочется видѣть болѣе отчетливое, болѣе внутреннее развитіе факта; но

это желаніе весьма рѣдко удовлетворяется. Мы думаемъ, что именно этому обязаны рассказы г. Славутинскаго гораздо меньшимъ успѣхомъ въ публикѣ, нежели какого они заслуживаютъ.

Третья изъ напечатанныхъ теперь повѣстей, «Чужая бѣда», знакома читателямъ «Современника». Въ ней болѣе живыхъ картинъ и сценъ, движеніе повѣсти происходитъ болѣе въ самомъ дѣйствіи, а не въ пересказѣ автора. Но и въ ней замѣтенъ тотъ же недостатокъ художественной полноты въ очертаніи образовъ. Личность богатаго старика Терехина, который насквозь виднѣтъ всѣ плутни головы и можетъ имъ противодѣйствовать, но не хочетъ, не желая вмѣшиваться въ чужое дѣло, а потомъ, будучи самъ задѣтъ за живое, собираетъ всѣ силы на борьбу съ головой, но уже поздно, — личность эта очерчена очень рельефно, и внутренній міръ этого старика раскрытъ намъ авторомъ гораздо больше, нежели душевная жизнь другихъ лицъ въ его повѣстяхъ. Но и здѣсь авторъ не воспользовался случаемъ воссоздать въ своемъ рассказѣ весь процессъ образованія и развитія такого характера и такого особеннаго отношенія одного лица къ обществу. Онъ отчетливо выставилъ намъ Терехина въ томъ моментѣ, въ какомъ онъ засталъ его, намекнулъ даже на причины, отъ которыхъ старикъ сдѣлался такимъ суровымъ и несообщительнымъ, но намекнулъ слабо, въ общихъ чертахъ, и изъ повѣсти мы можемъ *понять*, если подумаемъ пристально, но не можемъ осязательно и живо *почувствовать*, какъ именно и отчего сложился такой характеръ, и какимъ образомъ проявляется онъ во всѣ стороны жизни. Оттого при чтеніи повѣсти мы почти не имѣемъ руководитель-

ной нити, и не можемъ опредѣлить, что именно долженъ онъ сдѣлать въ такомъ-то случаѣ, куда онъ пойдетъ и до чего дойдетъ. Узнавши потомъ изъ разсказа о его поступкѣ, мы видимъ, что такой образъ дѣйствій возможенъ и естественъ; но мы все-таки смутно постигаемъ его внутреннюю необходимость. Вотъ отчего повѣсть не производитъ такого цѣльнаго и глубокаго впечатлѣнія, какого можно бы ожидать, судя по основной ея мысли и по интересу взятаго характера.

Выходитъ, стало быть, что глубокомысленный критикъ, о которомъ мы говорили въ началѣ рецензіи, и теперь остается правъ съ одной стороны; требованія искусства не удовлетворяются произведеніемъ, въ которомъ выставлена вся правда народной жизни. Но мы смѣемъ думать, что въ настоящемъ случаѣ это — простая случайность, зависящая отъ личности автора, и вообще отъ недостатка еще въ насъ того чутія къ внутреннему развитію народной жизни, которое такъ сильно у нѣкоторыхъ писателей нашихъ въ отношеніи къ жизни образованныхъ классовъ. Но никакъ не рѣшимся мы сказать, чтобъ это зависѣло отъ самого предмета, никакъ не согласимся, что искусство должно отказаться отъ простонародныхъ предметовъ, потому что ихъ полное и совершенное воспроизведеніе не согласно съ его требованіями. Напротивъ, въ повѣстяхъ же г. Славутинскаго, особенно въ послѣдней, мы видимъ, что онъ не спѣшитъ впередъ, а отдается своей наблюдательности и останавливается на картинахъ народной жизни; тамъ у него выходятъ живыя, занимательныя страницы, западающія въ память и въ то же время неподдѣльно-вѣрныя дѣйствительности, какъ и весь строй повѣстей его. И

во всякомъ случаѣ, если ужъ выбирать между искусствомъ и дѣйствительностью, то пусть лучше будутъ неудовлетворяющіе эстетическимъ теоріямъ, но вѣрные смыслу дѣйствительности рассказы, нежели безукоризненные для отвлеченнаго искусства, но искажающіе жизнь и ея истинное значеніе.

Съ этой точки зрѣнія мы находимъ особенный интересъ въ повѣстяхъ г. Славутинскаго. Въ нихъ нѣтъ даже ни малѣйшей претензіи на эстетическія украшенія; онѣ просто — вѣрная передача дѣйствительныхъ фактовъ, безъ прикрасъ, безъ натянутостей, безъ дидактическихъ основъ. А между тѣмъ въ нихъ всегда оказывается и умная мысль въ результатѣ, и логически-вѣрное, понятное, хотя и не вполне раскрытое, развитіе характеровъ, и объясненіе зависимости отъ ихъ вліянія окружающей среды, и наконецъ являются сами собою даже идеальныя лица русской жизни, съ болѣе живыми и чистыми тенденціями, нежели сочиненные идеалы образованнаго общества. И все это выходитъ безъ нарочитыхъ усилій со стороны автора, просто по силѣ истины изображаемыхъ предметовъ. По-нашему мнѣнію, писатель, у котораго хотя въ блѣдныхъ очеркахъ проявилось такъ естественно все это богатство русской жизни, заслуживаетъ полнаго участія публики, еще такъ недавно интересовавшейся сладенькими идилліями народнаго быта. На этомъ основаніи мы и остановились такъ долго надъ произведеніями г. Славутинскаго, желая указать на ихъ значеніе нашимъ читателямъ.

Когда же придетъ настоящій день?

Schlage die Trommel und fürchte dich nicht.
Heine.

(Наканунъ, повѣсть *И. С. Тургенева*. „Русскій Вѣстникъ“, 1860 г., № 1.)

Эстетическая критика сдѣлалась теперь принадлежностью чувствительныхъ барышень. Изъ разговоровъ съ ними служители чистаго искусства могутъ почерпнуть много тонкихъ и вѣрныхъ замѣчаній, и затѣмъ написать критику въ такомъ родѣ. «Вотъ содержаніе новой повѣсти г. Тургенева [разсказъ содержанія]. Уже изъ этого блѣднаго очерка видно, какъ много тутъ жизни и поэзіи самой свѣжей и благоуханной. Но только чтеніе самой повѣсти можетъ дать понятіе о томъ чутьѣ къ тончайшимъ поэтическимъ отбѣнкамъ жизни, о томъ остромъ психическомъ анализѣ, о томъ глубокомъ пониманіи невидимыхъ струй и теченій общественной мысли, о томъ дружелюбномъ и вмѣстѣ смѣломъ отношеніи къ дѣйствительности, которыя составляютъ отличительныя черты таланта г. Тургенева. Посмотрите, напримѣръ, какъ тонко подмѣчены эти психическія черты [повтореніе одной части изъ разсказа содержанія и затѣмъ — выписка]; прочтите эту чудную сцену, исполненную такой

граціи и прелести [выписка]¹, или вотъ это высокое, смѣлое изображеніе [выписка]. Не правда ли, что это проникаетъ въ глубину души, заставляетъ сердце ваше биться сильнѣе, оживляетъ и украшаетъ вашу жизнь, возвышаетъ предъ вами человѣческое достоинство и великое, вѣчное значеніе святыхъ идей истины, добра и красоты! *Comme c'est joli, comme c'est délicieux!*»

Малому знакомству съ чувствительными барышнями одолжены мы тѣмъ, что не умѣемъ писать такихъ пріятныхъ и безвредныхъ критикъ. Откровенно признаваясь въ этомъ и отказываясь отъ роли «воспитателя эстетическаго вкуса публики», мы избираемъ другую задачу, болѣе скромную и болѣе соразмѣрную съ нашими силами. Мы хотимъ просто подвести итогъ тѣмъ даннымъ, которыя разсѣяны въ произведеніи писателя и которыя мы принимаемъ какъ совершившійся фактъ, какъ жизненное явленіе, стоящее предъ нами. Работа не хитрая, но необходимая, потому что, за множествомъ занятій и отдыховъ, рѣдко кому придетъ охота самому всмотрѣться во всѣ подробности литературнаго произведенія, разобрать, провѣрить и поставить на свое мѣсто всѣ цифры, изъ которыхъ составляется этотъ сложный отчетъ объ одной изъ сторонъ нашей общественной жизни, и затѣмъ подумать объ итогѣ и о томъ, что онъ обѣщаетъ и къ чему насъ обязываетъ. А такого рода провѣрка и размышленіе очень небезполезны по поводу новой повѣсти г. Тургенева.

Мы знаемъ, что чистые эстетики сейчасъ же обвинять насъ въ стремленіи навязывать автору

¹ Въ „Современникъ“ дальше слѣдуетъ: „припомните эту поэтическую живую картину [выписка]“ и т. д. *Ред.*

свои мнѣнія и предписывать задачи его таланту. Поэтому оговоримся, хоть это и скучно. Нѣтъ, мы ничего автору не навязываемъ, мы заранѣе говоримъ, что не знаемъ, съ какой цѣлью, вслѣдствіе какихъ предварительныхъ соображеній изобразилъ онъ исторію, составляющую содержаніе повѣсти «Наканунѣ». Для насъ не столько важно то, что хотѣлъ сказать авторъ, сколько то, что сказалось имъ, хотя бы и ненамѣренно, просто вслѣдствіе правдиваго воспроизведенія фактовъ жизни. Мы дорожимъ всякимъ талантливимъ произведеніемъ именно потому, что въ немъ можемъ изучать факты нашей родной жизни, которая безъ того такъ мало открыта взору простого наблюдателя. Въ нашей жизни до сихъ поръ нѣтъ публичности, кромѣ официальной; вездѣ мы сталкиваемся не съ живыми людьми, а съ официальными лицами, служащими по той или другой части: въ присутственныхъ мѣстахъ съ чистописателями, на балахъ — съ танцорами, въ клубахъ — съ картежниками, въ театрахъ — съ парикмахерскими паціентами, и т. д. Всякій хоронитъ дальше свою душевную жизнь; всякій такъ и смотритъ на васъ, какъ будто говорить: «вѣдь я сюда пришелъ, чтобъ танцовать, или чтобъ прическу показать; ну, и будь доволенъ тѣмъ, что я дѣлаю свое дѣло, и не вздумай пожалуйста выпытывать отъ меня мои чувства и понятія». И дѣйствительно, — никто никого не выпытываетъ, никто никѣмъ не интересуется, и все общество идетъ врозь, досадуя, что должно сходиться въ сфисіальныхъ случаяхъ въ родѣ новой оперы, званаго обѣда или какого-нибудь комитетскаго засѣданія. Гдѣ же тутъ узнать и изучить жизнь человѣку, не посвятившему себя исключительно наблюденію обще-

ственныхъ нравовъ? А тутъ еще какое разнообразіе, какая даже противоположность въ различныхъ кругахъ и сословіяхъ нашего общества! Мысли, сдѣлавшіяся въ одномъ кругѣ уже пошлыми и отсталыми, въ другомъ еще жарко оспариваются; что у однихъ признается недостаточнымъ и слабымъ, то другимъ кажется слишкомъ рѣзкимъ и смѣлымъ, и т. п. Что падаетъ, что побѣждаетъ, что начинается водворяться и преобладать въ нравственной жизни общества, — на это у насъ нѣтъ другого показателя, кромѣ литературы, и преимущественно художественныхъ ея произведеній. Писатель-художникъ, не заботясь ни о какихъ общихъ заключеніяхъ относительно состоянія общественной мысли и нравственности, всегда умѣетъ однако же уловить ихъ существеннѣйшія черты, ярко освѣтить и прямо поставить ихъ предъ глазами людей размышляющихъ. Вотъ почему и полагаемъ мы, что какъ скоро въ писателѣ-художникѣ признается талантъ, т. е. умѣнье чувствовать и изображать жизненную правду явленій, то, уже въ силу этого самаго признанія, произведенія его даютъ законный поводъ къ разсужденіямъ о той средѣ жизни, о той эпохѣ, которая вызвала въ писателѣ то или другое произведеніе. И мѣркою для таланта писателя будетъ здѣсь то, до какой степени широко захвачена имъ жизнь, въ какой мѣрѣ прочны и многообъятны тѣ образы, которые имъ созданы.

Мы сочли нужнымъ высказать это для того, чтобы оправдать свой пріемъ — толковать о явленіяхъ самой жизни на основаніи литературнаго произведенія, не навязывая впрочемъ автору никакихъ заранѣе сочиненныхъ идей и задачъ. Читатель ви-

дѣтъ, что для насъ именно тѣ произведенія и важны, въ которыхъ жизнь сказала сама собою, а не по заранѣ придуманной авторомъ программѣ. О «Тысячѣ душъ», напримѣръ, мы вовсе не говорили, потому что, по нашему мнѣнію, вся общественная сторона этого романа насильно пригнана къ заранѣ сочиненной идеѣ. Стало быть, тутъ не о чемъ толковать, кромѣ того, въ какой степени ловко составилъ авторъ свое сочиненіе. Положиться на правду и живую дѣйствительность фактовъ, изложенныхъ авторомъ, невозможно, потому что отношеніе его къ этимъ фактамъ не просто и не правдиво. Совсѣмъ не такія отношенія автора къ сюжету видимъ мы въ новой повѣсти г. Тургенева, какъ и въ большей части его повѣстей. Въ «Наканунѣ» мы видимъ неотразимое вліяніе естественнаго хода общественной жизни и мысли, которому невольно подчинилась сама мысль и воображеніе автора.

Поставляя главной задачею литературной критики — разъясненіе тѣхъ явленій дѣйствительности, которыя вызвали извѣстное художественное произведеніе, мы должны замѣтить при томъ, что въ приложеніи къ повѣстямъ г. Тургенева эта задача имѣетъ еще особенный смыслъ. Г-на Тургенева по справедливости можно назвать представителемъ² и пѣвцомъ той морали и философіи, которая господствовала въ нашемъ образованномъ обществѣ въ послѣднее двадцатилѣтіе. Онъ быстро угадывалъ новыя потребности, новыя идеи, вносимыя въ общественное сознаніе, и въ своихъ произведеніяхъ не-

² Въ «Соврем.» вмѣсто слова «представителемъ» напечатано «живописателемъ». *Ред.*

премѣнно³ обращать (сколько позволяли обстоятельства) вниманіе на вопросъ, стоявшій на очереди и уже смутно начинавшій волновать общество. Мы надѣемся при другомъ случаѣ прослѣдить всю литературную дѣятельность г. Тургенева, и потому теперь не станемъ распространяться объ этомъ. Скажемъ только, что этому чутью автора къ живымъ струнамъ общества, этому умѣнью тотчасъ отозваться на всякую благородную мысль и честное чувство, только что еще начинающее проникать въ сознаніе лучшихъ людей, мы приписываемъ значительную долю того успѣха, которымъ постоянно пользовался г. Тургеневъ въ русской публикѣ. Конечно, и литературный талантъ самъ по себѣ много помогъ этому успѣху. Но читатели наши знаютъ, что талантъ г. Тургенева не изъ тѣхъ титаническихъ талантовъ, которые, единственно силою поэтическаго представленія, поражаютъ, захватываютъ васъ и влекутъ къ сочувствію такому явленію или идеѣ, которымъ мы вовсе не расположены сочувствовать. Не бурная порывистая сила, а напротивъ — мягкость и какая-то поэтическая умѣренность служатъ характеристическими чертами его таланта. Поэтому мы полагаемъ, что онъ не могъ бы вызвать общую симпатію публики, если бы касался вопросовъ и потребностей, совершенно чуждыхъ его читателямъ или еще не возбужденныхъ въ обществѣ. Нѣкоторые замѣтили бы прелесть поэтическихъ описаній въ его повѣстяхъ, тонкость и глубину въ очертаніяхъ разныхъ лицъ и положеній, но, безъ всякаго сомнѣнія, этого было бы недостаточно для того, чтобы сдѣлать проч-

³ Въ „Соврем.“ вмѣсто „премѣнно“ — „обыкновенно“. *Ред.*

ный успѣхъ и славу писателю. Безъ живаго отношенія къ современности всякій, даже самый симпатичный и талантливый повѣствователь, долженъ подвергнуться участи г. Фета, котораго и хвалили когда-то, но изъ котораго теперь только десятокъ любителей помнить десятокъ лучшихъ стихотвореній. Живое отношеніе къ современности спасло г. Тургенева и упрочило за нимъ постоянный успѣхъ въ читающей публикѣ. Нѣкоторый глубокомысленный критикъ даже упрекалъ когда-то г. Тургенева за то, что въ его дѣятельности такъ сильно отразились «всѣ колебанія общественной мысли». Но мы, несмотря на это, видимъ здѣсь именно самую жизненную сторону таланта г. Тургенева, и этой стороной объясняемъ, почему съ такой симпатіей, почти съ энтузіазмомъ, встрѣчалось до сихъ поръ каждое его произведеніе.

Итакъ, мы можемъ сказать смѣло, что если уже г. Тургеневъ тронулъ какой-нибудь вопросъ въ своей повѣсти, если онъ изобразилъ какую-нибудь новую сторону общественныхъ отношеній, — это служить ручательствомъ за то, что вопросъ этотъ дѣйствительно поднимается или скоро поднимется въ сознаніи образованнаго общества, что эта новая сторона жизни начинается выдаваться и скоро выкажется рѣзко и ярко предъ глазами всѣхъ. Поэтому каждый разъ при появленіи повѣсти г. Тургенева дѣлается любопытнымъ вопросъ: какія же стороны жизни изображены въ ней, какіе вопросы затронуты?

Вопросъ этотъ представляется и теперь, и въ отношеніи къ новой повѣсти г. Тургенева онъ интереснѣе, чѣмъ когда-либо. До сихъ поръ путь г. Тургенева, сообразно съ путемъ развитія наше-

го общества, былъ довольно ясно намѣченъ въ одномъ направленіи. Исходилъ онъ изъ сферы высшихъ идей и теоретическихъ стремленій и направлялся къ тому, чтобы эти идеи и стремленія внести въ грубую и пошлую дѣйствительность, далеко отъ нихъ уклонившуюся. Сборы на борьбу и страданія героя, хлопотавшаго о побѣдѣ своихъ началъ, и его паденіе предъ подавляющею силою людской пошлости — и составляли обыкновенно интересъ повѣстей г. Тургенева. Разумѣется, самыя основанія борьбы, то есть идеи и стремленія, видоизмѣнялись въ каждомъ произведеніи, или, съ теченіемъ времени и обстоятельствъ, выказывались болѣе опредѣленно и рѣзко. Такимъ образомъ Лишняго Человѣка смѣнялъ Пасынковъ, Пасынкова — Рудинъ, Рудина — Лаврецкій. Каждое изъ этихъ лицъ было смѣлѣе и полнѣе предыдущихъ, но сущность, основа ихъ характера и всего ихъ существованія была одна и та же. Они были вносители новыхъ идей въ извѣстный кругъ, просвѣтители, пропагандисты, — хоть для одной женской души, да пропагандисты. За это ихъ очень хвалили и точно — въ свое время они видно очень нужны были, и дѣло ихъ было очень трудно, почтенно и благотворно. Не даромъ же всѣ встрѣчали ихъ съ такой любовью, такъ сочувствовали ихъ душевнымъ страданіямъ, такъ жалѣли объ ихъ безплодныхъ усиліяхъ. Не даромъ никто тогда и не думалъ замѣтить, что всѣ эти господа — отличные, благородные, умные, но въ сущности бездѣльные люди. Рисуя ихъ образы въ разныхъ положеніяхъ и столкновеніяхъ, самъ г. Тургеневъ относился къ нимъ обыкновенно съ трогательнымъ участіемъ, сердечной болью объ ихъ страданіяхъ, и то же чувство

возбуждалъ постоянно въ массѣ читателей. Когда одинъ мотивъ этой борьбы и страданій начиналъ казаться уже недостаточнымъ, когда одна черта благородства и возвышенности характера начинала какъ будто покрываться нѣкоторою пошлостью, г. Тургеневъ умѣлъ находить другіе мотивы, другія черты, и опять попадалъ въ самое сердце читателя и опять возбуждалъ къ себѣ и своимъ героямъ восторженную симпатію. Предметъ казался неистощимымъ.

Но въ послѣднее время въ нашемъ обществѣ обнаружались [†] требованія совершенно отличныя отъ тѣхъ, которыми вызванъ былъ къ жизни Рудинъ и вся его братія. Въ отношеніи къ этимъ лицамъ въ понятіяхъ образованнаго большинства произошло коренное измѣненіе. Вопросъ пошелъ уже не о видоизмѣненіи тѣхъ или другихъ мотивовъ, тѣхъ или другихъ началъ ихъ стремленій, а о самой сущности ихъ дѣятельности. Въ теченіе того періода времени, пока рисовались передъ нами всѣ эти просвѣщенные поборники истины и добра, краснорѣчивые страдальцы возвышенныхъ убѣжденій, подросли новые люди, для которыхъ любовь къ истинѣ и честность стремленій уже не въ диковнику. Они съ дѣтства, непримѣтно и постоянно, напитывались тѣми понятіями и стремленіями, для которыхъ прежде лучшіе люди должны были бороться, сомнѣваться и страдать въ зрѣломъ возрастѣ ^{*}. Поэтому самый характеръ образованія въ

[†] Въ „Современникѣ“ послѣ слова „обнаружились“ вставлены еще слова: „довольно замѣтно“. *Ред.*

^{*} Намъ уже упрекали однажды въ пристрастіи къ молодому поколѣнію и указывали на пошлость и пустоту, которой оно предастся въ большей части своихъ представителей. Но мы никогда и не думали отстаивать всѣхъ молодыхъ людей отъ ума, да это и несогласно было

нынѣшнемъ молодомъ обществѣ получилъ другой цвѣтъ. Тѣ понятія и стремленія, которыя прежде давали титуло передового человѣка, теперь уже считаются первой и необходимой принадлежностью самой обыкновенной образованности. Отъ гимназиста, отъ посредственнаго кадета, даже иногда отъ порядочнаго семинариста вы услышите нынѣ выраженіе такихъ убѣжденій, за которыя въ прежнее время долженъ былъ снорить и горячиться, напр., Бѣлинскій. И гимназистъ или кадетъ высказываютъ эти понятія, — такъ трудно, съ бою достававшіяся прежде, — совершенно спокойно, безъ всякаго азарта и самодовольства, какъ вещь, которая иначе и быть не можетъ, и даже немыслима иначе.

Встрѣчая человѣка такъ называемаго прогрессивнаго направленія, теперь никто изъ порядочныхъ людей уже не предается удивленію и восторгу, никто не смотритъ ему въ глаза съ нѣмымъ благоговѣніемъ, не жметъ ему таинственно руки и не приглашаетъ шопотомъ къ себѣ, въ кружокъ избранныхъ людей, — поговорить о томъ, что несправедливое и рабство гибельны для государства. Напротивъ, теперь съ невольнымъ, презрительнымъ изумленіемъ останавливаются предъ человѣкомъ, который выказываетъ недостатокъ сочувствія къ гласности, безкорыстію, эмансипаціи и т. п. Теперь даже люди въ душѣ не любящіе прогрессивныхъ

сы съ нашей цѣлью. Пошлость и пустота составляютъ достояніе всѣхъ временъ и всѣхъ возрастовъ. Но мы говорили, и теперь говоримъ о людяхъ избранныхъ, людяхъ лучшихъ, а не о толпѣ, такъ какъ и Рудинъ и всѣ люди его заката принадлежали вѣдь не къ толпѣ же, а къ лучшимъ людямъ своего времени. Впрочемъ мы не будемъ не правы, если скажемъ, что и въ массѣ общества уровень образованія въ последнее время все-таки возвысился.

идей должны показывать видъ, что любятъ ихъ для того, чтобы имѣть доступъ въ порядочное общество. Ясно, что при такомъ положеніи дѣлъ прежніе сѣятели добра, люди Рудинскаго закала, теряютъ значительную долю своего прежняго кредита. Ихъ уважаютъ какъ старыхъ наставниковъ; но рѣдко кто, вошедши въ свой разумъ, расположенъ выслушивать опять тѣ уроки, которые съ такою жадностью принимались прежде, въ возрастѣ дѣтства и первоначальнаго развитія. Нужно уже нѣчто другое, нужно идти дальше *.

«Но, скажутъ намъ, вѣдь общество не дошло же до крайней точки въ своемъ развитіи; возможно дальнѣйшее совершенствованіе умственное и нравственное. Стало быть, нужны для общества и руководители, и проповѣдники истины, и пропагандисты, словомъ — люди Рудинскаго типа. Все прежнее принято и вошло въ общее сознаніе, — положимъ. Но это не исключаетъ возможности того, что явятся новые Рудины, проповѣдники новыхъ, высшихъ тенденцій, и опять будутъ бороться и страдать и опять возбуждать къ себѣ симпатію общества. Предметъ этотъ дѣйствительно неистощимъ въ своемъ содержаніи, и постоянно можетъ

* Противъ этой мысли можетъ повидимому свидѣтельствовать необыкновенный успѣхъ, которымъ встрѣчаются изданія сочиненій нѣкоторыхъ нашихъ писателей сороковыхъ годовъ. Особенно яркимъ примѣромъ можетъ служить Бѣлинскій, котораго сочиненія быстро разошлись, говорятъ, въ количествѣ 12.000 экземпляровъ. Но, по нашему мнѣнію, этотъ самый фактъ служить лучшимъ подтвержденіемъ нашей мысли. Бѣлинскій былъ передовой изъ передовыхъ, дальше его не пошелъ ни одинъ изъ его сверстниковъ, и тамъ, гдѣ расхватали въ нѣсколько мѣсяцевъ 12.000 экземпляровъ Бѣлинскаго, Рудинымъ просто дѣлать нечего. Успѣхъ Бѣлинскаго доказываетъ вовсе не то, что его идеи еще новы для нашего общества и требуютъ большихъ усилій для распространенія, а именно то, что онѣ дороги и святы теперь для большинства и что ихъ проповѣданіе теперь ужь не требуетъ отъ новыхъ дѣятелей ни героизма, ни особенныхъ талантовъ.

приносить новые лавры такому писателю, какъ г. Тургеневъ».

Жалко было бы, если бы подобное замѣчаніе оправдалось именно теперь. Къ счастью, оно, кажется, опровергается послѣднимъ движеніемъ литературы нашей. Разсуждая отвлеченно, нельзя не сознаться, что мысль о вѣчномъ движеніи и вѣчной смѣнѣ идей въ обществѣ, а слѣдовательно и о постоянной необходимости проповѣдниковъ этихъ идей, вполне справедлива. Но вѣдь нужно же принять во вниманіе и то, что общества живутъ не затѣмъ только, чтобъ разсуждать и мѣняться идеями. Идеи и ихъ постепенное развитіе только потому и имѣютъ свое значеніе, что онѣ, рождаясь изъ существующихъ уже фактовъ, всегда предшествуютъ измѣненіямъ въ самой дѣйствительности. Извѣстное положеніе дѣлъ создаетъ въ обществѣ потребность, потребность эта сознается, вслѣдъ за общимъ сознаніемъ ея должна явиться фактическая переменѣна въ пользу удовлетворенія сознанной всѣми потребности. Такимъ образомъ послѣ періода сознанія извѣстныхъ идей и стремленій долженъ являться въ обществѣ періодъ ихъ осуществленія; за размышленіями и разговорами должно слѣдовать дѣло. Спрашивается теперь: что же дѣлало наше общество въ послѣднія 20—30 лѣтъ? Покаместъ ничего. Оно училось, развивалось, слушало Рудиныхъ, сочувствовало ихъ неудачамъ въ благородной борьбѣ за убѣжденія, приготавлилось къ дѣлу, но ничего не дѣлало... Въ головѣ и сердцѣ накопилось такъ много прекраснаго; въ существенномъ порядкѣ дѣлъ замѣчено такъ много нелѣпаго и безчестнаго; масса людей, «сознающихъ себя выше окружающей дѣйствительности», растеть съ

каждымъ годомъ, такъ что скоро, пожалуй, всѣ будутъ выше дѣйствительности... Кажется, нечего желать, чтобъ мы продолжали вѣчно идти этимъ томительнымъ путемъ разлада, сомнѣнія и отвлеченныхъ горестей и утѣшеній. Кажется, ясно, что теперь нужны намъ не такіе люди, которые бы еще болѣе «возвышали насъ надъ окружающей дѣйствительностью», а такіе, которые бы подняли — или насъ научили поднять — самую дѣйствительность до уровня тѣхъ разумныхъ требованій, какія мы уже сознали. Словомъ, нужны люди дѣла, а не отвлеченныхъ, всегда немножко эпикурейскихъ, разсужденій.

Сознаніе этого хотя смутно, но уже во многихъ выразилось при появленіи «Дворянскаго гнѣзда». Талантъ г. Тургенева, вмѣстѣ съ его вѣрнымъ тактомъ дѣйствительности, вынесъ его и на этотъ разъ съ торжествомъ изъ труднаго положенія. Онъ умѣлъ поставить Лавреца такъ, что надъ нимъ трудно ⁵ проницировать, хотя онъ и принадлежитъ къ тому роду ⁶ типовъ, на которые мы смотримъ съ усмѣшкой. Драматизмъ его положенія заключается уже не въ борьбѣ съ собственнымъ безсиліемъ, а въ столкновеніи съ такими понятіями и нравами, съ которыми борьба дѣйствительно устрашить самага ⁷ энергическаго и смѣлаго человѣка. Онъ женатъ и отступился отъ своей жены; но онъ полюбилъ чистое, свѣтлое существо, воспитанное въ такихъ понятіяхъ, при которыхъ любовь къ женатому человѣку есть ужасное преступленіе. А ме-

⁵ Въ „Соврем.“ вмѣсто „трудно“, написано „невозможно“. *Ред.*

⁶ Въ „Соврем.“ передъ словомъ „типовъ“ вставлено „бездѣльныхъ“. *Ред.*

⁷ Въ „Соврем.“ вмѣсто словъ „устрашить самага“ сказано: „должна устрашить даже...“. *Ред.*

жду тѣмъ она его тоже любить, и его притязанія могутъ непрерывно и страшно терзать ея сердце и совѣсть. Надъ такимъ положеніемъ поневолѣ задумаешься горько и тяжело, и мы помнимъ, какъ болѣзненно сжалось наше сердце, когда Лаврецкій, прощаясь съ Лизой, сказалъ ей: «Ахъ Лиза, Лиза! какъ бы мы могли быть счастливы!» и когда она, уже смиренная монахиня въ душѣ, отвѣтила: «Вы сами видите, что счастье зависитъ не отъ насъ, а отъ Бога», и онъ началъ-было: «Да, потому что вы...» и не договорилъ... Читатели и критики «Дворянскаго гнѣзда», помнится, восхищались многимъ другимъ въ этомъ романѣ. Но для насъ существеннѣйшій интересъ его заключается въ этомъ трагическомъ столкновеніи Лаврецкаго, пассивность котораго именно въ этомъ случаѣ мы не можемъ не извинить. Здѣсь Лаврецкій, какъ будто измѣняя одной изъ родовыхъ чертъ своего типа, почти не является даже пропагандистомъ. Начиная съ первой встрѣчи съ Лизой, когда она шла къ обѣднѣ, онъ во всемъ романѣ робко склоняется предъ незыблемостью ея понятій и ни разу не смѣетъ приступить къ ней съ холодными разувѣреніями. Но и это конечно потому, что здѣсь пропаганда была бы самымъ дѣломъ, котораго Лаврецкій, какъ и вся его братія, боится. При всемъ томъ намъ кажется (по крайней мѣрѣ казалось при чтеніи романа), что самое положеніе Лаврецкаго, самая коллизія, изображенная г. Тургеневымъ и столь знакомая русской жизни, — должна служить сильною пропагандою и наводить cadaго читателя на рядъ мыслей о значеніи цѣлаго огромнаго отдѣла понятій, заправляющихъ нашей жизнью. Теперь, по разнымъ печатнымъ и словеснымъ отзывамъ, мы зна-

емъ, что были не совсѣмъ правы: смыслъ положенія Лаврецкаго былъ понять иначе или совсѣмъ не выясненъ многими читателями. Но что въ немъ есть что-то законно-трагическое, а не призрачное, это было понятно, и это, вмѣстѣ съ достоинствами исполненія, привлекло къ «Дворянскому гнѣзду» единодушное, восторженное участіе всей читающей русской публики.

Послѣ «Дворянскаго гнѣзда» можно было опасаться за судьбу новаго произведенія г. Тургенева. Путь созданія возвышенныхъ характеровъ, принужденныхъ смиряться подъ ударами рока, сдѣлался очень скользкимъ. Посреди восторговъ отъ «Дворянскаго гнѣзда» слышались и голоса, выражавшіе неудовольствіе на Лаврецкаго, отъ котораго ожидали больше. Самъ авторъ счелъ нужнымъ ввести въ свой рассказъ Михалевича, затѣмъ, чтобы тотъ обругалъ Лаврецкаго байбакомъ. А Илья Ильичъ Обломовъ, появившійся въ то же время, окончательно и рѣзко объяснилъ всей русской публикѣ, что теперь человѣку безсильному и безвольному лучше ужъ и не смѣшить людей, лучше лежать на своемъ диванѣ, нежели бѣгать, суесться, шумѣть, разсуждать и переливать изъ пустого въ порожнее цѣлые годы и десятки лѣтъ. Прочитавши «Обломова», публика поняла его родство съ интересными личностями «лишнихъ людей» и сообразила, что эти люди теперь ужъ дѣйствительно лишніе и что отъ нихъ толку ровно столько же, сколько и отъ добрѣйшаго Ильи Ильича. «Что же теперь создастъ г. Тургеневъ?» — думали мы, и съ большимъ любопытствомъ принялись читать «Наканунѣ».

Чутье настоящей минуты и на этотъ разъ не обмануло автора. Сознавши, что прежніе герои уже

сдѣлали свое дѣло и не могутъ возбуждать прежней симпатіи въ лучшей части нашего общества, онъ рѣшился оставить ихъ и, уловивши въ нѣсколькихъ отрывочныхъ проявленіяхъ вѣяніе новыхъ требованій жизни, попробовалъ стать на дорогу, по которой совершается передовое движеніе настоящаго времени.

Въ новой повѣсти г. Тургенева мы встрѣчаемъ другія положенія, другіе типы, нежели къ какимъ привыкли въ его произведеніяхъ прежняго періода. Общественная потребность дѣла, живого дѣла, начало презрѣнія къ мертвымъ принципамъ и пассивнымъ добродѣтелямъ выразилось во всемъ строѣ новой повѣсти. Безъ сомнѣнія, каждый, кто будетъ читать нашу статью, уже прочиталъ теперь «Наканунъ». Поэтому мы вмѣсто разсказа содержанія повѣсти представимъ только коротенькій очеркъ главныхъ ея характеровъ.

Героиней романа является дѣвушка, съ серьезнымъ складомъ ума, съ энергической волей, съ гуманными стремленіями сердца. Развѣтіе ея совершилось очень своеобразно, благодаря особеннымъ обстоятельствамъ семейнымъ.

Отецъ и мать ея были люди очень ограниченные, но не злые; мать даже положительно отличалась добротою и мягкостью сердца. Съ самаго дѣтства Елена была избавлена отъ семейнаго деспотизма, который губить въ зародышѣ такъ много прекрасныхъ натуръ. Она росла одна, безъ подругъ, совершенно свободно; никакой формализмъ не стѣснялъ ее. Николай Артемычъ Стаховъ, отецъ ея, человѣкъ туповатый, но корчившій изъ себя философа скептическаго тона и державшійся подальше отъ семейной жизни, сначала только вос-

хищался своей маленькой Еленой, въ которой рано обнаружилась необыкновенныя способности. Елена, пока была мала, тоже съ своей стороны обожала отца. Но отношенія Стахова къ женѣ были не совсѣмъ удовлетворительны: онъ женился на Аннѣ Васильевнѣ для ея приданого, не питалъ къ ней никакого чувства, обходился съ нею почти съ пренебреженіемъ и удалялся отъ нея въ общество Августы Христіановны, которая его обирала и дурачила. Анна Васильевна, больная и чувствительная женщина, въ родѣ Марьи Дмитріевны «Дворянскаго гнѣзда», кротко переносила свое положеніе, но не могла на него не жаловаться всѣмъ въ домѣ, и между прочимъ даже дочери. Такимъ образомъ Елена скоро сдѣлалась повѣренною горестей своей матери и становилась невольно судьею между ей и отцомъ. При впечатлительности ея натуры это имѣло большое вліяніе на развитіе ея внутреннихъ силъ. Чѣмъ менѣе она могла дѣйствовать практически въ этомъ случаѣ, тѣмъ болѣе представлялось работы ея уму и воображенію. Принужденная съ раннихъ лѣтъ всматриваться во взаимныя отношенія близкихъ ей людей, участвуя и сердцемъ и головою въ разъясненіи смысла этихъ отношеній и произнесеніи суда надъ ними, Елена рано приучила себя къ самостоятельному размышленію, къ сознательному взгляду на все окружающее. Семейныя отношенія Стаховыхъ очеркнуты у г. Тургенева очень бѣгло, но въ этомъ очеркѣ есть глубоко-вѣрные указанія, весьма много объясняющія первоначальное развитіе характера Елены. По натурѣ своей она была ребенкомъ впечатлительнымъ и умнымъ; положеніе ея между матерью и отцомъ рано вызвало ее на серьезныя размышленія, рано подняло ее до само-

стоятельной, до властительной роли. Она становилась въ уровень съ старшими, дѣлала ихъ подсудимыми предъ собою. И въ то же время размышленія ея не были холодны, съ ними сливалась вся душа ея, потому что дѣло шло о людяхъ слишкомъ близкихъ, слишкомъ дорогихъ для нея, объ отношеніяхъ, съ которыми связаны были самыя святыя чувства, самыя живые интересы дѣвочки. Оттого-то ея размышленія прямо отражались на ея сердечномъ расположеніи: отъ обожанія отца она перешла къ страстной привязанности къ матери, въ которой она стала видѣть существо притѣсненное, страдающее. Но въ этой любви къ матери не было ничего враждебнаго къ отцу, который не былъ ни злодѣемъ, ни положительнымъ дуракомъ, ни домашнимъ тираномъ. Онъ былъ только весьма обыкновенной посредственностью, и Елена охладѣла къ нему, инстинктивно, а потомъ, можетъ, и сознательно рѣшивши, что любить его не за что. Да скоро ту же посредственность увидала она и въ матери, и въ сердцѣ ея, вмѣсто страстной любви и уваженія, осталось лишь чувство сожалѣнія и снисхожденія: г. Тургеневъ очень удачно очертилъ ея отношенія къ матери, сказавши, что она «обходилась съ матерью какъ съ больной бабушкой». Мать признала себя ниже дочери; отецъ же, какъ только дочь стала переростать его умственно, что было очень нетрудно, охладѣлъ къ ней, рѣшилъ, что она странная, и отступился отъ нея.

А въ ней между тѣмъ все росло и расширялось сострадательное, гуманное чувство. Боль о чужомъ страданіи была возбуждена въ ея ребяческомъ сердцѣ убитымъ видомъ матери, конечно еще прежде, нежели она стала понимать хорошенько, въ чемъ

дѣло. Эта боль давала ей себя чувствовать постоянно, сопровождала ее при каждомъ новомъ шагѣ ея развитія, придавала особенный, задумчиво-серьезный складъ ея мыслямъ, мало-по-малу вызвала и опредѣлила въ ней дѣятельныя стремленія и всѣ ихъ направила къ страстному, неодолимому исканію добра и счастья для всѣхъ. Еще смутны были эти исканія, слабы силы Елены, когда она нашла новую пищу для своихъ размышленій и мечтаній, новый предметъ своего участія и любви—въ странномъ знакомствѣ съ нищей дѣвочкой Катей. На десятомъ году подружилась она съ этою дѣвочкой, тайкомъ ходила къ ней на свиданіе въ садъ, приносила ей лакомства, дарила ей платки, гривеннички — игрушекъ Катя не брала; сидѣла съ ней по цѣлымъ часамъ, съ чувствомъ радостнаго смиренія ѣла ея черствый хлѣбъ; слушала ея рассказы, выучилась ея любимой пѣсенкѣ, съ тайнымъ уваженіемъ и страхомъ слушала, какъ Катя обѣщалась убѣжать отъ своей злой тетки, чтобы жить *на всей Божьей волѣ*, и сама мечтала о томъ, какъ она надѣнетъ сумку и убѣжитъ съ Катей. Катя скоро умерла, но знакомство съ ней не могло не оставить рѣзкихъ слѣдовъ въ характерѣ Елены. Къ ея чистымъ, человѣчнымъ, сострадательнымъ расположеніямъ оно прибавило еще новую сторону; оно внушило ей то презрѣніе или по крайней мѣрѣ то строгое равнодушіе къ ненужнымъ излишествамъ богатой жизни, которое всегда проникаетъ душу не совсѣмъ испорченнаго человѣка въ виду безпомощной нищеты. Скоро вся душа Елены загорѣлась жаждою дѣятельнаго добра, и жажда эта стала на первый разъ удовлетворяться обычными дѣлами милосердія, какія возможны были для Елены. «Нищіе, голодные, больные

ее занимали, тревожили, мучили; она видѣла ихъ во снѣ, разспрашивала о нихъ всѣхъ и своихъ знакомыхъ». Даже «всѣ протѣсненныя животныя, худыя дворовыя собаки, осужденныя на смерть котята, выпавшіе изъ гнѣзда воробыи, даже насѣкомыя и гады находили въ Еленѣ покровительство и защиту: она сама кормила ихъ, не гнушалась ими». Отецъ ея называлъ все это пошлымъ нѣжничаньемъ; но Елена не была сантиментальна, потому что сантиментальность именно характеризуется избыткомъ чувствъ и словъ при совершенномъ недостаткѣ дѣятельной любви, а чувство Елены постоянно стремилось проявиться на дѣлѣ. Пустыхъ ласкъ и нѣжностей она не терпѣла и вообще не придавала значенія словамъ безъ дѣла и уважала только практически-полезную дѣятельность. Даже стиховъ она не любила, даже въ художествѣ толку не знала.

Но дѣятельныя стремленія души зрѣютъ и крѣпнуть только при дѣятельности просторной и вольной. Надо испробовать нѣсколько разъ свои силы, испытать неудачи и столкновенія, узнать, чего стоятъ разныя усилія и какъ преодолѣваются разныя препятствія, — для того, чтобы пріобрѣсть отвагу и рѣшимость, необходимыя для дѣятельной борьбы, чтобы узнать мѣру своихъ силъ и умѣть найти для нихъ соотвѣтственную работу. Елена, при всей свободѣ своего развитія, не могла найти достаточно средствъ для того, чтобы дѣятельно упражнять свои силы и удовлетворять свои стремленія. Ей никто не мѣшалъ дѣлать что она хочетъ; но дѣлать было нечего. Ее не стѣсняли педантизмомъ систематическаго ученія, и потому она успѣла образоваться, не принявши въ себя множество предразсудковъ, неразлучныхъ съ системами, курсами и во-

обще съ рутинною образованіемъ. Она много и съ участіемъ читала; но одно чтеніе не могло удовлетворять ее; оно имѣло только то вліяніе, что разсудочная сторона развилась въ Еленѣ сильнѣе другихъ и умственная требовательность стала пересиливать даже живыя стремленія сердца. Подаваніе милостыни, уходъ за щенками и котятами, защита мухи отъ паука — тоже не могли удовлетворить ее: когда она стала побольше и поумнѣе, она не могла не увидѣть всю скудость этой дѣятельности; да при томъ эти занятія требовали отъ нея весьма мало усилій и не могли наполнять ея существованіемъ. Ей нужно было чего-то больше, чего-то выше; но чего — она не знала, а если и знала, то не умѣла приняться за дѣло. Отъ этого и находилась она постоянно въ какой-то ажитаціи, всегда ждала и искала чего-то; отъ этого и наружность ея приняла такой особенный характеръ. «Во всемъ ея существѣ, въ выраженіи лица, *внимательномъ и немного пугливомъ*, въ *ясномъ, но измѣнчивомъ* взорѣ, въ *улыбкѣ, какъ будто напряженной*, въ *голосѣ тихомъ и нервномъ*, было что-то первическое, электрическое, что-то *порывистое и торопливое*...» Ясно, что она еще находится въ неопредѣленныхъ сомнѣніяхъ относительно самой себя, она еще не опредѣлила своей роли. Она поняла, чего ей не нужно, и смотритъ гордо и независимо на обычную обстановку своей жизни; но что ей нужно, и главное — что дѣлать, чтобы достигнуть того, что нужно, — этого она еще не знаетъ, и потому все существо ея напряженно, неровно, порывисто. Она все ждетъ, все живетъ наканунѣ чего-то... Она готова къ самой живой, энергической дѣятельности, но приступить къ дѣлу сама по себѣ, одна — она не смѣетъ.

Въ это-то несмѣлости, въ этой практической пассивности, при богатствѣ внутреннихъ силъ и при томительной жаждѣ дѣятельности — мы и видимъ живую связь героини г. Тургенева со всѣмъ нашимъ образованнымъ обществомъ⁸. По тому, какъ задуманъ характеръ Елены⁹, она представляетъ явленіе исключительное, и если бы на самомъ дѣлѣ она являлась вездѣ выразительницею своихъ воззрѣній и стремленій, — она бы оказалось чуждою русскому обществу и не имѣла бы для насъ такого¹⁰ смысла, какъ теперь. Она была бы лицомъ сочиненнымъ, растеніемъ, неудачно пересаженнымъ на нашу почву откуда-нибудь изъ другой земли. Но вѣрное чутье дѣйствительности не позволило г. Тургеневу придать своей героинѣ полного соотвѣтствія практической дѣятельности съ теоретическими ея понятіями и внутренними порывами души. На это еще не дастъ писателю матеріаловъ наша общественная жизнь. Во всемъ нашемъ обществѣ замѣтно теперь только еще пробудившееся желаніе приняться за настоящее дѣло, сознаніе пошлости разныхъ красивыхъ игрушекъ, возвышенныхъ разсужденій и неподвижныхъ формъ, которыми мы такъ долго себя тѣшили и дурачили. Но мы еще все-таки не вышли изъ той сферы, въ которой такъ спо-

⁸ Въ „Современникѣ“ вмѣсто первой фразы этого абзаца мы читаемъ слѣдующее: „Эта несмѣлость, эта практическая пассивность героини, при богатствѣ внутреннихъ силъ и при томительной жаждѣ дѣятельности, — невольно поражаетъ насъ и въ самомъ лицѣ Елены, заставляетъ видѣть что-то недодѣланное. Но и въ этой недодѣланности личности, въ недостаткѣ практической роли — мы видимъ живую связь героини г. Тургенева со всѣмъ нашимъ образованнымъ обществомъ“. *Ред.*

⁹ Тамъ же послѣ словъ „характеръ Елены“ добавлено: „въ ея основѣ“. *Ред.*

¹⁰ Тамъ же вмѣсто „смысла“ написано: „близкаго смысла“. *Ред.*

койно было намъ спать, да и не знаемъ хорошенько, гдѣ выходъ; а если кто и узнаетъ, то еще боится открыть его. Это трудное, томительное¹¹ положеніе общества необходимо кладетъ свою печать и на художественное произведеніе, вышедшее изъ среды его. Въ обществѣ могутъ быть отдѣльныя сильныя натуры, отдѣльныя лица могутъ достигать высокаго развитія нравственнаго; вотъ и въ литературныхъ произведеніяхъ являются такія личности. Но все это такъ и остается только въ очеркѣ натуры лица, а въ жизнь не переносится; предполагается возможнымъ, но въ дѣйствительности не совершается. Въ Ольгѣ «Обломова» мы видѣли женщину идеальную, далеко ушедшую въ своемъ развитіи отъ всего остального общества; но гдѣ ея практическая дѣятельность? Она способна, кажется, создать новую жизнь, а живетъ между тѣмъ въ той же пошлости, въ какой и всѣ ея подруги, потому что отъ этой пошлости некуда уйти ей. Штольцъ ей нравится, какъ энергическая дѣятельная натура; а между тѣмъ и онъ, при всѣмъ искусствѣ автора «Обломова» въ обрисовкѣ характеровъ, является передъ нами только со своими способностями и не даетъ видѣть, какъ онъ ихъ примѣняетъ; онъ лишень почвы подъ ногами и плаваетъ передъ нами какъ будто въ какомъ-то туманѣ. Теперь въ Еленѣ г. Тургенева мы видимъ новую попытку созданія энергическаго, дѣятельнаго характера и не можемъ сказать, чтобы обрисовка самаго характера не удалась автору. Если и рѣдко кому случалось встрѣчать такихъ женщинъ, какъ Елена, зато, конечно, многимъ приходилось замѣчать въ

¹¹ Въ „Соврем.“ вмѣсто словъ „томительное положеніе общества“ мы читаемъ: „томительное переходное положеніе общества“. *Ред.*

самыхъ обыкновенныхъ женщинахъ зародыши тѣхъ или другихъ существенныхъ чертъ ея характера, возможность развитія многихъ изъ ея стремленій. Какъ идеальное лицо, составленное изъ лучшихъ элементовъ, развивающихся въ нашемъ обществѣ, Елена понятна и близка намъ. Самыя стремленія ея опредѣляются для насъ очень ясно: Елена какъ будто служить отвѣтомъ на вопросы и сомнѣнія Ольги, которая, проживши съ Штольцемъ, томится и тоскуетъ, и сама не можетъ дать себѣ отчета, — о чемъ. Въ образѣ Елены объясняется причина этой тоски, необходимо поражающей всякаго порядочнаго русскаго человѣка, какъ бы ни хороши были его собственные обстоятельства. Елена жаждетъ дѣятельнаго добра, она ищетъ возможности устроить счастье вокругъ себя, потому что она не понимаетъ возможности не только счастья, но даже и спокойствія собственнаго, если ее окружаютъ горе, несчаствія, бѣдность и униженіе ея близкихъ.

Но какую же дѣятельность, сообразную съ такими внутренними требованіями, могъ дать г. Тургеневъ своей героинѣ? На это даже и отвлеченнымъ образомъ трудно отвѣтить, а художественно создать эту дѣятельность, вѣроятно, еще и невозможно для русскаго писателя настоящаго времени. Неоткуда взять дѣятельности, и поневолѣ авторъ заставилъ свою героиню дешевымъ образомъ проявлять свои высокія стремленія въ подачѣ милостыни да въ спасеніи заброшенныхъ котятъ. За дѣятельность, требующую большого напряженія и борьбы, она и не умѣетъ, и боится приняться. Она видитъ во всемъ окружающемъ, что одно давитъ другое, и потому, именно вслѣдствіе своего гуманнаго, сердечнаго развитія, старается держаться въ сто-

ронѣ отъ всего, чтобы какъ-нибудь тоже не начать давить другихъ. Въ домѣ ни въ чемъ не замѣтно ея вліяніе: отецъ и мать еѣ какъ чужіе; они боятся ея авторитета, но никогда она не обратится къ нимъ съ совѣтомъ, указаніемъ или требованіемъ. Для нея живетъ въ домѣ компаньонка Зоя, молодая добродушная нѣмка: Елена отъ нея сторонится, почти не говоритъ съ ней, и отношенія ихъ очень холодны. Тутъ же проживаетъ Шубинъ, молодой художникъ, о которомъ мы сейчасъ будемъ говорить: Елена уничтожаетъ его своими приговорами, но и не думаетъ постараться пріобрѣсти надъ нимъ какое-нибудь вліяніе, которое было бы ему очень полезно. Во всей повѣсти нѣтъ ни одного случая, гдѣ бы жажда дѣятельнаго добра заставила Елену вмѣшаться въ дѣла окружающей ее среды и проявить чѣмъ-нибудь свое вліяніе. Мы не думаемъ, чтобъ это зависѣло отъ случайной ошибки автора; нѣтъ, въ нашемъ обществѣ еще очень недавно, да и не между женщинами, а изъ среды мужчинъ, возвышался и блистала особенный типъ людей, гордившихся своимъ устраненіемъ отъ окружающей ихъ среды. «Тутъ невозможно сохранить себя чистымъ, — говорили они, и при томъ вся эта среда такъ мелка и пошла, что лучше удалиться отъ нея въ сторону». И они точно удалялись, не сдѣлавъ ни одной энергической попытки для исправленія этой пошлой среды, и удаленіе ихъ считалось единственнымъ честнымъ выходомъ изъ ихъ положенія, и прославлялось какъ подвигъ. Естественно, что, имѣя въ виду такіе примѣры и понятія, авторъ не могъ лучше освѣтить домашнюю жизнь Елены, какъ поставивъ ее совершенно въ сторонѣ отъ этой жизни. Впрочемъ, какъ мы сказали, безсилію Елены

приданъ въ повѣсти особенный мотивъ, вытекающій изъ ея женственнаго, гуманнаго чувства: она боится всякихъ столкновений, — не по недостатку мужества, а изъ опасенія нанести кому-нибудь оскорбленіе и вредъ. Никогда не испытавъ полной, дѣятельной жизни, она воображаетъ еще, что ея идеалы могутъ быть достигнуты безъ борьбы¹², безъ ущерба кому бы то ни было. Послѣ одного случая (когда Инсаровъ героически бросилъ въ воду пьянаго нѣмца), она писала въ своемъ дневникѣ: «Да, съ нимъ шутить нельзя, и заступиться онъ умѣетъ. Но къ чему же эта злоба, эти дрожащія губы, этотъ ядъ въ глазахъ? Или, можетъ быть, иначе нельзя? Нельзя быть мужчиной, бойцомъ, и остаться кроткимъ и мягкимъ?» Эта простая мысль пришла ей въ голову только теперь, да и то еще въ видѣ вопроса, котораго она такъ и не разрѣшаетъ.

Въ этой-то неопредѣленности, въ этомъ бездѣйствіи при непрерывномъ томительномъ ожиданіи чего-то, доживаетъ Елена до двадцатаго года своей жизни. По временамъ ей очень тяжело; она сознаетъ, что силы ея пропадаютъ даромъ, что жизнь ея пуста; она говоритъ про себя: «хоть бы въ служанки куда-нибудь пошла, право; мнѣ было бы легче». Это тяжкое расположеніе увеличивается въ ней тѣмъ, что она ни въ комъ не находитъ отзыва на свои чувства, ни въ комъ не видитъ опоры для себя. Иногда ей кажется, что она желаетъ чего-то, чего никто не желаетъ, о чемъ никто не мыслитъ въ цѣлой Россіи... Ей становится страшно, и потребность сочувствія развивается сильнѣе, и она напряженно и трепетно ждетъ другой души, которая бы

¹² Слова „безъ борьбы“ въ „Современникѣ“ отсутствуютъ. *Ред*

умѣла понять ее, отозваться на ея святыя чувства, помочь ей, научить ее, что надо дѣлать. Въ ней являлось желаніе отдаться кому-нибудь, слить съ кѣмъ-нибудь свое существо, и ей становилась не-пріятною даже эта самостоятельность, съ которою она такъ одиноко стояла въ кругу близкихъ ей людей. «Съ шестнадцатилѣтняго возраста она жила собственною, своею жизнью, но жизнью одинокою. Ея душа разгоралась и погасала одиноко, она билась, какъ птица въ клѣткѣ, а клѣтки не было; никто не стѣснялъ ее; никто не удерживалъ, а она рвалась и томилась. Она иногда сама себя не понимала, даже боялась сама себя. Все, что окружало ее, казалось ей не то безсмысленнымъ, не то непонятнымъ. «Какъ жить безъ любви, а любить некого», — думала она, и страшно становилось ей отъ этихъ думъ, отъ этихъ ощущеній».

При такомъ-то настроеніи ея сердца, лѣтомъ, на дачѣ въ Куицовѣ, застаетъ ее дѣйствіе повѣсти. Въ короткій промежутокъ времени являются предъ нею три человѣка, изъ которыхъ одинъ привлекаетъ къ себѣ всю ея душу. Тутъ есть впрочемъ и четвертый, эпизодически введенный, но тоже нелишній господинъ, котораго мы тоже будемъ считать. Трое изъ этихъ господъ — русскіе, четвертый — болгаръ, и въ немъ-то нашла свой идеалъ Елена. Посмотримъ на всѣхъ этихъ господъ.

Одинъ изъ молодыхъ людей, страстно, по-своему влюбленный въ Елену, — художникъ Павелъ Яковлевичъ Шубинъ, хорошенькій и граціозный юноша лѣтъ 25, добродушный и остроумный, веселый и страстный, безпечный и талантливый. Онъ доводится троюроднымъ племянникомъ Аннѣ Васильевнѣ, матери Елены, и потому очень близокъ съ моло-

дой дѣвушкой, и надѣется заслужить ея серьезное расположеніе. Но она постоянно смотритъ на него свысока и считаетъ его неглупымъ, но балованнымъ ребенкомъ, съ которымъ нельзя обращаться серьезно. Впрочемъ, Шубинъ говоритъ своему другу: «было время, я ей нравился», и дѣйствительно, у него много условій для того, чтобы нравиться; немудрено, что и Елена на минуту придала болѣе значенія его хорошимъ сторонамъ, нежели его недостаткамъ. Но скоро она увидѣла художественность¹³ этой натуры, увидѣла, что здѣсь все зависитъ отъ минуты, ничего нѣтъ постоянного и надежнаго, весь организмъ составленъ изъ противорѣчій, лѣнь заглушаетъ способности, а даромъ потраченное время вызываетъ потомъ безплодное раскаяніе, поднимаетъ желчь, возбуждаетъ презрѣніе къ самому себѣ, которое въ свою очередь служитъ утѣшеніемъ въ неудачахъ и заставляетъ гордиться и любоваться собою. Все это Елена поняла инстинктивно, безъ тяжелыхъ мукъ недоумѣнья, и потому рѣшеніе ея относительно Шубина совершенно спокойно и беззлобно. «Вы воображаете, что во мнѣ все притворно; вы не вѣрите моему раскаянію, не вѣрите, что я могу искренно плакать!» — говоритъ ей однажды Шубинъ въ отчаянномъ порывѣ. И она не отвѣчаетъ: «не вѣрю», а говоритъ просто: «Нѣтъ, Павелъ Яковлевичъ, я вѣрю въ ваше раскаяніе, и въ ваши слезы я вѣрю; но мнѣ кажется, самое ваше раскаяніе васъ забавляетъ, да и слезы тоже». Шубинъ такъ и дрогнулъ отъ этого простого приговора, который дѣйствительно долженъ былъ глубоко вонзиться въ его сердце. Онъ самъ никогда не предпо-

¹³ Это слово въ „Современникѣ“ напечатано курсивомъ. *Ред.*

лагаль, чтобъ его порывы, противорѣчія, страданія, метанья изъ стороны въ сторону — можно было понять и объяснить такъ просто и вѣрно. При этомъ объясненіи онъ даже перестаетъ дѣлаться «интереснымъ человѣкомъ». И дѣйствительно, какъ только Елена составила о немъ мнѣніе, — онъ уже не занимаетъ ея. Ей все равно — тутъ онъ или нѣтъ, помнить о ней или забыть, любить ее или ненавидить; у ней съ нимъ ничего нѣтъ общаго, хотя она не прочь искренно похвалить его, если онъ сдѣлаетъ что-нибудь достойное его таланта . . .

Другой начинаетъ занимать ея мысли. Этотъ совершенно въ иномъ родѣ; онъ неуклюжъ, старообразъ, лицо его некрасиво и даже нѣсколько смѣшно, но выражаетъ привычку мыслить и доброту. Кромѣ того, по словамъ автора, какой-то «отпечатокъ порядочности замѣчался во всемъ его неуклюжемъ существѣ». Это Андрей Петровичъ Берсеньевъ, бывшій другъ Шубина. Онъ философъ, ученый, читаетъ Исторію Гогенштауфеновъ и другія нѣмецкія книжки, исполненъ скромности и самоотверженія. На возгласы Шубина: «намъ нужно счастья, счастья! Мы завоюемъ себѣ счастье!» — онъ недовѣрчиво возражаетъ: «будто нѣтъ ничего выше счастья?» — и затѣмъ между ними происходитъ такой разговоръ:

— А напимѣрь? — спросилъ Шубинъ и остановился.

— Да вотъ, напимѣрь, мы съ тобой, какъ ты говоришь, — молоды, мы хорошіе люди, положимъ; каждый изъ насъ желаетъ себѣ счастья. Но такое ли это слово: „счастье“, которое соединило, воспламенило бы насъ обоихъ, заставило бы подать другъ другу руки? Не эгоистическое ли, я хочу сказать, не разъединяющее ли это слово?

— А ты знаешь такія слова, которыя соединяютъ?

— Да; и ихъ не мало; и ты ихъ знаешь.

— Ну-ко, какія это слова?

— Да хоть бы искусство, такъ какъ ты художникъ родина, наука, свобода, справедливость.

— А любовь? — спросилъ Шубинъ.

— И любовь — соединяющее слово; но не та любовь, которой ты теперь жаждешь, не любовь-наслажденіе, любовь-жертва.

Шубинъ нахмурился.

— Это хорошо для иѣмцевъ; я хочу любить для себя; я хочу быть номеромъ первымъ.

— Номеромъ первымъ, — повторилъ Берсенева. — А мнѣ кажется, поставить себя номеромъ вторымъ — все назначеніе нашей жизни.

— Если все такъ будутъ поступать, какъ ты советуешь, — промолвилъ съ жалобной гримасой Шубинъ, — никто на землѣ не будетъ ѣсть ананасовъ; все другимъ ихъ предоставлять будутъ.

— Значить, ананасы не нужны; а впрочемъ не бойся: всегда найдутся любители даже хлѣбъ отъ чужого рта отнимать.

Изъ этого разговора видно, какіе благородные принципы у Берсенева, и какъ душа его способна къ тому, что называется самоотверженіемъ. Онъ выражаетъ искреннюю готовность пожертвовать своимъ счастьемъ для одного изъ тѣхъ словъ, которыя онъ называетъ «соединяющими». Этимъ онъ долженъ привлечь сочувствіе такой дѣвушки, какъ Елена. Но тутъ же видно и то, почему онъ не можетъ овладѣть всею ея душою, всей полнотою ея жизни. Это одинъ изъ героевъ пассивныхъ добродѣтелей, человѣкъ, умѣющій многое перенести, многимъ пожертвовать, вообще выказать благородное поведеніе, когда приведетъ къ тому случай; но онъ не сумѣетъ и не посмѣетъ опредѣлить себя на широкую и смѣлую дѣятельность, на вольную борьбу, на самостоятельную роль въ какомъ-нибудь дѣлѣ.

Онъ самъ хочетъ быть номеромъ вторымъ, потому что въ этомъ видѣтъ назначеніе всего живущаго; и дѣйствительно, роль его въ повѣсти напоминаетъ отчасти Бизьменкова въ «Лишнемъ человѣкѣ», и еще болѣе Крупицына въ «Двухъ пріятеляхъ». Онъ, влюбленный въ Елену, становится посредникомъ между нею и Инсаровымъ, котораго она полюбила, великодушно помогаетъ имъ, ухаживаетъ за Инсаровымъ во время его болѣзни, отказывается отъ своего счастья въ пользу друга, хотя и не безъ стѣсненія сердца и даже не безъ ропота. Сердце у него доброе и любящее, но изъ всего видно, что добро онъ всегда будетъ дѣлать не столько по влеченію сердца, сколько потому, что *надо* дѣлать добро. Онъ находитъ, что надо жертвовать своимъ счастьемъ для родины, науки и пр., и этимъ самымъ онъ осуждаетъ себя быть вѣчнымъ рабомъ и мученикомъ идеи. Онъ отдѣляетъ свое счастье, напр., отъ родины, онъ, бѣднякъ, не умѣетъ возвыситься до того, чтобы понять благо родины нераздѣльно съ своимъ собственнымъ счастьемъ и чтобы не понимать счастья для себя иначе, какъ при благоденствіи родины. Напротивъ, онъ какъ будто боится, что его личное счастье будетъ мѣшать благу родины, торжеству справедливости, успѣхамъ науки и т. п. Оттого онъ боится желать себѣ счастья, и по благородству своихъ принциповъ рѣшается жертвовать имъ для означенныхъ имъ идей, считая это, разумѣется, большимъ одолженіемъ съ своей стороны. Ясно, что такого человѣка только и хватитъ на пассивное благородство. Но не ему слиться душою съ какимъ-нибудь великимъ дѣломъ, не ему позабыть весь міръ для любимой мысли, не ему воспламениться ею и сражаться за нее, какъ за свою радость,

свою жизнь, за свое счастье . . . Онъ дѣлаетъ то, что велитъ ему долгъ, стремится къ тому, что признаетъ справедливымъ по принципу; но дѣйствія его вялы, холодны, неувѣрены, потому что онъ постоянно сомнѣвается въ своихъ силахъ. Онъ отлично кончилъ курсъ въ университетѣ, любитъ науку, занимается постоянно и желаетъ быть профессоромъ: кажется, чего проще? Но когда Елена спрашиваетъ его о профессорствѣ, онъ считаетъ нужнымъ съ похвальною скромностью оговориться: «конечно, я очень хорошо знаю все, чего мнѣ недостаетъ для того, чтобы быть достойнымъ такого высокаго . . . Я хочу сказать, что я слишкомъ мало подготовленъ; но я надѣюсь получить позволеніе съѣздить за границу» . . . Точь-въ-точь вступленіе къ академической рѣчи: «надѣюсь, мм. гг., что вы благосклонно извините сухость и блѣдность моего изложенія», и пр. . . .

А между тѣмъ профессорство, о которомъ Берсенева такъ отзывается, составляетъ завѣтную мечту его! На вопросъ Елены, будетъ ли онъ вполне доволенъ своимъ положеніемъ, если получитъ кафедру, — онъ отвѣчаетъ: «Вполнѣ, Елена Николаевна, вполнѣ. Какое же можетъ быть лучше призваніе? Подумайте, пойти по слѣдамъ Тимофея Николаевича . . . Одна мысль о подобной дѣятельности наполняетъ меня радостью и смущеніемъ . . . да, смущеніемъ, котораго . . . которое происходитъ отъ сознанія моихъ малыхъ силъ». То же сознаніе своихъ малыхъ силъ заставляетъ его упорно не вѣрить тому, что Елена его полюбила, а потомъ сокрушаться, что она къ нему стала равнодушна. Это самое сознаніе проглядываетъ и въ томъ, когда онъ рекомендуетъ своего пріятеля Инсарова между про-

чимъ тѣмъ, что онъ денегъ взаймы не беретъ. Тѣмъ же сознаниемъ отзываются даже его разсужденія о природѣ. Онъ говоритъ, что природа возбуждаетъ въ немъ какое-то безпокойство, тревогу, даже грусть, и спрашиваетъ Шубина: «Что это значитъ? Сильнѣе ли мы сознаемъ передъ нею, передъ ея лицомъ, всю нашу неполноту, нашу неясность, или же мало того удовлетворенія, какимъ она довольствуется, а другого, то есть я хочу сказать — того, чего намъ нужно, у нея нѣтъ?» Въ этомъ пустопорожне-романтическомъ родѣ большая часть разсужденій Берсенева. А между тѣмъ въ одномъ мѣстѣ повѣсти упоминается, что онъ разсуждалъ о Фейербахѣ: вотъ любопытно бы послушать, что онъ о Фейербахѣ-то говоритъ! . .

Итакъ, Берсенева — весьма хорошій русскій дворянинъ, воспитанный въ началахъ долга и пустившійся потомъ въ ученость и философію. Онъ гораздо дѣльнѣе и надежнѣе Шубина, и если его повести по какому-нибудь пути, то онъ пойдетъ охотно и прямо. Но самъ вести онъ не можетъ, не только другихъ, но даже и себя самого: инициативы нѣтъ у него въ натурѣ, и онъ не успѣлъ ее пріобрѣсти ни въ воспитаніи, ни въ послѣдующей жизни. Елена сначала почувствовала симпатію къ нему за то, что онъ добрый и все о дѣлѣ говоритъ. Она даже совѣстится предъ нимъ своего невѣжества, по тому случаю, что онъ все приноситъ ей книги, которыхъ она читать не можетъ. Но совершенно привязаться къ нему, отдать ему свою душу, свою судьбу она не можетъ: она еще прежде, чѣмъ увидѣла Инсарова, инстинктивно поняла, что Берсенева не то, чего ей нужно. И дѣйствительно, можно съ достовѣрностью утверждать, что Берсенева трусилъ бы,

если бъ Елена вздумала навязаться ему на шею, и непремѣнно убѣждалъ бы подъ разными, весьма благовидными предлогами.

Впрочемъ на безлюдьѣ, въ которомъ жила Елена, она увлеклась было на минуту Берсеновымъ и уже спрашивала себя: не онъ ли тотъ, кого такъ давно и такъ жадно ждала душа ея, кто долженъ былъ вывести ее изъ всѣхъ недоумѣній и указать ей путь дѣятельности? Но самъ же Берсеновъ привелъ къ ней Инсарова, и очарованіе исчезло . . .

Въ Инсаровѣ, строго говоря, нѣтъ ничего чрезвычайнаго. Берсеновъ и Шубинъ, и сама Елена, и наконецъ даже авторъ повѣсти характеризуютъ его все болѣе отрицательными качествами. Онъ никогда не лжетъ, не измѣняетъ своему слову, не беретъ займы денегъ, не любитъ разговаривать о своихъ подвигахъ, не откладываетъ исполненія принятаго рѣшенія, его слово не расходится съ дѣломъ, и т. п. Словомъ, въ немъ нѣтъ тѣхъ чертъ, за которыя долженъ горько упрекать себя всякій чловѣкъ, имѣющій претензію считать себя порядочнымъ. Но кромѣ того онъ — болгаръ, питающій въ душѣ страстное желаніе освободить свою родину, и этой мысли онъ предается весь, открыто и увѣренно, въ ней заключается конечная цѣль его жизни. Онъ не думаетъ ставить свое личное благо въ противоположность съ этой¹⁴ цѣлью; подобная мысль, столь естественная въ русскомъ ученомъ дворянинѣ Берсеновѣ, не можетъ даже въ голову придти простому болгару. Напротивъ, онъ потому-то и хлопочетъ о свободѣ родины, что въ этомъ видитъ свое личное спокойствіе, счастье всей своей жизни; онъ

¹⁴ Въмѣсто словъ „съ этой цѣлью“ въ „Соврем.“ читаемъ: „съ своей жизненной цѣлью“... *Ред.*

бы оставилъ въ покоѣ поработченную родину, если бѣ только могъ найѣти удовольствіе себѣ въ чемъ нибудь другомъ. Но онъ никакъ не можетъ понять себя отдѣльно отъ родины. «Какъ же это можно быть довольнымъ и счастливымъ, когда свои земляки страдаютъ?—думаетъ онъ.—Какъ же можетъ человѣкъ успокоиться, пока его родина поработчена и угнетена? И какое занятіе можетъ быть для него пріятно, если оно не ведетъ къ облегченію участи бѣдныхъ земляковъ?» Такимъ образомъ онъ дѣлаетъ свое задушевное дѣло совершенно спокойно, безъ натяжекъ и фанфаронадъ, такъ же просто, какъ ѣсть и пьеть. Покамѣстъ ему приходится еще мало работать для прямого выполненія своей идеи; но что же дѣлать? Ему приходится теперь и ѣсть плохо и мало, и даже иной разъ голодать случается; но все-таки пища, хоть и скудная, составляетъ необходимое условіе его существованія. Такъ и освобожденіе родины: онъ учится въ Московскомъ университетѣ, чтобы образоваться вполнѣ и сблизиться съ русскими, и въ теченіе повѣсти довольствуется покамѣстъ тѣмъ, что переводить болгарскія пѣсни на русскій языкъ, составляетъ болгарскую грамматику для русскихъ и русскую для болгаръ, переписывается съ своими земляками и собирается ѣхать на родину — готовить возстаніе, при первой вспышкѣ восточной войны (дѣйствіе повѣсти въ 1853 г.). Конечно, это скудная пища для дѣятельнаго патріотизма Инсарова; но онъ свое пребываніе въ Москвѣ и не считаетъ еще настоящею жизнью, свою слабую дѣятельность не считаетъ удовлетворительною даже для своего личнаго чувства. Онъ также живетъ *накапунѣ* великаго дня свободы, въ которой существо его озарится сознаніемъ сча-

ствя, жизнь наполнится и будетъ уже настоящей жизнью. Этого дня ждетъ онъ какъ праздника, и вотъ почему не приходитъ ему въ голову сомнѣваться въ себѣ и холодно разсчитывать и взвѣшивать, сколько именно можетъ онъ сдѣлать и съ какимъ великимъ мужемъ успѣетъ поравняться. Будетъ ли онъ Тимоѣемъ Николаичемъ или Иваномъ Ивановичемъ, — до этого ему рѣшительно нѣтъ дѣла; придется ли быть номеромъ первымъ или вторымъ, — онъ объ этомъ и не думаетъ. Онъ будетъ дѣлать то, къ чему влечетъ его натура; если натура у него такая, что ¹⁵ лучше не найдется, онъ станетъ первымъ номеромъ, пойдеть во главѣ; если найдутся люди крѣпче и смѣлѣе его, онъ пойдеть за ними, и въ обоихъ случаяхъ останется неизмѣннымъ и вѣрнымъ себѣ. Гдѣ стать и до чего дойти, — это опредѣлять обстоятельства; но онъ хочетъ идти, онъ не можетъ нейти, не потому, чтобы боялся нарушить какой-нибудь долгъ, а потому, что онъ умеръ бы, если бы ему нельзя было двинуться съ мѣста. Въ этомъ огромная разница между нимъ и Берсeneвымъ. Берсeneвъ тоже способенъ къ жертвамъ и подвигамъ; но онъ похожъ при этомъ на великодушную дѣвушку, которая для спасенія отца рѣшается на ненавистный бракъ. Съ затаенной болью и тяжелой покорностью судьбѣ ждетъ она дня свадьбы, и рада была бы, если бъ что-нибудь ей помѣшало. Инсаровъ, напротивъ, дня своихъ подвиговъ, наступленія своей самоотверженной дѣятельности ждетъ страстно и нетерпѣливо, какъ влюбленный юноша ждетъ дня свадьбы съ любимой дѣвушкой. Одна только боязнь и тревожитъ его: какъ бы что-ни-

¹⁵ Въмѣсто словъ „что лучше не найдется“ въ „Соврем.“ напечатано: „что другихъ лучше не найдется“... Ред.

будь не разстроило, не отсрочило желанной минуты. Любовь къ свободѣ родины у Инсарова не въ разсудкѣ, не въ сердцѣ, не въ воображеніи; она у него все всемъ организмъ, и что бы ни вошло въ него, все претворяется, силою этого чувства, подчиняется ему, сливается съ нимъ. Оттого, при всей обыкновенности своихъ способностей, при всемъ отсутствіи блеска въ своей натурѣ, онъ стоитъ неизмѣримо выше, дѣйствуетъ на Елену несравненно сильнѣе и обаятельнѣе, нежели блестящій Шубинъ и умный Берсенева, хотя оба они тоже люди благородные и любящіе. Елена дѣлаетъ о Берсенева очень мѣткое замѣчаніе въ своемъ дневникѣ (на который вообще авторъ не пожалѣлъ своего глубокомыслія и остроумія): «Андрей Петровичъ, можетъ быть, ученѣе его (Инсарова), можетъ быть даже умнѣе... Но, я не знаю, — онъ передъ нимъ такой маленькій».

Разсказывать ли исторію сближенія Елены съ Инсаровымъ и любви ихъ? Кажется, не нужно. Вѣроятно, наши читатели хорошо помнятъ эту исторію; да вѣдь этого и не разскажешь. Намъ страшно прикоснуться своею холодною и жесткою рукою къ этому нѣжному поэтическому созданію; сухимъ и безчувственнымъ пересказомъ мы боимся даже профанировать чувство читателя, непременно возбуждаемое поэзіей тургеневскаго разсказа. Пѣвецъ чистой, идеальной женской любви, г. Тургеневъ такъ глубоко заглядываетъ въ юную, дѣвственную душу, такъ полно охватываетъ ее и съ такимъ вдохновеннымъ трепетомъ, съ такимъ жаромъ любви рисуетъ ея лучшія мгновенія, что намъ въ его разсказѣ такъ и чуеться — и колебаніе дѣвственной груди, и тихій вздохъ, и увлажненный взглядъ, слышится каждое біеніе взволнованнаго сердца, и наше собственное

сердце млѣть и замираетъ отъ томнаго чувства, и благодатныя слезы не разъ подступаютъ къ глазамъ, и изъ груди рвется что-то такое, — какъ будто мы снѣдѣлись съ старымъ другомъ послѣ долгой разлуки или возвращаемся съ чужбины къ роднымъ мѣстамъ. И грустно, и весело это ощущеніе: тамъ свѣтлыя воспоминанія дѣтства, невозвратно мелькнувшаго, тамъ гордыя и радостныя надежды юности, тамъ идеальныя, дружныя мечты чистаго и могучаго воображенія, еще не смиреннаго, не униженнаго испытаніями житейскаго опыта. Все это прошло и не будетъ больше; но еще не пропалъ человѣкъ, который хоть въ воспоминаніи можетъ вернуться къ этимъ свѣтлымъ грезамъ, къ этому чистому, младенческому упоенію жизнью, къ этимъ идеальнымъ, величавымъ замысламъ и — содрогнуться потомъ, при взглядѣ на ту грязь, пошлость и мелочность, въ которой проходитъ его теперешняя жизнь. И благо тому, кто умѣетъ пробуждать въ другихъ такія воспоминанія, вызвать такое настроеніе души... Талантъ г. Тургенева всегда былъ силенъ этою стороною, его повѣсти постоянно производили своимъ общимъ строемъ такое чистое впечатлѣніе, и въ этомъ, конечно, заключается ихъ существенное значеніе для общества. Не чуждо этого значенія и «Наканунъ» въ изображеніи любви Елены. Мы увѣрены, что читатели и безъ насъ сумѣютъ оцѣнить всю прелесть тѣхъ страстныхъ, нѣжныхъ и томительныхъ сценъ, тѣхъ тонкихъ и глубокихъ психологическихъ подробностей, которыми рисуется любовь Елены и Инсарова съ начала до конца. Въ-сто всякаго разсказа мы напомнимъ только дневникъ Елены, ея ожиданіе, когда Инсаровъ долженъ былъ придти проститься, сцену въ часовенкѣ, воз-

вращеніе Елены домой послѣ этой сцены, ея три посѣщенія къ Инсарову, особенно послѣднее *, потомъ прощанье съ матерью, съ родиной, отъѣздъ, наконецъ, послѣднюю прогулку ея съ Инсаровымъ по Canal Grande, слушанье «Травиаты» и возвращеніе. Это послѣднее изображеніе особенно сильно подѣйствовало на насъ своею строгою истиной и безконечно-грустной прелестью; для насъ это — самое задушевное, самое симпатичное мѣсто всей повѣсти.

Предоставляя самимъ читателямъ насладиться припоминаніемъ всего развитія повѣсти, мы обратимся опять къ характеру Инсарова, или лучше—къ тому отношенію, въ какомъ стоитъ онъ ¹⁸ къ окружающему его русскому обществу. Мы уже видѣли, что онъ здѣсь почти не дѣйствуетъ для достиженія своей главной цѣли; только разъ видимъ мы, что онъ уходитъ за 60 верстъ для примиренія поссорившихся земляковъ, жившихъ въ Троицкомъ посадѣ, да въ концѣ его пребыванія въ Москвѣ упомянуто, что онъ разъѣзжалъ по городу и видался

* Есть люди, которыхъ воображеніе до того засалено и развращено, что въ этой прелестной, чистой и глубоко-нравственной сценѣ полного, страстнаго слиянія двухъ любящихъ существъ они увидятъ только матеріалъ для сладострастныхъ представлений. Судя обо всѣхъ по себѣ, они возопіютъ даже, что эта сцена можетъ имѣть дурное вліяніе на нравственность, ибо возбуждаетъ нечистыя мысли. Но пусть ихъ вопіютъ; вѣдь есть люди, которые и при видѣ Венеры Милосской ¹⁶ говорятъ съ пріанической улыбкой: а она... того... годится ¹⁷... Но не для этихъ людей — искусства и поэзія, да не для нихъ и истинная нравственность. Въ нихъ все претворяется во что-то отвратительно-нечистое. Но дайте прочесть эти же сцены невинной чистой сердцемъ дѣвушкѣ, и повѣрьте — ничего, кромѣ самыхъ свѣтлыхъ и благородныхъ помысловъ, не вынесетъ она изъ этого чтенія.

¹⁶ Въ „Современникѣ“ послѣ словъ „Венеры Милосской“ слѣдуетъ еще фраза: „ощущаютъ лишь чувственное раздраженіе и при взглядѣ на мадонну“ и т. д. *Ред.*

¹⁷ Слово „годится“ въ „Соврем.“ отсутствуетъ. *Ред.*

¹⁸ Въ „Современникѣ“ послѣ словъ: „стоитъ онъ“, слѣдуютъ слова „въ повѣсти г. Тургенева“ и т. д. *Ред.*

украдкой съ разными лицами. Да разумѣется — ему и нечего было дѣлать, живя въ Москвѣ; для настоящей дѣятельности нужно было ему ѣхать въ Болгарію. И онъ поѣхалъ туда, но на дорогѣ смерть застигла его, и дѣятельности его мы такъ и не видимъ въ повѣсти. Изъ этого ясно, что сущность повѣсти вовсе не состоитъ въ представленіи намъ образа гражданской, т. е. общественной доблести, какъ нѣкоторые, можетъ быть, подумаютъ¹⁹. Тутъ нѣтъ упрека русскому молодому поколѣнію, нѣтъ указанія на то, каковъ долженъ быть гражданскій герой. Если бъ это входило въ планъ автора, то онъ долженъ былъ бы поставить своего героя лицомъ къ лицу съ самымъ дѣломъ, — съ партіями, съ народомъ, съ чужимъ правительствомъ, съ своими единомышленниками, съ вражеской силой... Но авторъ нашъ вовсе не хотѣлъ, да, сколько мы можемъ судить по всѣмъ его прежнимъ произведеніямъ, и не въ состояніи былъ бы написать героическую эпопею. Его дѣло совсѣмъ другое: изъ всей Иліады и Одиссеи онъ присваиваетъ себѣ только рассказъ о пребываніи Улисса на островѣ Калипсы, и далѣе этого не простирается. Давши намъ понять и почувствовать, что такое Инсаровъ и въ какую среду попалъ онъ, — г. Тургеневъ весь отдается изображенію того, какъ Инсаровъ любитъ и какъ его любятъ²⁰. Тамъ, гдѣ любовь должна наконецъ уступить мѣсто живой гражданской дѣятельности, онъ прекращаетъ жизнь своего героя и оканчиваетъ повѣсть.

¹⁹ Въ „Соврем.“ вмѣсто словъ „можетъ быть, подумаютъ“ напечатано: „хотятъ увѣрить“. *Ред.*

²⁰ Тамъ же вмѣсто словъ „какъ Инсаровъ любитъ и какъ его любятъ“ мы читаемъ: „какъ Инсарова любятъ и что изъ того происходитъ“. *Ред.*

Въ чемъ же, стало быть, смыслъ появленія болгаръ въ этой исторіи? Что тутъ значить болгаръ, почему не русскій? Развѣ между русскими уже нѣтъ такихъ натуръ, развѣ русскіе не способны любить страстно и рѣшительно, не способны очертя голову жениться по любви? Или это просто прихоть авторскаго воображенія, и въ ней не нужно отыскивать никакого особеннаго смысла? «Взялъ, молъ, себѣ болгаръ, да и кончено; а могъ бы взять и цыгана, и китайца пожалуй...»

Отвѣтъ на эти вопросы зависить отъ воззрѣнія на весь смыслъ повѣсти. Намъ кажется, что болгаръ дѣйствительно здѣсь могъ быть замѣненъ пожалуй и другою національностью — сербомъ, чехомъ, итальянцемъ, венгромъ, — только не полякомъ и не русскимъ. Почему не полякомъ, объ этомъ, разумѣется, и вопроса быть не можетъ; а почему не русскимъ, — въ этомъ заключается весь вопросъ, и мы постараемся отвѣтить на него, какъ умѣемъ ²¹.

Дѣло въ томъ, что въ «Наканунѣ» главное лицо — Елена ²². Въ ней сказалаь та смутная тоска по чемъ-то, та почти безсознательная, но неотразимая потребность новой жизни, новыхъ людей, которая охватываетъ теперь все русское общество, и даже не одно только такъ называемое образованное. Въ Еленѣ такъ ярко отразились лучшія стремленія нашей современной жизни, а въ ея окру-

²¹ Въ „Современникѣ“ вмѣсто послѣдней части этого абзаца, начиная со словъ: „только не полякомъ...“, мы читаемъ: „но не русскимъ. Появленіе русскаго на мѣстѣ Инсарова было бы фальшиво не потому, чтобы русскій народъ вовсе не способенъ былъ производить такіа натуры, а потому, что русская жизнь даетъ имъ иное направленіе и развитіе. Всмотримся въ дѣло поближе“. *Ред.*

²² Тамъ же послѣ словъ „главное лицо — Елена“ напечатано: „и по отношенію къ ней должны мы разбить другія лица“. *Ред.*

жающихъ такъ рельефно выступаетъ все пошлѣе²³ той же жизни, что невольно беретъ охота провести аллегорическій²⁴ параллель. Тутъ все пришлось бы на мѣстѣ: и не злой, но пустой и тупо важничающій Стаховъ, въ соединеніи съ Анной Васильевной, которую Шубинъ называетъ курицею, и нѣмка-компаньонка, съ которой Елена такъ холодна, и сонливый, но по временамъ глубокомысленный Уваръ Ивановичъ, котораго волнуетъ только извѣстіе о контробомбардонѣ, и даже неблаговидный лакей, доносящій на Елену отцу, когда уже все дѣло кончено...²⁵. Но подобныя параллели, несомнѣнно доказывающіе игривость воображенія, становятся натянуты и смѣшны, когда уходятъ въ большія подробности. Поэтому мы удержимся отъ подробностей и сдѣлаемъ лишь нѣсколько самыхъ общихъ замѣчаній.

Развитіе Елены основано не на большой учености, не на обширномъ опытѣ жизни; лучшая, идеальная сторона ея существа раскрылась, выросла и созрѣла въ ней при видѣ кроткой печали родного ей лица, при видѣ бѣдныхъ, больныхъ и угнетенныхъ, которыхъ она находила и видѣла всюду, даже во снѣ. Не на подобныхъ ли впечатлѣніяхъ выросло и воспиталось все лучшее въ русскомъ обществѣ. Не характеризуется ли у насъ каждый истинно-порядочный человѣкъ ненавистью ко всякому насилию, произволу, притѣсненію и желаніемъ помочь слабымъ и угнетеннымъ? Мы не

²³ Въ „Современникѣ“ вмѣсто словъ „все пошлѣе“ напечатано: „вся несостоятельность обычнаго порядка“ и т. д. *Ред.*

²⁴ Тамъ же слово „аллегорическій“ замѣнено словомъ „обстоятельный“. *Ред.*

²⁵ Тамъ же весь періодъ, начиная со словъ: „Тутъ все пришлось бы...“ и кончая словами: „все дѣло кончено...“, отсутствуетъ. *Ред.*

говоримъ: «борьбою ²⁶ въ защиту слабыхъ отъ обиды сильныхъ», потому что этого нѣтъ, но именно *желаніемъ*, совершенно такъ, какъ у Елены. Мы тоже рады сдѣлать и доброе дѣло, когда оно заключается въ себѣ только положительную сторону, т. е. не требуетъ никакой борьбы, не предполагаетъ никакого сторонняго противодѣйствія. Мы подадимъ милостыню, сдѣлаемъ благотворительный спектакль, пожертвуемъ чаже частью своего достоянія въ случаѣ нужды, но только чтобы этимъ дѣломъ и ограничилось, чтобы намъ не пришлось хлопотать и бороться съ разными непріятностями изъ за какого-нибудь бѣднаго или обиженнаго. «Желаніе дѣятельнаго добра» есть въ насъ, и силы есть; но боязнь, неувѣренность въ своихъ силахъ и наконецъ незнаніе: что дѣлать? — постоянно насъ останавливаютъ, и мы, сами не зная какъ, — вдругъ оказываемся въ сторонѣ отъ общественной жизни, холодными и чуждыми ея интересамъ, точь-въ-точь какъ Елена въ окружающей ее средѣ. Между тѣмъ желаніе попрежнему кипитъ въ груди (говоримъ о тѣхъ, кто все старается искусственно заглушить это желаніе), и мы все ищемъ, жаждемъ, ждемъ . . . ждемъ, чтобы намъ хоть кто-нибудь объяснилъ, что дѣлать ²⁷. Съ болью недоумѣнія, почти съ отчаяніемъ пишетъ Елена въ своемъ дневникѣ: «О, если бы кто-нибудь мнѣ сказалъ, вотъ что ты должна дѣлать! Быть доброю — этого мало; дѣлать добро . . . да, это главное въ жизни. Но какъ дѣлать

²⁶ Въ „Современникѣ“ вмѣсто слова „борьбою“ мы читаемъ: „дѣятельностью...“ *Ред.*

²⁷ Тамъ же фраза: „...ждемъ, чтобы намъ хоть кто-нибудь объяснилъ, что дѣлать“, отсутствуетъ: отсутствуетъ также кусокъ, начинающій отъ словъ: „Кто не признавалъ...“ и кончающій словомъ „надобно...“, весь конецъ этого абзаца, начинающій со словъ: „Мы томительно...“, и первая фраза новаго абзаца. *Ред.*

добро?» Кто изъ людей нашего общества, сознающихъ въ себѣ живое сердце, мучительно не задавалъ себѣ этого вопроса? Кто не признавалъ жалкими и ничтожными всѣ тѣ формы дѣятельности, въ которыхъ проявлялось, по мѣрѣ силъ, его желаніе добра? Кто не чувствовалъ, что есть что-то другое, высшее, что мы даже и могли бы сдѣлать, да не знаемъ, какъ приняться надобно. И гдѣ же разрѣшеніе сомнѣній? Мы томительно, жадно ищемъ его въ свѣтлыя минуты своего существованія, и нигдѣ не находимъ. Все окружающее, кажется намъ, или томится тѣмъ же недоумѣніемъ, какъ и мы, или загубило въ себѣ человѣческій образъ и сузило себя до преслѣдованія только своихъ мелкихъ, эгоистическихъ, животныхъ интересовъ. И такъ день изо дня проходитъ жизнь, пока она не умерла въ сердцѣ человѣка, и день изо дня ждетъ живой человѣкъ: не будетъ ли завтра лучше, не разрѣшится ли завтра сомнѣнье, не явится ли завтра тотъ, кто скажетъ намъ, какъ дѣлать добро . . .

Эта тоска ожиданія уже томить русское общество, и сколько разъ уже ошибались мы, подобно Еленѣ, думая, что жданный явился, и потомъ охладѣвали. Она страстно привязалась было къ Аннѣ Васильевнѣ; но Анна Васильевна оказалась ничтожною; безхарактерною . . . Почувствовала было расположение къ Шубину, какъ наше общество одно время увлекалось художественностью; но въ Шубинѣ не оказалось дѣльнаго содержанія, одни блески и капризы; а Еленѣ не до того было, чтобы, посреди ея исканій, любоваться игрушками. Увлеклась на минуту серьезною наукою въ лицѣ Берсенева; но серьезная наука оказалась скромною, сомнѣвательною, выжидающею перваго номера, чтобы пойти

за нимъ. А Еленѣ именно нужно было, чтобы явился человѣкъ, не нумерованный и не выжидающій себѣ назначенія, а самостоятельно и неодолимо стремящійся къ своей цѣли и увлекающій къ ней другихъ. Такимъ-то наконецъ явился предъ нею Инсаровъ²⁸, и въ немъ-то нашла она осуществленіе своего идеала, въ немъ-то увидѣла возможность отвѣта на вопросъ: какъ ей дѣлать добро.

Но почему же Инсаровъ не могъ быть русскимъ? Вѣдь онъ въ повѣсти не дѣйствуетъ, а только собирается на дѣло; это и русскій можетъ. Характеръ его тоже возможенъ и въ русской кожѣ; особенно въ такихъ проявленіяхъ. Онъ²⁹ любитъ сильно и рѣшительно; но неужели невозможно и это для русскаго человѣка?

Все это такъ, и все-таки сочувствіе Елены, такой дѣвушки, какъ мы ее понимаемъ, не могло обратиться на русскаго человѣка съ тѣмъ правомъ, съ тою естественностью, какъ обратилось оно на этого болгара³⁰. Все обаяніе Инсарова заклю-

²⁸ Конечъ этого абзаца, послѣ слова „Инсаровъ“, въ „Современникѣ“ отсутствуетъ. *Ред.*

²⁹ Тамъ же, послѣ слова „Онъ“, напечатано: „проявляется въ повѣсти тѣмъ, что...“ *Ред.*

³⁰ Въмѣсто первой фразы этого абзаца, въ „Соврем.“ читаемъ: „Да, на столько, на сколько Инсаровъ дѣйствуетъ въ повѣсти г. Тургенева, стало бы и русскаго человѣка. Но дѣло въ томъ, что *этотъ* Инсаровъ далеко не представляетъ въ себѣ осуществленія той идеи, которая вызвала его къ жизни въ художественномъ произведеніи. И это служить для насъ сильнѣйшимъ доказательствомъ того, что Инсаровъ не такой, какимъ онъ вышелъ въ повѣсти, а такой, какимъ онъ долженъ былъ выйти по замыслу автора, — еще не существуетъ въ нашей жизни. Самъ г. Тургеневъ, такъ хорошо изучившій лучшую часть нашего общества, не нашелъ возможности сдѣлать его *нашимъ*. Мало того, что онъ вывелъ его изъ Болгаріи, онъ недостаточно приблизилъ къ намъ этого героя даже простаго, какъ человѣка. Въ этомъ, если хотите смотрѣть даже на литературную сторону, главный художественный недостатокъ повѣсти. Блѣдность очертаній Инсарова отражается

чается³¹ — въ величїи и святости той идеи, которой проникнуто все его существо. Елена, жаждущая дѣятельнаго добра, но не знающая, какъ его,

на самомъ впечатлѣніи, производимомъ повѣстью. Величіе и красота идей Инсарова не выставляется предъ нами съ полною силою. А между тѣмъ идея его — идея чистой, святой любви къ родинѣ, — такъ свята, такъ возвышенна... Гораздо менѣе человѣчныя, даже просто фальшивыя идеи, горячо проповѣданныя въ художественныхъ образахъ, производили лихорадочное дѣйствіе на общество; Карлы Мооры, Вертеры, Печорины вызывали толпу подражателей. Инсаровъ ихъ не вызоветъ. Правда, что и мудро было ему выказаться вполне съ своей идеей, живя въ Москвѣ и ничего не дѣлая: вѣдь не въ риторическихъ же разглагольствованіяхъ упражняться! Но мы изъ повѣсти мало узнаемъ его и какъ человѣка; его внутренній міръ недоступенъ намъ; для насъ закрыто, что онъ дѣлаетъ, что думаетъ, чего надѣется, какія испытываетъ перемены въ своихъ отношеніяхъ, какъ смотритъ на ходъ событий, на жизнь, несущуюся передъ его глазами. Даже любовь его къ Еленѣ остается для насъ не вполне раскрытою. Мы знаемъ, что онъ полюбилъ ее страстно, но какъ это чувство вошло въ него, что въ ней привлекло его, на какой степени было это чувство, когда онъ его замѣтилъ и рѣшился было удалиться, — все эти внутреннія подробности и многія другія, которыя такъ тонко, такъ поэтически умѣетъ рисовать г. Тургеневъ, остаются темными въ личности Инсарова. Какъ живой образъ, какъ лицо дѣйствительное, Инсаровъ отъ насъ чрезвычайно далекъ, и вотъ почему „Наканунъ“ производитъ на публику такое слабое, даже отчасти неблагопріятное впечатлѣніе, сравнительно съ прежними повѣстями г. Тургенева, гдѣ являлись характеры, до тонкости изученные и живо прочувствованные авторомъ. Мы понимаемъ, что Инсаровъ долженъ быть хорошій человѣкъ, и что Елена могла полюбить его со всею силой души своей, потому что она видѣла его въ жизни, а не въ повѣсти; но для насъ онъ близокъ и дорогъ только какъ представитель идеи, которая поражаетъ и насъ, какъ Елену, мгновеннымъ свѣтомъ и привлекаетъ наше уваженіе. Какъ скоро отнимается отъ Инсарова эта идея, въ немъ ничего не остается. Авторъ понимаетъ, что любовь къ родинѣ должна органически срастаться со всемъ существомъ этого болгара, и что нужно показать ихъ нераздѣльными: такъ онъ и старался представить это въ своей повѣсти. Но какъ именно это чувство дѣятельнаго патріотизма проникаетъ все существо Инсарова, какъ освящаетъ всю его жизнь, опредѣляетъ все его стремленія, заправляетъ всеми поступками, — для жизненнаго и полнаго выраженія всего этого авторъ, какъ видно, не нашелъ достаточно матеріаловъ и красокъ въ той дѣйствительности, которая доступна его художническому наблюденію; оттого Инсаровъ есть созданіе головное, а не душевное, и мы головою должны оправдывать даже любовь къ нему Елены“

Съ нѣкоторыми сокращеніями и варіаціями это опущенное въ изданіи Чернышевскаго мѣсто здѣсь восстановлено на слѣдующихъ страницахъ. *Ред.*

³¹ Въ „Соврем.“ вмѣсто словъ „заключается въ величїи...“ сказано: „заклучается для нея въ величїи...“ *Ред.*

дѣлать ³², мгновенно и глубоко поражается, еще не издавши Инсарова, рассказомъ о его ³³ замыслахъ. «Освободить свою родину, — говоритъ она: — эти слова и выговорить страшно — такъ они велики!» И она чувствуетъ, что слово ея сердца найдено, что она удовлетворена, что выше этой цѣли нельзя поставить себѣ и что на всю ея жизнь, на всю ея будущность достанетъ дѣятельнаго содержанія, если только она пойдетъ за этимъ человѣкомъ. И она старается всмотрѣться въ него, ей хочется проникнуть въ его душу, раздѣлить его мечты, войти въ подробности его плановъ. А въ немъ только и есть постоянная слитая съ нимъ идея родины и ея свободы; и Елена довольна, ей правится въ немъ эта ясность и опредѣленность стремленій, спокойствіе и твердость души, могучесть самаго замысла, и она скоро сама дѣлается эхомъ той идеи, которая его одушевляетъ. «Когда онъ говоритъ о своей родинѣ, — пишетъ она въ своемъ дневникѣ, — онъ растетъ, растетъ, и лицо его хорошеетъ, и голосъ какъ сталь, и нѣтъ, кажется, тогда на свѣтъ такого человѣка, предъ кѣмъ бы онъ глаза опустилъ. И онъ не только говоритъ, онъ дѣлалъ и будетъ дѣлать. Я его разспрошу...» Черезъ нѣсколько дней она опять пишетъ: «А вѣдь странно однако, что я до сихъ поръ, до двадцати лѣтъ, никого не любила! Миѣ кажется, что у Д. (буду называть его Д., миѣ правится это имя: Дмитрій) оттого такъ ясно на душѣ, что онъ весь отдался своему дѣлу, своей мечтѣ. Изъ чего ему волноваться? Кто

³² Слова „жаждущая дѣятельнаго добра, но незнающая, какъ его дѣлать...“, въ „Соврем.“ отсутствуютъ. *Ред.*

³³ Тамъ же вмѣсто словъ „о его замыслахъ.“ мы читаемъ: „о его патріотическихъ замыслахъ“. *Ред.*

отдался весь . . . весь . . . весь . . . тому горя мало, тотъ ужъ ни за что не отвѣчаетъ. Не я хочу; то хочетъ». И понявши это, она сама хочетъ слиться съ нимъ такъ, чтобы уже не она хотѣла, а онъ, и то, что его одушевляетъ. И мы очень хорошо понимаемъ ея положеніе; увѣрены, что и все русское общество, хотя еще и не увлечется, подобно ей, личностью Инсарова, но пойметъ возможность и естественность чувства Елены³⁴.

Мы говоримъ: общество не увлечется само, и основываемъ это предположеніе на томъ, что *этотъ* Инсаровъ все еще намъ чужой человѣкъ. Самъ г. Тургеневъ, столь хорошо изучившій лучшую часть нашего общества, не нашелъ возможности сдѣлать его *нашимъ*. Мало того, что онъ вывезъ его изъ Болгаріи, онъ недостаточно приблизилъ къ намъ этого героя даже просто какъ человѣка. Въ этомъ, если хотите смотрѣть даже на литературную сторону, главный художественный недостатокъ повѣсти. Мы понимаемъ одну изъ важныхъ причинъ его, не зависящихъ отъ автора, и потому не дѣлаемъ упрека г. Тургеневу. Но тѣмъ не менѣе блѣдность очертаній Инсарова отражается на самомъ впечатлѣніи, производимомъ повѣстью. Величіе и красота идей Инсарова не выставляются предъ нами съ такою силою, чтобы мы сами прониклись ими и въ гордомъ одушевленіи воскликнули: идемъ за тобою! А между тѣмъ идея эта такъ сѣята, такъ возвышенна . . . Гораздо менѣе человѣчныя, даже просто фальшивыя идеи, горячо проведенныя въ художественныхъ образахъ, производи-

³⁴ Последняя фраза этого абзаца въ „Современникѣ“ выражена такъ: „И мы послѣ этого очень хорошо понимаемъ возможность и естественность ея чувства къ Инсарову“. *Ред.*

ли лихорадочное дѣйствіе на общество; Карлы-Мооры, Вертеры, Печорины вызывали толпу подражателей. Инсаровъ ихъ не вызоветъ. Правда, что и мудро было ему высказаться вполнѣ съ своей идеей, живя въ Москвѣ и ничего не дѣлая; вѣдь не въ риторическихъ же разглагольствованіяхъ упражняться. Но мы изъ повѣсти мало узнаемъ его и какъ человѣка; его внутренній міръ недоступенъ намъ; для насъ закрыто, что онъ дѣлаетъ, что думаетъ, чего надѣется, какія испытываетъ перемены въ своихъ отношеніяхъ, какъ смотритъ на ходъ событій, на жизнь, несущуюся передъ его глазами. Даже любовь его къ Еленѣ остается для насъ не вполнѣ раскрытою. Мы знаемъ, что онъ полюбилъ ее страстно; но какъ это чувство вошло въ него, что въ ней привлекало его, на какой степени было это чувство, когда онъ его замѣтилъ и рѣшился было удалиться, — всѣ эти внутреннія подробности и многія другія, которыя такъ тонко, такъ поэтически умѣетъ рисовать г. Тургеневъ, остаются темными въ личности Инсарова. Какъ живой образъ, какъ лицо дѣйствительное, Инсаровъ отъ насъ еще далекъ. Елена могла любить его со всею силою души своей, потому что она видѣла его въ жизни, а не въ повѣсти: для насъ же онъ близокъ и дорогъ только какъ представитель идеи, которая поражаетъ и насъ, какъ Елену, мгновеннымъ свѣтомъ и озаряетъ мракъ нашего существованія. Поэтому-то мы и понимаемъ всю естественность чувства Елены къ Инсарову, поэтому-то и сами, довольные его непреклонною вѣрностью идеѣ, не замѣчаемъ, на первый разъ, что онъ обозначается передъ нами лишь въ блѣдныхъ и общихъ очертаніяхъ.

И еще хотятъ, чтобъ онъ былъ русскимъ!

«Нѣтъ, онъ не могъ бы быть русскимъ», — восклицаетъ сама Елена, въ отвѣтъ на явившееся было сожалѣніе, что онъ не русскій. И дѣйствительно, такихъ русскихъ не бываетъ, не должно и не можетъ быть, въ настоящее время по крайней мѣрѣ. Не знаемъ, какъ развиваются и разовьются новыя поколѣнія, но тѣ, которыя мы видимъ теперь дѣйствующими, развивались вовсе не такъ, чтобы могли уподобиться Инсарову. На развитіе каждаго отдѣльнаго человѣка имѣютъ вліяніе не только его частныя отношенія, но и вся общественная атмосфера, въ которой суждено ему жить. Иная развиваетъ героическія тенденціи, другая — мирныя наклонности; иная раздражаетъ, другая убаюкиваетъ. Русская жизнь сложилась такъ хорошо, что въ ней все вызываетъ на спокойный и мирный сонъ, и всякій безсонный человѣкъ кажется, не безъ основанія, безпокойнымъ и совершенно лишнимъ для общества⁵⁵. Сравните, въ самомъ дѣлѣ, обстоятельства, при которыхъ начинается и проходитъ жизнь Инсарова, съ обстоятельствами, встрѣчающими жизнь каждаго русскаго человѣка.

Болгарія порабощена, она страдаетъ подъ турецкимъ игомъ.. Мы, слава Богу, никѣмъ не пора-

⁵⁵ Въмѣсто всего этого абзаца, за исключеніемъ его послѣдней фразы: „Сравните...“ и т. д., мы читаемъ въ „Современникѣ“ слѣдующее: „Изъ этихъ немногихъ объясненій понятно, что насколько Елена съ своей „жаждой дѣятельнаго добра“ близка нашей жизни, настолько же Инсаровъ, какъ патріотическій дѣятель, далекъ отъ нея. Ни цѣль болгара-Инсарова для насъ не пригодна, ни цѣльность его развитія намъ недоступна. У него въ виду простое дѣло — борьба съ турками; у насъ подобная цѣль была во время восточной войны, и тогда явилось и у насъ не мало героевъ. Но въ мирное время — дѣло русскаго патріота совсѣмъ иное. То, къ чему стремится Инсаровъ, у насъ уже вполне достигнуто, и его стремленія, буквально выраженные въ русскомъ человѣкѣ, должны бы считаться просто преступными, потому что они у насъ не имѣютъ никакого основанія и ничѣмъ не оправдываются“. *Ред.*

бощены, мы свободны, мы — великій народъ, не разъ рѣшавшій своимъ оружіемъ судьбы царствъ и народовъ; мы владѣемъ другими, а нами никто не владѣетъ . . .

Въ Болгаріи нѣтъ общественныхъ правъ и гарантій. Инсаровъ говоритъ Еленѣ: «Если бъ вы знали, какой нашъ край благодатный. А между тѣмъ его топчутъ; его терзаютъ; у насъ все отняли, все: наши церкви, наши права, наши земли; какъ стадо гоняютъ насъ поганые турки, насъ рѣжутъ . . .» Россія, напротивъ того, государство благоустроенное: въ ней существуютъ мудрые законы, охраняющіе права гражданъ и опредѣляющіе ихъ обязанности, въ ней царствуетъ правосудіе, процвѣтаетъ благодѣтельная гласность. Церквей ни у кого не отнимаютъ, и вѣры не стѣсняютъ рѣшительно ничѣмъ, а напротивъ, поощряютъ ревность проповѣдниковъ въ обличеніи заблудшихъ; правъ и земель не только не отнимаютъ, но еще даруютъ ихъ тѣмъ, кто не имѣлъ доселѣ; въ видѣ стада никого не гоняютъ ³⁶.

«Въ Болгаріи, — говоритъ Инсаровъ, — послѣдній мужикъ, послѣдній нищій и я — мы желаемъ одного и того же; у всѣхъ одна цѣль». Такой монотонности вовсе нѣтъ въ русской жизни, въ которой ³⁷ каждое сословіе, даже каждый кружокъ живутъ своею отдѣльною жизнью, имѣютъ свои особыя цѣли и стремленія, свое установленное назначеніе. При существующемъ у насъ благоустройствѣ общественномъ, каждому остается только

³⁶ Слова „въ видѣ стада никого не гоняютъ“ въ „Современникѣ“ отсутствуютъ. *Ред.*

³⁷ Тамъ же вмѣсто фразы „Такой монотонности вовсе нѣтъ въ русской жизни, въ которой каждое сословіе...“ и т. д., мы читаемъ: „Въ русской жизни каждое сословіе...“ *Ред.*

упрочивать собственное благосостояніе, для чего вовсе не нужно соединяться съ цѣлою націей въ одной идеѣ, какъ это происходитъ въ Болгаріи.

Инсаровъ былъ еще младенцемъ, когда турецкій ага похитилъ его мать, и потомъ зарѣзалъ, а отецъ его былъ разстрѣлянъ за то, что, желая отмстить агъ, поразилъ его кинжаломъ. Когда и кого изъ русскихъ людей могли встрѣтить въ жизни подобныя впечатлѣнія? Слыхано ли что-нибудь подобное въ русской землѣ? Конечно, уголовныя преступленія вездѣ возможны; но у насъ, если бы какой-нибудь ага и похитилъ, и убилъ или уморилъ потомъ чужую жену, такъ мужа и до отмщенія бы не допустили, ибо у насъ есть законы, для всѣхъ равные и нелицепріятно наказывающіе преступленіе.

Словомъ, Инсаровъ съ молокомъ матери всасываетъ ³⁸ ненависть къ поработителямъ, недовольство настоящимъ порядкомъ вещей. Ему не нужно напрягать себя, не нужно доходить долгимъ рядомъ силлогизмовъ до того, чтобы опредѣлить направленіе своей дѣятельности. Какъ скоро онъ не лѣнивъ и не трусь, онъ уже знаетъ, что ему дѣлать и какъ вести себя: разбрасываться ему некуда. Да и задача-то у него удобопонятная, какъ говоритъ Шубинъ: «стоитъ только турокъ вытурить — велика штука». И Инсаровъ знаетъ, при томъ, что онъ правъ въ своей дѣятельности, не только передъ собственною совѣстью, но и передъ людскимъ судомъ: его замыслы найдутъ сочувствіе во всякомъ порядочномъ человѣкѣ. Представьте же те-

³⁸ Въ этомъ абзацѣ послѣ словъ „съ молокомъ матери всасываетъ“ въ „Современникѣ“, — вмѣсто всего остального, кончая словами: „разбрасываться ему некуда“, сказано просто: свое „направленіе“. *Ред.*

перь что-нибудь подобное въ русскомъ обществѣ: неудобопредставимо! . . . Въ русскомъ переводѣ Инсаровъ выйдетъ не что иное какъ разбойникъ, представитель «противообщественнаго элемента», о которомъ русская публика знаетъ очень хорошо изъ краснорѣчивыхъ изслѣдованій г. Соловьева, сообщенныхъ «Русскимъ Вѣстникомъ». Кто же, спрашивается, можетъ полюбить такого? Какая благовоспитанная и умная дѣвушка не побѣжитъ отъ него ³⁹, что есть мочи, съ крикомъ: *quelle horreur!!* .

Понятно ли теперь, почему не можетъ быть русскій на мѣстѣ Инсарова? ⁴⁰. Натуры, подобныя ему, родятся, конечно, и въ Россіи въ немаломъ количествѣ, но онѣ не могутъ такъ безпрепятственно развиваться и такъ беззастѣнчиво проявлять себя, какъ Инсаровъ. Русский современный Инсаровъ

³⁹ Въ „Современникѣ“ послѣ словъ „побѣжитъ отъ него“ сказано просто: „съ ужасомъ“, слова же „что есть мочи, съ крикомъ: *quelle horreur!!*“ отсутствуютъ. *Ред.*

⁴⁰ Начиная со словъ этого абзаца: „Натуры, подобныя ему...“ и со словъ слѣдующаго: „Выгнать изъ службы...“, мысль выражена въ „Современникѣ“ такимъ образомъ: „Натуры, подобныя ему, въ нашемъ обществѣ должны получать другое развитіе и направленіе. Высшей борьбы намъ не нужно, но необходима усиленная, непрерывная, самоотверженная борьба съ внутреннимъ врагомъ — съ общественнымъ зломъ и неправдой. Врагъ этотъ среди насъ, часто въ насъ самихъ. Возставая противъ общественныхъ пороковъ, развращенія, произвола, апатіи, и находя въ нихъ корень всѣхъ нашихъ золъ, мы нерѣдко вдругъ замѣчаемъ, что сами не менѣе другихъ повинны — и въ произволѣ, и въ апатіи, и въ развратѣ, и проч. Есть ли возможность сохранить при этомъ полную силу героизма? Поневолѣ многіе начинаютъ накидываться на мелочи, воображая, что въ нихъ то и есть все дѣло, или сражаться съ призраками, и такимъ образомъ въ практической дѣятельности являются обыкновенно забавно жалкими Донъ-Кихотами, несмотря на все благородство своихъ стремленій. Отличительная черта Донъ-Кихота — непониманіе ни того, за что онъ берется, ни того, что выйдетъ изъ его усилій, — удивительно ярко выступаетъ въ нихъ. Рьяные, но безтолковые, они постоянно воображаютъ, что рѣшеніе всѣхъ человѣческихъ вопросовъ достигается какимъ-нибудь надимовскимъ подвигомъ ихъ благородства“. *Ред.*

всегда останется робкимъ, двойственнымъ, будетъ таиться, выражаться съ разными прикрытіями и экивоками . . . а это-то и уменьшаетъ довѣріе къ нему. Выйдетъ, пожалуй, даже иной разъ, что онъ лжетъ и противорѣчитъ себѣ; а извѣстно, что люди лгутъ обыкновенно либо изъ выгоды, либо изъ трусости. Какое же сочувствіе можно питать къ корыстолюбцу и трусу, особенно когда душа томится жаждою дѣла и ищетъ мощной головы и руки, которая бы повела ее?

Бываютъ, правда, и у насъ небольшіе герои, нѣсколько похожіе на Инсарова отвагою и сочувствіемъ къ угнетеннымъ. Но они въ нашей средѣ являются смѣшными Донъ-Кихотами. Отличительная черта Донъ-Кихота—непониманіе ни того, за что онъ берется, ни того, что выйдетъ изъ его усилій,—удивительно ярко выступаетъ въ нихъ. Они, напримѣръ, вдругъ въобразятъ, что надо спасти крестьянъ отъ произвола помѣщиковъ: и знать того не хотятъ, что никакого произвола тутъ нѣтъ, что права помѣщиковъ строго опредѣлены закономъ и должны быть неприкосновенны, пока законы эти существуютъ, и что возстановить крестьянъ собственно противъ этого произвола значитъ, не избавивши ихъ отъ помѣщика, подвергнуть еще наказанію по закону. Или, напр., зададутъ себѣ работу: спасти невинныхъ отъ судебной неправды,—какъ будто бы у насъ судьи по своему произволу такъ и дѣлаютъ, что хотятъ. Дѣла у насъ всѣ, какъ извѣстно, вершатся по закону, а чтобы растолковать законъ такъ или иначе — на это не геройство нужно, а привычка къ судейскимъ изворотамъ. Вотъ Донъ-Кихоты наши и возятся попусту . . . А то выдумаютъ вдругъ — взятки иско-

ренять, — и ужъ какая тутъ мука поидетъ бѣднымъ чиновникамъ, берущимъ гривенникъ за какую-нибудь справку! Со свѣту сгонять ихъ наши герои, принимающіе на себя защиту страждущихъ. Оно, конечно, благородно и высоко: да можно ли сочувствовать этимъ неразумнымъ людямъ? И вѣдь мы еще говоримъ не о тѣхъ холодныхъ служителяхъ долга, которые поступаютъ такимъ образомъ просто по обязанности службы; мы имѣемъ въ виду русскихъ людей, дѣйствительно, искренно сочувствующихъ угнетеннымъ и готовыхъ даже на борьбу для ихъ защиты. И эти-то выходятъ бесполезны и смѣшны, потому что не понимаютъ общаго значенія той среды, въ которой дѣйствуютъ. Да и какъ имъ понять, когда они сами-то въ ней находятся, когда верхушки ихъ тянутся вверхъ, а корень все-таки прикрѣпленъ къ той же почвѣ? Они хотятъ прогнать горе ближнихъ, а оно зависитъ отъ устройства той среды, въ которой живутъ и горюющіе, и предполагаемые утѣшители. Какъ же тутъ быть? Всю эту среду перевернуть, — такъ надо будетъ повернуть и себя; а подите-ко, сядьте въ пустой ящикъ да и попробуйте его перевернуть вмѣстѣ съ собою. Какихъ усилий это потребуеть отъ васъ! — между тѣмъ какъ подойдя со стороны вы однимъ толчкомъ могли бы справиться съ этимъ ящикомъ. Инсаровъ именно тѣмъ и беретъ, что не сидитъ въ ящикѣ: притѣснители его отечества — турки, съ которыми онъ не имѣетъ ничего общаго; ему стоитъ только подойти да и толкнуть ихъ, насколько силы хватить. Русскій же герой, являющійся обыкновенно изъ образованнаго общества, самъ кровно связанъ съ тѣмъ, на что долженъ возставать. Онъ находится

въ такомъ положеніи, въ какомъ былъ бы, напр., одинъ изъ сыновей турецкаго аги, вздумавшій освободить Болгарію отъ турокъ. Трудно даже предположить такое явленіе; но если бы оно случилось, то, чтобы сынъ этотъ не представлялся намъ глупымъ и забавнымъ малымъ, нужно, чтобы онъ отрекся ужъ отъ всего, что его связывало съ турками, — и отъ вѣры, и отъ національности, и отъ круга родныхъ и друзей, и отъ житейскихъ выгодъ своего положенія. Нельзя же согласиться, что это ужасно трудно и что подобная рѣшительность требуетъ нѣсколько другого развитія, нежели какое обыкновенно получаетъ сынъ турецкаго аги. Не много легче дается героизмъ и русскому человѣку. Вотъ отчего у насъ симпатичныя, энергическія натуры и удовлетворяютъ себя мелкими и ненужными бравадами, не достигая до настоящаго, серьезнаго героизма, т. е. до отреченія отъ цѣлой массы понятій и практическихъ отношеній, которыми они связаны съ общественной средою. Робость ихъ предъ громадою противныхъ силъ отражается даже на теоретическомъ ихъ развитіи: они боятся или не умѣютъ доходить до корня и, задумывая, напр., карать зло, только и бросаются на какое-нибудь мелкое проявленіе его и утомляются страшно, прежде чѣмъ успѣютъ даже подумать объ его источникѣ. Не хочется имъ поднять руки на то дерево, на которомъ и они сами выросли; вотъ они и стараются увѣрить себя и другихъ, что вся гниль его только снаружи, что только счистить ее стоитъ, и все будетъ благополучно. Выгнать изъ службы нѣсколько взяточниковъ, наложить опеку на нѣсколько помѣщичьихъ имѣній, обличить цѣловальника, въ одномъ кабакѣ продавнаго дурного качества вод-

ку, — вотъ и воцарится правосудіе, крестьяне во всей Россіи будутъ благоденствовать, и откупа сдѣлаются превосходною вещью для народа. Такъ искренно думаютъ многіе, и дѣйствительно тратятъ всѣ свои силы на подобные подвиги, и за то несутся считаютъ себя героями.

Намъ рассказывали объ одномъ подобномъ героѣ, человѣкѣ, какъ говорили, чрезвычайно энергическомъ и талантливомъ. Еще будучи въ гимназіи, онъ затѣялъ дѣло съ однимъ гувернеромъ, по тому поводу, что онъ утаиваетъ бумагу, назначаемую для выдачи воспитанникамъ. Дѣло пошло какъ-то неловко; герой нашъ умѣлъ задѣть и инспектора, и директора, и былъ исключенъ изъ гимназіи. Сталъ онъ готовиться въ университетъ, а между тѣмъ принялся давать уроки. При одномъ изъ первыхъ же уроковъ онъ замѣтилъ, что мать дѣтей, которыхъ онъ училъ, ударила по щекѣ свою горничную. Онъ вспыхнулъ, поднялъ въ домѣ гвалтъ, привелъ полицію и формально обвинилъ хозяйку дома въ жестокомъ обращеніи съ прислугой. Потянулось слѣдствіе, въ которомъ онъ ничего, разумѣется, не могъ доказать, и его чуть не присудили къ строгому наказанію за ложное показаніе и клевету. Уроковъ послѣ этого онъ ужъ не могъ достать. Опредѣлился, съ большимъ трудомъ, по чьей-то особенной милости на службу: дали ему переписать какое-то рѣшеніе очень нелѣпаго свойства; онъ не вытерпѣлъ и заснорилъ; ему сказали, чтобъ молчалъ, — онъ не послушался; ему велѣли убираться вонъ. Отъ нечего дѣлать, принялъ онъ приглашеніе одного изъ своихъ бывшихъ товарищей — ѣхать съ нимъ на лѣто въ деревню; пріѣхалъ, увидалъ, что тамъ дѣлается, да и принялся

толковать — и своему товарищу, и отцу его, и даже бурмистру и мужикамъ — о томъ ¹¹, какъ незаконно больше трехъ дней на барщину крестьянъ гонять, какъ непозволительно сѣчь ихъ безъ всякаго суда и расправы, какъ безчестно таскать по ночамъ крестьянскихъ женщинъ въ барскій домъ, и т. п. Кончилось тѣмъ, что мужиковъ, которые его съ участіемъ послушали, перепороли, а ему старій баринъ велѣлъ запречь лошадей и попросилъ его не являться больше въ ихъ края, если хочетъ цѣль остаться. Кое-какъ переколотившись лѣто, герой нашъ къ осени поступилъ въ университетъ, благодаря тому, что на экзаменѣ попадались ему вопросы незадорные, на которыхъ нельзя было разгуляться и заспорить. Поступилъ онъ на медицинскій факультетъ и занимался дѣйствительно хорошо, но въ практическомъ курсѣ, когда профессоръ у кровати больного объяснялъ свою премудрость, онъ никогда не могъ удержаться, чтобъ не *оборвать* отсталаго или шарлатанящаго профессора: какъ только тотъ совреть что-нибудь, такъ онъ и пойдеть ему доказывать, что это чепуха. Вслѣдствіе такихъ выходовъ, герой нашъ не оставленъ при университетѣ, не посланъ за границу, а назначенъ въ какой-то отдаленный госпиталь. Здѣсь онъ на первыхъ же порахъ уличилъ смотрителя и грозилъ на него жаловаться; потомъ въ другой разъ поймалъ и пожаловался, за что получилъ выговоръ отъ главнаго доктора; получая выговоръ, онъ, конечно, очень крупно поговорилъ и вскорѣ былъ переведенъ изъ госпиталя... Досталось ему вслѣдъ за-

¹¹ Въ „Современникѣ“ вмѣсто мыслей, заключенныхъ между словами: „о томъ...“, и „лошадей...“, мы читаемъ слѣдующее: „что законно и что незаконно. Кончилось тѣмъ, что старій баринъ велѣлъ заложить ему...“ и т. д. *Ред.*

тѣмъ провожать какую-то партію; онъ принялся шумѣть за солдатъ съ начальникомъ партіи и съ чиновникомъ, завѣдывавшимъ продовольствіемъ. Видя, что слова не помогаютъ, написалъ рапортъ, что солдаты не доѣдаютъ и не допиваютъ по милости чиновника и что начальникъ партіи этому попускаетъ. По прибытіи на мѣсто — слѣдствіе; допрашиваютъ солдатъ, тѣ говорятъ: довольны, герой нашъ приходитъ въ негодованіе, говоритъ дерзости генераль-штабъ-доктору, и мѣсяцъ спустя разжалевадается въ фельдшерскіе помощники. Пробывши двѣ недѣли въ этой должности и не выдержавъ нарочно-звѣрскаго обращенія съ нимъ, онъ застрѣливается.

Не правда ли, — явленіе необыкновенное, сильная, порывистая натура? А между тѣмъ посмотрите, на чемъ гибнетъ онъ. Во всѣхъ его поступкахъ нѣтъ ничего такого, что бы не составляло прямой обязанности всякаго честнаго человѣка на его мѣстѣ; а ему нужно однако много героизма, чтобъ поступать такимъ образомъ, нужна самоотверженная рѣшимость¹² гибнуть за добро. Спрашивается теперь: если ужъ въ немъ есть эта рѣшимость, то не лучше ли воспользоваться ею для дѣла большаго, которымъ бы дѣйствительно достигалось что-нибудь существенно-полезное? Но въ томъ-то и бѣда, что онъ не сознаетъ надобности и возможности такого дѣла и не понимаетъ того, что его окружаетъ. Онъ не хочетъ видѣть круговой поруки во всемъ, что дѣлается передъ его глазами,

¹² Въ „Современникѣ“ послѣ слова „рѣшимость“ стоитъ точка съ запятой, а затѣмъ фраза: „въ этомъ жизнь его разбивается...“ Все же остальное, заключающееся какъ въ этомъ, такъ и двухъ послѣдующихъ абзацахъ, — до словъ: „Одинъ изъ нашихъ знакомыхъ...“ отсутствуетъ. *Ред.*

и воображаетъ, что всякое замѣченное имъ зло есть не болѣе какъ злоупотребленіе прекраснаго установленія, возможное лишь какъ рѣдкое исключеніе. При такихъ понятіяхъ, русскіе герои только и могутъ, разумѣется, ограничиваться мизерными частностями, не думая объ общемъ, тогда какъ Инсаровъ, напротивъ, частное всегда подчиняетъ общему, въ увѣренности, что «и то не уйдетъ». Такъ, въ отвѣтъ на вопросъ Елены, отомстилъ ли онъ убійцѣ своего отца, Инсаровъ говоритъ: «Я не искалъ его. Я не искалъ его не потому, чтобы я не могъ убить его, — я бы очень спокойно убилъ его, — но потому, что тутъ не до частной мести, когда дѣло идетъ объ освобожденіи народа. Одно помѣшало бы другому. Въ свое время и то не уйдетъ». Вотъ въ этой любви къ общему дѣлу, въ этомъ предчувствіи его, которое даетъ силу спокойно выдерживать отдѣльныя обиды, и заключается великое превосходство болгара Инсарова предъ всѣми русскими героями, у которыхъ общего дѣлать и въ поминѣ нѣтъ.

Впрочемъ и подобныхъ-то героевъ у насъ очень немного, да и изъ нихъ большая часть не выдерживаетъ себя до конца. Гораздо многочисленнѣе въ нашемъ образованномъ обществѣ другой разрядъ людей — занимающихся размышленіями. Изъ этихъ тоже есть много такихъ, которые хоть и размышляютъ, но ничего не умѣютъ понять; но объ этихъ мы не говоримъ. Мы хотимъ указать только на тѣхъ, дѣйствительно съ свѣтлою головою людей, которые путемъ долгихъ сомнѣній и исканій дошли до того же единства и ясности идеи, съ какимъ является передъ нами; безъ всякихъ особенныхъ усилій, Инсаровъ. Эти люди понимаютъ, гдѣ

корень зла, и знаютъ, что надо дѣлать, чтобы зло прекратить; они глубоко и искренно проникнуты мыслью, до которой добились наконецъ. Но — въ нихъ нѣтъ уже силы для практической дѣятельности; они столько ломали себя, что натура ихъ какъ-то надсѣлась и обезсиѣла. Они съ сочувствіемъ смотрятъ на приближеніе новой жизни, но сами идти ей навстрѣчу не могутъ, и ими не можетъ удовлетвориться свѣжее чувство человѣка, жаждущаго дѣятельнаго добра и ищущаго себѣ руководителя.

Никто изъ насъ не беретъ готовыми человѣчныхъ понятій, во имя которыхъ нужно потомъ вести жизненную борьбу. Оттого ни въ комъ и нѣтъ той ясности, той цѣльности воззрѣній и дѣйствій, которыя такъ естественны, хоть бы, напр., въ Инсаровѣ. У него впечатлѣнія жизни, дѣйствующія на сердце и пробуждающія его энергію, постоянно подкрѣпляются требованіями разсудка, всѣмъ теоретическимъ образованіемъ, которое онъ получаетъ. У насъ совершенно наоборотъ. Одинъ изъ нашихъ знакомыхъ, держащійся передовыхъ мнѣній и сгорающій тоже жаждою дѣятельнаго добра, но человѣкъ кротчайшій и безвреднѣйшій въ мірѣ, вотъ что рассказывалъ намъ о своемъ развитіи, въ объясненіи своей теперешней бездѣятельности.

«По натурѣ своей — говорилъ онъ — я былъ мальчикъ очень добрый и впечатлительный. Я бывало плакалъ и метался, слушая рассказъ о какомъ-нибудь несчастіи, я страдалъ при видѣ чужого страданія. Помню, что я не спалъ ночи, терялъ аппетитъ и не могъ ничего дѣлать, когда кто-нибудь въ домѣ былъ боленъ; помню, что не разъ приходилъ я въ нѣкотораго рода бѣшенство, при видѣ истя-

заній, какія чинилъ одинъ мой родственникъ надъ своимъ сыномъ, моимъ пріятелемъ. Все, что я видѣлъ, все, что слышалъ, развивало во мнѣ тяжелое чувство недовольства; въ душѣ моей рано началъ шевелиться вопросъ: да отчего же все такъ страдаетъ и неужели нѣтъ средства помочь этому горю, которое, кажется, всѣхъ одолѣло? Я жадно искалъ отвѣта на эти вопросы, и скоро мнѣ дали отвѣтъ, разумный и систематическій. Я началъ учиться. Первая пропись, которую я написалъ, была такова: «истинное счастье заключается въ спокойствіи совѣсти». На разспросы мои о совѣсти мнѣ объяснили, что она караетъ насъ за дурные поступки и награждаетъ за хорошіе. Все мое вниманіе устремилось теперь на то, чтобы узнать, какіе поступки хороши, какіе дурны. Это было не трудно: кодексъ нравственности былъ готовъ — и въ прописяхъ, и въ домашнихъ наставленіяхъ, и въ особомъ курсѣ. «Почитай старшихъ», «Не надѣйся на свои силы, ибо ты — ничто», «Будь доволенъ тѣмъ, что имѣешь, и не желай большаго», «Терпѣніемъ и покорностью пріобрѣтается любовь общая», и пр. въ такомъ родѣ писалъ я въ прописяхъ. Дома и отъ всѣхъ окружающихъ слышалъ я то же самое; а въ разныхъ курсахъ узналъ я, что совершеннаго счастья на землѣ не можетъ быть, но что насколько оно возможно, настолько достигнуто въ благоустроенныхъ государствахъ, изъ которыхъ наилучшее есть мое отечество. Я узналъ, что Россія теперь не только велика и обильна, но что и порядокъ въ ней господствуетъ самый совершенный; что стоитъ только исполнять законы и приказанія старшихъ, да быть умѣреннымъ, и тогда полнѣйшее благополучіе ожидаетъ человѣка, какого

бы онъ ни былъ званія и состоянія. Отрадны мнѣ были всѣ эти открытія, и я жадно ухватился за нихъ, какъ за лучшее рѣшеніе всѣхъ моихъ сомнѣній. Вздумалъ было я повѣрять ихъ моимъ неопытнымъ умомъ, но многое пришлось мнѣ не подъ силу, а что оказывалось доступнымъ, то выходило такъ вѣрно. И вотъ, я довѣрчиво и восторженно предался новооткрытой системѣ, въ ней заключилъ всѣ свои стремленія и лѣтъ двѣнадцати былъ уже маленькимъ философомъ и страшнымъ партизаномъ законности. Я дошелъ до того убѣжденія, что во всякомъ несчастіѣ виноватъ самъ человѣкъ, или тѣмъ, что не поберегся, не остерегся, или тѣмъ, что не хотѣлъ довольствоваться малымъ, или тѣмъ, что не проникнуть достаточнымъ уваженіемъ къ закону и къ волѣ старшихъ. Собственно законъ я еще не совсѣмъ хорошо представлялъ себѣ, но онъ олицетворялся для меня во всякомъ начальствѣ и старшинствѣ. Оттого въ этотъ періодъ моей жизни я постоянно стоялъ за учителей, начальниковъ и т. д. и былъ очень любимъ начальствомъ и старшими классами. Разъ меня чуть не выкинули въ окно товарищи: одинъ учитель сказалъ цѣлому классу: «свины вы!»; всѣ пришли въ азартъ по окончаніи класса, а я принялся защищать учителя и доказывать, что онъ имѣлъ полное право сказать это. Въ другой разъ исключенъ былъ одинъ изъ нашихъ товарищей за грубость начальству; всѣ жалѣли о немъ, потому что онъ былъ лучшій между нами, но я утверждалъ, что онъ наказаніе вполне заслужилъ, и очень удивлялся, какъ онъ, будучи такимъ умнымъ мальчикомъ, не могъ понять, что покорность старшимъ есть первый долгъ нашъ и первое условіе счастья. Такъ съ каждымъ днемъ

укрѣплялся я въ своихъ понятіяхъ законности и мало-по-малу привыкалъ смотрѣть на большинство людей только какъ на орудіе исполненія высшихъ приказаній. Я порывалъ такимъ образомъ живую связь съ душою человѣка, я пересталъ тревожиться бѣдствіями своихъ собратій, пересталъ отыскивать возможность облегчить ихъ. «Сами виноваты» говорилъ я про себя, и сталъ даже питать къ нимъ не то злобу, не то презрѣніе, какъ къ людямъ, не умѣющимъ пользоваться спокойно и смирно тѣми благами, которыя имъ предлагаются по силѣ общественнаго благоустройства. Все, что было добраго въ моей натурѣ, обратилось въ другую сторону — къ поддержанію правъ старшихъ надъ нами. Я чувствовалъ, что въ этомъ заключается самоотверженіе, отреченіе отъ собственной самостоятельности, убѣжденъ былъ, что дѣлаю это въ видахъ общей пользы, и считалъ себя чуть не героемъ. Я знаю, что многіе такъ и остаются на этой степени, а другіе ее видоизмѣняютъ слегка и увѣряютъ, что они совсѣмъ перемѣнились. Но мнѣ, къ счастью, дѣйствительно пришлось перемѣнить свое направленіе довольно рано. Лѣтъ четырнадцать я самъ имѣлъ уже старшинство кое надъ чѣмъ и въ классѣ, и въ домѣ, и, разумѣется, оказался при этомъ очень плохъ. Я умѣлъ дѣлать все, что отъ меня требовали, но что и какъ мнѣ требовать — этого я не зналъ. При всемъ томъ я былъ суровъ и недоступенъ. Но скоро мнѣ стало совѣстно, и я принялся повѣрять свои прежнія понятія о начальствѣ. Поводомъ къ этому былъ одинъ случай, пробудившій опять живыя ощущенія въ моемъ мертвѣвшемъ сердцѣ. Какъ старшій братъ и умница, я училъ между прочимъ одну изъ сестеръ моихъ.

Мнѣ дано было право присуждать ей наказанія за лѣность, послушаніе и пр. Разъ она что-то была разсѣянна и никакъ не хотѣла понять моихъ толкованій; я велѣлъ ей стать на колѣни. Она тотчасъ собралась съ мыслями, и, принявши внимательный видъ, стала просить, чтобъ я повторилъ еще разъ свои слова. Но я потребовалъ, чтобъ она прежде исполнила приказаніе — стала на колѣни; она заупрямилась. Тогда я схватилъ ее за руки, поднялъ съ мѣста, потомъ положилъ ей свои локти на плечи и изо-всѣхъ силъ надавилъ внизъ. Бѣдная дѣвочка опустилась на колѣни и взвизгнула: у ней свихнулась нога при этомъ движеніи. Я очень испугался; но когда мать стала бранить меня за такое обхожденіе съ сестрой, я очень хладнокровно старался доказать, что она сама виновата, что если бъ она тотчасъ послушалась моего приказанія, то ничего бы этого и не было. Однакоже втайнѣ я мучился, тѣмъ болѣе, что сестру свою я очень любилъ. Въ это время выяснилась мнѣ мысль, что вѣдь и старшіе могутъ быть неправы и дѣлать нелѣпости, и что уважать нужно собственно законъ какъ онъ есть, а не какъ проявляется въ толкованіяхъ того ли другого лица. Тутъ пошла у меня критика лицъ, и я изъ консервативной безотвѣтственности стремительно перескочилъ въ *opposition légale*. Но долгое время я приписывалъ все дурное однимъ только частнымъ злоупотребленіямъ и нападалъ на нихъ — не во имя насущныхъ потребностей общества, не изъ состраданія къ несчастнымъ братьямъ, а просто во имя положительнаго закона. Въ то время я, конечно, съ жаромъ сталъ бы говорить противъ жестокаго обращенія съ неграми, но, подобно нѣкому московскому пу-

блицисту, отъ всей души обвинилъ бы Брауна, совершенно противозаконно вздумавшаго освободить негровъ⁴¹. Но я былъ еще тогда очель молодъ (въбродно, моложе почтеннаго публициста), мысль моя двигалась и бродила; я не могъ остановиться на этомъ и, послѣ многихъ соображеній, дошелъ наконецъ до сознанія, что и законы могутъ быть несовершенны, что ни имѣютъ относительное, временное и частное значеніе и должны подлежать перемѣнамъ съ теченіемъ времени и по требованіямъ обстоятельствъ. Но опять, во имя чего такъ разсуждалъ я? Во имя высшаго, отвлеченнаго закона справедливости, а вовсе не по внушенію живого чувства къ собратіямъ, вовсе не по сознанію тѣхъ прямыхъ, настоятельныхъ надобностей, которыя указываются идущею передъ нами жизнью. И что же? Вотъ я сдѣлалъ и послѣдній шагъ: отъ отвлеченнаго закона справедливости я перешелъ къ болѣе реальному требованію человѣческаго блага; я всѣ свои сомнѣнія и умствованія привелъ наконецъ къ одной формулѣ: человѣкъ и его счастье. Но вѣдь эта формула была въ душѣ моей еще въ дѣтствѣ, прежде чѣмъ я началъ обучаться разнымъ наукамъ и писать назидательныя прописи. И, сказать ли? — теперь я ее лучше понимаю и основательнѣе могу доказать; но тогда я чувствовалъ ее сильнѣе, она болѣе была связана съ моимъ существомъ, и даже, кажется, я готовъ былъ тогда больше сдѣлать для нея, чѣмъ теперь. Я стараюсь теперь не дѣлать ничего, противорѣчащаго созданному мною закону, стараюсь не отнимать счастье у

⁴¹ Фразы: „Въ то время я...“, оканчивающейся словомъ „Негровъ“ а также ближайшихъ, заключенныхъ въ скобку, словъ въ „Современникѣ“ нѣтъ. *Ред.*

людей; но этой пассивной ролью я и ограничиваюсь. Броситься на поискъ счастья, приблизить его къ людямъ, разрушить все, что ему мѣшаетъ — это я могъ бы только тогда, если бы мои дѣтскія чувства и мечты безпрепятственно развились и окрѣпли. А между тѣмъ они оглохли и умирали во мнѣ лѣтъ пятнадцать, и только теперь я снова возвращаюсь къ нимъ и нахожу ихъ блѣдными, тощими, слабыми. Мнѣ еще нужно возстановлять ихъ, прежде чѣмъ употреблять въ дѣло; да и кто знаетъ, удастся ли возстановить? ..».

Намъ кажется, что въ этомъ разсказѣ есть черты далеко не исключительныя, а, напротивъ, могущія служить общимъ указаніемъ на тѣ препятствія, какія встрѣчаетъ русскій человѣкъ на пути самостоятельнаго развитія. Не всѣ съ одинаковою силою привязываются къ морали прописей, но никто не уходитъ отъ ея вліянія, и на всѣхъ она дѣйствуетъ парализующимъ образомъ. Чтобы избавиться отъ нея, человѣкъ долженъ много силъ потерять и много утратить вѣры въ себя при этой непрерывной вознѣ съ безобразной путаницей сомнѣній, противорѣчій, уступокъ, извертовъ и т. п.

Такимъ образомъ, кто сохранилъ у насъ силу на геройство, такъ тому незачѣмъ быть героемъ, цѣли настоящей онъ не видитъ, взяться за дѣло не умѣетъ и потому только донкихотствуетъ. А кто иснимаетъ, что нужно и какъ нужно, такъ тотъ уже всего себя на это пониманіе и положить и въ практической дѣятельности шагу ступить не умѣетъ, и сторонится отъ всякаго вмѣшательства, какъ Елена въ домашней средѣ. Да еще Елена все-таки смѣлѣе и свободнѣе, потому что на нее подѣйствовала только общая атмосфера русской

жизни, но, какъ мы сказали уже, не наложила своей печати рутина школьнаго образованія и дисциплины ⁴⁴.

Выходитъ, что наши лучшіе люди, какихъ мы видали до сихъ поръ въ современномъ обществѣ, только что способны понять жажду дѣятельнаго добра, сжигающую Елену, и могутъ оказать ей сочувствіе, но никакъ не сумѣютъ удовлетворить этой жажды ⁴⁵. А это еще передовые, это еще называются у насъ «дѣятели общественные». А то большая часть умныхъ и впечатлительныхъ людей ѡбжигъ отъ гражданскихъ доблестей, и посвящаетъ себя различнымъ музамъ. Хоть бы тѣ же Шубинъ и Берсенева въ «Наканунѣ»: славныя натуры ⁴⁶, и тотъ и другой умѣютъ цѣнить Инсарова, даже стремятся душою вслѣдъ за нимъ; если бъ имъ немножко другое развитіе да другую среду, они бы тоже не стали спать. Но что же имъ дѣлать тутъ, въ этомъ обществѣ? Перестроить его на свой ладъ? Да ладу-то у нихъ нѣтъ никакого, и силъ-то нѣтъ. Починивать въ немъ кое что, отрѣзывать и отбрасывать понемножку разныя дрязги общественнаго устройства? Да не противно ли у мертваго зубы вырывать, и къ чему это поведетъ? На это способны только герои въ родѣ господъ Паншиныхъ и Курнатовскихъ.

Кстати — здѣсь можемъ мы сказать нѣсколько словъ о Курнатовскомъ, тоже одномъ изъ лучшихъ представителей русскаго образованнаго общества.

⁴⁴ Весь этотъ абзацъ въ „Соврем.“ отсутствуетъ. *Ред.*

⁴⁵ Тамъ же отсутствуютъ и слова: „и могутъ оказать ей сочувствіе, но никакъ не сумѣютъ удовлетворить этой жажды“. *Ред.*

⁴⁶ Въ „Соврем.“ послѣ словъ „славныя натуры“ сразу идетъ фраза: „но что же имъ дѣлать тутъ“, и т. д., всѣ же промежуточные слова отсутствуютъ. *Ред.*

Это новый видъ Паншина, только безъ свѣтскихъ и художественныхъ талантовъ, и болѣе дѣловой. Онъ очень честенъ и даже великодушенъ; въ доказательство его великодушія Стаховъ, прочащій его въ женихи Еленѣ, приводитъ фактъ, что онъ, какъ только достигъ возможности безбѣдно существовать своимъ жалованьемъ, тотчасъ отказался въ пользу братьевъ отъ ежегодной суммы, которую назначилъ ему отецъ. Вообще въ немъ много хорошаго: это признаетъ даже Елена, изображающая его въ письмѣ къ Инсарову. Вотъ ея сужденія, по которымъ однимъ только мы и можемъ впрочемъ составить понятіе о Курнатовскомъ: онъ въ ходѣ псѣвсти не участвуетъ. Разсказъ Елены впрочемъ такъ полонъ и мѣтокъ, что больше намъ ничего и не нужно, и потому, вмѣсто перифраза, мы прямо приведемъ ея письмо къ Инсарову:

Поздравь меня, милый Дмитрій, у меня женихъ. Онъ вчера у насъ обѣдалъ; папенька познакомился съ нимъ, кажется въ англійскомъ клубѣ, и пригласилъ его. Разумѣется, онъ пріѣзжалъ вчера не женихомъ. Но добрая мамаша, которой папенька сообщилъ свои надежды, шепнула мнѣ на ухо, что это за гость. Зовутъ его Егоръ Андреевичъ Курнатовскій: онъ служитъ оберъ-секретаремъ при сенатѣ. Опишу тебѣ сперва его наружность. Онъ небольшого роста, меньше тебя, хорошо сложенъ; черты у него правильны, онъ коротко остриженъ, носитъ большіе бакенбарды. Глаза у него небольшіе (какъ у тебя), каріе, быстрые, губы плоскія, широкія; на глазахъ и на губахъ постоянная улыбка, офиціальная какая-то: точно она у него дежурить. Держится онъ очень просто, говоритъ отчетливо, и все у него отчетливо: онъ ходитъ, смѣется, ѣстъ, словно дѣло дѣлаетъ. „Какъ она его изучила!“ думаешь ты, можетъ, въ эту минуту. Да; для того, чтобъ описать тебѣ его. Да и какъ же не изучать своего жениха! Въ немъ есть что-то желѣзное... и тупое и пустое, въ то же

время — и честное; говорятъ, онъ, точно, очень честенъ. Ты у меня тоже желѣзный, да не такъ какъ этотъ. За столомъ онъ сидѣлъ возлѣ меня, противъ насъ сидѣлъ Шубинъ. Сперва рѣчь зашла о какихъ-то коммерческихъ предпріятіяхъ: говорятъ, онъ въ нихъ толкъ знаетъ и чуть было не бросилъ своей службы, чтобы взять въ руки большую фабрику. Вотъ не догадался! Потомъ Шубинъ заговорилъ о театрѣ: г-нъ Курнатовскій объявилъ, — и я должна признаться, безъ ложной скромности, — что онъ въ художествѣ ничего не смыслитъ. Это мнѣ тебя напомнило... но я подумала: нѣтъ, мы съ Дмитріемъ все-таки иначе не понимаемъ художества. Этотъ какъ будто хотѣлъ сказать: я не понимаю его, да оно и не нужно, но въ благоустроенномъ государствѣ допускается. Къ Петербургу и къ солнцу *in faut* онъ, впрочемъ, довольно равнодушенъ, онъ разъ даже назвалъ себя пролетаріемъ. Мы, говоритъ, чернорабочіе. Я подумала: если бы Дмитрій это сказать, мнѣ бы это не понравилось. А этотъ пускай себѣ говоритъ! Пусть хвастается! Со мною онъ былъ очень вѣжливъ; но мнѣ все казалось, что со мной бесѣдуетъ очень, очень снисходительный начальникъ. Когда онъ хочетъ похвалить кого, онъ говоритъ, что у такого-то *есть правила* — это его любимое слово. Онъ долженъ быть самоувѣренъ, трудолюбивъ, способенъ къ самопожертвованію (ты видишь: я безпристрастна), то есть къ жертвованію своихъ выгодъ, но онъ большой деспотъ. Бѣда попасться ему въ руки! За столомъ заговорили о взяткахъ.

— Я понимаю, — сказать онъ, — что во многихъ случаяхъ берущій взятку не виноватъ: онъ иначе поступить не могъ. А все-таки, если онъ попался, должно его раздавить.

Я вскрикнула: — Раздавить невиноватаго

— Да, ради принципа.

— Какого? — спросилъ Шубинъ. Курнатовскій не то смѣялся, не то удивился, и сказалъ: „Этого нечего объяснять“. Папана, который, кажется, благоговѣетъ передъ нимъ, подхватилъ, что конечно нечего, и, къ досадѣ моей, разговоръ этотъ прекратился. Вечеромъ пришелъ Берсеевъ и вступилъ съ нимъ въ ужасный споръ. Никогда я еще не видала нашего добраго Андрея Петровича въ такомъ волненіи. Господинъ Курнатовскій вовсе не отри-

цаль пользы науки, университетовъ и т. д. А между тѣмъ я понимала негодованіе Андрея Петровича. Тотъ смотритъ на все это какъ на гимнастику какую-то. Шубинъ подошелъ ко мнѣ послѣ стола и сказалъ: „Вотъ этотъ и нѣкто другой [онъ твоего имени произнести не можетъ] — оба практическіе люди, а посмотрите, какая разница: тамъ настоящий, живой, жизнью данный идеаль, а здѣсь даже не чувство долга, а просто служебная честность и дѣльность безъ содержанія“. — Шубинъ уменъ, и я, для тебя, запомнила его умныя слова; а по-моему, что же общаго между вами? Ты *вѣришь*, а тотъ нѣтъ, потому что только въ самого себя *вѣрить* нельзя.

Елена сразу поняла Курнатовскаго и отозвалась о немъ не совсѣмъ благосклонно. А между тѣмъ выкиньте въ этотъ характеръ и припомните своихъ знакомыхъ дѣловыхъ людей, съ честью подвизающихся для пользы общей; навѣрное многіе изъ нихъ окажутся хуже Курнатовскаго, а найдутся ли лучше — за это поручиться трудно. А все отчего? Именно оттого, что жизнь, среда не дѣлаетъ насъ ни умными, ни честными, ни дѣтельными. И умъ, и честность, и силы къ дѣтельности мы должны пріобрѣтать изъ иностранныхъ книжекъ, которыя при томъ нужно еще согласить и соразмѣрить со Сводомъ Законовъ. Немудрено, что за этой трудной работой холодѣетъ сердце, замираетъ все живое въ человѣкѣ, и онъ превращается въ автомата, мѣрно и неизмѣнно совершающаго то, что ему слѣдуетъ. И все-таки опять повторю: это еще лучшіе. Тамъ, за ними, начинается другой слой: съ одной стороны совсѣмъ сонные Обломовы, уже окончательно потерявшіе даже обаяніе краснорѣчія, которымъ плѣняли барышень въ былое время, съ другой дѣтельные Чичиковы, неусыпные, неустанные, героическіе въ достиженіи своихъ узенькихъ и га-

денькихъ интересцевъ. А еще дальше возвышаются Брусковы, Большовы, Кабановы, Уланбековы, и все это злое племя предъявляетъ свои права на жизнь и волю русскаго люда . . . Откуда тутъ взяться героизму, а если и народится герой, такъ гдѣ набраться ему свѣта и разума для того, чтобы не пропасть его силѣ даромъ, а послужить добру да правдѣ? И если наберется наконецъ, то гдѣ ужъ геройствовать и надломленному и надорванному, гдѣ гдѣ ужъ грызть орѣхи беззубой бѣлкѣ? Лучше же и не обольщаться понапрасну, лучше выбрать себѣ какую-нибудь спеціальность да и зарыться въ ней, заглушая недостойное чувство невольной зависти къ людямъ, живущимъ и знающимъ, зачѣмъ они живутъ ⁴⁷.

Такъ и поступили въ «Наканунѣ» Шубинъ и Берсенева. Шубинъ расходился было, узнавши о свадьбѣ Елены съ Инсаровымъ, и началъ: «Инсаровъ . . . Инсаровъ . . . Къ чему ложное смиреніе? Ну, положимъ, онъ молодецъ, онъ постоитъ за себя; да будто ужъ мы такая совершенная дрянь? Ну, хоть я, развѣ дрянь? Развѣ Богъ меня такъ-таки всѣмъ и обидѣлъ?» и пр. . . . И тотчасъ же свернулъ, бѣднякъ, на художество: можетъ, говорить, и я современемъ прославлюсь своими произведеніями . . . И точно — онъ сталъ работать надъ своимъ талантомъ, и изъ него замѣчательный ваятель выходитъ. И Берсенева, добрый, самоотверженный Берсенева, такъ искренно и радушно ходившій за больнымъ Инсаровымъ, такъ великодуш-

⁴⁷ Конецъ этого абзаца, начиная отъ словъ „Откуда тутъ взяться героизму“, — въ „Современникѣ“ выраженъ слѣдующимъ образомъ: „Что жъ тутъ дѣлать? И приходится выбрать себѣ какую-нибудь отвлеченную, далекую отъ жизни спеціальность да и зарыться въ ней... Рѣ

но служившій посредникомъ между нимъ, своимъ соперникомъ, и Еленой, и Берсенева, это золотое сердце, какъ выразился Инсаровъ, — не можетъ удержаться отъ ядовитыхъ размышленій, убѣдившись окончательно во взаимной любви Инсарова и Елены. «Пусть ихъ! — говоритъ онъ. — Не даромъ мнѣ говаривалъ отецъ: мы съ тобой, братъ, не сибариты, не аристократы, не баловни судьбы и природы, мы даже не мученики, мы — труженики, труженики и труженики. Надѣвай же свой кожаный фартукъ, труженикъ, да становись за свой рабочій станокъ, въ своей темной мастерской! А солнце пусть другимъ сіяетъ! И въ нашей глухой жизни есть своя гордость и свое счастье!» Какимъ адомъ зависти и отчаянія вѣютъ эти несправедливые попреки, — неизвѣстно кому и за что!.. Кто жъ виноватъ во всемъ, что случилось? Не самъ ли Берсенева? Нѣтъ, русская жизнь виновата: «кабы были у насъ путные люди, по выраженію Шубина, не ушла бы отъ насъ эта дѣвушка, эта чуткая душа, не ускользнула бы, какъ рыба въ воду». А людей путныхъ или непутныхъ дѣлаетъ жизнь, общій строй ея въ извѣстное время и въ извѣстномъ мѣстѣ. Строй нашей жизни оказался таковъ, что Берсенева только и осталось одно средство спасенія: «изсушать умъ наукою безплодною». Онъ такъ и сдѣлалъ, и ученые очень хвалили, по словамъ автора, его сочиненія: «О нѣкоторыхъ особенностяхъ древне-германскаго права въ дѣлѣ судебныхъ наказаній» и «О значеніи городского начала въ вопросѣ цивилизаціи». И еще благо, что хоть въ этомъ могъ найти спасеніе...

Вотъ Еленѣ — такъ не оставалось никакого ресурса въ Россіи послѣ того, какъ она встрѣтилась

съ Инсаровымъ и поняла иную жизнь. Оттого-то она не могла ни остаться въ Россіи, ни возвратиться въ нее одна, послѣ смерти мужа. Авторъ очень хорошо умѣлъ понять это и предпочелъ лучше оставить ея судьбу въ неизвѣстности, нежели возвратить ее подъ родительскій кровъ и заставить доживать свои дни въ родной Москвѣ, въ тоскѣ одиночества и бездѣйствія. Призывъ родной матери, дошедшій до нея почти въ ту самую минуту, какъ она лишилась мужа, не смягчилъ ея отвращенія отъ этой пошлой, безцвѣтной, бездѣйственной жизни. «Вернуться въ Россію! Зачѣмъ? Что дѣлать въ Россіи?» — написала она матери и отправилась въ Зару, чтобы потеряться въ волнахъ возстанія⁴⁸.

И какъ хорошо, что она приняла эту рѣшимость! Что, въ самомъ дѣлѣ, ожидало ее въ Россіи? Гдѣ для нея тамъ цѣль жизни, гдѣ жизнь? Возвратиться опять къ несчастнымъ котяткамъ и мухамъ, подавать нищимъ деньги, не ею выработанныя и Богъ знаетъ какъ и почему ей доставшіяся, радоваться успѣхамъ въ художествѣ Шубина, трактовать о Шеллингѣ съ Берсеновымъ, читать матери «Московскія Вѣдомости», да видѣть, какъ на общественной аренѣ подвизаются *правила* въ видѣ разныхъ Курнатовскихъ, — и нигдѣ не видѣть настоящаго дѣла, даже не слышать вѣянія новой жизни...⁴⁹ и понемногу, медленно и томительно вянуть, хирѣть, замирать... Нѣтъ, ужъ если разъ она попробовала другой жизни⁵⁰,дохнула другимъ

⁴⁸ Слова „чтобы потеряться въ волнахъ возстанія“ въ „Современникѣ“ отсутствуют. — *Ред.*

⁴⁹ Въ „Соврем.“ мы не находимъ словъ: „— и нигдѣ не видѣть настоящаго дѣла, даже не слышать вѣянія новой жизни...“ — *Ред.*

⁵⁰ Также не находимъ словъ „попробовала другой жизни...“ — *Ред.*

воздухомъ, то легче ей броситься въ какую угодно опасность, нежели осудить себя на эту тяжелую пытку, на эту медленную казнь . . . И мы рады, что она избѣгла нашей жизни и не оправдала на себѣ эти безнадежно-печальныя, раздрающія душу предвѣщанія поэта, такъ постоянно и безошибочно оправдывающіяся надъ самыми лучшими, избранными натурами въ Россіи:

Вдали отъ солнца и природы,
Вдали отъ свѣта и искусства,
Вдали отъ жизни и любви,
Мелькнутъ твои молодые годы,
Живыя помертвѣютъ чувства,
Мечты развѣются твои.

И жизнь твоя пройдетъ незрима
Въ краю безлюдномъ, безымянномъ,
На незамѣченной землѣ, —
Какъ исчезаетъ облакъ дыма
На небѣ тускломъ и туманномъ
Въ осенней безпредѣльной мглѣ . . .

Намъ остается свести отдѣльныя черты, разбросанныя въ этой статьѣ (за неполноту которой просимъ извиненія у читателей), и сдѣлать общее заключеніе.

Инсаровъ, какъ человѣкъ сознательно и всецѣло проникнутый великой идеей освобожденія родины и готовый принять въ ней дѣятельную роль, не могъ развиваться и проявить себя въ современномъ русскомъ обществѣ. Даже Елена, такъ полно умѣвшая полюбить его и такъ слиться съ его идеями, и она не можетъ оставаться среди русскаго общества, хотя тамъ — всѣ ся близкіе и родные. Итакъ, великимъ идеямъ, великимъ сочувствіямъ нѣтъ еще

мѣста среди насъ? . . Все героическое, дѣятельное должно бѣжать отъ насъ, если не хочетъ умереть отъ бездѣйствія или погибнуть напрасно? Не такъ ли? Не таковъ ли смыслъ повѣсти, разобранной нами?

Мы думаемъ, что нѣтъ. Правда, для широкой дѣятельности нѣтъ у насъ открытаго попрница; правда, наша жизнь проходитъ въ мелочахъ, въ плутняхъ, интрижкахъ, сплетняхъ и подличаньи; правда, наши гражданскіе дѣятели лишены сердца и часто крѣпколобы, наши умники палецъ объ палецъ не ударятъ, чтобы доставить торжество своимъ убѣжденіямъ, наши либералы и реформаторы отправляются въ своихъ проектахъ отъ юридическихъ тонкостей, а не отъ стона и вопля несчастныхъ братьевъ. Все это такъ ⁵¹. Но мы все-таки думаемъ, что *теперь* въ нашемъ обществѣ есть уже мѣсто великимъ идеямъ и сочувствіямъ, и что недалеко время, когда этимъ идеямъ можно будетъ проявиться на дѣлѣ ⁵².

Дѣло въ томъ, что какъ бы ни была плоха наша жизнь, но въ ней уже оказалась возможность такихъ явленій, какъ Елена. И мало того, что такіе характеры стали возможны въ жизни, они уже охвачены художническимъ сознаніемъ, внесены въ литературу, возведены въ типъ. Елена — лицо идеальное, но черты ея намъ знакомы, мы ее понимаемъ, сочувствуемъ ей. Что это значитъ? То, что основа ея характера — любовь къ страждущимъ и

⁵¹ Въ „Современникѣ“ послѣ словъ „Все это такъ“ слѣдуетъ фразу: „и все это видно отчасти и въ „Пикануи“, какъ въ десяткахъ другихъ повѣстей послѣдняго времени“. *Ред.*

⁵² Тамъ же вмѣсто словъ „*теперь* въ нашемъ обществѣ“ и т. д. до конца абзаца, сказано: „существенный смыслъ повѣсти Тургенева гораздо утѣшительнѣе“. *Ред.*

притѣсненнымъ, желаніе дѣятельнаго добра, томительное исканіе того, кто бы показалъ, какъ дѣлать добро, — все это наконецъ чувствуется въ лучшей части нашего общества. И чувство это такъ сильно и такъ близко къ осуществленію, что оно уже не обольщается, какъ прежде, ни блестящимъ, но безплоднымъ умомъ и талантомъ, ни добросовѣстной, но отвлеченной ученостью, ни служебными добродѣтелями, и даже добрымъ великодушнымъ, но пассивно-развитымъ сердцемъ. Для удовлетворенія нашего чувства ⁵³, нашей жажды нужно болѣе: нуженъ человѣкъ, какъ Инсаровъ, — но русскій Инсаровъ.

На что жъ онъ намъ? Мы сами говорили выше, что намъ не нужно героевъ освободителей, что мы народъ владѣтельный, а не порабощенный...

Да, извинѣ мы ограждены, да если бъ и случилась виѣшняя борьба, то мы можемъ быть спокойны. У насъ для военныхъ подвиговъ всегда было довольно героевъ, и въ восторгахъ, какіе донинѣ испытываютъ барышни отъ офицерской формы и усиковъ, можно видѣть неоспоримое доказательство того, что общество наше умѣетъ цѣнить этихъ героевъ. Но развѣ мало у насъ враговъ внутреннихъ? Развѣ не нужна борьба съ ними и развѣ не требуется ге-

⁵³Въ „Соврем.“ послѣсловъ „Для удовлетворенія нашего чувства“, — вмѣсто конечной фразы этого абзаца и четырехъ послѣдующихъ, до словъ: „Вѣчная пошлость“... — мы читаемъ: „нужны люди — герои для борьбы съ врагами внутренними, люди живые и энергичскіе, не говорунья и не рефлексоры, а практическіе дѣятели. Нужно, чтобы они умѣли понять нужды русской жизни, всею силою души своей захотѣли уврачевать наши раны, вполне отделись идеѣ общаго блага, сблизились съ нею реѣмъ существомъ своимъ и увлекли бы за собою на дѣло правды и добра новыхъ дѣятелей, честныхъ и усердныхъ ко благу родины. У насъ доселѣ нѣтъ такихъ людей, потому что наша общественная среда до сихъ поръ не благопріятствовала ихъ развитію. Возможны ли они?“ Ред.

ройство для этой борьбы? А гдѣ у насъ люди, способные къ дѣлу? Гдѣ люди цѣльные, съ дѣтства охваченные одной идеей, сжившіеся съ нею такъ, что имъ нужно — или доставить торжество этой идеѣ, или умереть? Нѣтъ такихъ людей, потому что наша общественная среда до сихъ поръ не благопріятствовала ихъ развитію. И вотъ отъ нея-то, отъ этой среды, отъ ея пошлости и мелочности и должны освободить насъ новые люди, которыхъ появленія такъ нетерпѣливо и страстно ждетъ все лучшее, все свѣжее въ нашемъ обществѣ.

Трудно еще явиться такому герою; условія для его развитія и особенно для перваго проявленія его дѣятельности — крайне неблагопріятны, а задача гораздо сложнѣе и труднѣе, чѣмъ у Инсарова. Врагъ виѣшній, притѣснитель привилегированный гораздо легче можетъ быть застигнутъ и побѣжденъ, нежели врагъ внутренній, разсѣянный повсюду въ тысячѣ разныхъ видовъ, неуловимый, неуязвимый, а между тѣмъ тревожащій васъ повсюду, отравляющій всю жизнь вашу и не дающій вамъ ни отдохнуть, ни осмотрѣться въ борьбѣ. Съ этимъ внутреннимъ врагомъ ничего не сдѣлаешь обыкновеннымъ оружіемъ; отъ него можно избавиться только переживши сырую и туманную атмосферу нашей жизни, въ которой онъ зародился, выросъ и усилился, и обвѣявши себя такимъ воздухомъ, которымъ онъ дышать не можетъ.

Возможно ли это? Когда это возможно? Изъ этихъ вопросовъ можно отвѣчать категорически только на первый. Да, это возможно, и вотъ почему. Мы говорили выше о томъ, какъ наша общественная среда подавляетъ развитіе личностей, подобныхъ Инсарову. Но теперь мы можемъ сдѣ-

латъ дополненіе къ своимъ словамъ: среда эта дошла теперь до того, что сама же и поможетъ явленію такого человѣка. Вѣчная пошлость, мелочность и апатія не могутъ же быть законнымъ удѣломъ человѣка, и люди, составляющіе общественную среду нашу и закованные въ ея условія, давно уже поняли всю тяжесть и нелѣпость этихъ условій. Одни скучаютъ, другіе рвутся всѣми силами — куда-нибудь, только бы избавиться отъ этого гнета. Разные исходы придумывались, разные средства употреблялись, чтобы чѣмъ-нибудь оживить мертвость и гнилость нашей жизни; но все это было слабо и недѣйствительно. Наконецъ теперь появляются уже такія понятія и требованія, какія мы видимъ въ Еленѣ; требованія эти принимаются обществомъ съ сочувствіемъ; мало того — они стремятся къ дѣятельному осуществленію. Это значитъ, что ужъ старая общественная рутина отживаетъ свой вѣкъ; еще нѣсколько колебаній, еще нѣсколько сильныхъ словъ и благопріятныхъ фактовъ, и явятся дѣятели! ⁵⁴.

Выше мы замѣтили, что рѣшимость и энергію сильной природы убиваетъ у насъ еще въ самомъ началѣ то идиллическое восхищеніе всѣмъ на свѣтѣ, то расположеніе къ лѣнивому самодовольству и сонному покою, которое встрѣчаетъ каждый изъ насъ, еще ребенкомъ, во всемъ окружающемъ и къ которому его тоже стараются пріучить всевозможными совѣтами и наставленіями. Но въ послѣднее время и это условіе сильно измѣнилось. Вездѣ и во всемъ замѣтно самосознаніе, вездѣ понята несостоятельность стараго порядка вещей, вездѣ

⁵⁴ Въ „Современникѣ“ конецъ этого абзаца, начиная со словъ „еще нѣсколько колебаній“..., отсутствуетъ. *Ред.*

ждутъ реформъ и исправлений, и никто уже не убаюкиваетъ своихъ дѣтей пѣсней о томъ, какое непостижимое совершенство представляетъ современный порядокъ дѣлъ въ Россіи. Напротивъ, теперь каждый ждетъ, каждый надѣется, и дѣти теперь подрастаютъ, напитываясь надеждами и мечтами лучшаго будущаго, а не привязываясь насильно къ трупу отжившаго прошедшаго. Когда придетъ ихъ чередъ приняться за дѣло, они уже внесутъ въ него ту энергію, послѣдовательность и гармонію сердца и мысли, о которыхъ мы едва могли пріобрѣсти теоретическое понятіе.

Тогда и въ литературѣ явится полный, рѣзко и живо очерченный образъ русскаго Инсарова. И недолго намъ ждать его: за это ручается то лихорадочное, мучительное нетерпѣніе, съ которымъ мы ожидаемъ его появленія въ жизни. Онъ необходимъ для насъ, безъ него вся наша жизнь идетъ какъ-то не въ зачетъ, и каждый день ничего не значитъ самъ по себѣ, а служить только кануномъ другого дня. Придетъ же онъ наконецъ, этотъ день! И во всякомъ случаѣ канунъ недалекъ отъ слѣдующаго за нимъ дня: всего-то какая-нибудь ночь раздѣляетъ ихъ! ..⁵⁵.

⁵⁵ Въ „Согрем.“ мы не находимъ всего послѣдняго абзаца: „Тогда и въ литературѣ“ и т. д. *Ред.*

Кобзарь.

Тараса Шевченка. Книгомъ Платона Семеренка.
Спб. 1862.

Появленіе стихотвореній Шевченка интересно не для однихъ только страстныхъ приверженцевъ малороссійской литературы, но и для всякаго любителя истинной поэзіи. Его произведенія интересуютъ насъ совершенно независимо отъ стараго спора о томъ, возможна ли малороссійская литература: споръ этотъ относился къ литературѣ книжной, общественной, цивилизованной, — какъ хотите называйте, — но во всякомъ случаѣ къ литературѣ искусственной, а стихотворенія Шевченка именно тѣмъ и отличаются, что въ нихъ искусственнаго ничего нѣтъ. Конечно, по-малороссійски не выйдетъ хорошо «Онѣгина» или «Герой нашего времени», такъ же какъ не выйдутъ статьи г. Безобразова объ аристократіи или моральныя статьи г-жи Туръ о французскомъ обществѣ. Конечно, всѣ эти статьи можно перевести и на малороссійскій языкъ, но считать этотъ языкъ дѣйствительно малороссійскимъ будетъ великое заблужденіе. Тѣ малороссы, которымъ доступно все, что занимаетъ Онѣгина и г-жу Туръ, говорятъ уже почти по-русски, усвоивши себѣ весь кругъ названій предметовъ, постепенно образовавшійся въ русскомъ языкѣ цивилизаціею высшихъ классовъ общества. На-

стоящіе же малороссы, свободные отъ вліянія русскаго языка, такъ же чужды языку книжной литературы, какъ и наши простолюдины. Вѣдь и у насъ языкъ литературы — собственно не русскій, и черезъ сто лѣтъ надъ нами, конечно, будутъ такъ же смѣяться, какъ мы теперь смѣемся надъ языкомъ *ассамблей* петровскаго времени. Но у насъ безтолковая смѣсь пяти языковъ организовалась довольно скоро и составила то, что мы теперь называемъ языкомъ образованнаго общества. Это оттого, во-первыхъ, что намъ ужъ рѣшительно нечѣмъ было взяться: новыя понятія и новые предметы врываются толпой, назвать ихъ не умѣемъ, да и около насъ негдѣ взять; а между тѣмъ названіе нужно во что бы то ни стало. Поневолѣ брали готовое или выдумывали какъ попадется. Во-вторыхъ, книжныя понятія и слова хотя и не прошли въ народъ, но все-таки захватили у насъ довольно значительную часть общества и проникли въ законодательство. Въ Малороссіи эта масса общества, занятаго литературнымъ языкомъ, несравненно меньше, да нѣтъ и имъ такой нужды перевертывать на свой ладъ каждое названіе вновь являющагося у нихъ предмета: они получаютъ эти названія не изъ какого-нибудь латинскаго языка, — гдѣ ужъ какъ ни бейся, а надобно «us» отбросить и дать слову свое склоненіе, — а изъ языка родственнаго, имѣющаго почти тѣ же формы. Такимъ образомъ слова, принятые въ русскомъ, цѣликомъ входятъ въ малороссійскій языкъ, и случается встрѣчать такія малороссійскія статьи, въ которыхъ почти только *що, ажъ, бо, чи* и тому подобныя частицы и напоминаютъ объ особенностяхъ нарѣчія.

Но само собою разумѣется, что никто не отка-

жетъ малороссійскому, какъ всякому другому, народу въ правѣ и способности говорить своимъ языкомъ о предметахъ своихъ нуждъ, стремленій и воспоминаній; никто не откажется признать народную поэзію Малороссіи. И къ этой-то поэзіи должны быть отнесены стихотворенія Шевченка. Онъ — поэтъ совершенно народный, такой, какого мы не можемъ указать у себя. Даже Кольцовъ не идетъ съ нимъ въ сравненіе, потому что складомъ своихъ мыслей и даже своими стремленіями иногда отдаляется отъ народа. У Шевченка, напротивъ, весь кругъ его думъ и сочувствій находится въ совершенномъ соотвѣтствіи со смысломъ и строемъ народной жизни. Онъ вышелъ изъ народа, жилъ съ народомъ, и не только мыслю, но и обстоятельствами жизни былъ съ нимъ крѣпко и кровно связанъ. Былъ онъ и въ кругу образованнаго общества, малорусскаго и великорусскаго, но долгое время встрѣчалъ въ немъ лишь отталкивающую презрительную грубость, притѣсненія, насилія, несправедливость, и за то, при первыхъ же лучахъ нравственнаго, свободнаго сознанія, тѣмъ сильнѣе устремился онъ душою къ своей бѣдной родинѣ, припоминая ея сказанія, повторяя ея пѣсни, представляя себѣ ея жизнь и природу. Что вытерпѣлъ Шевченко въ юныхъ лѣтахъ и на чемъ воспитывался умъ и талантъ его, объ этомъ онъ самъ разсказалъ недавно въ письмѣ къ одному изъ редакторовъ «Народнаго чтенія» («Нар. Чт.», 1860, кн. II, стр. 229—236). Мы рѣшаемся привести почти все это письмо, полагая, что разсказы о судьбѣ людей, подобныхъ Шевченку, должны получать самую широкую извѣстность въ нашей публикѣ. Вотъ разсказъ Шевченка:

Я — сынъ крѣпостного крестьянина, Григорія Шевченка. Родился въ 1814 году февраля 25, въ селѣ Кирилловкѣ, Звенигородскаго уѣзда Кіевской губерніи, въ имѣніи одного помѣщика. Минувшисъ отца и матери на восьмомъ году жизни, пріютился я въ школу у приходскаго дьячка, въ видѣ школяра-*попыхача*. Эти школяры въ отношеніи къ дьячкамъ то же самое, что мальчики, отданные родителями или иною властью, на выучку къ ремесленникамъ. Права надъ ними мастера не имѣютъ никакихъ опредѣленныхъ границъ: они — полные рабы его. Всѣ домашнія работы и выполненіе всевозможныхъ прихотей самого хозяина и его домашнихъ лежатъ на нихъ безусловно. Предоставляю вашему воображенію представить, чего могъ требовать отъ меня дьячекъ. — замѣйте, горькій пьяница, — и что я долженъ былъ исполнять съ рабской покорностью, не имѣя ни одного существа въ мірѣ, которое заботилось бы, или могло заботиться, о моемъ положеніи. Какъ бы то ни было, только въ теченіе двухлѣтней тяжелой жизни въ такъ называемой школѣ прошелъ я *Грамматику*, *Числовецъ* и наконецъ Псалтырь. Подъ конецъ моего школьнаго курса, дьячекъ посылалъ меня читать, вмѣсто себя, Псалтырь по усоннихъ крѣпостныхъ душахъ и благоволялъ платить мнѣ за то десятую копейку въ видѣ прощренія. Моя помощь доставляла суровому моему учителю возможность претаваться болѣе прежняго любимому своему занятію, вмѣстѣ со своимъ другомъ Юною Лимаремъ, такъ что по возвращеніи отъ молитвословнаго подвига я почти всегда находилъ ихъ обоихъ мертвенки пьяными. Дьячекъ мой обходился жестоко не со мною однимъ, но и съ другими, и мы всѣ глубоко его ненавидѣли. Безголовая его придирчивость сдѣлала насъ въ отношеніи къ нему лукавыми и мстительными. Мы надували его при всякомъ удобномъ случаѣ и дѣлали ему всевозможныя пакости. Этотъ первый деспотъ, на котораго я наткнулся въ моей жизни, поселилъ во мнѣ на всю жизнь глубокое отвращеніе и презрѣніе ко всякому насилію одного человека надъ другимъ. Мое дѣтское сердце было оскорблено этимъ нечадіемъ деспотическихъ семинарій миліонъ разъ, и я кончилъ съ нимъ такъ, какъ вообще оканчиваютъ выведенные изъ терпѣнія беззащитные люди, — местию и бѣгствомъ. Найдя его однажды безчувственно пьянымъ, я

употребилъ противъ него собственное его оружiе — розги и, насколько хватило дѣтскихъ силъ, отплатилъ ему за все его жестокости. Изъ всехъ пожниковъ пьяницы-дьячка драгоцѣннѣйшею вещью казалась мнѣ всегда какая-то книжечка съ *кунишниками*, то есть гравированными картинками, вѣроятно самой плохой работы. Я не считъ грѣхомъ или не устоялъ противъ искушенiя — похитить эту драгоцѣнность, и ночью бѣжалъ въ мѣстечко Лысянку.

Тамъ я нашелъ себѣ новаго учителя въ особѣ маляр-діакона, который, какъ я скоро убѣдился, очень мало отличался своими правилами и обычаями отъ моего перваго наставника. Три дня я терпѣливо таскать на гору ведрами воду изъ рѣчки Тикача и растиралъ на желѣзномъ листѣ краску мѣдянку. На четвертый день терпѣніе мнѣ измѣнилось, и я бѣжалъ въ село Тарасовку къ дьячку-маляру, славившемуся въ околоткѣ изображенiемъ великомученика Никиты и Ивана Воина. Къ сему-то Апеллесу обратился я, съ твердою рѣшимостью — перенести все испытанiя, какъ думалъ я тогда, неразлучныя со всякою наукою. Усвоить себѣ его великое искусство хоть въ самой малой степени желалъ я страстно. Но — увы! — Апеллесъ посмотрѣлъ внимательно на мою лѣвую руку и отказалъ мнѣ паотрѣзъ. Онъ объявилъ мнѣ, къ моему крайнему огорченiю, что во мнѣ нѣтъ способности ни къ чему, ни даже къ *шевству* или *бондарству*.

Потерявъ всякую надежду сдѣлаться когда-нибудь хоть посредственнымъ маляромъ, съ сокрушеннымъ сердцемъ возвратился я въ родное село. У меня была въ виду скромная участь, которой мое воображенiе придавало однакожь какую-то простодушную прелесть: я хотѣлъ сдѣлаться, какъ выражается Гомеръ, „настыремъ стада непорочнымъ“, съ тѣмъ, чтобы, ходя за громадною *ватагою*, читать свою любезную краденную книжку съ *кунишниками*. Но и это не удалось мнѣ. Помѣщику, только что наслѣдовавшему достояніе отца своего, понадобился расторопный мальчикъ, и оборванный школяръ-бродяга попалъ прямо въ тиковую куртку, въ такія же шаровары и наконецъ — въ комнатные казачки.

Изобрѣтенiе комнатныхъ казачковъ принадлежитъ цивилизаторамъ закарпатской Украины — полякамъ; помѣщики иныхъ національностей перенимали и перенимаютъ у нихъ казачковъ, какъ выдумку, неоспоримо умную. Въ

краю иѣкогда казакомъ сдѣлать казака ручнымъ съ самаго дѣтства — это то же самое, что въ Ланландіи покорить произволу человека быстроногаго оленя... Польскіе помѣщики былого времени содержали казачковъ, кромѣ лакейства, еще въ качествѣ музыкантовъ и танцоровъ. Казачки играли для панской потѣхи веселыя двусмысленныя иѣсенки, сочиненныя народною музою съ горя подъ пьяную руку, и пускались передъ панами, какъ говорятъ поляки, *сюды-туды-навприсюды*. Новѣйшіе представители вельможной шляхты, съ чувствомъ просвѣщенной гордости, называютъ это покровительствомъ украинской народности, которымъ-де всегда отличались ихъ предки. Мой помѣщикъ, въ качествѣ русскаго иѣмца, смотрѣлъ на казачка болѣе практическимъ взглядомъ и, покровительствуя моей народности на свой манеръ, вмѣнилъ мнѣ въ обязанность только молчаніе и неподвижность въ уголку передней, пока не раздастся его голосъ, повелѣвающій подать стоящую тутъ же возлѣ него трубку или налить у него передъ носомъ стаканъ воды. По врожденной мнѣ продерзости характера, я нарушалъ барскій наказъ, наиѣвая чуть слышнымъ голосомъ гайдамацкія унылыя иѣсени и срисовывая украдкою картины суздальской школы, украшавшія панскіе покои. Рисовалъ я карандашемъ, который — признаюсь въ этомъ безъ всякой совѣсти — укралъ у конторщика.

Баринъ мой былъ человѣкъ дѣятельный: онъ безпрестанно ѣздилъ то въ Кіевъ, то въ Вильно, то въ Петербургъ и таскалъ за собой въ обозѣ меня, для сидѣнія въ передней, подаванія трубки и тому подобныхъ надобностей. Нельзя сказать, чтобъ я тяготился своимъ тогдашнимъ положеніемъ: оно только теперь приводитъ меня въ ужасъ и кажется мнѣ какимъ-то дикимъ и несвязнымъ сномъ. Вѣроятно, многіе изъ русскаго народа посмотрятъ когда-то по моему на свое прошедшее. Странствуя съ своимъ баринкомъ съ одного постоялаго двора на другой, я пользовался всякимъ удобнымъ случаемъ украсть со стѣны лубочную картинку и составить себѣ такимъ образомъ драгоцѣнную коллекцію. Особенными моими любимцами были историческіе герои, какъ-то: Соловей-Разбойникъ, Кульневъ, Кутузовъ, казакъ Платовъ и другіе. Впрочемъ не жажда стяжанія управляла мною, но непреодолимое желаніе срисовать съ нихъ какъ только возможно вѣрныя копія.

Однажды, во время пребыванія нашего въ Вильно, въ 1829 году, декабря 6, панъ и пани уѣхали на балъ въ такъ называемые *рессурсы* (дворянское собраніе), по случаю тезоименства въ Бозѣ почившаго императора Николая Павловича. Въ домѣ все успокоилось, уснуло. Я зажегъ свѣчку въ уединенной комнатѣ, развернулъ свои краденныя сокровища и, выбравъ изъ нихъ казака Платова, принялся съ благоговѣніемъ копировать. Время легло для меня незамѣтно. Уже я добрался до маленькихъ казачковъ, гарцующихъ около дюжихъ коней генеральскаго коня, какъ позади меня отворилась дверь, и вошелъ мой помѣщикъ, возвратившійся съ бала. Онъ съ остервенѣніемъ выдралъ меня за уши и надавалъ пощечинъ — не за мое искусство, нѣтъ! (на искусство онъ не обратилъ вниманія), — а зато, что я могъ бы съжечь не только домъ, но и городъ. На другой день онъ велѣлъ кучеру Сидоркѣ выпороть меня хорошенько, что и было исполнено съ достодолжнымъ усердіемъ.

Въ 1832 году мнѣ исполнилось восемнадцать лѣтъ, и такъ какъ надежды моего помѣщика на мою лакейскую расторопность не оправдались, то онъ, виявъ неотступно моеѣ просьбѣ, законтраговать меня на четыре года разныхъ живописныхъ дѣлъ цеховому мастеру, нѣкому Ширяеву, въ С.-Петербургѣ. Ширяевъ соединялъ въ себѣ всѣ качества дьячка-спартаца, дьякона-маляра и другого дьячка — хиромантика; но, несмотря на весь гнетъ тройственнаго его генія, я, въ свѣтлыя весеннія ночи, бѣгалъ въ Лѣтній садъ рисовать со статуѣ, украшающихъ сіе примолнейное созданіе Петра. Въ одинъ изъ такихъ сеансовъ познакомился я съ художникомъ Иваномъ Максимовичемъ Сошенко, съ которымъ и до сихъ поръ нахожусь въ самыхъ искреннихъ братскихъ отношеніяхъ. По совѣту Сошенка, я началъ пробовать акварелью портреты съ натуры. Для многочисленныхъ, грязныхъ пробъ терпѣливо служилъ мнѣ моделью другой мой землякъ и другъ, казакъ Иванъ Ничипоренко, дворовый челоуѣкъ нашего помѣщика. Однажды помѣщикъ увидѣлъ у Ничипоренко мою работу, и она ему до того понравилась, что онъ началъ употреблять меня для снятія портретовъ съ любимыхъ своихъ любовницъ, за которые иногда награждалъ меня нѣлымъ рублемъ серебра.

Въ 1837 году Сошенко представилъ меня конференцъ-

секретарю академіи художествъ, В. И. Григоровичу, съ просьбою — освободить меня отъ моей жалкой участи. Григоровичъ передалъ его просьбу В. А. Жуковскому. Тотъ сторговался предварительно съ моимъ помѣщикомъ и просилъ К. П. Брюлова вынести съ него, Жуковского, портретъ съ цѣлью разыграть его въ частной лотерей. Великій Брюловъ тотчасъ согласился, и вскорѣ портретъ Жуковского былъ у него готовъ. Жуковский, съ помощью графа М. Ю. Вязьгорскаго, устроилъ лотерею въ 2,500 рублей ассигнаціями, и этою цѣною куплена была моя свобода, въ 1838 году, апрѣля 22.

Съ того же дня началъ я посѣщать классы академіи художествъ и вскорѣ сдѣлался однимъ изъ любимыхъ учениковъ-товарищей Брюлова. Въ 1844 году удостоился я званія свободнаго художника.

О первыхъ литературныхъ моихъ опытахъ скажу только, что они начались въ томъ же Лѣтнемъ саду, въ свѣтлыя, безлунныя ночи. Украинская строгая муза долго чуждалась моего вкуса, извращеннаго жизнью въ школѣ, въ помѣщичьей передней, на постоянныхъ дворахъ и въ городскихъ квартирахъ; но когда дыханіе свободы возвратило моимъ чувствамъ чистоту первыхъ лѣтъ дѣтства, проведенныхъ подъ убогою батюшескою стрѣхою, она, спасибо ей, обняла и приласкала меня на чужой сторонѣ. Изъ первыхъ, слабыхъ моихъ опытовъ, написанныхъ въ Лѣтнемъ саду, напечатана только одна баллада *Причина*. Какъ и когда писались послѣдовавшія за нею стихотворенія, объ этомъ теперь я не чувствую охоты распространяться. Краткая исторія моей жизни, набросанная мною въ этомъ нестройномъ разсказѣ въ угожденіе вамъ, сказать правду, обонялась мнѣ дороже, чѣмъ я думаю. Сколько лѣтъ потерянныхъ! сколько цвѣтовъ увядшихъ! И что же я купилъ у судьбы своими усилями не погибнутъ? Едва ли не одно страшное уразумѣніе своего прошедшаго. Оно ужасно, оно тѣмъ болѣе для меня ужасно, что мои родные братья и сестра, о которыхъ мнѣ тяжело было вспоминать въ своемъ разсказѣ, до сихъ поръ — крѣпостные. Да, милостивый государь, они крѣпостные до сихъ поръ!

Итакъ, вотъ какія впечатлѣнія ложились на душу юноши за предѣломъ простой жизни «подъ убо-

гою батьковою стрѣхою»; воть что встрѣтитъ онъ «въ школѣ, въ помѣщичьей передней, на постоянныхъ дворахъ и въ городскихъ квартирахъ» . . . Подобныя впечатлѣнія способны были убить юную душу, развратить всѣ нравственныя силы, загубить и затоптать человѣка. Но видно богато былъ одаренъ душевными силами этотъ мальчикъ, что онъ вышелъ, хоть и не совсѣмъ, можетъ быть, невредимо, изъ всего этого. А если ужъ вышелъ, то онъ не могъ не обратиться къ своей Украинѣ, не могъ не посвятить всего себя тому, что вѣяло на него святыней чистаго воспоминанія, что освѣжало и согрѣвало его въ самыя трудныя и темныя минуты жизни . . . И онъ остался вѣренъ своимъ первоначальнымъ днямъ, вѣренъ своей Украинѣ. Онъ поетъ преданія ея прошлой жизни, поетъ ея настоящее — не въ тѣхъ кругахъ, которые наслаждаются плодами новѣйшей русской цивилизаціи, а въ тѣхъ, гдѣ сохранилась безыскусственная простота жизни и близость къ природѣ. Оттого-то онъ такъ близокъ къ малороссійскимъ думамъ и пѣснямъ, оттого-то въ немъ такъ и слышно вѣянье народности. Онъ смѣло могъ сказать о своихъ думахъ:

Думи мої, думи мої,
Квіти мої, діти!
Вироставъ васъ, доглядавъ васъ, —
Де жъ мині васъ діти?
Въ Україну идіть, діти,
Въ нашу Україну,
По-підъ тинню, сиротами,
А я — тутъ загину.
Тамъ найдете щире серце,
И слово ласкаве,
Тамъ найдете щиру правду,
А ще, може, й славу . . .

Привитай же, моя пенько,
Моя Україно,
Моїхъ дітокъ неразумнихъ,
Якъ свою дитину.

И мы не сомнѣваемся, что Украина съ восторгомъ приметъ «Кобзаря», давно ужъ ей, впрочемъ, знакомаго. Онъ близокъ къ народной пѣснѣ, а извѣстно, что въ пѣснѣ вылилась вся прошедшая судьба, весь настоящій характеръ Украйны; пѣсня и дума составляютъ тамъ народную святыню, лучшее достояніе украинской жизни, въ нихъ горитъ любовь къ родинѣ, блещетъ слава прошедшихъ подвиговъ; въ нихъ дышитъ и чистое, нѣжное чувство женской любви, особенно любви материнской; въ нихъ же выражается и та тревожная оглядка на жизнь, которая заставляетъ казака, свободного отъ битвы, «искать свою долю». Весь кругъ жизненныхъ насущныхъ интересовъ охватывается въ пѣснѣ, сливается съ нею, и безъ нея сама жизнь дѣлается невозможною. По словамъ Шевченка, —

Наша дума, наша пісня,
Не вмере, не загине...
Отъ де, люде, наша слава,
Слава України!
Безъ золота, безъ каменю,
Безъ хитрої мови,
А голосна та правдива,
Якъ Господа слово

У Шевченка мы находимъ всѣ элементы украинской народной пѣсни. Ея историческія судьбы внушили ему цѣлую поэму «Гайдамаки», чудно-разнообразную, живую, полную силы и совершенно вѣрную народному характеру, или

по крайней мѣрѣ характеру малороссійскихъ историческихъ думъ. Поэтъ совершенно проникается настроеніемъ эпохи, и только въ лирическихъ отступленіяхъ виденъ современный рассказчикъ. Онъ не отступилъ, напр., предъ изображеніемъ того случая, какъ гайдамацкій герой Гонта убиваетъ своихъ малолѣтнихъ дѣтей, узнавъ, что ихъ сдѣлали католиками въ іезуитскомъ коллегіумѣ; онъ долго останавливается надъ этимъ эпизодомъ и съ любовью рисуетъ подробности и послѣдствія убійства. Не отступилъ онъ и предъ изображеніемъ произведенныхъ гайдамаками ужасовъ, въ главѣ «Бенкетъ у Лисянци»; не отступилъ и предъ трудною задачею воспроизвести народныя сцены въ Чигиринѣ (въ главѣ: «Свято въ Чигиринѣ»). Много надо поэтической силы, чтобы приняться за такіе предметы и не измѣнить имъ ни однимъ стихомъ, не внести своего, современнаго воззрѣнія ни въ одномъ намекѣ. А Шевченко именно выполнилъ свое дѣло такъ, что во всей поэмѣ сохранено полное единство и совершенная вѣрность характеру казацкихъ возстаній на ляховъ, сохранявшемуся почти неизмѣннымъ до довольно поздняго времени. Сила казацкой ненависти къ ляхамъ выражается у Шевченка въ восклицаніи казака Еремы, у котораго похитили они невѣсту. «Отчего не умеръ я вчера, еще не зная объ этомъ, — говоритъ онъ... А теперь если и умру, такъ все равно изъ гроба встану, для того, чтобы мучить ляховъ».

Но въ лирическихъ отступленіяхъ, какъ сказали мы, является предъ нами современный поэтъ, любящій славу родимаго края и съ грустной отрадой припоминающій подвиги отважныхъ пред-

ковъ. Приведемъ одно изъ такихъ отступлений, которое особенно поразило насъ своею глубокою грустью ¹.

Гомоніла Україна,
Довго гомоніла,
Довго, довго кровъ степами
Текла — черновіла.
Текла — текла, та й висохла...
Степи зеленіють;
Діди лежать, а надъ ними
Могили синіють.
Та що съ того, що високі?
Ніхто їхъ не знає,
Ніхто щиро не заплаче,
Ніхто не згадає.
Тільки вітеръ тихесенько
Повіє надъ ними,
Тільки роса ранесенько
Слезамн дрібними
Іхъ умне. Зійде сонце,
Осушить, пригріє;
А унуки? імъ байдуже,
Жито собі сіють.
Богато їхъ, а хто скаже,
Де Гонги могила, —
Мученика праведного
Де похоронили?
Де Залізнякъ, душа щира,
Де одпочиває?
Тяжко! важко!..

Кромѣ «Гайдамаковъ» въ «Кобзарѣ» напечатаны еще «Іванъ Підкова», «Тарасова Нічъ», «Гамалія», — небольшія пьесы тоже историческо-казацкаго содержанія.

¹ Мы приводимъ всѣ стихи въ подлинникѣ: они, кажется, такъ понятны, что нѣтъ надобности переводить ихъ. Замѣтимъ только, что по орфографіи, принятой въ книгѣ Шевченка и сохраненной нами, *і* есть сѣрое наше *и*, а *и* — тогь средний звукъ между *и* и *и*, который такъ характеризуетъ малороссійское нарѣчіе.

Не менѣе любопытны пьесы и въ другомъ родѣ, пьесы, изображающія *лихо* и *недолю* обыкновенной жизни и нѣжное чувство дѣвической и материнской любви. Особенно живо и поэтично изображаются эти чувства въ трехъ прелестныхъ поэмахъ: «Тополя», «Наймичка» и «Катерина». Въ «Катеринѣ» вы видите несчастье бѣдной дѣвушки, которая полюбила *москаля*, офицера. Начинается поэма добродушнымъ обращеніемъ:

Кохайтеся, чернобріві,
Та не зъ москалями,
Бо москалі — чужі люде,
Роблять лихо зъ вами.
Москаль любить жартуючи,
Жартуюче кине;
Піде въ свою Московщину,
А дівчина гине.

Но эта откровенная, простая мораль, такъ добросердечно высказываемая, вовсе не кладетъ дидактическаго оттѣнка на всю повѣсть, которая, напротивъ, вся исполнена самой свѣжей, неподдѣльной поэзіи. У Катерины родился сынъ, и она идетъ въ «Московщину» — отыскивать отца его. Прощаніе матери съ ней, ея путь, ея встрѣча съ милымъ, который ее отталкиваетъ, все это изображено съ тою нѣжностью грусти, съ тою глубиною и кротостью сердечнаго сожалѣнія, равныя которымъ встрѣчаются именно только въ малороссійскихъ пѣсняхъ. Въ «Наймичкѣ» представляется исторія дѣвушки, подкинувшей своего ребенка къ бездѣтнымъ старикамъ, потомъ нанявшейся къ нимъ въ служанки, всю свою жизнь заключившей въ материнской любви и только предъ смертью открывшей сыну, что она — мать его. Весь этотъ рассказъ получаетъ

особенную прелесть отъ той совершенной простоты, съ которою изображается все дѣло. Ни одного фразистаго мѣста, ни одного хвастливаго стиха; все такъ ровно, спокойно, какъ будто покорная, тихая преданность этой матери перешла въ душу самаго поэта . . .

Вообще, спокойная грусть, не похожая ни на безплодную тоску нашихъ романическихъ геросвъ, ни на горькое отчаяніе, заливаемое часто разгуломъ, но тѣмъ не менѣе тяжелая и сжимающая сердце, составляетъ постоянный элементъ стихотвореній Шевченка. Какъ вообще въ малороссійской поэзіи, грусть эта имѣетъ созерцательный характеръ, переходитъ часто въ вопросъ, въ думу. Но это не рефлексія, это движеніе не головное, а прямо выливающееся изъ сердца. Оттого оно не охлаждаетъ теплоты чувства, не ослабляетъ его, а только дѣлаетъ его сознательнѣе, яснѣе, — и оттого, конечно, еще тяжеле. Вотъ *размышленіе* поэта по поводу оскорбленій, которыхъ потерпѣлась въ селѣ Катерина, родивши сына:

Оттаке-то на сімъ світі
Роблять людямъ люде!
Того вяжуть, того ріжуть,
Той самъ себе губить...
А за віщо? Святий знає!
Світъ, бачця, широкий.
Та нема въ немъ прихилитись
Въ світі одинокимъ.
Тому доля запродала
Одъ краю до краю,
А другому оставила
Те, де заховують.
*Де жь ті люде, де жь ті добрі,
Що серце збіралось
Зъ ними жити, їхъ любити?
Пропали, пропали!*

Въ такомъ родѣ постоянно бываютъ думы поэта. Мы не беремъ на себя оцѣнки и указанія всѣхъ поэтическихъ достоинствъ Шевченка; мы указываемъ только на нѣкоторыя стороны его произведеній, могущія и въ великоруссахъ, мало знакомыхъ съ Малороссіей, какъ мы, пробудить сочувствіе. Поэтому мы и беремъ болѣе общія вещи, такія мысли и чувства, которыя, будучи народно-украинскими, понятны и близки однако всякому, кто не совсѣмъ извратилъ въ себѣ лучшіе человѣческіе инстинкты. Думаемъ, что маленькія разницы малороссійскаго нарѣчія отъ русскаго не помѣшали читателямъ понять наши выписки ¹.

¹ Въ „Современникѣ“ статья оканчивается такими строками: „Впрочемъ, желая, чтобы читатели могли познакомиться съ какою нибудь изъ пьесъ Шевченко въ цѣломъ ея видѣ, и при томъ прочесть ее совершенно свободно, не затрудняясь ни въ одномъ словѣ, мы представляемъ здѣсь пьесу Шевченко „Тополя“ въ русскомъ переводѣ, сдѣланномъ для „Современника“ г. Губелемъ“. Далѣе слѣдуетъ пьеса „Тополя“. *Ред.*

Сочиненія А. И. Подолинскаго.

Два тома. Спб. 1860.

Одинъ глубокомысленный фельетонистъ, а можетъ быть и библіографъ, говорилъ недавно гдѣ-то, что нашу эпоху въ литературѣ можно назвать «эпохою полныхъ собраній». Оно, если хотите, неостроумно и даже нескладно, но тѣмъ не менѣе справедливо. Кто не собиралъ и не издавалъ своихъ сочиненій въ послѣдніе годы! Люди, которыхъ всѣ до того забыли, что уже никто о нихъ понятія не имѣетъ, вдругъ являются съ полнымъ собраніемъ своихъ сочиненій... Теперь недостаетъ, кажется, только полнаго собранія твореній барона Розена, Ѳедора Кони, Грекова, Ознобишина и г-жи Каролины Павловой, — для того, чтобы составила полная русская библіотека всѣхъ нашихъ поэтовъ. Можно надѣяться, что скоро этотъ недостатокъ будетъ пополненъ, какъ пополнился теперь одинъ изъ пробѣловъ въ нашей литературѣ изданіемъ стихотвореній А. И. Подолинскаго.

Что сказать объ этомъ поэтѣ? Рывшись нѣкогда въ старинныхъ журналахъ, мы помнимъ, что имъ восхищались «Галатей» и «Сынъ Отечества», что его жестоко отдѣлалъ однажды за «Борскаго»

эксъ-студентъ Надоумко, что потомъ о немъ говорили какъ о большомъ талантѣ, къ сожалѣнію попавшемъ на ложную дорогу и сбившемся съ толку. Первый сказалъ это тотъ же Надоумко, который оканчиваетъ свой жестокий разборъ «Борскаго» объясненіемъ, что «сказать по совѣсти, сія поэма не приноситъ большой чести нашей литературѣ, но зато она дѣлаетъ честь, и честь величайшую, — таланту поэта, скрывающемуся въ ней, какъ въ первовесенней, едва завернувшейся почкѣ». Въ подтвержденіе своихъ словъ Надоумко приводитъ два мѣста, дѣйствительно принадлежащія къ числу лучшихъ въ поэмѣ, — одно психологически-тонкаго свойства, а другое въ описательномъ родѣ. Последнее въ самомъ дѣлѣ недурно, особенно для того романтическаго времени. Это — описаніе возвращенія Борскаго въ отцовскій домъ, послѣ долгаго отсутствія:

Но годы странствій протекли,
И нынѣ Борскій видитъ снова
Предѣлы отческой земли
И сѣни дѣдовскаго крова.
Гремя, съ воротъ упалъ затворъ,
Они скрипятъ, и торопливо
Проходитъ Борскій длинный дворъ,
Поросшій плющемъ и крапивою.
Какой повсюду мертвый сонъ!
Кругомъ былого нѣтъ и тѣни!
Но вотъ къ крыльцу подходитъ онъ;
Полуистлѣвшія ступени
Трещать и съ грохотомъ глухимъ,
Что шагъ, колеблются подъ нимъ.
Хоть бы одна душа родная
На этотъ шумъ отозвалась!
Лишь стая ласточекъ взвилась,
Въ испугъ гнѣзда покидая,
И кверху съ крикомъ понеслась...

Выписавши эти стихи, Надоумко дѣлаетъ такое воззваніе: «Ахъ, г. Подолінскій! г. Подолінскій! Умоляемъ васъ, отъ лица всей русской литературы, сохранить въ нашемъ сердцѣ сей священный огонь Весты, коимъ оно исполнено! Изберите только для себя другую, достойнѣйшую васъ дорогу къ святилищу музъ! Дай Богъ, чтобы Борскій былъ послѣднимъ вашимъ шагомъ на распутѣ лживаго романтизма! И да увидитъ въ васъ русская поэзія не дополненіе къ толпѣ гаеровъ, тѣшущихъ по заказу литературную чернь, но истиннаго поэта, составляющаго ея честь и украшеніе» («Вѣстн. Евр.», 1829, № 7).

Сущность этого мнѣнія перешла и въ позднѣйшіе отзывы Бѣлинскаго. Въ «Литературныхъ мечтаніяхъ» (Бѣл., ч. I, стр. 87) онъ говоритъ: «Подолінскій подалъ о себѣ самыя лестныя надежды, и къ несчастью не выполнилъ ихъ. Онъ владѣлъ поэтическимъ языкомъ и не былъ лишенъ поэтическаго чувства. Мнѣ кажется, что причина его неуспѣха заключается въ томъ, что онъ не созналъ своего назначенія и шелъ не по своей дорогѣ». Это было писано въ 1834 г., а черезъ восемь лѣтъ, въ «Обозрѣніи литературы» 1841 г., Бѣлинскій даетъ слѣдующій отзывъ: «Подолінскій былъ чѣловѣкъ съ замѣчательнымъ дарованіемъ: въ его мелкихъ стихотвореніяхъ и въ поэмахъ много чувства и поэтическихъ мѣстъ; но у него никогда не бывало цѣлаго, особенно въ поэмахъ, которыя бѣдны содержаніемъ, слабы по концепціи, блѣдны по выполненію» (Бѣл., ч. VI, стр. 63).

Всѣ эти отзывы заставляютъ предполагать, что были какія-то враждебныя вліянія, увлекавшія на ложный путь «замѣчательный талантъ» Подолін-

скаго, и что иначе онъ бы чудеса надѣлалъ. Что же это были за вліянія, и на какой путь влекли они Подолінскаго, и какой путь былъ бы для него пригоднѣе и болѣе свойственъ его таланту?

Намъ кажется, что вліянія эти были совершенно тѣ же, какъ и на всѣхъ нашихъ поэтовъ двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ: Байронъ и Байронъ, и больше ничего. Когда теперь съ этой мыслью читаешь раздирательныя поэмы Подолінскаго, «Ниццаго», «Борскаго», то оно выходитъ ужасно забавно. Такъ и представляется трехлѣтній мальчикъ, пылающій воинственнымъ энтузіазмомъ и собирающійся сейчасъ же отправиться на пораженіе враговъ отечества. По всему видно, что г. Подолінскій одаренъ былъ отъ природы кротчайшею душою, незлобнѣйшимъ, чувствительнѣйшимъ сердцемъ, склоннымъ къ умиленію, восторгу и всѣмъ симпатическимъ чувствамъ . . . Онъ былъ бы радъ довольствоваться малымъ, все видѣть въ радужномъ свѣтѣ, довѣряться первому встрѣчному . . . Но встрѣчный-то этотъ и оказался Байронъ! . . . Можете себѣ представить, что произошло въ душѣ скромнаго и робкаго человѣка, когда онъ познакомился съ разрушительнымъ негодованіемъ великаго поэта. Не поддаться ему онъ не могъ: Байронъ и не такихъ покорялъ своей силой, а г. Подолінскій и не такому, какъ Байронъ, непременно поддался бы. Но сшить какъ-нибудь съ своей натуры байроническія тенденціи онъ тоже не могъ: онѣ были ему чужды едва ли не болѣе чѣмъ трехлѣтнему мальчику представленіе о дѣйствительной войнѣ. Вникните въ самомъ дѣлѣ въ его положеніе: онъ долженъ непременно находить, что ничто его ужъ не привлекаетъ, ничто не зажигаетъ въ немъ страсти, отъ

всего онъ отрекся, — а между тѣмъ онъ никакъ не можетъ представить: что же бы такое могло его особенно разжигать и отъ чего бы ему съ такимъ страданіемъ нужно было отрекаться? Онъ себѣ жилъ спокойно въ своей колѣѣ, въ даль не пускался, ни о какихъ душевныхъ пожарахъ понятія не имѣлъ, а тутъ вдругъ оказывается, что душа у него испепелена и что онъ ничѣмъ не долженъ воспламениться! . . Затрудненіе, въ какомъ онъ долженъ очутиться, можетъ быть унодоболено только слѣдующему казусу. Проѣзжаете вы на почтовыхъ черезъ незнакомый городишко; вамъ хорошо ѣхать, вы пообѣдали на предыдущей станціи, задремали, во время остановки выглянули-было изъ дилижанса, да и опять спрятались, не находя ничего интереснаго въ разсматриваніи городской мѣстности и предпочитая свой послѣобѣденный сонъ. Но вдругъ предъ вами предстаётъ существо, начинающее самымъ энергическимъ манеромъ ругать весь городъ: что и Дворянская улица дрянъ, и Марья Петровна зла, и Василій Григорьевичъ глупъ, и Сидора Карпыча дочь не способна любви внушить, и т. д. Вамъ собственно нѣтъ никакого дѣла до этого: вы ни съ кѣмъ въ городѣ не знакомы, вы себѣ ѣдете да дремлете. Но вдругъ вы поставлены въ необходимость послѣдовать примѣру энергическаго ругателя и тоже приняться за этотъ городъ: что тутъ станете дѣлать? Конечно, вы можете тоже сказать, что дочь Сидора Карпыча любви вамъ не внушаетъ; но вы сами чувствуете, что въ этомъ мало заслуги съ вашей стороны, потому что вы въ глаза не видали ни Сидора Карпыча, ни его дочери, — а если бы увидали, такъ еще, можетъ, и полюбили бы. И голосъ вашъ невольно дѣ-

лается робкимъ, и вы вмѣсто проклятій недостойному городу скромно изрекаете: «я не хочу здѣсь обѣдать», подразумѣвая: «потому что я ужъ побѣдалъ недавно».

То же самое произошло со многими изъ нашихъ поэтовъ, начитавшихся Байрона. Байронъ, какъ извѣстно, проклинаятъ и презираютъ все: и небо и землю, и исторію и философію, и любовь и политику . . . Наши тоже хотѣли пуститься на эту дорогу; но оказалось, что они рѣшительно не знаютъ — ни неба, ни земли, ни философіи, ни исторіи, ни любви, ни политики . . . Поэтому, когда герой Байрона говоритъ, напр., что ему противно общество и даже любовь не улаживаетъ его, то мы переводили это такимъ образомъ:

Теперь меня ужъ не влечетъ
Ни зовъ друзей, ни шумъ застольный,
Ни зовъ къ восторгамъ милыхъ дѣвъ,
Ни взоръ, исполненный приманокъ,
Ни звукъ бокаловъ, ни напѣвъ,
Ни пляска рѣзвая цыганокъ . . .

Эти стихи мы припомнили изъ одной элегии поэта Башилова, вамъ конечно неизвѣстнаго; но это ничего: возьмите и другихъ, — то же самое выйдетъ . . .

Подлинскій никакъ не могъ остановиться на такихъ предметахъ, какъ Башиловъ: онъ былъ для этого слишкомъ идеаленъ и кротокъ. Но зато онъ такъ-таки и не нашелъ, что же бы за вещь такая была, которая должна бы его привлекать, а между тѣмъ не привлекаетъ . . . Поэтому онъ вездѣ говоритъ объ этомъ въ общихъ чертахъ: все, говоритъ, мнѣ опротивѣло, *ничто* меня не утѣшаетъ, я отъ

веселія бѣгу, я хладенъ сталъ душою . . . И все это отъ вліянія какого-то незримаго демона:

Я незримаго присутствіе
 Сердцемъ сжатымъ познаю;
 Льетъ онъ холодъ и безчувствіе
 Въ душу грустную мою;
 Онъ любви и вдохновенія
 Развѣваетъ дымомъ сны,
 Съ нимъ и слезы умиленія,
 Какъ ребячество, смѣшны...
 И зародышъ наслажденія
 Умерщвляетъ злобный духъ,
 Какъ младенца до рожденія
 Въ лонѣ матери недугъ.

Видите, — несмотря на всю пустоту и дрянность окружающей жизни, скромный поэтъ нашъ не прочь бы насладиться ея посильными дарами; онъ не потому ихъ отвергаетъ, чтобы ужъ понялъ ихъ ничтожность и не считалъ ихъ интересными и пріятными; нѣтъ, онъ просто боится, онъ точно какъ Шпекинъ у Гоголя: ему чрезвычайно хочется, ему очень любопытно и важно распечатать письмо Хлестакова, но какой-то голосъ шепчетъ ему въ одно ухо: не смѣй, не смѣй, не распечатывай. Ну, сами посудите, — въ этакое-то положеніи какой же Байронъ можетъ быть? . .

Многіе изъ нашихъ поэтовъ увлекались байронизмомъ; но Подолінскій былъ съ нимъ всѣхъ смѣшнѣе. Въ его стихотвореніяхъ вы видите чело-вѣка, который положительно не знаетъ, что дѣлать съ собой: у него просто нѣтъ и не бывало глубины и энергіи страсти, а онъ долженъ увѣрять себя и другихъ, что все въ мірѣ недостойно его страсти. Но что же именно недостойно? Вотъ въ этомъ-

то и затрудненіе, тутъ-то и начинается его горе. Ему собственно все нравится, и онъ долженъ придумывать, что бы объявить для себя постылымъ. Ну и придумаетъ. Вотъ, напримѣръ, ему кажется, что ужъ пѣсню соловья никто не можетъ слушать безъ особеннаго умиленья, кромѣ человѣка самаго разочарованнаго; вслѣдствіе такого убѣжденія онъ и увѣряетъ: мнѣ все, говоритъ, въ жизни постыло, я все въ мірѣ презираю, ничто не въ силахъ увлечь меня, и даже, — говоритъ, —

Едва на пѣсню соловья
Отозвалась душа моя...

Или вдругъ представляется ему, что кто не восхищается видомъ горъ въ Швейцаріи, такъ ужъ это самъ сатана. И вотъ герой его, для полной обрисовки его отчужденія отъ всего міра, посылается въ Швейцарію, которую поэтъ называетъ «отчизною Теля». Что же онъ тамъ дѣлаетъ?

*Въ отчизнѣ Теля видѣлъ онъ
Съ снѣгами слитый небосклонъ
И горы льдистою громадой;
И гулъ паденія лавинъ
Съ какой-то горестной отрадой
Онъ слушалъ въ сумракѣ долинъ.*

Здѣсь любопытно именно то, что онъ занимался этимъ «въ отчизнѣ Теля»... И поэтъ серьезно полагаетъ, что ужъ если въ отчизнѣ Теля горы не взволновали человѣка, то что же послѣ этого остается для него — не только въ отчизнѣ Теля, но и въ цѣломъ мірѣ!..

Итакъ, вліяніе Байрона на Подолінскаго состояло главнымъ образомъ въ томъ, что разрушило

мирную идиллію, которую поэтъ нашъ, по натурѣ своей, склоненъ былъ сдѣлать изъ всего въ мірѣ. Но въ немъ не было силы удержаться на отрицаніи; онъ даже дошелъ до того, что отрицанье и сомнѣнье есть грѣхъ, дѣйствіе кичливаго ума, на которое влечетъ человѣка духъ злобы. Всякое недовольство происходитъ оттого, что

Онъ несбыточными снами
Божеству приличныхъ думъ
Заразилъ нашъ гордый умъ.

Пришедши къ такому сознанію, поэтъ сталъ искать себѣ успокоеніе въ мірѣ сладкихъ грезъ, въ мистическихъ созерцаніяхъ; у него же мечтательность была однимъ изъ существенныхъ свойствъ таланта. Этой стороною, равно какъ и нѣжностью, томностью чувства, онъ нѣсколько напоминаетъ одного изъ современныхъ поэтовъ, Полонскаго. Но, кромѣ степени таланта, между ними есть еще и та разница, что въ основѣ поэзіи Полонскаго, даже въ фантастическихъ ея проявленіяхъ, мы видимъ гуманное начало, видимъ близость его къ людямъ и жизни; у Подолинскаго же эфирность, фантазія составляютъ самую сущность поэзіи. Онъ, по его собственному признанію въ изображеніи поэта, —

Въ мірѣ необъятный, въ мірѣ иной
Перелета воображеньемъ,
На мірѣ существенный съ пр зрѣньемъ
Глядитъ, какъ житель неземной,
И часто грудь его страдаетъ:
Не зная радостей земныхъ,
Онъ ихъ надменно отвергаетъ,
А замѣнить не можетъ ихъ...

Это значить, что для него поэзія уже не есть произведеніе впечатлѣній внѣшняго міра, возбудившихъ ту или иную реакцію въ его душѣ, а въ самомъ дѣлѣ наитіе какихъ-то неведущихъ, заоблачныхъ силъ, уносящихъ поэта на седьмое небо. Вслѣдствіе такого воззрѣнія поэтъ и на все смотритъ фантастическимъ образомъ. Напримѣръ, слезы, по его мнѣнію, опять не просто фізіологическій процессъ, а слѣдствіе какой-то особенной, благодатно-фантастической исторіи, происшедшей съ Адамомъ. Слезы эти понравились Адаму:

Слезъ врачующую силу
Праотець благословилъ
И въ возмездье за могилу
Внука плакать научилъ...

Видите ли какъ: это, стало быть, дѣло условное, секретъ, который бы могъ составить монополію, если бы внукъ Адамовъ не разболталъ его всѣмъ, а передалъ бы опять-таки одному кому-нибудь изъ своего рода!..

Подобной чепухой занимается поэтъ постоянно, и очень серьезно увѣряетъ, что —

Теряясь въ наслажденьи,
Онъ чувствуетъ, онъ слышитъ въ отдаленьи
Созвучье стройное міровъ.

Это ужъ совершенно напоминаетъ г. Гербеля, у котораго тоже:

Душа утопала въ волшебномъ сіяньи,
Летѣла въ невѣдомый міръ,
И тамъ за хаосомъ, въ дали мірозданья
Вывала надзвѣздный эфиръ...

Первое произведеніе, обратившее на г. Подолинскаго вниманіе публики (въ 1827 г.), была поэма «Дивъ и Пери». Это было самое безопасное подражаніе Байрону; основа пьесы — борьба добра и зла — принадлежить байроническому направленію, но смягченіе и просвѣтленіе злой силы подъ вліяніемъ добра было очень подъ стать таланту Подолинскаго, и въ этой поэмѣ оказалось дѣйствительно нѣсколько нѣжныхъ, душевныхъ стиховъ. Вотъ откуда и пошло преданіе о «блестящихъ надеждахъ», поданныхъ Подолинскимъ въ началѣ его поприща. Эти надежды были уже преданіемъ въ 1834 г., и конечно еще раньше потерялись бы, или даже вовсе не родились, если бъ кто-нибудь раньше вздумалъ разсудить: могутъ ли въ поэзіи произвести что-нибудь воображеніе и чувство, направленные совершенно фантастически и оторванные отъ всякой почвы? Какъ только родился этотъ вопросъ, который ужъ самъ собою подразумѣвалъ отвѣтъ отрицательный, — такъ Подолинскій и уничтожился, исчезъ въ русской литературѣ. Въ 1837 г. появилась его поэма «Смерть Пери», которая несравненно лучше «Дива и Пери»; но на эту поэму никто уже не обратилъ никакого вниманія. Ясно уже было, что мистика не въ состояніи дать живого, удовлетворительнаго содержанія поэзіи; а г. Подолинскій ушелъ въ мистику очень далеко и сдѣлался въ поэзіи чѣмъ-то въ родѣ того, что былъ Киѳа Мокіевичъ въ философіи. Онъ спрашивалъ, напр., цвѣты:

Скажите, такъ же ли, какъ люди,
И вы страдаете, цвѣты?
Не быются ль сердцемъ ваши груди?
Васъ не волнуютъ ли мечты? И проч.

Онъ думаетъ о себѣ:

Я прахомъ разсыплюсь, я буду землею,
Но чувство, кто знаетъ, утрачу ль?
Кто знаетъ, любовью не вздрогну ль чужой,
Отрадной слезой не заплачу ль?

Одинъ изъ его героевъ сидитъ съ своей возлюбленной ночью на берегу моря и страшно тоскуетъ. Она его спрашиваетъ, отчего ему такъ тяжело. Онъ говоритъ, что не хочетъ нарушить грустной мыслью своею сладкій сонъ ея души. Но она настаиваетъ. Тогда онъ разражается:

Такъ взгляни жъ на это море,
Какъ роскошно на просторѣ
Блещетъ тканью золотой,
Озаренное луной!
Что же, если бъ, перлъ вселенной,
Неожиданно, мгновенно,
Мѣсяцъ на небѣ потухъ,
И упалъ на волны вдругъ
Мракъ холодный и угрюмый?..

Съ простой, реальной точки зрѣнія все это очень смѣшно, и послѣ подобныхъ стишковъ отъ Подолинскаго для живаго наслажденія намъ ждать нечего. Но мы не можемъ разстаться съ нимъ не сказавши, что любители ратклифовскаго могутъ у него найти весьма дикія легенды, въ родѣ Дѣвичь-Горы и пана Бурлая, патріоты — стихотворенія на француза и на войну, гдѣ говорится между прочимъ о нашихъ врагахъ:

Завидно имъ, что есть держава,
Гдѣ власть — святыня, царь — любовь,
Гдѣ съ каждымъ вѣкомъ вновь и вновь
Мужаетъ сила, крѣпнеть слава,

Гдѣ твердо къ благу все идетъ,
Гдѣ былъ бѣ чуждо, было бѣ ново
Корысти, смуть и страха слово,
Что къ намъ ихъ ненависть зоветъ.

Наконецъ чистые эстетики тоже могутъ быть увѣрены, что почерпнуть своего рода наслажденіе изъ стихотвореній г. Подолинскаго, ибо у него есть эротическія и описательныя пьески, ничѣмъ не уступающія произведеніямъ гг. Захарія Тура, Всеволода Крестовскаго и другихъ самоновѣйшихъ поэтовъ. Существованіе въ наше время подобныхъ поэтовъ и служить лучшимъ оправданіемъ полного собранія сочиненій Подолинскаго, изданныхъ очень изящно и продающихся по три цѣлковыхъ.

Стихотворенія Ивана Никитина.

Спб. 1860.

Воронежскій мѣщанинъ — поэтъ Никитинъ сдѣлался извѣстенъ читающей публикѣ лѣтъ пять тому назадъ. Первыя изъ напечатанныхъ имъ стихотвореній были патріотическія; потомъ вышла книжка его стиховъ, изданная гр. Д. Толстымъ, и затѣмъ время отъ времени стали появляться стихотворенія его въ разныхъ журналахъ. Въ 1858 г. онъ издалъ поэму «Кулакъ», о которой мы говорили въ свое время. Теперь является новое изданіе мелкихъ стихотвореній г. Никитина, пересмотрѣнныхъ и совершенно передѣланныхъ авторомъ.

Это послѣднее, довольно странное обстоятельство, не указано на оберткѣ книжки, но мы сличали бѣольшую часть стихотвореній, появившихъ въ нынѣшнее изданіе изъ стараго, и нашли, что весьма немногія пощажены отъ совершенной передѣлки. Намъ это очень заняло и заставило вспомнить отзывъ о воронежскомъ поэтѣ, помѣщенный еще въ «Современникѣ» 1856 г. и имѣвшій тотъ смыслъ, что для г. Никитина гораздо важнѣе рифмованныя строчки, нежели поэтическая мысль и чувство. Въ самомъ дѣлѣ, кому изъ лирическихъ поэтовъ, выражающихъ въ стихахъ истинныя свои чувства и

впечатлѣнія, можетъ придти въ голову — черезъ три-четыре года переправлять свои стихи такимъ образомъ, чтобъ въ нихъ измѣнились рѣмы и фразы, стихъ изъ одного куплета перешелъ въ другой, изъ двухъ стиховъ составилъ одинъ, и т. п., — и все это безъ всякой внутренней необходимости, просто по требованію уха! Мы слышали, что такимъ образомъ выглаживался слогъ въ ораторскихъ рѣчахъ прежняго времени, особенно въ патетической части; но въ поэтическихъ произведеніяхъ мы привыкли видѣть другое, особенно въ лирикѣ. Въ лирическомъ стихотвореніи выражается непосредственное чувство, возбужденное въ поэтѣ извѣстнымъ явленіемъ природы или жизни, и главное дѣло здѣсь не въ самомъ чувствованіи, не въ пассивномъ воспріятіи, а во внутренней реакціи тому впечатлѣнію, которое получается извнѣ. Чувствовать наслажденіе прекраснымъ видомъ, свѣжимъ весеннимъ утромъ, вечерней прогулкою вдвоемъ, и пр. и пр. могутъ очень многіе; но немногіе умѣютъ эти впечатлѣнія поймать въ душѣ своей и выразить такъ, чтобы дать ихъ и другимъ почувствовать. Въ этомъ-то умѣньѣ овладѣть внѣшнимъ впечатлѣніемъ и воспроизвести его въ звукахъ и состоитъ существенная сила лирическаго таланта. Поэтому стремленіе къ изящному, точному и полному выраженію чувства необходимо является въ душѣ поэта въ самую минуту созданія; онъ не остается удовлетвореннымъ, ежели его стихъ вялъ, растянутъ, неопредѣленъ, словомъ — если плохо выражаетъ то, что хотѣлъ поэтъ выразить. Оттого-то истинный поэтъ работаетъ надъ стихотвореніемъ, пока еще свѣжо и живо впечатлѣніе, вызвавшее стихи. Если стихи не удадутся сразу, поэтъ можетъ къ нимъ

воротиться черезъ нѣсколько лѣтъ, и тогда уже напишетъ нѣчто другое; но если разъ онъ кончилъ пьесу, остался ею доволенъ, напечаталъ, то навѣрное въ послѣдствіи онъ не станетъ педантически придирается къ каждой неполной римѣ, къ каждой не совсѣмъ ловко улегшейся стопѣ, и подогрѣвать свое вдохновеніе на новые, болѣе удачные обороты. Бываютъ случаи, что поэты, въ слѣдствіе повторенія впечатлѣній или въ слѣдствіе продолжительныхъ размышленій, болѣе полно и глубоко охватываютъ предметъ, находятъ новыя краски, новыя звуки, и тогда передѣлываютъ стихотворенія, прежде написанныя. Но это бываетъ въ случаяхъ особенныхъ, и все-таки дѣлается не такъ, какъ у г. Никитина, у котораго перемѣны въ стихахъ рѣшительно ничего не означаютъ, кромѣ упражненія въ версификаціи. Возьмемъ для примѣра по нѣсколько стиховъ изъ разныхъ стихотвореній. Вотъ, напр., стихи прежняго изданія:

Полно спать тебѣ, степь, подъ туманомъ;
Зимы-матушки кончился срокъ;
Съ юга гости летятъ караваномъ,
Настаетъ весны теплый денекъ.

Уберись, какъ невѣста, цвѣтами
И умой лицо первымъ дождемъ,
Грудь накрой травы новой шелками,
Изукрасься росы жемчугомъ.

Въ первомъ куплетѣ нескладенъ четвертый стихъ, а во второмъ второй и третій; кромѣ того — слово *гости* здѣсь неопредѣленно; *шелки* и *жемчугъ* также не понравились г. Никитину. Вотъ онъ и передѣлываетъ эти стихи:

Полно, степь моя, спать безпробудно,
Зимы-матушки царство прошло,

Сохнетъ скатерть дорожки безлюдной,
Снѣгъ пропалъ — и тепло и свѣжо.

Пробудись и умойся росю,
Въ неаглядной красѣ покажись,
Принакрой свою грудь муравою,
Какъ невѣста, въ цвѣты нарядись.

Измѣненія эти сдѣланы, по нашему мнѣнію, къ лучшему. Но и они не возводятъ это стихотвореніе на степень произведенія поэтическаго. Напротивъ, они свидѣтельствуютъ намъ о кропотливомъ, мозаическомъ подборѣ фразъ, о мозольномъ, почти библиографическомъ трудѣ, котораго стоитъ г. Никитину каждая пьеса. Рѣдкій стихъ оставленъ имъ нетронутымъ, все онъ просмотрѣлъ и передѣлалъ, и часто вовсе безъ нужды. Напримѣръ, вмѣсто стиховъ:

Скоро гости къ тебѣ соберутся,
Гигѣзда дѣтямъ своимъ будутъ вѣгъ,
Съ утра до ночи пѣсни польются,
Станутъ гости до осени жить, —

въ новомъ изданіи находимъ такую передѣлку:

Скоро гости къ тебѣ соберутся,
Сколько гигѣздъ понавѣютъ, посмотри!
Что за звуки, за пѣсни польются
День-деньской отъ зари до зари!

Зачѣмъ эта передѣлка? Что ее вызвало? Очевидно не иное что, какъ наклонность къ версификаціи...

Пристрастіе автора къ улучшенію стиха въ своихъ произведеніяхъ доходитъ до смѣшного: нерѣдко онъ убивается надъ шлифовкою такихъ стихотвореній, о которыхъ можно сказать, что чѣмъ хуже они написаны, тѣмъ лучше. Напримѣръ, въ пер-

вомъ изданіи было чрезвычайно плохое стихотвореніе «Молитва дитяти». И стихи были въ немъ плоховаты, но главный его недостатокъ состоялъ въ метафизической фальшивости и непоэтичности основного тона. Стихотвореніе это написано было въ 1853 г.; теперь, по прошествіи семи лѣтъ, г. Никитинъ не замѣтилъ, что оно есть реторически-альбомное упражненіе, и занялся только буквальнымъ исправленіемъ этихъ стишковъ. Въ первомъ изданіи, сказавъ, что молитва дитяти чиста и пріятна его ангелу-хранителю, поэтъ говоритъ:

О, если бъ, послѣ многихъ лѣтъ,
Въ часы молитвы, со слезами,
Взглянуло ты на божій свѣтъ
Такими жъ свѣтлыми очами!

Но если дѣтства чистота
Когда-нибудь тебя оставитъ,
И горькой жизни нагота
Тебя на жизнь роптать заставить, —

Въ тѣ дни къ подножію креста
Приникни съ дѣтскою любовью,
И твердой вѣры чистота
Здѣсь примиритъ тебя съ собою.

Здѣсь ангелъ дѣтства твоего
Къ тебѣ опять слетитъ незримо
И о тебѣ творцу всего
Молился сѣнетъ невидимо.

Подобные стихи слѣдовало бы вовсе выкинуть изъ новаго изданія; а г. Никитинъ, напротивъ, еще разъ съ любовью потрудился надъ ними и представилъ ихъ теперь въ такомъ видѣ:

Молись, дитя, мужай съ лѣтами!
И дай Богъ въ пору позднихъ лѣтъ,
Таковыми жъ свѣтлыми очами
Тебѣ глядѣть на божій свѣтъ!

Но если жизнь тебя измучить,
И умъ и сердце возмутить,
Но если жизнь роптать научить,
Любовь и вѣру погасить, —

Припни съ жаркими слезами,
Креста подножье обойми:
Ты примиришься съ небесами,
Съ самимъ собою и съ людьми.

И вновь тогда изъ райской сѣни
Хранитель-ангелъ твой сойдетъ,
И за тебя, склонивъ колѣни,
Молитву къ Богу вознесетъ.

Сдѣлалось ли это стихотвореніе лучше отъ такой передѣлки? И стоило ли такъ трудиться надъ реторической темой, въ которой нѣтъ ни малѣйшаго вѣянiя поэзіи?

Изъ стихотвореній прежняго изданія около половины выкинуто въ новомъ. Просматривая эти выкинутыя пьесы, мы замѣтили, что авторъ руководился при этомъ соображеніями очень основательными. Онъ не допустилъ въ новое изданіе, во-первыхъ, патріотическихъ пьесъ, «Русь», «Война за вѣру», «Югъ и Сѣверъ», и пр. Пьесы эти, дѣйствительно, теперь не имѣютъ особенной занимательности и даже часто представляются довольно забавными, какъ, напр., пророчества г. Никитина предъ началомъ восточной войны:

Мы вновь напомнимъ вамъ героевъ Рымника,
И ужась Чесменскій, и славный бой Кагула... И проч.

Читать заднимъ числомъ такія пророчества не совсѣмъ удобно, и мы вполне одобряемъ нашихъ поэтовъ, рѣшительно отрекшихся отъ воинствен-

ныхъ и — правду сказать — нѣсколько звѣрскихъ своихъ произведеній, какъ скоро миновала въ нихъ надобность. Во время войны понятно было даже, напримѣръ, такое обращеніе одного изъ извѣстныхъ поэтовъ нашихъ къ Державину:

Возстань же днесь и виждь, какъ снова
Родныя плещутъ знамена!
Во славу имени Христова
Кипитъ священная война,
И вновь Россія торжествуетъ!
Пускай Европа негодуетъ,
Пускай коварствуетъ и лжетъ:
Духъ отрицанья, духъ сомнѣнья,
Враговъ безсильное тупѣнье
Народный духъ въ насъ не убьетъ...

Въ то время за такіе стихи поэтъ преисполнился даже удивленіемъ къ самому себѣ, увѣрялъ, что «его стихъ есть тоже мечъ», что —

Въ немъ блещетъ идеаль Россіи молодой,
Который свѣтитъ намъ водителной звѣздой... и проч.,

что —

Онъ рвется изъ души, какъ откликъ боевой
На зовъ торжественный отечественной славы...

Все это было естественно и понятно въ ту пору всеобщаго увлеченія воинственнымъ величіемъ Россіи; но все это прошло, и поэты стараются уничтожать слѣды тогдашнихъ увлеченій въ полныхъ собраніяхъ стиховъ своихъ. Теперь все это направленіе отдано уже въ исключительную и неотъемлемую собственность г. Лиліеншвагера, переводчика австрійскихъ стихотвореній Якова Хама.

Итакъ, г. Никитинъ хорошо сдѣлалъ, что выбросилъ изъ новаго изданія барабанно-патріотическія стихотворенія военнаго времени. Не менѣе заслуживаетъ одобренія и уничтоженіе имъ стихотвореній метафизическаго свойства, какъ, напр., «Кладбище», «Успокоеніе», «Новый Завѣтъ», «Сладость молитвы», и т. п. Все это были — или риторическія упражненія на заданную тему, напр. о бессмертіи души человѣческой, объ ограниченности человѣческаго разума, и т. п., или же весьма близкія подражанія «думамъ» Кольцова. Изгнаніе ихъ изъ нынѣшняго изданія стихотвореній г. Никитина доказываетъ, что и въ этомъ отношеніи мысль поэта возмужала и образовалась, такъ что уже не нуждается во многихъ схоластическихъ отвлеченностяхъ, къ которымъ прибѣгала прежде.

Третій разрядъ выброшенныхъ стихотвореній составляютъ тѣ, въ которыхъ былъ слишкомъ ясно слышенъ напѣвъ съ чужого голоса и слишкомъ ощутителенъ былъ недостатокъ собственной мысли и чувства. Сюда относятся всѣ стихотворенія, въ которыхъ говорилось о моряхъ, корабляхъ, мраморахъ, мукахъ художника и т. п.

Мы нарочно обратили вниманіе на множество стихотвореній, исключенныхъ г. Никитинымъ изъ втораго изданія: по нашему мнѣнію, это доказываетъ, что онъ способенъ сознать ложь и недостаточность своихъ произведеній и отречься отъ того направленія, которое могло породить ихъ. Видно, что онъ не принадлежитъ къ числу такихъ поэтовъ, которые, какъ, напр., г. Фетъ, никакъ ужъ не могутъ, несмотря на всевозможныя усилія критики, перейти ту грань, на которую разъ стали въ своихъ произведеніяхъ. Видно, что талантъ г. Ни-

китина какъ будто еще не совсѣмъ опредѣлилъ себя, не нашелъ своей настоящей дороги, но очень ревностно старается найти ее. Кропотливая обработка и передѣлка прежнихъ пьесъ доказываетъ его заботу о совершенствованіи его стиха; уничтоженіе многихъ стихотвореній свидѣтельствуєтъ о стараніяхъ его избавиться отъ тѣхъ направленій, подъ вліяніемъ которыхъ они были писаны; наконецъ, новыя его стихотворенія указываютъ на новыя стремленія и чувства, волнующія поэта и видоизмѣняющія содержаніе и тонъ его произведеній. Странно, конечно, такое постоянное колебаніе въ талантѣ поэта, который пишетъ стихи уже по крайней мѣрѣ лѣтъ двадцать (самыя раннія стихотворенія въ первомъ изданіи помѣчены 1849-мъ годомъ); но нельзя не признаться, что развитіе человѣка трудно ограничить опредѣленнымъ годомъ. Исторія литературы представляетъ намъ довольно много примѣровъ писателей, которые только въ очень уже зрѣлыхъ годахъ попадали на свой настоящій путь, и у которыхъ окончательное развитіе таланта совершалось очень поздно. У насъ, и особенно въ положеніи г. Никитина, подобное явленіе должно быть даже считаемо совершенно нормальнымъ. Грамотѣйство, писательство — у насъ дѣло далеко не всѣмъ и каждому доступное; оттого у насъ въ обществѣ, особенно провинціальномъ, нерѣдко какой-нибудь господинъ считается литераторомъ за то, что описалъ краснорѣчиво какую-нибудь торжественную процессію, пріѣздъ высокой особы или балъ въ дворянскомъ собраніи. А если еще чловѣкъ пишетъ стихами — тутъ и говорить нечего: поэтъ, да и только... Немудрено, что такая малая требовательность общества, соединенная съ

чрезвычайно ничтожною начитанностью, отражается и на воззрѣніяхъ пишущихъ людей на самихъ себя. Они тоже привыкаютъ считать чѣмъ-то важнымъ всякій свой фельетонъ или стихотвореніе, тоже начинаютъ смотрѣть, какъ на свою исключительность, на мысли, давно извѣстныя, давно прекрасно высказанныя другими и сдѣлавшіяся наконецъ достояніемъ всего образованнаго общества. Такимъ образомъ, съ ослабленіемъ внутренней требовательности и строгости суда надъ собою, естественно замедляется и даже останавливается живое развитіе писателя, и остается только сторона формальная, — слогъ, стихъ, діалектическое развитіе мысли... Многіе только этимъ и довольствуются, и всю жизнь стоятъ на звучныхъ фразахъ и общихъ мѣстахъ и все-таки считаются литераторами и поэтами. Нерѣдко они даже печатаютъ свои бессознательныя подражанія чужимъ впечатлѣніямъ и безцвѣтные, но звучные пересказы чужихъ мыслей и стремленій; нерѣдко временный успѣхъ вѣнчаетъ ихъ, даже среди людей, причастныхъ литературѣ, но имѣющихъ слишкомъ много добродушія и слишкомъ короткую память... Въ такомъ положеніи былъ и г. Никитинъ при первомъ своемъ появленіи; но онъ, какъ мы видѣли, не остался въ ослѣпленіи насчетъ значенія своихъ подражательныхъ опытовъ, уничтожилъ ихъ, и теперь мы видимъ въ его новыхъ стихотвореніяхъ — хотя все еще большею частью не свое, а заимствованное содержаніе, но уже гораздо болѣе имъ усвоенное и переработанное, нежели какъ было прежде. Въ прежнихъ его стихотвореніяхъ можно было много насчитать такихъ, которыя составляютъ просто варіаціи на такое-то стихотвореніе извѣстнаго поэта. Въ нынѣшнемъ изда-

ни такихъ пьесъ гораздо меньше, подражательность не такъ ярко выражается въ самомъ строѣ стиха, а состоитъ болѣе въ заимствованіи основной мысли и тѣхъ или другихъ отдѣльныхъ чертъ для обрисовки предмета. Все-таки эта подражательность еще очень сильна, и по крайней мѣрѣ половину изъ напечатанныхъ нынѣ стихотвореній г. Никитина надо бы выкинуть. Напримѣръ, пьеса «Поэту», какъ она ни передѣлана г. Никитинымъ въ новомъ изданіи, все-таки осталась подражаніемъ стихотворенію Полонскаго: «О, подними свое чело», стихотвореніе «Дитяти» взято изъ «Младенца» Огарева и такой же пьесы Кольцова; «Похороны» напоминаютъ тоже пьесу Огарева:

Когда встрѣчаются со мной
Подъ парчевою пеленой
И съ упряжью печальной дроги... И проч.

Кромѣ такихъ цѣльныхъ подражаній, есть отрывочныя, мозаическія такъ сказать заимствованія изъ другихъ поэтовъ, преимущественно въ пьесахъ описательнаго свойства. Напримѣръ, г. Никитинъ пишетъ:

Въ темной чащѣ замолкъ соловей,
Покатилась звѣзда въ синевѣ.
Мѣсяцъ смотритъ сквозь сѣтку вѣтвей,
Зажигаетъ росу на травѣ.
Дремлютъ розы. Прохлада плыветъ.
Кто-то свистнулъ... Вотъ замеръ и свистъ.
Ухо слышитъ, едва упадетъ
Насѣкомымъ подточенный листъ.
Какъ при мѣсяцѣ кротокъ и тихъ,
У тебя милый очеркъ лица!
Эту ночь, полный грезъ золотыхъ,
Я бѣ продлить безъ конца, безъ конца.

Это стихотвореніе даже недурно, и мы не можемъ указать отдѣльной пьесы, которой бы оно составляло прямое подражаніе. Но тѣмъ не менѣе, если вы знакомы съ нашими поэтами, то, читая это стихотвореніе, вы чувствуете, что здѣсь излагаются не столько личные впечатлѣнія г. Никитина отъ этой ночи, сколько воспоминанія его о томъ, что онъ читалъ подходящаго къ предмету его описанія. И прокатившаяся звѣзда, и мѣсяцъ, зажигающій росу на травѣ, и плывущая прохлада, и дремлющія розы, и проч. — все это вамъ знакомо, все это вы читали у Фета и Тютчева и, всматриваясь въ фізіономію стихотворенія, вы замѣчаете, что оно есть не что иное какъ извлеченіе изъ фетовскихъ «Вечеровъ и ночей». Такихъ мозаически составленныхъ пьесъ не мало у г. Никитина, и онѣ попадаютъ, къ сожалѣнію, не только въ описательномъ родѣ, въ которомъ онъ вообще не силенъ, но и въ стихотвореніяхъ субъективнаго характера, наиболѣе требующихъ самостоятельности и своеобразности. Есть у г. Никитина съ десятокъ небольшихъ стихотвореній, въ которыхъ выражается тоска души, измученной пошлыми и грязными явленіями жизни, совершенно противными чистымъ и благороднымъ стремленіямъ поэта. Тема эта такъ обширна, что въ ней можетъ превосходно отразиться и личность поэта со всѣми его понятіями и желаніями, и жизнь, окружающая его и производящая въ немъ тѣ или другія впечатлѣнія. Между тѣмъ и въ этой сферѣ г. Никитинъ выказываетъ очень мало самообытности: о явленіяхъ, очевидно близкихъ и знакомыхъ ему, онъ болышею частью говоритъ не своимъ голосомъ, какъ будто прячетъ то, что ему лично дорого, и говоритъ лишь о томъ, что у дру-

гихъ уже было говорено, что получило право гражданства въ нашей поэзіи. Оттого въ самыхъ, повидимому, задушевныхъ его пьесахъ мы слышимъ не вопль души, а разсказъ человѣка, рефлектирующаго о своихъ страданіяхъ и страдающагося разсказать о нихъ приличнымъ тономъ и хорошимъ слогомъ, — какъ принято говорить въ порядочномъ обществѣ. Прочтите, напр., хоть слѣдующее стихотвореніе:

Еще одинъ потухшій день
Я равнодушно провожаю
И молчаливой ночи тѣнь,
Какъ гостя скучнаго, встрѣчаю.
Увы! не принесетъ мнѣ сна
Ея нѣмая тишина.
Весь день душа болѣла тайно
И за себя и за другихъ...
Отъ пошлыхъ встрѣчъ, отъ сплетенъ злыхъ,
Отъ жизни грязной и печальной
Пора покой бы ей узнать;
Да гдѣ онъ? Гдѣ его искать?
Едва на землю утро взглянетъ,
Едва взойдетъ ночная тѣнь, —
Опять тяжелый, грустный день,
Однообразный день настанетъ.
Опять начнется боль души,
На злыя пытки осужденной,
Опять наплачешься въ тиши,
Измученный и оскорбленный.

Въ этомъ стихотвореніи, какъ и въ большей части другихъ того же рода, слышны звуки Огарева, И. Аксакова, даже Полонскаго и пр., но не слышно внутренней жизни самого поэта. Мы видимъ, что умъ и чувство его — въ разладѣ съ той обстановкой, въ которую поставленъ онъ судьбой; но этотъ разладъ есть общее мѣсто, и говоря о немъ отвле-

ченно, можно высказать много умныхъ вещей, но нельзя написать поэтическаго, живого произведенія. Это мы видѣли даже на людяхъ гораздо далѣе, чѣмъ г. Никитинъ, ушедшихъ въ теоретическихъ умствованіяхъ и гораздо крѣпче его владѣвшихъ отвлеченною логикою: они писали стихи чрезвычайно благородные, смѣлые, энергическіе, даже искренніе, но поэзіи все-таки было въ нихъ очень мало. Оттого и значеніе этихъ стихотвореній очень слабо, и при мысли о горѣ, трудѣ, нищетѣ и всей житейской нескладицѣ гораздо скорѣе вспоминается намъ стихъ Кольцова или другого поэта, нежели Огаревъ или Аксаковъ. Тѣмъ слабѣе, разумѣется, должны быть стихотворенія г. Никитина, составляющія подражаніе этимъ отвлеченностямъ.

А между тѣмъ у г. Никитина есть условія, весьма благопріятныя для того, чтобы пробить свою дорогу и сдѣлаться очень замѣтнымъ писателемъ именно въ томъ родѣ, который ему наиболѣе доступенъ. Дѣло въ томъ, что разладъ житейскихъ отношеній съ нормальными требованіями сердца и ума, сознается всѣми нами, людьми, принадлежащими къ такъ называемому образованному обществу, поэтами и прозаиками, пишущими и непишущими. Но въ нашемъ сознаніи этотъ разладъ является чѣмъ-то въ родѣ несовершенно-свѣжей устрицы, вдругъ непріятно поражающей нашъ вкусъ послѣ десятка совершенно свѣжихъ, съѣденныхъ нами; въ сознаніи же поэта, какъ г. Никитинъ, жизненный разладъ является просто-на-просто въ отсутствіи какой бы то ни было пищи, когда ѣсть хочется. Разница значительная, и уже ея одной достаточно для того, чтобы оправдать наши слова о возмож-

номъ значеніи г. Никитина, если бы онъ употребилъ свое дарованіе на изображеніе близкихъ ему интересовъ и явленій жизни. Мы, люди образованные, конечно всѣ отличаемся добрымъ сердцемъ и прямымъ взглядомъ на вещи; конечно, мы любимъ нашихъ братьевъ, сочувствуемъ ихъ страданіямъ, готовы горячиться до слезъ — все желая помочь имъ; но мы недавно видѣли точно такой же азартъ нѣсколькихъ умныхъ людей по поводу княжны Зинанды, изображенной г. Тургеневымъ въ «Первой любви». Одни обвиняли ее, другіе защищали, и при этомъ горячились совершенно такъ же, какъ въ разсужденіяхъ о бѣдствіяхъ человѣчества. Никому, разумѣется, дѣла не было до княжны Зинанды, никто такой женщины никогда не встрѣчалъ, да и не желалъ бы встрѣтить, потому что кому же охота желать, чтобъ ему довольно глубоко засовывали булавку въ руку или вывертывали клочъ волосъ на головѣ, и чтобы заставляли прибѣгать къ хлысту для внушенія нѣжной покорности, какъ дѣласть все это милая княжна Зинанда! . . Но тѣмъ не менѣе умные люди горячились — почему? — потому что имъ нравилось діалектическое упражненіе въ разборѣ психологическихъ тонкостей, которыхъ въ сущности-то никто изъ нихъ и не понималъ хорошенько. Совершенно такого же рода словесную гимнастику составляютъ для насъ и разсужденія о горѣ, бѣдности и несчастьяхъ нашихъ меньшихъ братій. Разумѣется, никому изъ насъ нѣтъ охоты жить съ этими несчастными и подвергаться ихъ лишеніямъ, никто не согласится пожертвовать своимъ комфортомъ для облегченія ихъ участи; разговоры же о нихъ составляютъ для насъ приправу умственной жизни, въ родѣ невещественной горчицы или

перцу. Оттого мы и говоримъ объ этихъ предметахъ болѣе съ отвлеченной точки, разбирая экономическіе и философскіе принципы; но никогда почти не спускаемся въ глубь самой жизни, чтобы послушать ея дѣйствительныя біенія. Сущности этой жизни мы даже не знаемъ вовсе, и если мы заговариваемъ о частныхъ явленіяхъ ея, то обыкновенно тотчасъ же выходятъ на сцену рутинныя фразы: курная изба, пустыя щи, лохмотья, грязь, невѣжество и т. д. Все это заучено нами наизусть изъ разныхъ книжекъ и умныхъ бесѣдъ и повѣрено на опытѣ при обозрѣніи селеній въ то время, какъ намъ перекладывали лошадей, или во время продолжительныхъ столкновеній съ бѣдняками при производствѣ какого-нибудь слѣдствія, на охотѣ, въ лѣтній сезонъ въ деревнѣ и т. п. Можетъ быть тутъ и можно почерпнуть много умныхъ мыслей для политико-экономическихъ соображеній; но нельзя сродниться душой съ этой жизнью, прожить ее сердцемъ и воплотить ее въ живое слово тому, кто кровно и прямо не участвуетъ въ ней, кто не охваченъ ея вѣяньемъ во всѣхъ условіяхъ своего существованія, — и умственныхъ и матеріальныхъ. Оттого наша «образованная» поэзія и обращаетъ такъ мало вниманія на жизнь, разлитую по всѣмъ концамъ нашего любезнаго отечества, и ограничивается чрезвычайно узкимъ кругомъ тонкихъ чувствъ, возвышенныхъ стремленій и эфирныхъ страданій. Одинъ поэтъ говоритъ:

Мнѣ грустно и легко, печаль моя свѣтла;

другой:

Бываетъ весело и больно
Тревожить язвы старыхъ ранъ;

третій воспѣваетъ чудныя минуты, когда

Духъ окрыленъ, никакая не мучитъ утрата,
Въ дальней звѣздѣ отгадать ты отбывшаго брата!

четвертый занимается такой философіей:

Сладко мнѣ быть на кладбищѣ, гдѣ спишь
ты, мой милый!
Нѣтъ разрушенія въ природѣ, нѣтъ смерти
конечно . . .

Пятый томится и жалуется:

Съ друзьями я весь день прошировалъ,
А не было мнѣ весело нисколько . . .

И такъ далѣе, и такъ далѣе . . . Прочтите всего Пушкина, Лермонтова, почти всѣхъ современныхъ поэтовъ: много ли найдете вы у нихъ задушевныхъ звуковъ, вызванныхъ простыми, насущными потребностями жизни? Повсюду фантазія, аллегорія, эфиръ; реализмъ проявляется только въ описаніяхъ природы, и вотъ почему, намъ кажется, живыя и вѣрныя изображенія красоть природы такъ высоко у насъ цѣнятся и считаются необходимымъ условіемъ поэтического дарованія: до сихъ поръ почти въ нихъ только и проявлялась реальная сила поэтического творчества. Да и тутъ еще наши поэты большею частью не избѣгаютъ аллегорій. Поэтъ, напр., ѣдетъ по большой дорогѣ, и надъ нимъ выюга крутится; онъ сейчасъ фантазируетъ:

Ѣду я. Передо мною
Нимфа выюги возстаетъ,
И подъ снѣжной пеленою
И крутится и поетъ . . .

Смотрить другой поэтъ, какъ мужикъ землю пашетъ, и тотчасъ представляетъ намъ,

*Какъ Юпитера встрѣчаетъ
Лоно Геи молодой...*

Вообще, что бы ни говорили о прогрессахъ литературы, но въ поэзіи мы очень недалеко ушли отъ того воззрѣнія, по которому

Поэзія для насъ любезна,
Пріятна, сладостна, полезна,
Какъ лѣтомъ вкусный лимонадъ.

Въ самомъ дѣлѣ, мы въ этомъ случаѣ напоминаемъ собою тѣхъ людей, которые не могутъ пить воды, потому что у нихъ всегда дѣлаются отъ нея сильнѣйшія спазмы. Простыя явленія простой жизни, насущныя требованія человѣческой природы, неукрашенное, нормальное существованіе людей неразвитыхъ — мы не умѣемъ воспринять поэтически: намъ нужно, чтобъ все это непременно облимонено было разными сантиментами и подсахарено утонченнымъ изяществомъ, — тогда мы примемся пожалуй за этотъ лимонадъ. До Пушкина отвращеніе отъ всякаго естественнаго чувства и вѣрнаго изображенія обыкновенныхъ предметовъ простиралось до того, что самую природу старались исказить согласно извращенному вкусу образованной публики. Пушкинъ долго возбуждалъ негодованіе своею смѣлостью находить поэзію не въ воображаемомъ идеалѣ предмета, а въ самомъ предметѣ, какъ онъ есть. Но сила его таланта, умѣнье чуютъ, ловить и воссоздавать естественную красоту предметовъ — побѣдили дикое упорство фантазеровъ, и въ этомъ-то

приближеніи къ реализму въ природѣ состоитъ величайшая литературная заслуга Пушкина. Послѣ него мы стали требовать и отъ поэзіи *вѣрности* изображеній; послѣ Гоголя это требованіе усилилось и перенесено отъ явленій природы и къ явленіямъ нравственной жизни. Но все еще мы далеко не дошли до того, чтобы въ поэзію допустить всякій предметъ, всякое жизненное чувство, мы отводимъ для большей части неидеализированныхъ проявленій натуры область сатиры и далѣе ихъ не пускаемъ, называя ихъ «низшими». Я живо помню слова моего бывшего профессора словесности, полагавшаго лирикѣ такіе предѣлы: «предметомъ лирическаго стихотворенія не можетъ быть, напримѣръ, досада на то, что я сижу зимою въ неотапливаемой комнатѣ и не имѣю сапоговъ, чтобы выйти на улицу; но можетъ быть, напримѣръ, сожалѣніе о смерти друга, восторгъ при видѣ великолѣпнаго зданія, торжественной процессіи и т. п.». Тогда я не могъ понять и усвоить всю тонкость этого различія; но потомъ, изучивъ ближе нашу литературу, уразумѣлъ лучше слова почтеннаго наставника. Дѣло оказывается въ томъ, что претендовать на поэзію могутъ только люди, совершенно обезпеченные матеріально или лучше — люди, наслаждающіеся комфортомъ жизни. Они то именно и бывають въ состояніи развивать въ себѣ, а слѣдовательно понимать и въ другихъ, тѣ тончайшія, неуловимыя, прозрачныя стремленія, печали и радости, которыя составляютъ содержаніе поэзіи. Люди же бѣдные, рабочіе, простые, неизбѣжно оставаясь грубыми и практическими людьми, очевидно не способны къ деликатнымъ ощущеніямъ и потому должны гибнуть подъ тяжестью презрѣнной прозы своей жизни, погрязать въ мелочныхъ, корыстныхъ

разсчетахъ и ни подъ какимъ видомъ не посягать на поэзію. Кто безпристрастно пересмотритъ все, что у насъ называется по преимуществу поэтическимъ, то есть всю область нашей лирики, тотъ согласится, конечно, что этотъ сибаритскій взглядъ до сихъ поръ въ ней господствуетъ. И въ этомъ нельзя, разумѣется, винить отдѣльныя личности поэтовъ: весь строй нашей жизни сложился такъ, что даже человѣкъ, который радъ бы душою взяться за простые мотивы нормальной жизни, не осмѣливается рѣшиться на это, изъ боязни профанировать искусство. На первый разъ у всякаго изъ представленія обыденныхъ образовъ выходитъ памфлетъ или просто ругательство: нужно выработать въ душѣ твердое убѣжденіе въ необходимости и возможности полного исхода изъ настоящаго порядка этой жизни, для того, чтобы получить силу изображать ее поэтическимъ образомъ, хотя бы и тономъ сатиры. Тогда только обычно непріятныя картины грязной нищеты и соединенныхъ съ нею обмановъ, пошлостей, невѣжества и даже преступленій — представятъ намъ въ своемъ настоящемъ свѣтѣ, когда мы добьемся мыслью или инстинктомъ до истинныхъ причинъ ихъ, не въ одной натурѣ того или другого лица, а въ цѣломъ строѣ окружающей его жизни. Тогда только сумѣемъ мы отдѣлать нормальное, человѣческое, законное въ этихъ явленіяхъ — отъ всего насильнаго, искусственнаго, случайно имъ навязаннаго, и только тогда съ свѣтлою мыслью и съ горячимъ чувствомъ можемъ мы приступить къ поэтическому воспроизведенію этихъ явленій. До такихъ воззрѣній доходить пожалуй и не трудно было бы; но, къ несчастью, предметъ съ перваго же взгляда отталкиваетъ насъ, а образованіе, которое бы

должно насъ возвратить къ нему, тянетъ насъ совсѣмъ въ другую сторону. Вотъ отчего и происходитъ вся эта безцвѣтность, неопредѣленность и мечтательность, господствующія въ нашей лирикѣ. На что, кажется, былъ ужъ по своей натурѣ и воспитанію чуждъ всякаго фантазерства Кольцовъ; онъ съ необычайною смѣлостью далъ въ своей поэзіи огромную роль матеріальнымъ нуждамъ; но даже и онъ не всегда могъ держаться на этой почвѣ, и ему приходилось не разъ обращаться къ мечтѣ и говорить, что онъ

Душой постигнулъ жизнь другую,
Въ ту жизнь мечту переселилъ.

Послѣ этого даже и нельзя упрекать другихъ поэтовъ, что они въ своемъ вдохновеніи съ какимъ-то злобнымъ презрѣніемъ отворачиваются отъ обыденной, грязной жизни (какъ будто она въ чемъ нибудь виновата!), напускаютъ на себя мечтательныя чувства и бросаются

Въ воздушный, безотчетный бредъ...

Теперь жизнь со всѣхъ сторонъ предъявляетъ свои права, реализмъ вторгается всюду, назло мистификаторамъ всякаго рода. Жизненный реализмъ долженъ водвориться и въ поэзіи, и ежели у насъ скоро будетъ замѣчательный поэтъ, то конечно ужъ на этомъ поприщѣ, а не на эстетическихъ тонкостяхъ. Восходъ солнца, пѣніе птичекъ, блаженство сладострастія, неопредѣленное томленіе о чемъ-то, воспоминанія изъ мифологіи и исторіи и т. п. теперь могутъ быть изображены очень хорошо и доставить минутный успѣхъ поэту; но никогда не при-

влекуть къ нему того живого, дѣятельнаго и энергическаго сочувствія, которое всегда появляется въ обществѣ къ людямъ *нужнымъ* въ извѣстную эпоху, не даромъ живущимъ на свѣтѣ. Въ свое время нужными людьми для нашего общества были — не только Пушкинъ и Лермонтовъ, но даже и Карамзинъ, и Державинъ. Теперь, если бы явился опять поэтъ съ тѣмъ же содержаніемъ, какъ Пушкинъ, мы бы на него и вниманія не обратили; Лермонтовъ и теперь еще могъ бы занять многихъ, но и онъ все-таки не то, что намъ теперь нужно. Намъ нуженъ былъ бы теперь поэтъ, который бы съ красотою Пушкина и силою Лермонтова умѣлъ продолжить и расширить реальную, здоровую сторону стихотвореній Кольцова.

Но пока нѣтъ такого поэта, мы внимательно присматриваемся ко всему, въ чемъ, хоть и безъ особенной силы таланта, проглядываетъ здоровое, жизненное содержаніе. Вотъ почему остановились мы довольно долго и на стихотвореніяхъ г. Никитина. По его общественному положенію и по нѣкоторымъ намекамъ его собственныхъ стиховъ, мы думали, что жизнь бѣдняковъ, горечь нужды и беззащитнаго состоянія — знакомы ему не только по наглядкѣ, но даже и по опыту. Поэма г. Никитина «Кулакъ», изданная два года тому назадъ и заключающая въ себѣ много живыхъ, энергически-выраженныхъ стиховъ, еще болѣе подтвердила наше предположеніе. Въ новомъ изданіи стихотвореній г. Никитина мы нашли значительное количество пьесъ, написанныхъ именно на тему горькихъ и безпомощныхъ страданій бѣдняка. Это окончательно заставило насъ подумать, что страданья нищеты, униженія и всякихъ обидъ и несправедливостей — силь-

но были прочувствованы самимъ поэтомъ и стали близки его душѣ. Онъ самъ говоритъ о себѣ, въ первомъ стихотвореніи, служащемъ какъ бы введеніемъ къ его книгѣ:

Съ суровой долею я рано подружился,
Не зная веселыхъ дней, веселыхъ игръ не зная;
Мечтами дѣтскими ни съ кѣмъ я не дѣлился,
Ни отъ кого рѣчей разумныхъ не слыхалъ.
Но все, что грязнаго есть въ жизни самой бѣдной,
И горе, и разгуль, кровавый потъ трудовъ,
Порокъ и плачь нужды, оборванной и блѣдной,
Я видѣлъ вокругъ себя съ младенческихъ годовъ.

Подобныя указанія на собственный опытъ встрѣчаются и въ другихъ стихотвореніяхъ, и, основываясь на этомъ, мы думали, что на изображеніяхъ картинъ этой жизни, этихъ впечатлѣній и уроковъ житейскаго опыта можетъ развернуться талантъ г. Никитина. Можетъ быть, наше предположеніе еще и оправдается, по крайней мѣрѣ мы не теряемъ надежды на возможность дальнѣйшаго развитія въ дарованіи поэта, судя по нѣкоторымъ стихамъ въ его «Кулакѣ» и въ нынѣ изданной книжкѣ. Впрочемъ, признаемся, — мы не очень ручаемся за исполненіе своихъ надеждъ: рутинна нашей воздушной, прилизанной, идеальной лирики слишкомъ сильно завладѣла имъ. Онъ силится подражать тому, какъ «господа» изображаютъ страданіе и горечь жизни, не замѣчая того, что господа эти большею частью сами на себя напускаютъ всевозможныя муки. Онъ удаляется отъ простоты первоначальнаго впечатлѣнія, онъ старается сгладить его шероховатости и диссонансы и расплывается въ безцвѣтныхъ отвлеченностяхъ. При этомъ доходитъ онъ иногда до мыс-

лей очень хорошихъ, но явно заимствованныхъ изъ другой сферы, — изъ той, гдѣ людей заѣдаетъ рефлексія, а вовсе не изъ той, гдѣ безъ всякой рефлексіи просто голодъ даетъ себя чувствовать. Это особенно можно видѣть сравнивши какое-нибудь изъ стихотвореній г. Никитина съ подходящимъ стихотвореніемъ Кольцова. Вотъ, напримѣръ, обращеніе къ любимой дѣвушкѣ, съ которой бѣднякъ не хочетъ соединять судьбу свою, чтобы не подвергнуть ее всѣмъ горестямъ и лишеніямъ нищеты.

Не повторяй холодной укоризны;
 Не суждено тебѣ меня любить.
 Безпечный миръ твоей невинной жизни
 Я не хочу безжалостно сгубить.
 Тебѣ ль, съ младенчества не знавшей огорченій,
 Со мною обь руку идти однимъ путемъ,
 Глядѣть на зло и грязь, и гаснуть за трудомъ,
 И плакать, можетъ быть, подъ бременемъ лишеній,
 Страдать не день, не два, — всю жизнь свою
страдать...

Но гдѣ жъ на это силъ, гдѣ воли нужно взять?
 И что тебѣ въ тотъ часъ скажу я въ оправданье,
 Когда, убитая и горемъ и тоской,
 Упрекомъ мнѣ и горькою слезой
 Отвѣтишь ты на ласки и лобзанье?

Слезы твоей себѣ не могъ бы я простить...
 Но кто жъ меня безчувствію научить
 И наконецъ заставить позабыть
 Все, что меня и радуетъ и мучить,
 Что для меня, подъ холодомъ заботъ,
 Подъ гнетомъ нужды, печали и сомнѣній —
 Единая отрада и оплотъ, —
 Источникъ думъ, надеждъ и пѣснопѣній.

Мысль этого стихотворенія, конечно, одна изъ лучшихъ мыслей, до которыхъ только можетъ довести человѣка рефлексія. Но посмотрите, какъ

виденъ здѣсь именно человѣкъ только рефлектирующій, не живой, потерявшій всякую рѣшимость —

Горе мыкать, жизнью тѣшиться,
Съ злою долей перевѣдаться ..

Сущность стихотворенія, какъ оказывается, почерпнута изъ пѣсни Кольцова: «Не на радость, не на счастье», но тонъ его рѣшительно напоминаетъ образованнаго фата, альбомнымъ образомъ дающаго отставку полюбившей его дѣвушкѣ и прикрывающагося «независящими» обстоятельствами. У Кольцова сокрушается о своемъ положеніи человѣкъ, уже полюбившій дѣвушку, сошедшійся съ ней и выбивающійся изъ силъ, чтобъ ее успокоить и обезпечить. Тотъ говоритъ: прежде я, кромѣ любви, ни о чемъ не думалъ;

А теперь другая думушка
Грызеть сердце, крушитъ голову:
Какъ въ чужомъ углу съ тобой намъ жить,
Какъ свою казну трудомъ нажить ...

Такое размышленіе о матеріальныхъ нуждахъ и средствахъ обезпеченія необходимо и само собою является въ человѣкѣ, взявшемъ на себя заботу о существованіи другого; но являясь вслѣдствіе неизбежности практической, оно зато и отличается практическимъ характеромъ: бѣднякъ думаетъ здѣсь уже прямо о томъ, —

Какъ свою казну трудомъ нажить.

Явившись же прежде срока, вслѣдствіе анализирующей мысли, то же самое размышленіе показы-

васть только житейское благоразуміе и дѣлаетъ очень подозрительною искренность и силу самого чувства, на которое претендуетъ поэтъ. Читая такое стихотвореніе, такъ и припоминаешь себѣ альбомныя побрякушки: «Я васъ любилъ, любовь еще быть можетъ» . . . или: «Нѣтъ, нѣтъ, не долженъ я, не смѣю, не могу», и т. п. Не такъ выражается истинное чувство живой и сильной натуры. Вспомните, что дѣлаетъ косарь у Кольцова, увидавши, что онъ по своей бѣдности не можетъ жениться на любимой дѣвушкѣ: — онъ идетъ косить въ степи, и вотъ его планы:

Нагребу копенъ,
Намечу стоговъ —
Дастъ козачка мнѣ
Денегъ пригоршни.
Я зашью казну,
Сберегу казну,
Ворочусь въ село —
Прямо къ старостѣ:
Не разжалобилъ
Его бѣдностью,
Такъ разжалоблю
Золотой казной...

Мы нарочно сдѣлали это сравненіе, чтобы показать, до какой степени холодно, обдуманно, головнымъ образомъ берется г. Никитинъ за свои изображенія, и какимъ образомъ желаніе показаться умнымъ дѣтятей пересиливаетъ въ немъ живыя чувства и ослабляетъ энергію его внутренней жизни. Отъ постоянной привычки высказывать только вещи, принятая въ хорошемъ литературномъ обществѣ, самая воспримчивость г. Никитина какъ-то притупилась: онъ работаетъ не изъ сыраго мате-

ріала, а почти всегда уже изъ того, который былъ въ обдѣлкѣ. Не жизнь вдохновляетъ его, а умныя изображенія жизни у поэтовъ и мыслителей. Двадцать разъ на разные лады онъ повторяетъ, что онъ измученъ жизнью, что не знаетъ куда дѣваться отъ пошлыхъ, грязныхъ сценъ, отъ невѣжественныхъ оскорбленій и проч. Но все это говорится въ общихъ чертахъ, какъ выводъ изъ чего-то давно извѣстнаго; а какъ это давно-извѣстное отразилось именно лично на поэта, этого и нѣтъ нигдѣ. Онъ постоянно «уединяется отъ насъ въ холодное величіе» и какъ будто силится показать, что у него въ сердцѣ сидитъ знаменитая Weltschmerz, печаль о бѣдствіяхъ человѣчества. Но вѣдь, чтобы имѣть право высказывать такую печаль, надо, во-первыхъ, мыслью своею уйти подальше, чѣмъ г. Никитинъ, и не писать стихотвореній въ родѣ «Молитвы дитяти», «На кладбищѣ» и т. п. А во-вторыхъ, и міровая печаль должна же напредѣнно имѣть свою «точку отравленія», должна же начинаться съ какихъ-нибудь частныхъ впечатлѣній и мотивовъ, которые непременно и выскажутся въ стихахъ поэта, истинно и глубоко проникнутаго горемъ хотя бы и о бѣдствіяхъ человѣчества. Въ противномъ же случаѣ выходятъ либеральныя фразы, какъ, наприкладъ, въ слѣдующемъ стихотвореніи г. Никитина:

Покой мнѣ нуженъ. Грудь болитъ.
Озлобленъ умъ и ноетъ тѣло.
Все, отъ чего душа скорбитъ,
Вокругъ меня весь день кишѣло.

Куда бѣжать отъ громкихъ словъ?
Мы всѣ добры и непорочны!
Боготворить себя готовъ
Иной другъ правды безупречный!

Убита совѣсть, умеръ стыдъ,
И ложь во тьмѣ царить свободно;
Никто позора не казнить,
Никто не плачетъ всенародно!..

Межъ нами мучениковъ нѣтъ
На крикъ: „спасите!“ нѣтъ отвѣта!
Не выйдемъ мы на божій свѣтъ:
Нашъ рабскій духъ боится свѣта!

Быть можетъ, въ воздухѣ весь вредъ:
Чему бы гибнуть — процвѣтаетъ,
Чему бъ цвѣсти — роняетъ цвѣтъ
И жалкой смертью умираетъ.

Все это прекрасно: но все это не впечатлѣнія прожитой жизни, а фразы, къ которымъ способны и г. Бенедиктовъ, и г. Розенгеймъ и даже г. Минаевъ, и которыя рѣшительно никому не нужны и ничего не объясняютъ. У г. Никитина эти фразы тѣмъ болѣе лишены всякаго значенія, что онѣ не выражаютъ даже его собственнаго, прочнаго міросозерцанія. Напр., въ приведенномъ стихотвореніи онъ жалуется на громкія слова при отсутствіи настоящаго дѣла; еще яснѣе это выражено въ стихотвореніи «Разговоры», которое оканчивается слѣдующими куплетами:

Какъ повѣрить словамъ, —
По часамъ мы растемъ;
Закричатъ „помоги!“ —
Черезъ пропасть шагнемъ!

Въ насъ душа горяча,
Наша воля крѣпка,
И печаль за другихъ
Глубока, глубока!

А приходитъ пора
Добрый подвигъ начать, —
Такъ намъ жаль съ головы
Волосокъ потерять:

Тутъ раздумье и лѣнь,
Тутъ насъ робость возьметъ...
А слова — на словахъ
Соколиный полетъ!..

А между тѣмъ онъ же пишетъ стихотвореніе,
въ которомъ восхищается современными начина-
ніями и находить, что уже

Мертвые въ мирѣ почилъ,
Дѣло настало живымъ.

Въ другомъ стихотвореніи онъ настаиваетъ что
бы поэтъ

Не говорилъ, что жизнь ничтожна... и проч.

Все это заставляетъ насъ желать, чтобы г. Никитинъ какъ можно менѣе поддавался очарованію текущей изящной словесности, какъ можно менѣе заботился объ опрятныхъ, выложенныхъ и звучныхъ фразахъ, а обратился прямо къ жизни, проходящей у него предъ глазами. Наше желаніе всего болѣе основываемъ мы на поэмѣ «Кулакъ», доказывающей, что г. Никитинъ не чуждъ живой наблюдательности. Но и въ лежащей предъ нами книжкѣ можно находить — если не цѣлыя стихотворенія, то хоть отдѣльныя мѣста, доказывающія то же самое. Къ сожалѣнію, заботясь всего болѣе о художественности (которую онъ при томъ смѣшиваетъ съ красотой описаній), г. Никитинъ до сихъ поръ очень небрежно пользовался этой стороной своего

таланта. Напримѣръ, у него есть стихотвореніе, въ которомъ является передъ нами крестьянская дѣвочка — пріемышъ. Она подходитъ къ дѣтямъ, тѣ ее отталкиваютъ и гонятъ прочь, а отецъ пускается въ разсужденія о томъ, какъ ему непріятно и тяжело кормить чужую дѣвочку, у которой мать — «чай, поди гуляетъ» . . . Къ этому старикъ прибавляетъ:

И дѣвчонка-то больная:
Сохнетъ, какъ трава,
Да все плачетъ. . . дрянъ такая!
А на грѣхъ жива...

Дѣвочка все это слышитъ и понимаетъ . . . Кажется, для полнаго, художественнаго представленія такого явленія вовсе не нужно описывать, какъ, напримѣръ, «лебеди плывутъ по равнинѣ водъ», какъ «лугъ зеленѣетъ, подобно бархату», какъ «влага брызжетъ жемчугомъ», и т. п. А у г. Никитина половина стихотворенія состоитъ изъ описанія всѣхъ этихъ прелестей, а во второй появляется дѣвочка. Стихотвореніе очень длинно, — стиховъ сто, — обѣ части ничѣмъ не связаны внутренно, особенной энергіи изображенія нѣтъ ни въ той, ни въ другой части, и потому ни картина озера, ни печальное положеніе дѣвочки не производятъ на насъ полнаго впечатлѣнія, на какое разсчитывалъ, конечно, поэтъ. Такимъ образомъ изъ ложнаго убѣжденія (поддерживаемаго, впрочемъ, нѣкоторыми критиками), что у него есть талантъ пластической поэзіи, и изъ привязанности къ рутинѣ, требующей подробнаго изображенія мѣста и всей обстановки дѣйствія, г. Никитинъ часто пренебрегаетъ развитіемъ существенно-важной стороны стихотворенія и тѣмъ чрезвычайно вредитъ себѣ. Онъ, напр., въ другомъ сти-

хотвореніи, хочетъ выставить несчастное положеніе дѣвушки, остающейся одинокою и безпомощною послѣ смерти бѣдняка-отца ея. Для этого онъ удачно выбираетъ тотъ самый моментъ, когда отецъ ея лежитъ на столѣ, а она, одна, ночью, сидитъ у его трупa. Но что же г. Никитинъ дѣлаетъ съ этимъ содержаніемъ? Онъ начинаетъ:

Въ глубинѣ бездонной,
Полны чудныхъ силъ,
Идутъ милліоны
Вѣковыхъ свѣтилъ... И т. д.

Половина стихотворенія посвящена описанію того, какъ ночью свѣтятъ звѣзды и какъ спитъ весь городъ, а потомъ уже переходъ къ тому, какъ дочь не спитъ, и пр. Этимъ недостаткомъ сосредоточенности поэта на одномъ чувствѣ или мысли, этой разбросанностью и какъ будто безцѣльностью страдаетъ большая часть стихотвореній г. Никитина, имѣющихъ повѣствовательное содержаніе. А это очень непріятно дѣйствуетъ на читателя, потому что показываетъ, какъ будто поэтъ самъ-то очень мало интересуется предметомъ своего разсказа: таково бываетъ впечатлѣніе отъ разсказчиковъ, которые начинаютъ всегда издалека, безпрестанно бросаются въ сторону, заговариваются и за ненужными подробностями нерѣдко забываютъ главное дѣло, о которомъ толкуютъ.

А есть у г. Никитина вещи, обличающія въ немъ если не сильный талантъ, то по крайней мѣрѣ присутствіе силы воображенія и теплаго чувства. Намъ нравится, напр., у него изображеніе старика, который, переживши всѣхъ своихъ дѣтей и внучатъ, живетъ одинъ въ избушкѣ, только съ старымъ котомъ,

занимается плетенъемъ лаптей и постоянно ходить въ храмъ Божій:

Къ стѣнкѣ около порога,
Станетъ тамъ крехтя
И за скорби славить Бога,
Божіе дитя...

Поправилось намъ и нѣсколько стиховъ въ «Пряхѣ», гдѣ старушка, въ бурную зимнюю ночь, сидя въ холодной избѣ, вспоминаетъ объ умершемъ мужѣ и сынѣ:

Плачь да стонъ она все слышитъ
И, припавъ къ стеклу,
На морозный иней дышитъ,
Смотрить: — по селу
Кто-то въ бѣломъ пробѣгаетъ
Съ бѣлой головой,
Горстью звѣзды разсыпаетъ
Въ улицѣ пустой;
Звѣзды искрятся... А выюга
Въ ворота стучитъ...
И старушка отъ испуга
Чуть жива сидитъ...

Довольно горячо и живо показалось намъ выраженіе чувства состраданія къ бѣднякамъ въ нѣсколькихъ стихахъ пьесы «Опять знакомая видѣнья». Поэтъ вспоминаетъ разныхъ лицъ, отъ которыхъ приходится терпѣть всевозможныя прелести, и потомъ обращается къ бѣдному люду:

И ты, въ своей одеждѣ грязной,
Нашъ бѣдный труженникъ народъ,
Несущій крестъ свой терпѣливо,
Ты, — за кого краснорѣчиво
Ведемъ мы споръ, добро любя,
Пора ль на свѣтъ вести тебя, —

И ты мнѣ вспомнился... Угрюмо,
Въ печальной долѣ хлѣбу радъ,
Ты мимо каменныхъ палатъ
Идешь на трудъ съ тупою думой,
Полуодѣтъ, полуобутъ,
Нуждой безжалостной согнутъ...

Удачные стихи нерѣдко попадаются у г. Никитина; но это большею частью — комбинаціи изъ нѣсколькихъ удачныхъ стиховъ другихъ поэтовъ; поэтому особенно впечатлѣнія они не производятъ. Впрочемъ лучше другихъ, т. е. болѣе обнаруживаютъ внутренней работы, стихотворенія: «Ахъ, у радости быстрыя крылья», «Ахъ ты, бѣдность горемычная», «Бѣхалъ съ ярмарки ухарь-купецъ», «Пахарь», «Соха», «Нищій». Послѣднее — едва ли не лучшее въ книжкѣ. Вотъ оно все:

И вечерней, и ранней порою
Много старцевъ, и вдовъ, и сиротъ,
Подъ окошками ходятъ съ сумою,
Христа-ради на помощь зоветь.

Надѣваетъ ли сумку неволя,
Неохота ли взяться за трудъ, —
Тяжела и горька твоя доля,
Безпріютный, оборванный людъ!

Не откажутъ тебѣ въ подаянны,
Не умрешь ты безъ крова зимою, —
Жаль разумное божье созданье,
Человѣка въ грязи и съ сумой!

Но бѣднѣе и хуже есть нищій:
Не пойдетъ онъ просить подъ окномъ;
Цѣлый вѣкъ, изъ одежды и пищи,
Онъ работаетъ ночью и днемъ.

Спитъ въ лачужкѣ на грязной соломѣ,
Богатырь въ безысходной бѣдѣ,

Крѣпче камня въ несносной истомѣ,
Крѣпче мѣди въ кровавой нуждѣ.

По смерть зерна онъ въ землю бросаетъ,
По смерть жнетъ, а нужда продаетъ;
О немъ облако слезы роняетъ,
Про тоску его буря поетъ...

Хорошо также по своей основѣ стихотвореніе «Бхаль съ ярмарки ухарь-купецъ», хотя рассказъ поэта показался намъ слишкомъ холоднымъ и даже вычурнымъ. Дѣло въ томъ, что ухарь-купецъ задумываетъ въ хороводѣ, при всемъ честномъ собраньѣ, соблазнить дѣвушку; та въ стыдѣ рвется отъ него, но отецъ и мать, прельщенные деньгами кунца, сами ему помогаютъ. Вотъ конецъ стихотворенія:

Звѣздная ночь и ясна и тепла,
Дѣвичья пѣсня давно замерла.
Шепчетъ нахмуренный лѣсъ надъ водой,
Вѣтромъ шатаетъ камышъ молодой.
Синяя туча надъ лѣсомъ плыветъ,
Темную зелень огнемъ обдаетъ.
Въ крайней избушкѣ не гаснетъ ночникъ,
Спитъ на печи подгулявшій старикъ,
Синтъ въ зипушникѣ и въ старыхъ лаптяхъ,
Рваная шапка комкомъ въ головахъ.
Молится Богу старуха жена;
Плакать бы надо, — не плачетъ она.
Дочь ихъ красавица поздно пришла,
Дѣвичью совѣсть виномъ залила...
Что тутъ за диво? И замужъ пойдетъ...
То-то чай дѣтокъ на путь наведетъ!
Кѣмъ ты, людъ бѣдный, на свѣтъ порождень,
Кѣмъ ты на гибель и срамъ осуждёнъ?

Въ этихъ стихахъ, разумѣется, г. Никитинъ не могъ уберечься отъ обычныхъ своихъ фіоритуръ

и міровыхъ вопросовъ, вовсе не идущихъ къ дѣлу. Что дѣлать? Это его слабость, утвержденная въ немъ нынѣшнимъ состояніемъ нашей поэзіи. Но намъ кажется, что, имѣя въ своемъ распоряженіи богатый запасъ подобныхъ впечатлѣній и наблюденій надъ жизнью и дошедши въ своей мысли до извѣстной степени смѣлости и широты воззрѣній, г. Никитинъ хорошо сдѣлалъ бы, если бы посвятилъ все свое дарованіе, каково оно ни есть, на разработку этого запаса, на воспроизведеніе тѣхъ живыхъ образовъ, изъ которыхъ выработались лучшія его воззрѣнія. Какъ бы ни слабы выходили его изображенія, но все-таки это будетъ несравненно лучше, живѣе и проще, а слѣдовательно и поэтичнѣе, нежели удачнѣйшія коніи съ наилучшихъ подражаній картинамъ природы, написаннымъ нашими талантливѣйшими поэтами... Пусть отложитъ г. Никитинъ въ сторону всякую мысль о силѣ своего «пластическаго» таланта: въ немъ нѣтъ этой силы, да и сожалѣть объ этомъ очень много не стоитъ. Пластика въ поэзіи — роскошь, прихоть, аксесуаръ; поэтамъ, ничего не имѣющимъ кромѣ пластическаго таланта, мы можемъ удивляться, но удивляться точно такъ же, какъ блестящему виртуозу, котораго все достоинство состоитъ въ искусномъ преодолѣніи техническихъ трудностей игры... Дѣло поэзіи — жизнь, живая дѣятельность, вѣчная борьба ея и вѣчное стремленіе человѣка къ достиженію гармоніи съ самимъ собою и съ природой. Давно замѣченъ разладъ человѣка со всѣмъ окружающимъ, и давно поэзія изображала его. Но причины разлада искали прежде — то въ таинственныхъ силахъ природы, то въ дуалистическомъ устройствѣ человѣческаго

существа, и сообразно съ этимъ поэзія разрабатывала внѣшнюю природу и психологическій антагонизмъ человѣка. Теперь болѣе простой взглядъ входитъ въ общее сознаніе: обращено вниманіе на распредѣленіе благъ природы между людьми, на организацію общественныхъ отношеній. Во всѣхъ наукахъ поэтому разрабатывается понятіе объ обществѣ; поэзія (въ обширномъ смыслѣ) тоже давно взялась за этотъ предметъ: романъ, созданіе новаго времени, наиболѣе распространенный теперь изъ всѣхъ видовъ поэтическихъ произведеній, прямо вытекъ изъ новаго взгляда на устройство общественныхъ отношеній, какъ на причину всеобщаго разлада, который тревожитъ теперь всякаго человѣка, задумавшагося хоть разъ о смыслѣ своего существованія. Въ лирикѣ нашей мы видѣли до сихъ поръ только начатки и попытки въ этомъ родѣ; но отсюда вовсе не слѣдуетъ, чтобы новое содержаніе поэзіи было недоступно для лирики или несовмѣстно съ нею. Нѣтъ, оно рано или поздно овладѣетъ всей областью поэзіи; оно одушевитъ собою и лирику, но только нѣсколько позднѣе. Вслѣдъ за открытіемъ, что человѣкъ мучится и томится, увлекается и падаетъ, подымается и веселится — не отъ власти темныхъ силъ и неизбѣжной судьбы и не отъ того, что въ немъ сидятъ два противныя начала, а просто отъ большей или меньшей неправильности общественныхъ условій, подъ которыми онъ живетъ, — вслѣдъ за этимъ сознаніемъ необходимо должно было послѣдовать *изученіе* всѣхъ общественныхъ неправильностей. Для такого изученія прежде всего оказался весьма удобнымъ романъ и вообще этический родъ; вмѣстѣ съ тѣмъ и драма, прежде имѣвшая своей задачей

раскрытіе психологическаго антагонизма, также подверглась существенному изслѣдованію, и подъ вліяніемъ новыхъ воззрѣній правратилась тоже въ изображеніе общественныхъ отношеній. Теперь очередь за лирикой: она давно уже порывается въ ту же область, то прямо избирая этическій сюжетъ, для маленькаго стихотвореньца, то пытаясь воспѣвать чувства, возбужденныя въ душѣ извѣстными явленіями общественной жизни. Но все это пока еще довольно слабо, потому что поэты наши считаютъ почему-то нужнымъ сторониться отъ общественной дѣятельности, повторяя вслѣдъ за Пушкинымъ:

Служенье музъ не терпитъ суеты.

Критики, зараженные слухами объ эстетическихъ теоріяхъ, поддерживаютъ ихъ въ этомъ убѣжденіи, увѣряя, что когда идетъ ломка и перестройка общественнаго зданія, тогда поэтъ долженъ быть ни при чемъ, ибо онъ рожденъ не для житейскаго волненья, и пр. . . . Но само собою разумѣется, что слабость лирики новаго содержанія происходитъ вовсе не отъ увѣщаній эстетиковъ, а просто отъ того, что еще въ обществѣ никакой существенной ломки и перестройки нѣтъ, а идетъ только изученіе и изученіе. Когда же изученіе приведетъ наконецъ къ чему-нибудь, когда дѣйствительно придетъ возможность какой-нибудь передѣлки въ общественныхъ нравахъ и отношеніяхъ, тогда, конечно, среди рабочихъ практиковъ не преминетъ явиться и энергическій лирикъ съ поэтическимъ словомъ одушевленія и одобренія.

А теперь пока мы должны хоть мало-по-малу привыкать къ сознанію бесплодности фантазерства

и малярства въ современной поэзіи, должны не пропускать безъ вниманія хоть тѣхъ несовершенныхъ попытокъ, въ которыхъ сказывается возможность для нея новаго содержанія. Въ этомъ отношеніи намъ любопытны были и опыты г. Никитина, тѣмъ болѣе, что они относятся къ той части общества и къ такимъ положеніямъ, которыя составляютъ самую важную задачу и жизни, и науки, и литературы современнаго общества.

Стихотворенія А. Н. Плещеева.

Спб. 1858.

Какое-то внутреннее, тяжелое горе, грустное утомленіе жизнью, печаль о несбывшихся надеждахъ — вотъ характеръ большей части изданныхъ нынѣ стихотвореній г. Плещеева. Съ перваго взгляда тутъ не представляется ничего необыкновеннаго: кто не былъ разочарованъ горькимъ опытомъ жизни, кто не сожалѣлъ о пылкихъ мечтахъ юности? Это сдѣлалось даже обычною, пошлою темою бездарныхъ стихотворцевъ, къ которымъ обращался еще Лермонтовъ съ этими жесткими стихами:

Какое дѣло намъ, страдалъ ли ты или нѣтъ?
На что намъ знать твои волненья,
Надежды глупыя первоначальныхъ лѣтъ,
Разсудка злыя сожалѣнья?

Но присматриваясь ближе къ содержанію стихотвореній г. Плещеева, мы найдемъ, что характеръ его сожалѣній не совсѣмъ одинаковъ съ жалобными стонами плаксивыхъ пѣтъ прежняго времени. У тѣхъ и надежды-то были, дѣйствительно, не только глупы, но и пошлы, мелки; и сожалѣнія-то были такого рода, что до нихъ именно никому дѣла не было. Обыкновенно надѣялись они на то, что

встрѣтятъ сочувственную женскую душу, которая ихъ полюбитъ и будетъ любить страстно и вѣчно; надѣялись они также и на то, что вотъ, можетъ быть, дождутся они времени, когда весна цѣлый годъ будетъ продолжаться, розы не будутъ увядать, молодость будетъ вѣчно сохранять свою пылкость и свѣжесть, что луна вступить съ ними въ дружескія отношенія и т. п. Лѣтъ въ двадцать пѣнты начинали уже разочаровываться, жаловались на измѣны любимыхъ женщинъ, сѣтовали о кратковременности цвѣтеніе розы, и пр. Со стороны, разумѣется, смѣшно и скучно было слушать ихъ... Нельзя сказать того же о сожалѣніяхъ, которымъ предается г. Плещеевъ. Его надежды также были, можетъ быть, безразсудны; но все-таки онѣ относились уже не къ розѣ, дѣвѣ и лунѣ, онѣ касались жизни общества и имѣли право на его вниманіе. Поэтому грусть поэта о неисполненіи его надеждъ не лишена, по нашему мнѣнію, общаго значенія и даетъ стихотвореніямъ г. Плещеева право на упоминаніе въ будущей исторіи русской литературы, даже совершенно независимо отъ степени таланта, съ которымъ въ нихъ выражается эта грусть и эти надежды.

Въ исторіи нашей поэзіи, начиная съ Пушкина, есть одинъ грустный фактъ, который еще ждетъ себя полнаго объясненія въ будущемъ. Все, что было замѣчательнаго въ нашей поэтической литературѣ послѣднихъ сорока лѣтъ, подверглось вліянію этого грустнаго факта. Онъ состоитъ въ томъ, что конецъ дѣятельности каждаго сколько-нибудь замѣчательнаго поэта ознаменовывается сознаніемъ собственнаго разслабленія и сожалѣніемъ о напрасно растраченныхъ силахъ молодости. Та-

кое сознаніе сообщаетъ какой-то мрачный, безотрадный колоритъ всей дѣятельности поэта, и мракъ этой безотрадности съ каждымъ годомъ все болѣе сгущается. И тѣмъ безотраднѣе дѣйствуетъ онъ на душу внимательнаго читателя, что въ начальной дѣятельности поэта всегда замѣтны смѣлые порывы, широкія мечты, благороднѣйшія, сильныя стремленія. Насъ невольно увлекаетъ поэтъ силою своего вдохновенія, особенно если талантъ его имѣетъ сколько-нибудь примѣтные размѣры; намъ самимъ хочется, чтобы эти мечты сбылись, эти порывы нашли возможность осуществиться въ практической дѣятельности. И когда поэтъ начинаетъ свое безотрадное признаніе, свою тоскливую похоронную пѣснь о невозвратно-потерянныхъ надеждахъ и напрасно растраченныхъ силахъ, у насъ самихъ холодъ пробѣгаетъ по тѣлу и будто что-то отрывается отъ сердца. А между тѣмъ нѣтъ ни одного замѣчательнаго русскаго поэта послѣдняго времени, который бы остался совершенно свободенъ отъ этого мрачнаго настроенія, который бы не принялся заживо хоронить себя. Съ какими смѣлыми и гордыми надеждами Пушкинъ выступалъ на литературное поприще! Какъ много горячаго, молодого увлеченія было въ немъ въ тѣ годы, когда еще душу его волновали —

Негодованье, сожалѣнье,
Ко благу чистая любовь...

И все пропало. Въ одинъ изъ послѣднихъ годовъ своей жизни онъ съ грустью признавался, что въ сердцѣ его, смиренномъ бурями, настала лѣнь и тишина. А сколько тяжелаго унынія, какого-то сдавленнаго, покорнаго горя, напр., въ этихъ сти-

хахъ, также относящихся къ поздней порѣ Пушкинской дѣятельности:

Подъ бурями судьбы жестокой
Увяль цвѣтущій мой вѣнецъ.
Живу печальный, одинокій,
И жду, придетъ ли мой конецъ...

Правда, что Пушкинъ, при всей громадности своего поэтического таланта, не былъ человѣкомъ, серьезно проникнутымъ убѣжденіями, которыя проявлялись въ немъ въ ту пору, «когда ему были новы всѣ впечатлѣнья бытія». Бурямъ судьбы жестокой не мудрено было сломить этотъ характеръ, не отличавшійся глубиною и силою. Но вотъ другой примѣръ — Лермонтовъ. Этого ужъ нельзя упрекнуть въ недостаткѣ энергіи и твердости; а между тѣмъ и онъ писалъ подъ конецъ жизни почти то же, что Пушкинъ:

И тьмой, и холодомъ объята
Душа усталая моя.
Какъ ранній плодъ, лишенный сока,
Она увяла въ буряхъ рока,
Подъ знойнымъ солнцемъ бытія.

Тѣмъ же кончилъ и Кольцовъ, эта здоровая, могучая личность, силою своего ума и таланта сама открывшая для себя новый міръ знаній и поэтическихъ думъ. Еще неокрѣпшій въ своемъ поэтическомъ талантѣ, но гордый молодою силою воли, онъ говорилъ о злой судьбѣ при началѣ своего поприща:

Предъ ней душою не унижусь,
Въ мечтахъ не разувѣрюсь я...
Могильной тѣнью въ прахъ низринусь,
Но скорби не отдамъ себя...

Но и его сломила судьба, и незадолго до своей смерти онъ грустно сознавался:

Въ душѣ страсти огонь
Разгорался не разъ,
Но въ безплодной тоскѣ
Онъ сгорѣлъ и погасъ...
Только тѣшилась мной
Злая вѣдьма судьба;
Только силу мою
Сокрушила борьба...

Судьба, рокъ, судьба! . . . Вотъ слова, въ безвыходной тоскѣ повторяемыя каждымъ изъ нашихъ замѣчательныхъ поэтовъ. Что это? Бессиліе ли отдѣльныхъ личностей предъ силою враждебной имъ судьбы? Но если оно такъ неизбѣжно и такъ велико даже въ людяхъ, которые такъ щедро надѣлены отъ природы, которыхъ мы считаемъ лучшими между нами, то въ какомъ видѣ это бессиліе должно представляться во всей остальной массѣ . . . Или, напротивъ, это воля энергической, дѣйствительно-сильной натуры, подавляемой гнетомъ враждебныхъ обстоятельствъ? Въ такомъ случаѣ — каковы же должны быть эти обстоятельства, когда они такъ необходимо, фатально, такъ безобразно сламываютъ самая благородныя и сильныя личности? . . . Тяжело становится на душѣ, когда припомнишь исторію этихъ личностей. Зачѣмъ боролись и страдали бѣдные труженики? Зачѣмъ ихъ борьба была такъ безплодна, и зачѣмъ эти тысячи и милліоны людей, окружавшихъ ихъ, такъ холодно, безучастно смотрѣли на ихъ внутреннія страданія, такъ легко дали имъ пасть подъ гнетомъ судьбы?

Какъ грустна исторія этого невольнаго паде-

нія, изображенная однимъ изъ такихъ труженниковъ:

Мы въ жизнь вошли съ прекраснымъ упованьемъ,
Мы въ жизнь вошли съ перобкою душой,
Съ желаньемъ истины, добра желаньемъ,
Любовью, съ поэтической мечтой;
И съ жизнью рано мы въ борьбу вступили,
И юныхъ силъ мы въ битвѣ не щадили.
Но мы вокругъ не встрѣтили участья,
И лучшія надежды и мечты,
Какъ листья средь осенняго ненастья,
Попадали, и сухи, и желты...

Такая точно исторія выражается и въ стихотвореніяхъ г. Плещеева. Мы не говоримъ о силѣ таланта, въ которой онъ не можетъ, конечно, быть сравниваемъ съ названными нами выше поэтами; но мы указываемъ здѣсь только на аналогическія обстоятельства внутренняго развитія у разныхъ нашихъ поэтовъ, не только большихъ, но и маленькихъ. Въ этомъ отношеніи и на дарованіи г. Плещеева легла та же печаль горькаго сознанія своего безсилія предъ судьбою, тотъ же колоритъ «болѣзненной тоски и безотрадныхъ думъ», послѣдовавшихъ за пылкими, гордыми мечтами юности. Мы помнимъ книжечку стихотвореній г. Плещеева, изданныхъ лѣтъ 12 тому назадъ. Въ нихъ было много неопредѣленнаго, слабаго, незрѣлаго; но въ числѣ тѣхъ же стихотвореній былъ этотъ смѣлый призывъ, полный такой вѣры въ себя, вѣры въ людей, вѣры въ лучшую будущность:

Друзья! дадимъ другъ другу руки
И вмѣстѣ двинемся впередъ,
И пусть, подъ знаменемъ науки,
Союзъ нашъ крѣпнеть и растетъ...

Не сотворимъ себѣ кумира
Ни на землѣ, ни въ небесахъ.
За всѣ дары и блага міра
Мы не надемъ предъ нимъ во прахъ.

Жрецовъ грѣха и лжи мы будемъ
Глаголомъ истины карать
И спящихъ мы отъ сна разбудимъ
И поведемъ за ратью рать.

Пусть намъ звѣздою путеводной
Святая истина горитъ,
И вѣрьте, голосъ благородный
Не даромъ въ міръ прозвучитъ.

Эта чистая увѣренность, такъ твердо выраженная, этотъ братскій призывъ къ союзу — не во имя разгульных пировъ и удалыхъ подвиговъ, а именно подъ знаменемъ науки, это благородное рѣшеніе не творить себѣ кумировъ — обѣщали многое. Они обличали въ авторъ если не замѣчательное поэтическое дарованіе, то по крайней мѣрѣ энергическое рѣшеніе посвятить свою литературную дѣятельность на честное служеніе общественной пользѣ. Но послѣ изданія своихъ стихотвореній г. Плещеевъ замолкъ. Прошли годы, и ни однимъ стихомъ онъ не напомнилъ о себѣ русской публикѣ. Наконецъ, въ 1856 г. снова появился онъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ», съ робостью новичка печатая свои стихотворенія подъ неполной фамиліей А. П—ва. Многіе читатели узнали знакомый голосъ и радушно приняли «старыя пѣсни на новый ладъ», какъ называлъ г. Плещеевъ свои стихи, печатая ихъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ». Теперь наконецъ рѣшился онъ издать ихъ и отдѣльной книжкой. Въ ней ужъ нѣтъ тѣхъ мощныхъ призывовъ, тѣхъ гордыхъ увлеченій, тѣхъ, отчасти безразсуд-

ныхъ, надеждъ, съ которыми такъ смѣло выступалъ онъ на свое литературное поприще. Съ нимъ произошло то же грустное явленіе, о которомъ говорили вы выше. Изданная нынѣ книжка грустно начинается стихотвореніемъ «Раздумье», въ которомъ поражаютъ читателя слѣдующіе стихи:

Не вижу я вокругъ отраднаго разсвѣта!
Повсюду ночь да ночь, куда не бросишь взоръ.
Исчезли безъ слѣда мои младыя лѣта,
Какъ въ зимнихъ небесахъ сверкнувшій метеоръ.

Какъ мало радостей они мнѣ подарили,
Какъ скоро свѣтлыя разсѣялись мечты!
Морозы ранніе безжалостно побили
Безпечной юности любимые цвѣты.

И чистыхъ помысловъ, и жаркихъ упованій,
На жизненномъ пути растратилъ много я;
Но средь неравныхъ бивъ, средь тяжкихъ испытаній
Что жъ обрѣла въ замѣнъ всѣхъ грезъ душа моя?

Увы! лишь жалкое въ себѣ разувѣренье,
Да убѣжденіе въ безплодности борьбы,
Да мысль, что ни одно правдивое стремленье
Ждать не должно себѣ пощады у судьбы ...

Въ этихъ стихахъ читатель можетъ видѣть выраженіе того настроенія, которое господствуетъ во всей книжкѣ стихотвореній г. Плещеева. Оно проявляется въ разныхъ видахъ: то въ горькомъ укорѣ враждебному року, то въ грустномъ воспоминаніи о прошедшемъ, то въ глухомъ стонѣ настоящаго, внутренняго горя, то наконецъ въ печальной прони надъ своими погибшими мечтами. Изъ сорока стихотвореній, напечатанныхъ въ книжкѣ,

въ тридцати навѣрное найдется скорбь больной души, усталой и убитой тревогами жизни, желаніе пріобрѣсти новыя силы, чтобы освободиться отъ гнета судьбы и отъ мрака, покрывшаго умъ поэта . . .

Въ одномъ стихотвореніи онъ говоритъ:

Запуганъ мракомъ почи я,
И въ немъ я ощупью блуждаю;
Ищу въ свѣтильникъ свой огня,
И гдѣ обрѣсть его — не знаю.

Въ другомъ:

Какъ часто у судьбы я допросить хотѣлъ,
Какую пристань мнѣ она готовитъ ...
Зачѣмъ неравный бой достался мнѣ въ удѣлъ,
Зачѣмъ она моимъ надеждамъ прекословитъ ...
Отвѣта не было ...

Въ третьемъ:

Подстрекнула жизнь лукаво
На неравный бой меня,
И въ бою томъ я потратилъ
Много страсти и огня.

Только людямъ на потѣху
Скоро выбился изъ силъ,
И осталось мнѣ сознанье,
Что я немощень и хилъ ...

Воспоминанія прошлаго служатъ для автора постояннымъ источникомъ грустныхъ сожалѣній. Сравненіе прежней свѣжести и энергіи, прежняго огня и самоувѣренности съ наступившимъ потомъ равнодушіемъ и покорнымъ отчаяніемъ — служитъ для г. Плещеева мотивомъ многихъ грустныхъ сти-

хотвореній. Вотъ, напр., какъ рисуется автору его прошедшее въ стихотвореніи «Странникъ»:

Была пора, и въ сердцѣ молодомъ
Кипѣла страсть, не знавшая преградъ;
На каждый бой съ безтрепетнымъ челомъ
Я гордо шель, весеннимъ грозамъ радъ.

Была пора, огонь горѣлъ въ крови,
И думалъ я, что пѣснь моя была сильна,
Что правды лучъ, что лучъ святой любви
Зажжетъ въ сердцахъ озлобленныхъ она.

Гдѣ жъ силы тѣ, отвага прежнихъ лѣтъ?
Сгубила все неравная борьба.
И пустота — безплодной жизни слѣдъ
Ждетъ неизбежная, какъ древняя судьба.

Дойти до пустоты послѣ возвышенныхъ надеждъ и благородныхъ порывовъ — ужасно. Мы не думаемъ, чтобъ на самомъ дѣлѣ могъ быть доведенъ до такого состоянія, единственно силою обстоятельствъ, человѣкъ, въ которомъ чистыя убѣжденія не были праздною игрою разгоряченнаго воображенія, прихотью опрометчивой юности. Нѣтъ, при всей враждебности обстоятельствъ, человѣкъ найдетъ, чѣмъ наполнить свое существованіе, если въ душѣ его есть не только крѣпость характера, но и сила убѣжденій. Крѣпость можетъ колебаться и пасть; но убѣжденіе останется и всегда поддержитъ человека, какъ въ борьбѣ съ рокомъ, такъ и среди житейской пустоты. Его-то долженъ хранить поэтъ при всѣхъ неудачахъ своихъ мечтаній, при всѣхъ обманахъ тяжелаго опыта жизни. Оно можетъ не спасти отъ внѣшнихъ униженій, можетъ остаться безсильно въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ требуется героизмъ характера, но оно

не дать человѣку унизиться внутренно и, всегда указывая ему правый путь, дать ему силы на дорогу по крайней мѣрѣ тамъ, гдѣ выборъ пути не влечетъ за собою конечной гибели. Человѣка, не разошедшагося съ своими убѣжденіями, нельзя еще считать погибшимъ: пока онъ знаетъ, что идетъ поневолѣ не своей дорогой, и пока въ душѣ тяготеетъ этимъ, еще нѣтъ сомнѣнія, что онъ при первой возможности вернется на путь чести и добра. Но зато какъ странно положеніе человѣка, поставляемаго въ постоянную необходимость идти противъ себя — и сознающаго, что онъ не можетъ выполнить въ жизни тѣхъ идеальныхъ требованій, которыя ставитъ для самого себя. Тутъ именно и является самое отчаянное, самое мучительное страданіе для человѣка, проникнутаго благородными стремленіями. Страданіе подобнаго рода недурно выражено въ слѣдующемъ стихотвореніи г. Плещеева:

О, если бъ знали вы, друзья моеи весны,
Прекрасныхъ грезъ моихъ, порывовъ благородныхъ, —
Какой мучительной тоской отравлены
Проходятъ дни мои въ сомнѣніяхъ бесплодныхъ!

Былое предо мной, какъ призракъ, возстаетъ,
И тайный голосъ мнѣ твердитъ укоръ правдивый:
Чего убить не могъ суровой жизни гнетъ,
Зарылъ я въ землю самъ! Зарылъ какъ рабъ лѣнивый...

Душѣ была дана любовь отъ Бога въ даръ,
И отличать дано добро отъ зла умѣнье;
На что же тратилъ я священный сердца жаръ?
Упорно ль къ цѣли шель во имя убѣжденья?

Я заключалъ не разъ со зломъ постыдный миръ,
Я пренебрегъ труда спасительной дорогой.
Не простиралъ руки тому, кто нагъ и сиръ,
И оставался глухъ къ призывамъ правды строгой.

О, больно, больно мнѣ... Скорбѣть душа моя,
Казнить меня палачъ неумолимый — совѣсть,
И въ книгѣ пропалаго съ стыдомъ читаю я
Погибшей безъ слѣда, безплодной жизни повѣсть.

Мы привели это стихотвореніе потому, что въ немъ довольно удачно опредѣляется, съ какой именно стороны грозитъ человѣку нравственная гибель, при враждебныхъ обстоятельствахъ внѣшнихъ, среди пошлости окружающей жизни. Не столько велика опасность, что задохнешься въ смрадѣ этой одуряющей атмосферы, сколько страшно то, что привыкнешь къ этому смраду и будешь, какъ и другіе, ходить цѣлый вѣкъ одуреннымъ. Отъ этой послѣдней опасности ничто не спасетъ васъ, кромѣ свѣтлаго и сильнаго убѣжденія: вы будете задыхаться въ атмосферѣ гнили, грязи и мертвечины; но вѣяніе живой, чистой мысли все-таки будетъ для васъ освѣжать нѣсколько эту удушливую атмосферу. Вы по крайней мѣрѣ не одурѣете и съ радостью ударитесь бѣжать, какъ скоро представится вамъ возможность выбраться на чистый воздухъ, и для васъ вовсе не будетъ служить позоромъ то, что вы нѣкоторое время дышали дурнымъ воздухомъ, хоть конечно ваши легкія все-таки за это поплатятся. — Что же дѣлать? Если бы внѣшнія опасности и бѣды производили въ насъ только временную наружную боль, нисколько не отражаясь на внутреннемъ состояніи организма, тогда бы ихъ и бояться было нечего... Главное-то горе въ томъ и состоитъ, что внѣшнія обстоятельства искажаютъ насъ самихъ и часто дѣлаютъ ни къ чему не годными. Хорошо еще, если въ насъ остается хоть воспріимчивость къ вѣянію жизни, хоть желаніе возрожденія. Эта именно воспріимчивость, это же-

ланіе — замѣтны повсюду въ стихотвореніяхъ г. Плещеева. А при такомъ расположеніи души можно еще утѣшиться въ томъ, о чемъ сожалѣтъ поэтъ, т. е. что принужденъ былъ не разъ мириться со зломъ и зарывать въ землю талантъ, которому нельзя было найти употребленія.

Нельзя, однакоже, не пожалѣть о томъ, что сила обстоятельствъ не дала развиться въ г. Плещеевѣ убѣжденіямъ вполне опредѣленнымъ и ровнымъ, — *цѣльнымъ*, какъ говорятъ. Со вниманіемъ перечитывая его стихотворенія, нельзя въ нихъ не замѣтить слѣдовъ какого-то раздумья, какой-то внутренней борьбы, слѣдствія потрясенной и еще не успѣвшей снова установиться мысли. Поэтъ постоянно жалуется на то, что его надежды разбиты, мечты обмануты, что онъ самъ сталъ немощенъ и хилъ. Но въ то же время онъ не можетъ уберечь себя отъ новыхъ обольщеній, и все какъ будто предается мечтѣ, что для него настанетъ вторая юность, а для человѣчества новый золотой вѣкъ. Эти странныя мечты и надежды парализуютъ ту сторону таланта, которая у г. Плещеева наиболѣе сильна, потому что наиболѣе искренна. Въ своемъ прошедшемъ г. Плещеевъ можетъ найти много страстныхъ и мощныхъ мотивовъ, способныхъ увлечь человѣка съ душою. Въ своихъ воспомина-ніяхъ, въ своей тоскѣ, въ самой боли раздраженнаго сердца поэтъ найдетъ предметы для многихъ пѣсенъ. И если къ этимъ пѣснямъ не примѣшается фальшивый звукъ ребяческихъ, смѣшныхъ надеждъ и увлеченій, — то пѣсни его полются звонкимъ, стремительнымъ, широкимъ потокомъ. Мы говоримъ это въ полномъ убѣжденіи, что г. Плещеевъ не утратилъ той силы мысли и стиха, какая

проявлялась въ нѣкоторыхъ изъ первыхъ стихотвореній между тѣмъ, какъ безпечность золотыхъ сновъ юности онъ ужъ потерялъ невозвратно. Объ этомъ ясно свидѣтельствуютъ его стихотворенія. Вездѣ, гдѣ хочетъ онъ поидеализовать, гдѣ пускается въ оптимизмъ, выражаетъ юношескія надежды и желанія, — вездѣ впадаетъ онъ въ реторику, въ звонкія фразы, вычурныя сравненія, самый стихъ становится какъ-то мягокъ и вялъ. Въ доказательство стоитъ перечитать стихотворенія: «Трудились бѣдные» . . . «Не говорите, что напрасно» . . . «Была пора, своихъ сыновъ», и т. п. Вотъ, напр., окончаніе стихотворенія «Была пора»:

Не страшенъ намъ и новый врагъ,
И съ нимъ отчизна совладаетъ —
Смотрите: ужъ рѣдѣетъ мракъ,
Ужъ свѣтъ отсюду проникаетъ,
И, содрагаясь, чуетъ зло,
Что торжество его прошло . . .

Не правда ли, что это прозаично, какъ модно-современное стихотвореніе Бенедиктова, и стихъ тянется такъ лѣнливо и вяло, точно будто въ какой-нибудь заказной одѣ прошлаго столѣтія . . .

Во многихъ стихотвореніяхъ г. Плещеевъ ищетъ «тропы, затерянной имъ». Онъ молить,

Да упадетъ завѣса съ глазъ,
Да прочь идутъ сомнѣнья муки;
Внезапнымъ свѣтомъ озарень,
Отъ лжи мой умъ да отрѣшится,
И вмѣстѣ съ сердцемъ да стремится
Постигнуть истины законъ.

Это показываетъ опять, что онъ еще стоитъ на распутии двухъ дорогъ и не знаетъ, которая изъ

нихъ ведетъ къ истинѣ. Конечно, не мы рѣшимся быть въ этомъ случаѣ наставникомъ г. Плещеева, но его собственный опытъ долженъ бы показать ему несостоятельность сладостныхъ мечтаній, которыми онъ старается утѣшить себя. Не въ нихъ истина: они искажаютъ, украшаютъ и подслащаютъ голую дѣйствительность; не въ нихъ и красота: какая же красота въ мыльномъ пузырьѣ, надутомъ глупенькимъ ребенкомъ? Г-нъ Плещеевъ самъ это чувствуетъ; опытъ жизни, конечно, коснулся его уже настолько, чтобы не давать ему безмятежно восхищаться мыльными пузырями. Онъ самъ говоритъ:

О, если бъ я, отъ дней тревогъ
Переходя къ надеждѣ новой,
Страницу мрачную былого
Изъ книги жизни вырвать могъ!

О, если бъ могъ я заглушить
Укоръ, что часто шепчетъ совѣсть?
Но нѣтъ! Безплодной жизни повесть
Слезамъ горькими не смыть!

Вотъ видите ли? Слезамъ даже, и то не смыть, такъ ужъ можно ли скрасить мыльными пузырями? Зачѣмъ же попусту насиловать свой умъ и свой талантъ?

Хорошо ли мечтать въ тѣ дни, когда еще «намъ новы впечатлѣнья бытія»; хорошо надѣяться въ ту пору, когда еще не пришла пора практической дѣятельности... Но что за охота взрослому человѣку тратить свое воображеніе и драгоценное время на мечты о томъ, какъ вотъ придетъ нянюшка, погладитъ его по головкѣ и дастъ гостинца?.. Да и можно ли спокойно предаться такимъ мечтамъ? Сейчасъ зашелестятъ съ суровымъ неудовольствіемъ

какія-нибудь, невзначай задѣтыя нами, вѣтки, и презрительно спросятъ насъ, какъ въ стихотвореніи Гейне, переводомъ котораго оканчивается книжка г. Плещеева:

Что тебѣ надо, безумецъ,
Съ глупой мечтою твоей?

Благонамѣренность и дѣятельность.

Повѣсти и рассказы *А. Плещеева*. Москва 1860. Двѣ части.

Повѣсти г. Плещеева печатались во всѣхъ нашихъ лучшихъ журналахъ и были прочитываемы въ свое время. Потомъ о нихъ забыли. Толковъ и споровъ повѣсти его никогда не возбуждали ни въ публикѣ, ни въ литературной критикѣ: никто ихъ не хвалилъ особенно, но и не бранилъ никто. Большею частью, — повѣсть прочитывали и оставались довольны; тѣмъ дѣло и кончалось...

Указанный нами весьма достовѣрный фактъ говорить, конечно, не въ пользу особенной оригинальности и яркости таланта автора, да и самъ онъ очевидно не претендуетъ на эти качества. Слѣдовательно и мы можемъ уволить себя отъ скучнѣйшихъ эстетическихъ разсужденій о достоинствахъ и недостаткахъ собственно литературнаго таланта г. Плещеева. Мы это дѣлали не разъ и при обзорѣ литературной дѣятельности другихъ писателей; но за иныхъ на насъ вскидывались приверженцы «вѣчныхъ» красотъ искусства, полагающіе, что о произведеніяхъ, напримѣръ, гг. Тургенева или Майкова нельзя разсуждать иначе, какъ прикидывая къ нимъ шекспировскую и дантовскую мѣрку. За г. Плещеева никто, кажется, не подыметъ

ся на насъ: всякій понимаетъ, что смѣшно, говоря объ обыкновенныхъ журнальныхъ разсказахъ, становиться на ходули и, спотыкаясь на каждомъ словѣ, важно возвѣщать автору и читателямъ сбивчивые принципы доморощенной эстетики. Мы полагаемъ, что этотъ беззубый пріемъ неприличенъ также и при разборѣ повѣстей г-жи Кохановской, «Первой любви» Тургенева, «Тысячи душъ» г. Писемскаго, и т. п. Но есть господа, слишкомъ уже погрузившіеся въ патріотическую эстетику и полагающіе, что произведеніямъ нашихъ лучшихъ талантовъ можно приписывать великое значеніе съ той же самой точки зрѣнія, съ какой поставляются на удивленіе къкамъ творенія Гомера и Шекспира. При всемъ уваженіи къ нашимъ первостепеннымъ талантамъ, мы не считаемъ удобнымъ разсматривать ихъ съ такой точки, и потому при разборѣ русскихъ повѣстей, стихотвореній и пр. мы всегда старались указывать не на «вѣчное и абсолютное», навѣки нерушимое художество ихъ, а на тотъ прямой смыслъ, который имѣютъ они для насъ, для нашего общества и времени. Сочинить брошюрку о томъ, что эпосъ Гомера воскресъ въ усовершенствованномъ видѣ въ «Мертвыхъ душахъ», провозгласить Лермонтова Байрономъ, поставить Островскаго выше Шекспира — это все не новость въ русской литературѣ. Да еще и не то бывало: теперь вѣроятно уже никто не помнитъ, кто у насъ писалъ историческіе романы лучше Вальтеръ-Скотта, кто у насъ приравнивался къ Гёте, чьи чухончки гречанскъ Байрона милѣй, кто въ Россіи воскресилъ Корнеля генійъ величавый, кто на снѣгахъ возрастилъ Феокритовы нѣжныя розы, и пр., и пр. А все это было провозглашаемо въ русской

литературѣ и даже возбуждало споры и толки. Теперь по возможности стараются удерживаться отъ такой смѣшной игры въ имена, но сущность современныхъ эстетическихъ разсужденій о «вѣчныхъ, общечеловѣческихъ, міровыхъ» достоинствахъ нашихъ писателей постоянно напоминаетъ намъ наивность старинныхъ восклицаній о россійскихъ Гомерахъ и нашихъ родныхъ Байронахъ...

Такъ какъ о великомъ міровомъ значеніи таланта г. Плещеева никто не думаетъ, то мы, значить, можемъ быть спокойны, отстраняя отъ себя эстетическій судъ надъ ними и обращаясь къ вопросу, который насъ интересуетъ гораздо болѣе, именно — къ характеру содержанія его произведеній. Г-нъ Плещеевъ написалъ довольно много: передъ нами лежатъ два томика, въ нихъ восемь повѣстей; да тутъ еще нѣтъ «Папироски» и «Дружескихъ совѣтовъ», напечатанныхъ имъ въ 1848 и 1849 г., да нѣтъ «Пашинцева» («Русск. Вѣстн.» 1859, № 21—23), «Двухъ карьеръ» («Соврем.» 1859, № 12) и «Призванія» («Свѣточъ» 1860, № 1—3), — трехъ большихъ повѣстей, напечатанныхъ имъ уже послѣ изданія его книжекъ. Изъ нихъ тоже могло бы составить почти такихъ же два томика. Все это было прочитано безъ неудовольствія, нѣкоторое время занимало собою извѣстную часть русской публики, наравнѣ съ произведеніями другихъ беллетристовъ, не заслужившихъ подозрѣнія къ геніальности. Что же, случилось ли что-нибудь въ этой массѣ печатной бумаги, имѣетъ ли этотъ десятокъ большихъ и малыхъ повѣстей какое-нибудь отношеніе къ тому, что занимаетъ теперь наше общественное вниманіе? Или это повѣсти просто для упражненія въ процессѣ чтенія,

въ родъ произведеній гг. Каменскаго, Воскресенскаго, Вонлярлярскаго и нѣкоторыхъ новѣйшихъ, имена которыхъ могутъ быть не безызвѣстны отчасти и читателямъ «Современника»? . . .

Намъ пріятно на этотъ вопросъ отвѣчать, что рассказы г. Плещеева никакъ не могутъ быть отнесены къ послѣднему разряду. Элементъ общественный проникаетъ ихъ постоянно и этимъ отличаетъ отъ множества безцвѣтныхъ рассказовъ тридцатыхъ и пятидесятыхъ годовъ. Тогдашніе рассказы, какъ извѣстно, отличались тѣмъ, что въ нихъ человѣкъ представлялся животнымъ не общественнымъ, а изолированнымъ. Нужно было автору два-три-четыре лица для развитія сюжета, — такъ эти два-три-четыре лица и являлись въ повѣсти, безъ всякаго отношенія къ остальному міру, какъ будто бы они жили на необитаемомъ островѣ, гдѣ все нужное являлось для нихъ по щучьему велѣнію. Для развязки же обыкновенно приводился, неизвѣстно откуда, какой-нибудь таинственный *deus ex machina*, въ родѣ богатаго дядюшки, сердитаго начальника, пожара, наводненія, благодѣтельнаго вельможи и т. п. Это было впрочемъ болѣе въ тридцатыхъ годахъ; въ пятидесятыхъ же обыкновенно герои, заброшенные на необитаемый островъ, сами начинали чувствовать разочарованіе и уѣзжали съ острова, оставляя героинь плакать и сокрушаться: тѣмъ дѣло и кончалось . . . Всѣ эти продолжки мало коснулись г. Плещеева, такъ какъ начало его литературной дѣятельности относится къ сороковымъ годамъ, — когда была въ ходу литература Горемыкъ, Бѣдныхъ людей, Петербургскихъ вершинъ и угловъ, — и возобновилась она только въ послѣдніе годы, когда во всей силѣ процвѣтало обли-

чительное направленіе. Во все время жалкой безцвѣтности пятидесятихъ годовъ г. Плещеевъ не появлялся въ печати, и такимъ образомъ спасся отъ необходимости бѣжать съ своими героями на необитаемый островъ и остался въ дѣйствительномъ мірѣ мелкихъ чиновниковъ, учителей, художниковъ, небольшихъ помѣщиковъ, полусвѣтскихъ барынь и барышень и т. п. Мірокъ этотъ знакомъ ему, какъ видно, довольно хорошо и изображается имъ съ полной откровенностью. Въ исторіи каждаго героя повѣстей г. Плещеева вы видите, какъ онъ связанъ съ своею средою, какъ этотъ мірокъ тяготѣетъ надъ нимъ своими требованіями и отношеніями, словомъ — вы видите въ героѣ животное табуное, а не уединенное. Элементъ общественности присутствуетъ въ каждой повѣсти...

Таково главное достоинство рассказовъ г. Плещеева; но нужно признаться, что это достоинство принадлежитъ ему наравнѣ съ очень многими изъ современныхъ беллетристовъ. Что человѣкъ вполнѣ зависитъ отъ общества, въ которомъ живетъ, и что поступки его обусловливаются тѣмъ положеніемъ, въ какомъ онъ находится, — это уже сдѣлалось теперь почти неизбѣжной точкой отправленія для всякаго мало-мальски здравомыслящаго повѣствователя. Далѣе — что устройство нашей общественной среды не совсѣмъ удовлетворительно и что житейскія отношенія наши совсѣмъ не благопріятствуютъ нормальному развитію и свободной, здоровой дѣятельности человѣка, — объ этомъ тоже написано у насъ весьма много рассказовъ даже самыми непосредственными беллетристами. Разладъ человѣка, хотя сколько-нибудь порядочнаго, съ окружающею дѣйствительностью сдѣлался общею

темою современной литературы. Въ этомъ предметѣ сходятся всѣ партіи, всѣ направленія, всѣ оттѣнки литературныхъ мнѣній. Возьмете ли вы «Русскій Вѣстникъ» или «Библіотеку для Чтенія», «Сынъ Отечества» или «Моду» — вездѣ одно и то же. Поэтому изображеніе антагонизма честныхъ стремленій съ пошлостью окружающей среды само по себѣ теперь уже недостаточно для привлеченія общаго участія; нужно, чтобъ изображеніе было ярко, сильно, чтобы взяты были новыя положенія, открыты въ предметѣ новыя стороны, — тогда только произведеніе будетъ имѣть прочный успѣхъ, и авторъ выдвинется на замѣтное мѣсто въ литературѣ.

Повѣсти г. Плещеева не выходятъ изъ уровня, который установился вообще для произведеній той школы беллетристовъ, которую, пожалуй, по главному ея представителю, мы можемъ назвать тургеневскою. Постоянный мотивъ ея тотъ, что «среда заѣдаетъ человѣка». Мотивъ хорошій и очень сильный: но имъ до сихъ поръ не умѣли еще у насъ хорошо воспользоваться. Человѣкъ «заѣденный средою» изображался иногда въ повѣстяхъ тургеневской школы довольно живо; но самая «среда» и ея отношенія къ человѣку рисовались блѣдно и слабо. Изображеніе «среды» приняла на себя щедринская школа, но та взяла только офиціальную сторону дѣла, да и то (и это главное) — въ проявленіяхъ чрезвычайно мелкихъ. Оттого во всѣхъ нашихъ повѣстяхъ, — обличительныхъ или художественныхъ, все равно, — всегда есть много недоговореннаго и — главное — всегда есть мѣсто двумъ вопросамъ: съ одной стороны — чего же именно добиваются эти люди, никакъ не умѣющіе ужить-

ся въ своей средѣ? а съ другой стороны, — отъ чего же именно зависитъ противоположность этой среды со всякимъ порядочнымъ стремленіемъ, и на чемъ въ такомъ случаѣ опирается ея сила?

Сколько ни подбирай отвлеченностей для рѣшенія этихъ вопросовъ, они не прояснятся, пока не будутъ переработаны въ общемъ сознаніи самыя факты общественной жизни, отъ которыхъ зависитъ вся сущность дѣла. Эта переработка фактовъ постоянно совершается въ самой жизни; но для ускоренія и большей полноты сознательной работы общества можетъ быть полезна и беллетристика, и полезна тѣмъ болѣе, чѣмъ болѣе художественной полноты и силы будутъ имѣть ея образы. До сихъ поръ школа «разъѣдающей среды» не дала намъ вполнѣ художественныхъ разсказовъ, потому именно, что никогда въ ней не являлось полного соотвѣтствія между двумя элементами, изъ борьбы которыхъ слагалось содержаніе повѣсти. Вы видѣли человѣка заѣденнаго; но вамъ не было ярко и полно представлено, какая сила его ѣсть, почему именно его ѣдятъ и зачѣмъ онъ позволяетъ себя ѣсть: на все это вы находили въ повѣстяхъ развѣ намеки, а никакъ не полныя отвѣты. Такимъ образомъ исполненіе всегда было въ этихъ повѣстяхъ далеко ниже идеи, которая бы могла придать имъ жизненность, и оттого всѣ повѣсти этого рода имѣютъ лишь временный, историческій смыслъ, тотчасъ исчезающій, какъ скоро въ обществѣ возникаютъ нѣсколько новыя комбинаціи житейскихъ отношеній и новыя требованія отъ жизни.

Теперь покажемъ повѣсти, о которыхъ мы говоримъ, читаются; хотя уже и не съ тѣмъ интересомъ, какъ пятнадцать лѣтъ тому назадъ. Но уже

и теперь являются запросы, которымъ герои подобныхъ повѣстей рѣшительно не въ состояніи удовлетворить. У свѣжаго и здравомыслящаго читателя при чтеніи, напр., хоть бы повѣстей г. Плещеева тотчасъ является вопросъ: чего же именно хотятъ эти благонамѣренные герои, изъ-за чего они убиваются? И для разрѣшенія своего вопроса читатель вникаетъ въ обстоятельства, служащія источникомъ бѣдъ для благонамѣренныхъ героевъ. Но тутъ мы не встрѣчаемъ ничего опредѣленнаго: все такъ туманно, отрывочно, мелко, что не выведешь общей мысли, не составишь себѣ понятія о цѣли жизни этихъ господъ. Они горячатся (какъ Костинъ) изъ-за Фредерикки Бремеръ и Жоржъ Зандъ и тѣмъ навлекаютъ на себя нерасположеніе «среды»; вразумляютъ (какъ Городковъ) высшаго начальника относительно негодности своего ближайшаго начальника, и черезъ то сами попадаютъ въ опалу; вопіютъ (какъ Костинъ опять) о пользѣ обличительной литературы и тѣмъ возстаютъ противъ себя нужныхъ людей... Изъ всего этого видно, что у нихъ есть добрая стремленія, есть желаніе, чтобы людямъ было лучше жить на свѣтѣ, чтобы уничтожилось все, что мѣшаетъ общему благу. Но даютъ ли они себѣ ясное понятіе о томъ, что нужно для осуществленія ихъ желаній? Сознаютъ ли они, какія обязанности налагаются на нихъ самихъ, какъ скоро они убѣждаются въ необходимости достиженія той цѣли, которая кажется имъ святою и высокою? Нѣтъ, они постоянно отличаются самымъ ребяческимъ, самымъ полнымъ отсутствіемъ сознанія того, къ чему они идутъ и какъ слѣдуетъ идти. Все, что въ нихъ есть хорошаго, — это желаніе, чтобы кто-нибудь

пришелъ, вытащилъ ихъ изъ болота, въ которомъ они вьнутъ, взваливъ себѣ на плечи и потащилъ въ мѣсто чистое и свѣтлое. Они бы не стали противиться такому переселенію; напротивъ, были бы очень рады. Но надо согласиться, что въ этомъ особенной заслуги съ ихъ стороны нѣтъ, и что если есть люди, лишенные даже желанія выйти изъ болота, такъ и это еще не даетъ намъ права считать героями тѣхъ, которые желаютъ изъ него выбраться.

Намъ скажутъ, что въ Костинѣ, Городковѣ и пр. намъ и не выставляются герои и идеалы, а просто показывается, какъ жизнь ломаетъ и переламинаетъ иногда своимъ жерновомъ доброе стремленіе, зародыши добра и честности. Но мы и не требуемъ непременно идеальности, мы хотимъ только большей опредѣленности и сознательности въ этихъ лицахъ. И это нужно намъ потому, что мы хотимъ сочувствовать честнымъ лицамъ повѣсти, а между тѣмъ для насъ очень трудно сочувствіе къ людямъ ничтожнымъ, безцвѣтнымъ, пассивнымъ, къ людямъ ни то ни се... Да и самый художественный интересъ повѣсти требуетъ, чтобы въ изображеніи борьбы выставлялись враги, которыхъ силы уравнивались бы чѣмъ-нибудь. А тутъ — представляется громадное чудовище, называемое «дурною средою» или «пошлою дѣйствительностью», и противъ этого чудовища выводятся какіе-то пухленькіе младенцы, наивные, ничего не знающіе и не умѣющіе, ко всему довѣрчивые и по своему внутреннему безсилію находящіеся дѣйствительно въ полной зависимости отъ окружающей «среды». Скажутъ, что другихъ нѣтъ, что среда-то наша именно такими и дѣлаетъ всѣхъ людей, по-

падающихъ въ нее. Положимъ. Но въ такомъ случаѣ что же остается писателю? Остается причислить къ той же «средѣ» и своихъ героевъ, и уже относиться къ нимъ точно такъ же отрицательно, какъ относится онъ ко всему ихъ окружающему. Если наша среда не только сама не хороша, но губитъ и все хорошее, что въ нее попадаетъ, и если дурное начало такъ въ ней сильно, что до сихъ поръ невозможно было выискать достаточно твердаго и дѣятельнаго характера, который бы устоялъ противъ нея и поставилъ на своемъ; если такъ, то ясно, что въ этой средѣ нечего и искать, кромѣ предмета для самой безпощадной сатиры. Такимъ образомъ отношеніе автора къ своимъ благороднымъ юношамъ будетъ совершенно другое: не сочувствіе мечтательнымъ и неопредѣленнымъ ихъ стремленіямъ будетъ онъ возбуждать въ читателѣ, а скорѣе насмѣшку надъ тѣмъ, что они, кромѣ своихъ отвлеченныхъ фантазій, ничему существенно-полезному не обучаются. Герои г. Плещеева, напр., обыкновенно поступаютъ на службу; тамъ не уживаются или просто не получаютъ хода, и удаляются въ отставку. Затѣмъ они пробуютъ литературную работу; но у нихъ таланта не хватаетъ. Послѣ этого имъ остается лишь два средства существованія: давать уроки и переписывать бумаги. Больше они ничего не умѣютъ, ни къ чему не способны. Хоть бы веслами работать умѣли, — на Неву или на Волгу перевозчиками бы нанялись, или если бы расторопность была — поступили бы въ дворники, а то мостовую мостить, съ шарманкой ходить, раскѣ показывать пошли бы, когда ужъ больно тошно приходится имъ въ своей-то средѣ... Такъ вѣдь ни-

чего не умѣютъ, никуда сунуть носа не могутъ... А тоже на борьбу лѣзутъ, за счастье человѣчества вступаются, хотятъ быть общественными дѣятелями... Да спрашивается, — что они могутъ дѣлать-то, тщедушные и кабинетные люди? Мечтатели они всѣ, а не дѣятели и даже не прожектеры. Мечтаютъ-то они очень хорошо, благородно и смѣло; но всякій изъ насъ можетъ сказать имъ: «какое дѣло намъ, мечталъ ты или нѣтъ?» — и тѣмъ покончить разговоръ съ ними. Разсуждая психологически, конечно нельзя не уважить прекрасныхъ свойствъ души Костина и Городкова; но для общественнаго дѣла, смѣемъ думать, отъ нихъ такъ же мало могло быть толку, какъ и отъ другихъ юношей, о которыхъ рассказываетъ г. Плещеевъ въ другихъ повѣстяхъ. За что же будемъ мы имъ сочувствовать? Зачѣмъ же писать симпатическіе рассказы объ ихъ мечтахъ и внутреннихъ страданіяхъ, не приводящихъ ни къ чему путному?

За такія жесткія строки насъ, разумѣется, упрекнутъ въ неблагородствѣ и сухости сердца, въ недостаткѣ симпатіи къ высокимъ стремленіямъ и въ фатальномъ поклоненіи факту. Мы заранѣе признаемъ справедливость всѣхъ подобныхъ упрековъ, и потому продолжаемъ свои объясненія, предавшись судьбѣ.

Да, прекраснымъ стремленіямъ души мы не придаемъ никакого практическаго значенія, пока они остаются только стремленіями; да, мы цѣнимъ только факты, и только по дѣйствіямъ признаемъ достоинство людей. Почему мы такъ судимъ, объясняется очень просто. Прекрасными стремленіями мы признаемъ всѣ естественныя, неиспорченныя

стремленія человѣческой природы; всѣ прекрасныя стремленія мы признаемъ слѣдствіемъ естественныхъ нормальныхъ потребностей человѣка. Какъ скоро требованіе искусственно, мы его признаемъ дурнымъ, вреднымъ или смѣшнымъ, какъ бы оно ни было прекрасно и величественно. Ежели правда, что Неронъ сжегъ Римъ, чтобы имѣть живой матеріалъ для описанія пожара Трои, то, при всемъ великолѣпнѣ подобнаго зрѣлища и при всей эстетичности цѣли, мы будемъ считать подобную фантазію отвратительною, какъ противную нормальной человѣческой природѣ. Такъ точно отвратительны напр. факирскія истязанія надъ собою, браминское презрѣніе къ паріямъ, кулачное право и т. п. Потому именно все это и гадко (а въ иныхъ проявленіяхъ и смѣшно), что составляетъ искаженіе человѣческой природы. Сущность природы собственно человѣка опредѣлить вкратцѣ довольно мудрено; но что во всякомъ случаѣ не подлежитъ сомнѣнію, такъ это ея способность къ развитію. Для того, чтобы имѣть возможность развиваться, она требуетъ избѣжанія всякихъ столкновеній и помѣхъ. А для этого она очевидно предписываетъ человѣку не мѣшать и другимъ, потому что иначе онъ и самъ себя помѣшаетъ, остановить и стѣснить себя въ своемъ развитіи. Такимъ образомъ, признавая въ человѣкѣ одну только способность къ развитію и одну только склонность къ дѣятельности (какого бы то ни было рода) и отдыху, мы изъ этого одного прямо можемъ вывести — съ одной стороны естественное требованіе человѣка, чтобъ его никто не стѣснялъ, чтобъ предоставили ему пользоваться его личными неотъемлемыми средствами и безмездными, никому не принад-

длежащими благами природы, а съ другой стороны — столь же естественное сознаніе, что и ему не нужно посягать на права другихъ и вредить чужой дѣятельности. Это самый простой законъ, по которому птица не старается свить гнѣздо именно на томъ мѣстѣ, гдѣ уже вѣтъ гнѣздо другая птица, стадо барановъ спокойно раздѣляетъ между собою лугъ, гдѣ пасется, и т. п. А между тѣмъ къ этому закону и сводятся всѣ стремленія къ независимости, самостоятельности и строгой справедливости, всѣ гуманныя чувства, всѣ антипатіи къ деспотизму и рабству. Все это такія качества, которыя вовсе не составляютъ высшаго, тысячелѣтіями цивилизаціи выработаннаго и съ большимъ трудомъ, въ университетахъ, академіяхъ и эстетикахъ добываемаго совершенства. Напротвъ, качества эти должны быть присущи каждому человѣку, даже на самой низшей степени развитія. Вспомнимъ хоть Карамзина, нашего незабвеннаго исторіографа: по его словамъ, даже «народы дикіе любятъ свободу и независимость». Что же касается до гуманныхъ чувствъ, т. е. до того, чтобы никому не мѣшать и ни у кого не отнимать ничего, — такъ этотъ принципъ мы даже у хищныхъ животныхъ видимъ: волки не бросаются другъ на друга, чтобы отнять добычу, а предпочитаютъ ее добывать сами, шакалы и гіены ходятъ цѣлыми стаями и кровопролитныя войны между ними весьма необычныя; вообще — воронъ ворону глаза не выклюнетъ.

Но волки овецъ таскаютъ; значитъ, принципъ нестѣсненія чужой дѣятельности у нихъ слабъ? — Да вѣдь мы не говоримъ, чтобы уваженіе къ чужому и чувство гуманности было (и въ волкахъ, и

въ людяхъ) слѣдствіемъ какихъ-нибудь возвышенныхъ идей. Мы выводимъ его изъ простаго разсчета: «буду лучше свое дѣло дѣлать, чѣмъ другимъ мѣшать; такъ будетъ мнѣ выгода и спокойнѣе». На этомъ-то основаніи и волкъ не дерется съ волкомъ, а хватаетъ овцу, еще никѣмъ не захваченную, изъ-за которой исторіи быть не можетъ. Это онъ дѣлаетъ вслѣдствіе естественнаго побужденія — голода, такъ же точно, какъ человѣкъ срываетъ цвѣтокъ, удитъ рыбу, убиваетъ и жаритъ себѣ какую-нибудь утку или куропатку. Тутъ не можетъ быть борьбы съ подобнымъ себѣ, нѣтъ враждебныхъ столкновеній съ своей породой, — вотъ о чемъ именно мы говоримъ. Человѣкъ, терпѣливо просидѣвши цѣлый день за уженъемъ какихъ-нибудь ершей, не захочетъ однако стащить рыбу изъ чужого садка, предполагая, что это можетъ кончиться нехорошо. И съ другой стороны человѣкъ, владѣющій садкомъ, можетъ спокойно смотрѣть на чужихъ рыбаковъ, ловящихъ рыбу въ свободныхъ мѣстахъ рѣки, но не останется равнодушнымъ, когда потащутъ рыбу изъ его садка. Тутъ естественное требованіе, чтобъ ему не мѣшали и не стѣсняли его правъ, вызываетъ его даже на борьбу, — и здѣсь опять тотъ же разсчетъ: чтобы мнѣ не потерять возможности дѣйствовать безпрепятственно и свободно, надо избѣгать всякихъ помѣхъ, но ужъ если помѣха явилась, то надо тотчасъ удалить ее. Иначе вся свобода дѣятельности уничтожается, всякая возможность естественнаго развитія останавливается.

Все это отступленіе мы сдѣлали къ тому, чтобы показать, какъ просты и естественны для человѣка тѣ стремленія и понятія, которыя обыкновенно вы-

ставляются въ герояхъ повѣстей нашихъ какъ что-то особенное, высшее, поднимающее ихъ надъ уровнемъ обыкновенной толпы. Если посмотрѣть просто и безпристрастно, то окажется, что желаніе избавиться отъ стѣсненій и любовь къ самостоятельной дѣятельности такъ же точно неотъемлемо принадлежать человѣку, какъ желаніе пить, ѣсть, любить женщину. Было время, когда можно было удивить всякимъ фокусомъ, и люди, по цѣлымъ недѣлямъ лишавшіе себя пищи и питавшіеся только водою, возбуждали удивленіе толпы и считались нравственными феноменами. Но теперь мы не уважаемъ подобныхъ заслугъ, равно какъ не уважаемъ человека и за то, если онъ лишилъ себя способности любить женщину или заглушилъ въ себѣ собственную волю до того, что уже превратился въ автомата, только исполняющаго чужія приказанія. Всѣ подобныя личности и всѣ подобныя продѣлки мы признаемъ искаженіемъ человѣческой природы и нарушеніемъ естественнаго порядка вещей. Значить, нормальнымъ положеніемъ мы признаемъ то, чтобы человѣкъ пилъ, ѣлъ, любилъ женщину, сознавалъ свою личность, стремился къ свободной дѣятельности. Послѣ этого съ какой же стати требовать отъ насъ симпатіи къ человѣку только за то, что онъ пьетъ и ѣсть, или ненавидить стѣсненіе? Неужели это съ его стороны заслуга, а не естественное, неизбѣжное требованіе его организма? Человеку не нравится, когда велятъ дѣлать не то, что онъ хочетъ, и не такъ, какъ онъ хочетъ: какое образованіе, какое душевное величіе нужно для этого — не правда ли!! Подумайте-ко, въ самомъ дѣдѣ: вѣдь онъ чувствуетъ, что ему руки связываютъ, вѣдь ему тяжело, что онъ стѣсненъ, вѣдь онъ же-

лаеть дѣлать что-нибудь по своему разуму и волѣ!.. Бѣдный благородный юноша или мужъ! Какъ не пролить слезы сочувствія надъ его участью!

И точно, слезы проливались, благородные юноши изображались въ повѣстяхъ десятками и, несмотря на свою очевидную пошлость, занимали собою нашихъ талантливѣйшихъ писателей и въ общемъ мнѣніи признавались за людей весьма способныхъ и нужныхъ. На это были, говорятъ, въ свое время и свои причины; но теперь мы можемъ смотрѣть на дѣло немножко иначе. Требуя отъ людей дѣла, мы строже можемъ допрашивать всякихъ мечтателей, какъ бы ни были высоки ихъ мечтанія: и по допросѣ окажется, что мечтатели эти — весьма ничтожные люди.

«Нѣтъ, неправда! — закричатъ поклонники Гамлетовъ Щигровскаго уѣзда и всѣхъ имъ подобныхъ: — отчего же, если высокія мечты этихъ героевъ такъ естественны и просты, — отчего же они не раздѣляются цѣлымъ міромъ? Отчего только у немногихъ избранныхъ натуръ проявляются эти стремленія, а большинство не только не понимаетъ ихъ, но даже старается имъ противодѣйствовать? Не есть ли великая заслуга уже и то, что эти мечтатели умѣли понять и усвоить истинныя человѣческія стремленія, тогда какъ все вокругъ ихъ искажено, развращено, предано лжи или совершенно безразлично ко всему?»

Подобные вопросы и замѣчанія приходится слышать очень часто; но всѣ они происходятъ только отъ поверхностнаго взгляда на дѣло. Конечно, можно признать извѣстную долю заслуги въ чело-вѣкѣ, даже и ничего не сдѣлавшемъ для общества, только уже за то, что онъ силою размышленія и

самостоятельныхъ наблюденій дошелъ до сознанія ложности того, что всѣми окружающими его выдается за истину. Среди выродившихся субъектовъ человѣческой породы замѣчателенъ былъ бы экземпляръ, настолько сохранившій въ себѣ первоначальный типъ человѣчества, что никакими силами нельзя стереть и уничтожить его. О такой личности можно бы написать и любопытную повѣсть, и надъ воспроизведеніемъ или созданіемъ ея могъ бы не безплодно потрудиться самый первостепенный талантъ какого угодно европейскаго народа. Но вѣдь не такія личности видимъ мы въ нашей литературѣ. Намъ не представляютъ внутренней работы и нравственной борьбы человѣка, сознавшаго ложность настоящаго порядка и упорно, неотступно добивающагося истины; новаго Фауста никто намъ и не думалъ изображать, хоть у насъ есть даже и повѣсть съ такимъ названіемъ . . . Нѣтъ, наши благородные юноши обыкновенно получаютъ свои возвышенныя стремленія довольно просто и безъ большихъ хлопотъ: они учатся въ университетѣ и наслушиваются прекрасныхъ профессоровъ, или въ гимназіи еще попадаютъ на молодого, пылкаго учителя, или входятъ въ кружокъ прекрасныхъ молодыхъ людей, одушевленныхъ благороднѣйшими стремленіями, свято чтущихъ Грановскаго и восхищающихся Мочаловымъ, или наконецъ читаютъ хорошія книжки, т. е. «Отечественныя Записки» сороковыхъ годовъ. Весьма часто всѣ эти счастливыя случайности сходятся вмѣстѣ и помогаютъ одна другой. Такимъ образомъ развитіе простыхъ человѣческихъ стремленій совершается въ добрыхъ юношахъ безъ особенныхъ героическихъ усилій: имъ хочется ѣсть, имъ со всѣхъ

сторонъ говорятъ: пойдѣмте обѣдать, и они идутъ. Вотъ и все.

А отчего же другіе нейдутъ? Отчего изъ людей, точно такъ же учившихся и слышавшихъ прекрасныя наставленія, выходятъ взяточники, фаты, формалисты, мелкіе деспоты и т. д. и т. д.? ..

И на эти вопросы легко отвѣтить: отъ глупости, или, лучше сказать, отъ наивности. Видя, что естественная склонность къ самостоятельной, нормальной дѣятельности встрѣчаетъ препятствіе на прямой дорогѣ, всѣ эти люди пробуютъ свернуть съ нея немножко, въ надеждѣ, что, обошедши одно препятствіе, они опять могутъ попасть на свой прежній путь. Разсчетъ опять тотъ же: «лучше я обойду, чѣмъ драться и лѣзть напроломъ». Но здѣсь разсчетъ оказывается ошибочнымъ, потому что препятствіе не одно, а тысячи ихъ, и чѣмъ далѣе человѣкъ уклоняется отъ первоначальнаго пути, тѣмъ сильнѣе умножаются и препятствія. И онъ уже поневолѣ принужденъ вилять, нырять, наклоняться, перескакивать, топтать, что можетъ, по дорогѣ и самого себя подставлять подъ всякія мерзости, гдѣ нужно, — чтобы только какъ-нибудь продолжать свое странствіе. Человѣкъ въ наивности своей думаетъ: «заплачу деньги за полученіе мѣста, если нельзя получить иначе; зато я принесу пользу на этомъ мѣстѣ». Но оказывается, что единовременной платой нельзя отдѣлаться, нужны и потомъ расходы, если не въ видѣ прямыхъ денежныхъ приношеній, то въ видѣ разныхъ обѣдовъ, вечеровъ, экстренныхъ распоряженій по должности и т. п. Для поддержанія этого оказывается нужнымъ дѣлать безвозвратные займы, принимать благодарности, брать взятки; чтобы получать взятки

и благодарности, надо кривить душою въ дѣлахъ, при этомъ необходимо награждать негодяевъ и тѣснить честныхъ людей, и т. д. Такъ и запутывается человѣкъ, при каждомъ шагѣ все-таки думая, что онъ избираетъ наилучшее средство для устраненія помѣхъ и доставленія простора своей дѣятельности.

Благородные юноши, которыми такъ долго и усердно занималась наша литература, не запутываются такимъ образомъ, и потому представляются гораздо выше остальной толпы. Но, всмотрѣвшись въ нихъ пристальнѣе, вы найдете, что если они не заблуждаются, такъ это единственно потому, что никуда нейдутъ, а сидятъ все на одномъ мѣстѣ. Они ничуть не проникательнѣе тѣхъ, которые пошли по окольной дорогѣ, ничуть не яснѣе ихъ понимаютъ высокую важность охраненія своихъ человѣческихъ стремленій неприкосновенными отъ постороннихъ помѣхъ, они только — лѣнныѣе. При началѣ жизненнаго поприща у тѣхъ и другихъ одинаково есть желаніе идти прямо, свободно и сознательно къ цѣли полезной и доброй; тѣмъ и другимъ одинаково представляются громадныя препятствія, которыя на первыхъ же шагахъ нужно преодолѣть. И ни тѣ, ни другіе не имѣютъ достаточно бодрости и силы, чтобы прямо начать борьбу съ этими препятствіями: одни хотятъ обойти и такимъ образомъ теряютъ изъ виду цѣль и попадаютъ въ отвратительное болото всяческаго разврата, а другіе остаются на мѣстѣ и сидятъ, сложа руки, съ презрѣніемъ и желчью отзываясь о тѣхъ, которые ударились въ сторону, и дожидаясь, не явится ли какой-нибудь титанъ да не отодвинетъ ли гору, заслонившую имъ путь. И — что всего забавнѣе — эти господа начинаютъ жаловаться — не на свою

лѣнь и безсиліе, и даже не на гору, ставшую на ихъ пути, а на своихъ товарищей, отправившихся на обходъ. И общая людямъ наклонность къ дѣятельности выражается въ нихъ тѣмъ, что они нападаютъ на несчастныхъ путниковъ и стараются толкнуть ихъ на прямую дорогу. «Да вѣдь тутъ нельзя идти, — возражаютъ бѣдняки: — тамъ мы найдемъ другую дорогу». — Нѣтъ, вы должны идти здѣсь! — кричатъ разгорячившіеся юноши, а между тѣмъ и сами нейдутъ, и горы не прекапываютъ, не сравниваютъ, не взрываютъ, и не сказываютъ, нѣтъ ли гдѣ тропинки, по которой бы можно подняться. Они сами ничего не знаютъ, ничего не умѣютъ, къ грубой работѣ не способны, шумнаго взрыва не вынесутъ ихъ нервы; они ничѣмъ не могутъ помочь путникамъ, кромѣ крика: «не ходите туда, а идите здѣсь» . . . тогда какъ здѣсь-то и нельзя идти, не прокладывая новой дороги.

«Но все-таки они понимаютъ, что не нужно уклоняться въ сторону, а слѣдуетъ держаться прямой дороги; оттого они никакъ не могутъ попасть въ тину вонючаго болота, въ которое погружаются другіе на окольной дорогѣ: вотъ за что заслуживаютъ они уваженія».

Нимало. Если мы будемъ такъ легко расточать наше уваженіе всѣмъ, кто не дѣлаетъ мерзостей, то принуждены будемъ согласиться со всѣми нелѣпостями г. Ахшарумова, который именно съ этой точки находитъ какія-то великія патріархальныя доблести въ Ильѣ Ильичѣ Обломовѣ. Людей «гордыхъ тѣмъ, что не вредятъ», очень много на свѣтѣ; но мы не желаемъ даже г. Ахшарумову наслаждаться такой гордостью. Идиллическія мечты о счастливомъ уединеніи отъ людей — теперь вовсе

некстати. Элементъ общественный вступилъ въ свои права, и мы должны разсматривать себя какъ членовъ общества, обязанныхъ что-нибудь дѣлать для него, такъ какъ иначе мы будемъ ему вредны уже однимъ своимъ тунеядствомъ.

Да и можно ли назвать истиннымъ пониманіемъ и убѣжденіемъ то смутное, робкое полужнаніе, которымъ отличаются доблестные представители лучшихъ стремленій въ нашей литературѣ? По нашему мнѣнію, убѣжденіе и знаніе только тогда и можно считать истиннымъ, когда оно проникло внутрь человѣка, слилось съ его чувствомъ и волею, присутствуетъ въ немъ постоянно, даже безсознательно, когда онъ вовсе о томъ и не думаетъ. Такое знаніе, если оно относится къ области практической, непременно выразится въ дѣйствіи, и не перестанетъ тревожить человѣка, пока не будетъ удовлетворено. Это своего рода жажда, незаглушаемая, неотлагаемая. Когда я мучусь жаждой въ безводной равнинѣ и вдругъ вижу ручеекъ, то я брошусь къ нему, несмотря на то, что онъ окруженъ колючими кустами, изъ которыхъ выглядываютъ змѣи. Самое худое, что я могу потерпѣть въ этихъ кустахъ, — это смерть; но вѣдь я все равно умру же отъ жажды, стало быть, я ничѣмъ не рискую . . . Такъ дѣйствуетъ и истинное, живое, полное убѣжденіе: человѣкъ можетъ подвергаться опасности умереть, добиваясь его осуществленія; но это ничего не значитъ, — онъ точно такъ же умеръ бы и оттого, если бы принужденъ былъ заглушить свое убѣжденіе . . . Найдите же хоть въ комъ-нибудь изъ добрыхъ юношей нашей литературы такую рѣшительность и полноту убѣжденія. Не найдете ни въ одномъ.

Но это бы еще ничего: мы уже сказали, что не требуемъ героизма, а хотимъ только большей сознательности и опредѣленности стремленій въ добрыхъ юношахъ. И этого не находимъ. Они заражены очень высокимъ мнѣніемъ о своей чистотѣ и твердости и потому никакъ не хстятъ оглянуться вокругъ себя и уразумѣть хорошенько свои отношенія ко всему окружающему. Въ наивности и неумѣлости они не уступаютъ самому простодушному изъ тѣхъ людей, которые всю жизнь идутъ въ сторону отъ прямой дороги, воображая, что — все равно — придутъ къ той же точкѣ. Первое, что представляется въ нашихъ юношахъ, это жалоба на своихъ спутниковъ. Они хотятъ идти прямо, но толпа около нихъ стремится въ сторону и ихъ тащитъ за собою; прямостремительные юноши начинаютъ волноваться и шумѣть на толпу, зачѣмъ она не такъ идетъ, начинаютъ жаловаться на толчки, получаемые ими отъ бѣгущихъ мимо ихъ, утверждаютъ наконецъ, что нѣтъ возможности идти прямо, ибо толпа не пускаетъ... Но благонамѣренные, прямые юноши не даютъ себѣ труда даже подумать серьезно о томъ, отчего же однако ихъ спутники именно въ этомъ мѣстѣ сворачиваютъ въ сторону? Неужели такъ, по прихоти, безъ всякой причины и надобности? Если бы они задали себѣ этотъ вопросъ, то увидѣли бы, что причина не въ толпѣ идущихъ, а въ препятствіи, стоящемъ на дорогѣ; что прямую дорогу всякій бы охотнѣе выбралъ, если бъ не встрѣтилось на ней особенныхъ неудобствъ, и что вовсе не толпа виновата въ томъ, если прямой путь стремительныхъ юношей затрудняется. Стоило бы немножечко подумать, и всѣ эти жалобы на «среду», на ея неприготовлен-

ность, пошлость и злонамѣренность исчезли бы сами собою. Положимъ, что и «среду» похвалить не за что: вмѣсто того, чтобы проложить прямую дорогу, она дѣлаетъ такіе крюки, изъ которыхъ потомъ и выбраться не можетъ: это очень глупо и неразсчитливо. Но вѣдь и юноши-то сами не пролагаютъ дороги, а толкуются на одномъ мѣстѣ, въ бездѣльѣ и недоумѣніи, сваливая вину на другихъ и даже не понимая, что другіе измѣняютъ прямое направленіе рѣшительно по той же самой причинѣ, по которой они сами останавливаются. Доблестные юноши мало имѣютъ человѣчества въ груди и смотрятъ на все какъ-то офиціально, при всей видимой враждѣ своей ко всякой формалистикѣ: они воображаютъ, что человѣкъ идетъ въ сторону и дѣлаетъ подлости именно потому, что ужъ это такое его назначеніе, такъ сказать — должность, чтобы дѣлать подлости; а не хотятъ подумать о томъ, что, можетъ быть, этому человѣку и очень бы хотѣлось пройти прямо и не сдѣлать подлости, и онъ очень радъ былъ, если бъ кто провелъ его прямой дорогой,—да не оказалось къ тому близкой возможности. Благонамѣренные юноши возстаютъ ужаснѣйшимъ манеромъ, наримѣръ, на взяточниковъ, на дурныхъ помѣщиковъ, на свѣтскихъ фатовъ и т. п. Все это прекрасно и благородно; но, во-первыхъ, безплодно, а во-вторыхъ — даже и не вполне справедливо. Въ офиціальной сухости своихъ понятій о людяхъ и въ самообольщеніи собственной гордости, добрые юноши полагаютъ, что только имъ однимъ доступны человѣческія стремленія, а другіе всѣ уже совершенно имъ чужды. Они воображаютъ, что чиновникъ чувствуетъ особенное наслажденіе отъ неправаго разрѣшенія дѣла,

что помѣщикъ отъ природы призванъ къ тому, чтобы сѣчь и обременять работами своихъ крестьянъ, что свѣтскій франтикъ бываетъ на верху блаженства, ломая свои ноги еженощно въ теченіе цѣлой зимы и просиживая по цѣлымъ часамъ за своимъ туалетомъ. Юноши никакъ не хотятъ понять того, что все это дѣлается вслѣдствіе общаго человѣческаго стремленія — найти себѣ возможно лучшее положеніе, обезпечить себѣ возможность свободной и покойной жизни. Сдѣлайте такъ, чтобы чиновнику было равно выгодно — рѣшать ли дѣла честно или нечестно, — неужели вы думаете, что онъ все-таки сталъ бы кривить душой, по какому-то темному, дьявольскому влеченію натуры? Дайте дѣламъ такое устройство, чтобы «расправы» съ крестьянами не могли приводить помѣщика ни къ чему, кромѣ строгаго суда и наказанія, — вы увидите, что «расправы» прекратятся. Поставьте какого угодно фата, даже аристократической породы и военнаго званія, въ такое общество, въ которомъ танцмейстерское совершенство встрѣчается съ насмѣшливой улыбкой, на туалетъ не обращаютъ вниманія и предъявляютъ человѣку болѣе серьезныя требованія: и онъ — даже онъ! — сдѣлается серьезнѣе. Надѣмся, что противъ этихъ положеній спорить не станутъ: о нихъ уже такъ часто и такъ много говорено было въ «Современникѣ», а теперь мы встрѣчаемъ повтореніе тѣхъ же мыслей и въ другихъ изданіяхъ. На такой мысли основана даже цѣлая повѣсть г. Плещеева: «Пашинцевъ», напечатанная въ прошломъ году въ «Русскомъ Вѣстникѣ». Пашинцевъ этотъ — ни то, ни се, «ни день, ни ночь, ни мракъ, ни свѣтъ»; есть у него и хорошія склонности, и не глупъ онъ, и сердце у

него доброе, но воспитанъ онъ дурно, и фатства въ немъ много. Приѣхавши изъ Петербурга въ губернский городъ, онъ попадаетъ въ идеально-хорошую семью и начинаетъ серьезно работать надъ своимъ развитіемъ; но, познакомившись съ обществомъ губернскимъ и получивъ тамъ нѣкоторые успѣхи, онъ опять тонетъ въ его грязи и пошлости. Въ заключеніе здавомысль повѣсти, г. Заборскій, повторяетъ о немъ старую пѣсню, — что его «среда заѣла». Мы противъ этого и не споримъ; мы требуемъ только продолженія и распространенія этой мысли. Пашинцевъ, какъ и множество другихъ героевъ повѣстей этого рода, вовсе не представляетъ феномена; вся среда, заѣдающая его, состоитъ именно изъ такихъ же людей, какъ и онъ самъ: у всѣхъ есть добрыя наклонности, но нѣтъ инициативы въ характерѣ, нѣтъ рѣшимости на самостоятельную дѣятельность. Теперь обратитесь же къ каждому изъ членовъ этой «среды» съ вопросомъ г-жи Простаковой: портной учился у другого, другой у третьяго, и т. д. . . . То-есть, одного заѣла среда, другого среда, третьяго среда, да вѣдь изъ этихъ — одного, другого, третьяго — среда-то и состоитъ; кто же или что же сдѣлало ее такою заѣдающею? Въ чемъ главная-то причина, корень-то всего? Намъ кажется, что благородные юноши, нейдущіе по дурной дорогѣ, а стоящіе на одномъ мѣстѣ, прежде всего, на досугѣ, должны были бы объ этомъ подумать и сообразно съ тѣмъ расположить свои дѣйствія, или по крайней мѣрѣ свои наставленія путникамъ, сворачивающимъ въ сторону.

Между тѣмъ юноши вовсе объ этомъ не думаютъ и вымещаютъ свой гнѣвъ на первомъ встрѣчномъ. Въ другой повѣсти г. Плещеева, «Благодѣя-

ніе», это выражается довольно хорошо. Прекрасный юноша Городковъ принять на службу и облагодѣтельствованъ важнымъ лицомъ; у важнаго лица правитель канцеляріи — Юконцовъ, взяточникъ и негодяй; этотъ Юконцовъ дѣлается ближайшимъ начальникомъ Городкова и начинаетъ ему пакостить. Городковъ, въ своей наивности воображающій, что важное лицо и благодѣтель его только по невѣдѣнію терпитъ при себѣ такого человѣка, какъ Юконцовъ, принимается *вразумлять* благодѣтеля на счетъ Юконцова. Понятно, что изъ этого выходитъ. Затѣмъ благодѣтель хочетъ выдать за Городкова свою отцвѣтшую любовницу и дѣлаетъ ему это предложеніе черезъ Юконцова же. Городковъ ругаетъ Юконцова и говоритъ: «Не можетъ быть, чтобъ генераль былъ такъ низокъ и безсовѣстенъ; это вы сами выдумали нарочно». Разумѣется, все это передается генералу, и вслѣдъ затѣмъ Городковъ выгоняется изъ службы и умираетъ отъ чахотки. Спрашивается: какая же причина его гибели? Его же собственная наивность. Вольно же ему было предполагать, что благодѣтель его такъ добръ и глупъ вмѣстѣ, вольно ему было видѣть препятствіе для своей честности въ Юконцовѣ, который вовсе не былъ настоящимъ самостоятельнымъ препятствіемъ, а былъ (пожалуй и не теперь, а гораздо прежде, но все-таки былъ) такимъ же несчастнымъ путникомъ, принужденнымъ — или остановиться въ началѣ пути, или уклониться въ окольные дорожки, такъ какъ прямая дорога была заставлена.

«Такъ, значитъ, надо считать главнымъ препятствіемъ это важное лицо, благодѣтеля Городкова?» .. Боже мой, какой наивный вопросъ! ..

Неужели нужно отвѣчать на него? . . Нѣтъ, нѣтъ, и тысячу разъ нѣтъ: благодѣтель Городкова тоже долженъ быть отнесенъ къ несчастнымъ и неразумнымъ путникамъ, — и не только онъ, но и его начальникъ, и начальникъ его начальника, и всякій чело­вѣкъ вообще, вся среда . . .

Кто же виновать во всемъ этомъ, гдѣ же коренное начало всѣхъ этихъ помѣхъ, толчковъ и безпокойствъ?

А гдѣ начало толчковъ, которые вы получаете въ узкомъ переулкѣ, выводящемъ къ какой-нибудь ярмарочной площади? — Не виновать тутъ никто: васъ толкаетъ и тѣснитъ одинъ, потому что его тѣснить другой, а того третій. Но вся причина въ томъ, что къ ярмарочной выставкѣ всѣ спѣшать, а улицы тѣсны . . . Хотите не испытывать толчковъ въ своемъ путешествіи для за­купокъ нужныхъ вамъ вещей? Не деритесь понапрасну съ людьми, бѣгущими вмѣстѣ съ вами, — а постарайтесь устроить, вмѣсто кратковременной ярмарки, постоянный торгъ, да сдѣлайте улицы пошире. Тогда и не будетъ никакой давки, и «среда» перестанетъ обременять насъ.

Но чтобъ устроить такой торгъ, надо имѣть капиталъ, и довольно большой; а юноши наши тѣмъ-то и плохи, что ихъ одолѣла всяческая скудость и нищета. Недостатку большого капитала еще можно бы помочь: недаромъ у насъ нынѣ развились акціонерныя компаніи и все дѣлается на паяхъ и въ складчину. Но, къ несчастью, этимъ бѣднякамъ и въ складчинѣ-то участвовать нечѣмъ: ничего-то они не умѣютъ, ничего не знаютъ, ни на что не годятся. Ежели ихъ дожидаться, то придется капиталъ составлять медленнѣе, чѣмъ Акакій

Акакiевичъ скапливалъ деньги на шинель. Вмѣстѣ съ прекрасными желанiями, въ нихъ господствуетъ такая вялость, запуганность, такое младенчество воззрѣнiя, что на нихъ столько же мало надежды въ практическомъ отношенiи, какъ и на пустѣйшихъ фатовъ и закоренѣлыхъ взяточниковъ. У г. Плещеева (мы беремъ примѣры только изъ его повѣстей, но могли бы привести и много другихъ), на примѣръ, Костинъ — чего кажется добродѣтельнѣе? А между тѣмъ припомните эту повѣсть (она была въ «Современникѣ»): какая наивность, какое незнанiе жизни, какая неопредѣленность въ средствахъ и цѣли, и какая бѣдность средствъ у этого прекраснаго, безукоризненнаго юноши! . . Онъ умираетъ въ чахоткѣ (безукоризненные герои у г. Плещеева, подобно какъ и у г. Тургенева и другихъ, умираютъ отъ изнурительныхъ болѣзней), ничего нигдѣ не сдѣлавши; но мы не знаемъ, что бы могъ онъ дѣлать на свѣтѣ, если бы даже и не подвергся чахоткѣ, и не былъ безпрерывно заѣдаемъ средою. Намъ пришло въ голову: что если бы Костина поселить въ Англіи, не давши ему, разумѣется, готоваго содержанiя, что бы онъ сталъ тамъ дѣлать, на что бы годился? . . По всей вѣроятности, и тамъ умеръ бы съ голоду, если бы не нашелъ случая давать уроки русскаго языка . . . Да тамъ о немъ и не пожалѣли бы, потому что людей, одаренныхъ благонамѣренностью, но не запасшихся мужествомъ и средствами для осуществленiя своихъ благихъ намѣренiй, тамъ давно уже перестали цѣнить.

Признаемся, мы бы не стали всего этого говорить по поводу повѣстей г. Плещеева, если бы видѣли, что онъ самъ не возвышается надъ по-

клоненіемъ благонамѣренности своихъ героевъ. Но мы замѣтили гдѣ немъ и другое, болѣе простое и правильное отношеніе къ нимъ, въ которомъ уже обнаруживается требованіе дѣла, а не однихъ желаній и надеждъ. Если г. Плещеевъ съ преувеличенною симпатіей рисуетъ намъ своихъ Костиныхъ и Городковыхъ, такъ это конечно зависитъ отъ того, что другихъ, болѣе выдержанныхъ практически типовъ, въ томъ же направленіи, до сихъ поръ еще не представляло русское общество. Что же дѣлать? Недавно мы видѣли, какъ одинъ изъ талантливѣйшихъ нашихъ писателей пробовалъ созданіе дѣльнаго, практическаго характера, и какъ ему мало удалось это созданіе, несмотря на то, что онъ взялъ еще не русскаго человѣка и далъ ему такую цѣль жизни, которая представляла полную возможность наполнить его исторію самой живой дѣятельностью... Видно, еще не пришло время созданія дѣятельныхъ и твердыхъ и въ то же время честныхъ характеровъ въ нашей литературѣ. Но оно приближается: самыя попытки доказываютъ это, какъ бы они ни были неудачны. А съ другой стороны о томъ же самомъ свидѣтельствуетъ и распространеніе проническаго воззрѣнія на всѣхъ «лишнихъ людей», которымъ такъ много симпатизировали прежде.

Это проническое отношеніе замѣчаемъ мы и во многихъ повѣстяхъ г. Плещеева. Его герои вообще раздѣляются на три разряда: одни умираютъ отъ чахотки, — это лучшіе (смотри выше); другіе спиваются съ кругу, — это тоже не совсѣмъ дурные; третьи устраиваются такъ-себѣ, женятся на богатыхъ, успѣшно служатъ и т. п., — это ужъ совсѣмъ пустые. Собственно говоря, если

смотря съ общественной точки, то между этими тремя разрядами разницы оказывается мало: всѣ бездѣльничаютъ, — не столько потому, что нельзя ничего дѣлать, сколько потому, что лѣнивы и ничего не умѣютъ, и всѣ губятъ себя и тѣхъ, кто ихъ любитъ, не по злости и не съ намѣреніемъ, а просто по невинности разсудка и по безхарактерности. Поземцевъ (въ повѣсти «Приваніе»), принадлежащій къ послѣднему разряду, женится и губитъ свою жену, грубымъ образомъ заводя связь съ какой-то кокеткой и дѣлая женѣ безсовѣстные упреки; Будневъ, второго разряда, точно также безтолково женится и губитъ свою жену тѣмъ, что влюбляется въ какую-то дѣвчонку, на которую тратится, скрываетъ отъ жены причину своихъ долгихъ отлучекъ, своей печали, и наконецъ заннваетъ горькую. Такъ точно Пашинцевъ (удостоенный авторомъ даже несчастной смерти) разстраиваетъ семейное счастье, принявшись «развивать» и привязавши къ себѣ дѣвушку, къ которой самъ ничего не чувствовалъ и которая была уже невѣстой другого; то же самое дѣлаетъ и Ивельевъ, принадлежащій къ самому послѣднему разряду (въ «Шалости»). Положимъ, что Ивельевъ это дѣлаетъ просто отъ бездѣлья, изъ празднаго любопытства, а Пашинцевъ съ долею искренняго убѣжденія, что онъ принесетъ пользу дѣвушкамъ; но результаты-то одни и тѣ же. Какъ видите, если сдѣлать *resumé* изъ повѣстей г. Плещеева, то выйдетъ, что хорошо-толкующіе и благонамѣренные юноши не могутъ даже «гордиться тѣмъ, что не вредятъ». Константинъ, Городковъ, Заборскій, правда, не дѣлаютъ того, что другіе; но и они, по неумѣнью соображать свои средства съ

предстоящимъ имъ дѣломъ, тоже скорѣе способны вредить тѣмъ, кто ихъ любить, нежели приносить пользу. Костинъ, напримѣръ, совершенно безвинно сдѣлался причиною страданій бѣдной женщины, полюбившей его, жены того помѣщика, у котораго былъ онъ учителемъ дѣтей: и бѣда была не въ томъ, что она полюбила его, а въ томъ, что онъ ничего не могъ для нея сдѣлать, не могъ даже убѣждать никуда съ нею, такъ какъ самъ не имѣлъ ни пристанища, ни копейки, да и никакого таланта за душою.

Разумѣется, если разсуждать психологически, то мы никакъ не поставимъ Костина на одну доску съ какимъ-нибудь Поземцевымъ или даже Пашинцевымъ. Какъ можно! Но въ отношеніи къ дѣлу отъ нихъ отъ всѣхъ, по нашему мнѣнію, одинъ толкъ. Вотъ почему намъ пріятно то отрицательное, насмѣшливое отношеніе автора къ подобнымъ героямъ, какое мы видимъ въ «Шалости», въ «Наслѣдствѣ», въ «Призваніи» и др. Намъ кажется только, что такое отношеніе надобно еще распространить... Намъ теперь вовсе не нужны люди съ хорошими мечтами и съ идиллическими ожиданіями. Мы пожили довольно, стали нѣсколько опытны и сами уже большею частью понимаемъ, что хорошее — хорошо, а дурное — дурно. Руководителей для этого намъ не нужно. Даже для искорененія общественныхъ неправдъ не такъ уже нужно слово убѣжденія, какъ нужно практическое пособіе. Мошенничать, обманывать, извиваться, ползать, топтать другихъ и каждую минуту бояться за себя, чтобъ тоже не затоптали, — это никому не можетъ быть пріятно, за это никто не станетъ особенно держаться. Поэтому

нечего кричать людямъ: не ползите, а идите прямо, не купайтесь въ лужѣ, не ѣшьте гнилого хлѣба: это всякій радъ сдѣлать и безъ насъ. А нужно позаботиться, чтобы выровнять дорогу, заготовить свѣжаго провіанта. Иначе самые искренніе, благонамѣренные крики будутъ имѣть то же значеніе, какъ и фразистая поддѣлка подъ филантропію, и какой-нибудь современный Костинъ рискуетъ быть поставленъ на одну доску съ г. Кокоревымъ: отъ воззваній того и другого польза одинаковая.

Нечего опасаться, что практическія начинанія дѣльныхъ людей встрѣтятъ противодѣйствіе въ «средѣ». Среда эта, по преимуществу состоящая изъ людей добродушныхъ, спокойныхъ и даже отчасти апатичныхъ, довольно живо и вѣрно изображена во многихъ повѣстяхъ г. Плещеева, даже чисто-анекдотическаго характера. Изъ всѣхъ этихъ рассказовъ, сценъ и описаній этого простого быта безъ всякихъ претензій можно видѣть, что, при всей видимой апатіи и неразвитости этихъ людей, есть и у нихъ что-то гнетущее, отъ чего они хотѣли бы избавиться, есть смутное сознаніе неудовлетворительности своего положенія. Уже одна возможность такихъ исторій, какая описана въ повѣсти «Отецъ и дочь», съ казначеемъ, у котораго начальникъ взялъ казенныя деньги безъ расписки и потомъ отрекся, — или хоть такихъ, какъ въ «Чиновницѣ», гдѣ назначеніе чиновника на мѣсто зависитъ отъ горничной жены важнаго начальника, — одна возможность такихъ происшествій должна пробуждать чувство положительнаго недовольства. Никакого сомнѣнія не можетъ быть въ томъ, что всѣ эти «отсталые, невѣжественные,

закоснѣлые въ рутинѣ и пр. и пр. люди, какъ ихъ честятъ прогрессивные юноши, съ радостью примутъ все, что можетъ имъ доставить прочныя гарантіи въ общественной жизни и возможность не мошенничая пользоваться ея благами. Только не накидывайтесь на нихъ безъ всякаго права и резона, не требуйте отъ нихъ того, за что не можете вознаградить ихъ. У нихъ нѣтъ самоотверженія, нѣтъ и инициативы: въ этомъ ихъ горе, ихъ вина, если хотите. Но вѣдь инициативою-то въ своемъ характерѣ и вы не можете похвастать, о добродѣтельные и благонамѣренные юноши, выставленные намъ на показъ нашей литературою! Самоотверженіе ваше тоже болѣе отрицательное и пассивное, такъ что мы значительную долю его приписываемъ лѣни, обломовщинѣ. Вы не лѣзете за неправымъ стяжаніемъ и почетомъ, за чинами, орденами и отличіями, за домами и деревнями: такъ,— да вѣдь вы и ни за чѣмъ не лѣзете. Конечно, Тентетниковъ не ѣздилъ покупать мертвыхъ душъ, какъ Чичиковъ; да онъ если бы и захотѣлъ, такъ не могъ и не сумѣлъ бы этого сдѣлать: онъ и въ своемъ-то имѣніи не выдержалъ, упрыгался на первыхъ же порахъ и прекратилъ всякій надзоръ надъ работами. Что же тутъ за самоотверженіе? Этакимъ-то самоотверженіемъ Обломовъ и выработалъ себѣ свой характеръ.

Да, перечитывая повѣсти г. Плещеева, мы всего болѣе рады были въ нихъ вѣянію этого духа сострадательной насмѣшки надъ платоническимъ благородствомъ людей, которыхъ такъ возносили иные авторы. Начальные типы пустыхъ либеральчиковъ, безъ всякаго уже сочувствія къ нимъ, — набросаны уже были въ нѣкоторыхъ повѣстяхъ

г. Тургенева. Но у г. Тургенева эти господа были постоянно второстепенными лицами и какъ бы отъѣняли собою главныхъ героевъ, которые уже истинно проникнуты благонамѣренностью и дѣйствительно «заѣдены средою», въ родъ того, какъ Паншинъ при Лаврецкомъ или Пигасовъ при Рудинѣ. У г. Плещеева эти лица — главные, они составляютъ часто основу и цѣль повѣсти, изъ ихъ изображеній все болѣе выясняется требованіе дѣла и дѣла, вмѣсто громкихъ словъ, младенческихъ мечтаній, несбыточныхъ надеждъ и вѣрованій.

Было одно время, когда воспѣвалась любовь къ женщинѣ, и надъ страданіями платоническихъ любовниковъ читательницы проливали слезы, а читатели меланхолически задумывались. Потомъ стали смѣяться надъ платонической любовью, и платоническія горести ни въ комъ уже не встрѣчали особеннаго сочувствія. Какимъ-то страннымъ случаемъ дѣло повернулось у насъ на общественные вопросы, и вотъ мы двадцать лѣтъ читали повѣсти и романы, въ которыхъ воспѣвалась *платоническая любовь къ общественной дѣятельности*, платоническій либерализмъ и благородство. Надъ этимъ новымъ платонизмомъ тоже проливали слезы и задумывались; но пора очнуться и отъ этого. Если платонизмъ въ женской любви смѣшонъ, то въ тысячу разъ смѣшнѣе платонизмъ въ любви къ родинѣ, къ народу, къ правдѣ и пр.

Мы надѣемся, что слова наши не покажутся никому странными и непонятными: въ то время, когда все проникнуто стремленіемъ къ положительности и реализму, можно ожидать одобренія мысли о томъ, что платоническая, бездѣятельная, плаксивая и отвлеченная любовь къ общему дѣлу

никуда не годится. Можно, кажется, надѣяться и на то, что наши будущіе талантливые повѣствователи дадутъ намъ героевъ съ болѣе здоровымъ содержаніемъ и дѣятельнымъ характеромъ, нежели всѣ платоническіе любовники либерализма, являвшіеся въ повѣстяхъ школы, господствовавшей до сихъ поръ.

Переписки.

Стихотворения Обличительнаго поэта. Спб. 1860.

Пустота, блѣдность, мелочность и отсутствіе искренности въ современной русской поэзіи — въ послѣднее время особенно ясно обнаружались у насъ въ особомъ родѣ стихотворныхъ произведеній, который годъ отъ году все болѣе распространяется. Этотъ особый родъ — нѣчто среднее между подражаніемъ и пародіей, хотя часто и безъ претензій на значеніе пародіи. Стихотвореніями подобнаго рода наполнены теперь всѣ наши журналы, какъ юмористическіе, такъ и серьезные: вся разница въ томъ, что одни печатаютъ пустенькіе стишки безъ поэзіи, вполнѣ сознавая ихъ отрицательный смыслъ, а другимъ этого сознанія недостаетъ. Оттого, напримѣръ, Пр. Вознесенскій, Знаменскій, Гейне изъ Тамбова, Амосъ Шишкинъ, Обличительный поэтъ и пр., и пр., не имѣютъ претензій на поэтическое творчество: ихъ дѣло — перефразировка и пересмѣиванье общихъ мѣстъ и всякихъ нелѣпостей, забравшихся въ поэзію; а гг. Аполлонъ Капелькинъ, Апухтинъ, Крестовскій, Лиліеншвагеръ, Розенгеймъ, Зоринъ, З. Туръ, Случевскій, Кусковъ, Плянкевичъ, Вейнбергъ, Кроль, Поповъ, и пр., и пр., — полагаютъ навѣрное, что

они, между прочимъ, горятъ небеснымъ огнемъ и призваны повѣдать міру нѣчто художественное. Можетъ быть современемъ они и дѣйствительно что-нибудь повѣдаютъ, такъ какъ они всѣ только еще начали свою литературную карьеру, — на нашей памяти; но мы не хотимъ заглядывать въ будущее, а говоримъ о настоящемъ. Въ настоящемъ же трудно рѣшить, кому отдать преимущество — этимъ ли добродушнымъ юношамъ, серьезно и искренно творящимъ свои стихи, или тѣмъ господамъ, которые не занимаются версификаціею иначе, какъ на смѣхъ. У тѣхъ и другихъ замѣчаемъ мы отсутствіе душевнаго жара, недостатокъ страсти и убѣжденія, много чужого, ничего собственнаго; тѣ и другіе одинаково повторяютъ зады, тѣ и другіе одинаково не нужны, бесполезны, ничтожны. У однихъ, правда, можно замѣтить (если очень внимательно и снисходительно всматриваться) порывъ къ чему-то, желаніе что-то выразить, хоть и неудачное желаніе, но все-таки искреннее; но зато у другихъ видно большее уваженіе къ требованіямъ здраваго смысла и значительно меньшая склонность удаляться отъ простыхъ понятій и чувствъ обыкновенныхъ смертныхъ. При томъ же послѣдніе и тѣмъ хороши, что никого не вызываютъ на эстетическую критику и не повергаютъ въ мечтательное настроеніе духа. Словомъ, мы, по своему личному вкусу, склонны къ тому мнѣнію, что ужъ если писать стихи, какими въ послѣдніе годы наполнялись всѣ наши журналы, то ужъ лучше всего — писать ихъ на смѣхъ, или по крайней мѣрѣ съ примѣсью ироніи.

Отчего вдругъ такое строгое осужденіе нашимъ стихотворцамъ, изъ которыхъ иныхъ самъ же

«Современникъ» не разъ поощрялъ и пускалъ въ ходъ? Такой вопросъ можетъ придти въ голову многимъ читателямъ, и мы считаемъ нелишнимъ объяснить.

Записные любители литературы, слѣдящіе за всѣми ея мелочами, помнятъ, конечно, что около 10 лѣтъ, почти тотчасъ послѣ того, какъ перестали печататься въ «Отечественныхъ Запискахъ» посмертныя стихотворенія Кольцова и Лермонтова, т. е. съ 1844 или 1845 г., въ нашихъ журналахъ стихотворенія почти не печатались; исключеніе составлялъ одинъ «Москвитянинъ». Съ 1854—55 г. опять стихи сдѣлались почти необходимостью каждой журнальной книжки. Искать причину такого мелкаго явленія въ міровыхъ событіяхъ, конечно, немножко забавно; но, кажется, міровыя событія дѣйствительно тутъ не совсѣмъ въ сторонѣ. Дѣло въ томъ, что художественный, младенчески-беззаботный и граціозно-ребяческій періодъ нашей поэзіи былъ уже завершёнъ Пушкинымъ; Лермонтовъ не выказалъ вполнѣ своихъ силъ и до конца жизни не умѣлъ, что называется, стать на свои ноги, потому и не могъ образовать новаго направленія; Кольцовъ остается особнякомъ до сихъ поръ: его оригинальные опыты оказались тоже недостаточно сильными, чтобы повернуть нашу лирику на новый путь. Послѣ нихъ нуженъ былъ поэтъ, который бы умѣлъ осмыслить и узаконить сильные, но часто смутные и какъ будто безотчетные порывы Кольцова, и вложить въ свою поэзію положительное начало, жизненный идеалъ, котораго не доставало Лермонтову. Нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія, что естественный ходъ жизни произвелъ бы такого поэта; мы даже можемъ утверждать это,

не какъ предположеніе или выводъ, но какъ совершившійся фактъ. Но, къ сожалѣнію, наступившія вслѣдъ затѣмъ событія уничтожили всякую возможность высказаться и развиться въ новомъ талантѣ тому направленію, которое съ двухъ разныхъ сторонъ, послѣ Пушкина, пробивалось у насъ въ Кольцовѣ и Лермонтовѣ. Общественная жизнь остановилась; вся литература остановилась; естественно, что и лирика должна была остановиться. И въ самомъ дѣлѣ, немного можно насчитать стихотвореній изъ того времени, которыя бы не составляли болѣе или менѣе красиваго перифраза пушкинскихъ мотивовъ, или же попытокъ въ гейневскомъ родѣ, — а сущность поэзіи Гейне, по понятіямъ тогдашнихъ стихотворцевъ нашихъ, состояла въ томъ, чтобы сказать съ рѣчами какую-нибудь безсвязицу о тоскѣ, любви и вѣтрѣ. Сначала это казалось временнымъ и случайнымъ безсиліемъ, происходящимъ отъ небоійкости наличныхъ поэтическихъ дарованій и отъ узости ихъ воззрѣній на свое призваніе; тогда думали исправить ихъ критикой и насмѣшкой. Читатели «Современника» припоминаютъ, можетъ быть, пародіи, появлявшіяся въ немъ съ самаго начала 1847 г. Но года черезъ три оказалось, что и пародировать нечего: пустота содержанія въ лирикѣ дошла до того, что превосходила всякую пародію. И, что всего хуже, ясно было, что причина этой пустоты кроется гораздо глубже, нежели въ литературныхъ талантахъ и воззрѣніяхъ того или другого автора: она скрывалась въ томъ, что въ самой жизни какъ будто замерло или затаилось все, на что могъ бы могучимъ и живымъ звукомъ отозваться поэтъ. Тогда литераторы и журналисты разсудили, каж-

дый про себя, но совершенно согласно другъ съ другомъ, — что не стоитъ и печатать мертвыхъ и затхлыхъ стиховъ, если нельзя печатать сколько-нибудь путныхъ произведеній. Дѣло совершенно понятное, точно такъ, какъ вполнѣ понятно и то, почему «Москвитянинъ» въ эту эпоху составлялъ исключеніе и набивалъ каждую книжку множествомъ стихотвореній: его поприще нисколько не стѣснялось общимъ состояніемъ литературы, онъ печаталъ стихи г. Шевырева, М. Дмитріева, Θ. Миллера, Н. Берга, и т. п. Гг. Фетъ и Языковъ также въ это время печатались въ «Москвитянинѣ»; къ нимъ подстать являлись по временамъ и другіе. Въ прочихъ же журналахъ появлялось обыкновенно развѣ по три-четыре стихотворенія въ годъ, и то почти исключительно съ именами Фета и Майкова, которые тутъ-то и утвердили свою репутацію. Въ 1850 году г. Щербина оживилъ-было нѣсколько дѣтскій театръ нашей поэзіи нѣсколькими новыми маріонетками; но и тѣ очень скоро потеряли занимательность.

Въ 1844—55 гг. русская жизнь была такъ сильно встряхнута нѣсколькими радостными и горестными событіями, что перенести ихъ молча было невозможно. Литература заговорила, публика стала слушать; стихи полились вслѣдъ за прозою, на нихъ стали обращать вниманіе. Ихъ всегда было много, но прежде на нихъ и смотрѣть не стоило; теперь они касались или могли касаться того, что всѣхъ занимало: нельзя было совсѣмъ пренебрегать ими. Во множествѣ вещей рутинныхъ, вялыхъ и нелѣпыхъ попадались однакоже и пьески, обнаруживающія живое чувство и свѣтлую мысль: эти пьески должны были явиться въ свѣтъ, а своимъ

появленіемъ онѣ, разумѣется, прокладывали дорогу и другимъ. Съ расширеніемъ круга предметовъ, доступныхъ вообще литературѣ, расширялся и кругъ содержанія лирической поэзіи: теперь опять стало можно ожидать появленія мощнаго таланта, который охватитъ весь строй нашей жизни, согласитъ съ нимъ свой напѣвъ и поставитъ свою поэзію въ уровень съ живою дѣйствительностью. А въ ожиданіи такого поэта, стали внимательнѣе присматриваться ко всему, въ чемъ можно было предполагать хоть какіе-нибудь задатки дарованія: извѣстно, что когда чего-нибудь нетерпѣливо ждешь, то при малѣйшемъ шорохѣ предполагаешь приближеніе ожидаемаго предмета.

Таково, по нашему мнѣнію, естественное основаніе для печатанія множества посредственныхъ стишковъ, появляющихся въ нашихъ журналахъ; это явленіе имѣетъ нѣкоторую аналогію съ тѣмъ риторическимъ движеніемъ, которое нѣсколько лѣтъ тому назадъ такъ шумно давало себя чувствовать возгласами о нашемъ быстромъ прогрессѣ и о «настоящемъ времени, когда» и пр. Но множество разрушенныхъ иллюзій должно наконецъ научить человѣка быть менѣе наивнымъ; для того, чтобы это наученіе ускорилось, весьма полезны насмѣшки постороннихъ людей, кричащихъ намъ при каждомъ разочарованіи: «Что, несолоно хлебалъ? Что, попалъ пальцемъ въ небо?» И если смѣющихся очень много и насмѣшки очень часты, то значитъ, что иллюзіи уже близки къ концу, что ихъ нелѣпость видна почти всѣмъ, по крайней мѣрѣ значительному большинству, а только немногіе, особенно наивные или восторженные люди продолжаютъ ими увлекаться.

Въ этомъ смыслѣ считаемъ мы полезными стихо-

творныя пародіи и не только не пренебрегаемъ ими, но даже придаемъ имъ большое значеніе. Онѣ встрѣчаютъ сочувствіе, читаются съ удовольствіемъ и означаютъ, что то, на что онѣ намекаютъ, уже не пользуется особеннымъ сочувствіемъ публики. Говорятъ, что осмѣять все можно; правда, но не всякое осмѣяніе имѣетъ успѣхъ, даже не всегда оно безопасно, хотя бы для репутаціи, утвердившейся весьма прочно. Аристофанъ, — и тотъ не мало нажилъ себѣ хлопотъ, даже въ потомствѣ, за осмѣяніе Сократа; въ новѣйшее время подобный примѣръ мы видѣли въ Гейне. Съ насмѣшкой повторяется то же самое, что и съ серьезнымъ озлобленіемъ или нападеніемъ: въ сужденіи здраваго смысла, управляющаго массами, форма почти уничтожается передъ сущностью дѣла. Пушкинъ, въ своихъ знаменитыхъ стихахъ, говоря, между прочимъ: «Кому вѣнецъ,— мечу или крику?» и пр., весьма серьезно издѣвался надъ свободнымъ словомъ; но тѣмъ не менѣе лучшая часть публики не простила ему этихъ стиховъ. Точно такъ не прощаетъ общественное мнѣніе и самыхъ остроумныхъ насмѣшекъ надъ тѣмъ, что дорого и свято для большинства. Попробуй теперь кто-нибудь издать геніальнѣйшій пасквиль на Гарибальди: вся Европа закипитъ негодованіемъ, и не только автора назовутъ безсовѣстнымъ негодяемъ, но никто не признаетъ въ немъ ни малѣйшаго остроумія, хотя бы оно и было у него дѣйствительно. Возьмемъ примѣръ ближе: попробуйте перепародировать Гоголя въ его «Мертвыхъ душахъ», «Ревизорѣ» и лучшихъ повѣстяхъ, — много ли успѣха будете вы имѣть? . . А того же Гоголя въ «Перепискѣ» можно пародировать не только безнаказанно, но даже съ большимъ успѣхомъ . . .

Такимъ образомъ, видя, какъ принимается безчисленное множество пародій, появившихся въ послѣднее время и потѣшающихся все болѣе надъ реликвіями пушкинскаго періода, мы считаемъ себя вправѣ заключить, что время процвѣтанія этого рода поэзій уже прошло. «А если прошло, то и толковать о немъ много не стоитъ, и убиваться надъ выставленіемъ его смѣшныхъ сторонъ не нужно?» Не всегда оно такъ бываетъ; но въ настоящемъ случаѣ это замѣчаніе кажется намъ вполнѣ справедливымъ. Пародіи на безцѣльные и бездѣльные пьески съ претензіей на художественность, насмѣшки надъ высокими мечтами въ виду житейской пошлости, надъ отвлеченно-абсолютнымъ спокойствіемъ предъ жизненными, реальными вопросами нужды и горя — были въ ходу давнымъ давно. Предметъ этотъ далеко еще не исчерпанъ, потому что, несмотря на многочисленныя насмѣшки и критическія наставленія, поэзія наша до сихъ поръ никакъ не хочетъ идти въ ладъ съ живой, человѣческой дѣйствительностью. Но теперь уже противорѣчіе пѣнты съ реальной правдой выражается иначе, а потому и насмѣшки и пародія должны принять другія формы, настроить себя нѣсколько на другой ладъ. Мы читали много пародій, въ которыхъ, вмѣсто возвышенныхъ предметовъ, трактуемыхъ поэтомъ, подставляются предметы житейскіе, и затѣмъ идетъ весьма близкое подражаніе. Наприм., вмѣсто «цвѣтокъ засохшій, безуханный», читаемъ: «ременный кнутъ, небезуханный»; вмѣсто «скажи мнѣ, вѣтка Палестины» — «скажи мнѣ, ветхая бумажка», и затѣмъ пародія перебираетъ, что могло случиться съ кнутомъ и съ синенькой бумажкой, въ чьихъ рукахъ они были, кого сѣкъ кнутъ и какія гадости покупа-

лись бумажкою. Это, конечно, забавно само по себѣ, и въ то же время справедливо опошляетъ тѣ quasi-высокія, а въ самомъ дѣлѣ ребяческія и смѣшныя мечты, которыя посвящены поэтами цвѣтку безуханному и вѣткѣ. Но подобнаго рода пародіи хороши именно только тогда, когда онѣ, во-первыхъ, обращены на стихотвореніе, имѣющее большую извѣстность, и во-вторыхъ, когда само содержаніе пародіи забавно. Если же авторъ пародіи выбираетъ себѣ на жертву какое-нибудь изъ незначительныхъ произведеній незначительнаго поэта и основываетъ весь смыслъ своей пародіи на незначительной утрировкѣ мысли подлинника, то мы не понимаемъ цѣли и смысла подобной работы. Есть, напр., у г. Полонскаго стихотвореніе: «Мое сердце — родникъ, моя пѣсня — волна», и пр. Оно нѣсколько страдаетъ неопредѣленностью и излишкомъ смѣлой мечтательности, но прямо дурнымъ нельзя его назвать; нельзя сказать и того, чтобы оно заключало въ себѣ полное выраженіе характера и манеры поэта; его не многіе знаютъ даже изъ любителей стиховъ. Зачѣмъ же, спрашивается, написана вотъ эта пародія, которую находимъ мы въ «Перепѣвахъ»:

Пусть моя пѣсня смутна и темна,
 Но зато ей душа отзывается,
 Неуловимая, будто волна,
 Она звуками вся разсыпается,
 Все въ ней — и слезы, и муки любви,
 И укоръ, и мольбы откликаются...
 Но не умомъ понять пѣсни мой, —
 Вѣщимъ сердцемъ онъ понимаютъ.

Конечно, это стихотвореніе безцвѣтно и ничтожно; но отъ этого оно вовсе не дѣлается злымъ и забавнымъ.

Многія изъ пародій даже не достигаютъ до красоты подлинника. Это опять происходитъ оттого, что Обличительный поэтъ беретъ не рѣзко-ложныя стихотворенія и не стремится осмѣять слабыя стороны, вообще отличающія взятаго имъ автора, а просто выбираетъ стихотворенія похуже, да и старается ихъ исказить еще больше. Напр., у г. Фета есть пренелѣпое стихотвореніе:

Буря на небѣ вечернемъ,
Моря сердитаго шумъ,
Буря на морѣ, и думы,
Много мучительныхъ думъ... И пр.

Само по себѣ это стихотвореніе — пародія; его иначе никто и не приметъ, какъ за написанное на смѣхъ (если не предупредить, разумѣется, что тутъ бездна поэтическихъ красотъ). Обличительный поэтъ пишетъ на это пародію:

Звѣзды на небѣ вечернемъ;
Робкій волнуется умъ...
Волны на морѣ и думы —
Много мучительныхъ думъ,
Пьянство ночное въ трактирѣ,
Рѣзкій вакхическій шумъ;
Звѣзды, и волны, и думы —
Хоръ возрастающихъ думъ.

Неужели стоило нарочно придумывать чепуху, ничуть не болѣе яркую, чѣмъ та, для осмѣянія которой она придумана?

Такова большая часть стихотвореній Обличительнаго поэта: они вялы и робки. Напримѣръ, въ двухъ или трехъ пьесахъ онъ пародируетъ г. Бенедиктова: извѣстно, какія метафоры и тропы употре-

бляетъ этотъ поэтъ. Въ пародіи на него желательна такая смѣлость, котораябы презирала всѣ требованія здраваго смысла и заботилась только о трескотнѣ фразы: пародіи же Обличительнаго поэта далеко не достигаютъ даже той смѣлости, какою отличается и самъ г. Бенедиктовъ, сочиняющій свои стихи не на смѣхъ, а очень серьезно.

Въ «Перепѣвахъ» есть пародіи и на греческія стихотворенія Щербины, и на пѣсни его о природѣ, и на философическій родъ Огарева, и на еврейскія пѣсни Мея, и на римскіе очерки Майкова — не говоря ужъ о Фетѣ, доставившемъ Обличительному поэту пространную канву. Но рѣдкія пародіи имѣютъ цѣну сами по себѣ, какъ забавныя стихотворенія; а какъ обличенія названныхъ стихотворцевъ, кому же онѣ теперь нужны? Всѣ почти пьесы, перепѣтыя Обличительнымъ поэтомъ, давнымъ давно забыты даже любителями, не говоря о большинствѣ публики. Безплодность направленія, общаго этимъ стихотвореніямъ, также теперь ужъ не новость. Теперь даже сами «поэты» сознаютъ это, только не хотятъ признаться. Оттого-то въ новѣйшихъ произведеніяхъ русской музы и замѣтно порываніе къ чему-то, только стихотворцы не знаютъ еще сами, — къ чему, а если и знаютъ, то на бѣду себѣ же. Они узнаютъ, напримѣръ, что мысль нужна въ поэзіи, и въслѣдствіе того привязываютъ къ своимъ стихамъ какой-нибудь моральный хвостъ, совѣтъ другого цвѣта, некстати, неловко, словомъ — такъ, какъ дѣлаетъ часто г. Жемчужниковъ. На это есть одна пародія въ «Перепѣвахъ», по нашему мнѣнію недурная:

Идемъ мы тѣсомъ, несками сыпучими;
Солнышка близокъ закатъ;

Сосны вокругъ насъ иглами колючими,
 Какъ исполины, грозятъ.
 Ибсню ямщикъ затянулъ нашъ унылую...
 Камень, песокъ да сосна...
 Такъ бы все плакать подъ ибсню тоскливую:
 Родиной вѣсть она.

А то вообразить, что «обличать» надо: и выходить г. Розенгеймъ! Или придумаютъ, что надо собственное міросозерцаніе сочинить, непохожее на простой взглядъ, а имѣющее въ себѣ ибчто мистическое и символическое: является г. Кусковъ! Все подобныя стремленія, какъ они ни неудачны, доказываютъ однакоже, что художественный индифферентизмъ къ общественной жизни и нравственнымъ вопросамъ, въ которомъ такъ счастливо прежде покоились гг. Фетъ, Майковъ (до своихъ патріотическихкихъ твореній) и другіе, — теперь уже совсѣмъ не удастся новымъ людямъ, выступающимъ на стихотворное поприще. Кто и хотѣлъ бы сохранить прежнее безстрастіе къ жизни, — и тотъ не рѣшается, видя, что «чистая художественность» теперь привлекаетъ общее вниманіе единственно только въ твореніяхъ Кузьмы Пруткова. Такимъ образомъ все эти *amoroso*, *far-niente*, вечера и дѣвы — съ облаками, луной, соловьями и ручьями — пропадають сами собою. Пусть ихъ печатаются еще ибсколько времени, — это послужитъ только къ болѣе рѣшительному ихъ паденію. Мѣсяца три тому назадъ, въ ибсколькихъ журналахъ разомъ появился «весенніе звуки», «весеннія ночи» и «весеннія мечты», кажется. Все это было очень тепло, живописно, мило, словомъ — художественно, но мы ибсколько разъ заставляли чтеніе этихъ стиховъ у нашихъ знакомыхъ, сопровождаемое такимъ постояннымъ

смѣхомъ, съ какимъ едва ли прочтутся «Перепѣвы» Обличительнаго поэта.

Мы думаемъ, что теперь время и пародіи быть нѣсколько строже къ себѣ; иначе и она испытаетъ то же, что испытываетъ комедія нравовъ. «Бригадиръ» теперь не соберетъ въ театръ многочисленной публики; такъ точно и пародія на «Пѣвца въ станѣ русскихъ воиновъ» не будетъ ходить по рукамъ и переписываться съ жадностью. Скоро пораженъ будетъ забвеніемъ и тотъ родъ пародій, который направленъ исключительно на художественные недостатки прежнихъ поэтовъ. Вопросъ чистаго искусства уже проигранъ фактически; надъ нимъ и хлопотать не стоитъ.

Но для насмѣшки и пародіи предстоитъ еще большая работа: сопровождать русскую жизнь въ новомъ пути, который ей теперь открывается, и преслѣдовать свисткомъ всякаго, кто безъ толку сунется на этотъ путь и начнетъ тутъ вертѣться, дѣлая не дѣлая, а только мѣшая другимъ. И надо замѣтить, что исполненіе подобной задачи, въ виду настоящихъ дѣятелей русской лирики, легче, нежели когда-нибудь. Трудно пародировать истиннаго поэта, съ цѣлью выставить его дурныя стороны; еще труднѣе пародировать цѣлое литературное направленіе, ежели оно хотя и ложно въ извѣстныхъ отношеніяхъ, но согрѣто огнемъ истинной поэзіи. Ложь и правда такъ въ этомъ случаѣ сливаются, недостатки такъ переплетаются живыми достоинствами, что рѣдкая пародія, задѣвая одни, можетъ не тронуть другія; а какъ скоро истинное достоинство задѣто — пародія неудачна. Чтобы съ полнымъ успѣхомъ се сдѣлать въ указанныхъ нами случаяхъ, надо быть самому поэтомъ, противопоставлять

талантъ таланту. Для пародированія современной русской лирики вовсе не нужно имѣть поэтическаго дарованія; нужно только умѣть писать стихи и понять, въ чемъ дѣло. И для того, чтобы понять, даже ума особеннаго не нужно. Все дѣло въ томъ, что совокупность современныхъ поэтовъ нашихъ лишена страсти и энергіи, и оттого не можетъ имѣть сосредоточенности, а страдаетъ, напротивъ, разбросанностью, неопредѣленностью, нерѣшительностью. Стихи нашихъ новѣйшихъ стихотворцевъ — дѣланые. Это совсѣмъ не то, что выходитъ у человѣка, котораго извѣстное впечатлѣніе или мысль поразили такъ, что не могутъ изъ сердца выйти, преслѣдуютъ, мучатъ его, не даютъ ему ничего другого видѣть и слышать, пока онъ имъ не дастъ жизни въ стихѣ, соотвѣтственномъ его внутреннему о нихъ представленію. Нѣтъ, наши поэтики не такъ воспріимчивы къ жизни: если ихъ что и поразитъ, то не надолго: ихъ вниманіе и участіе раздѣлено между многими предметами, и ничто особенно не западаетъ имъ въ душу. Они скажутъ себѣ: «а изъ этого бы недурно стихи написать», и если досугъ есть — напишутъ, а то, пожалуй, и оставятъ . . . Предметъ ихъ стихотворенія не связанъ съ ними кровно и душевно, имъ не жалко его бросить. Мы говоримъ это такъ утвердительно не на основаніи какихъ-нибудь личныхъ знакомствъ, а на основаніи самихъ стихотвореній, которыя намъ приводилось читать. Во всѣхъ ихъ вы видите, что авторъ не воспринялъ въ себя свой предметъ, не слился съ нимъ, не положилъ души своей на его изображеніе: вы читаете описанія, очень живыя иногда, — миѣнія, иногда умныя, — чувства, повидимому искреннія, и со всѣмъ тѣмъ вы остаетесь въ полнѣйшемъ невѣдѣніи объ

авторъ. Десять стиховъ Лермонтова скажутъ вамъ о его характеръ, взглядъ, направленіи гораздо больше, нежели о какомъ-нибудь новѣйшемъ пѣтѣ десятки стихотвореній, въ которыхъ онъ, кажется, и мыслить и чувствуетъ. Это оттого, что тамъ вы видите самостоятельное, живое, личное воззрѣніе поэта, а здѣсь всѣ мысли — готовыя, чувства — рутинныя, взгляды отъ общихъ началъ примѣняются къ частному предмету или случаю, а не отъ предмета возводятся къ общимъ началамъ. Такъ иногда вы слушаете юношу, который описываетъ красавицу: греческій носъ, южные глаза, матовый цвѣтъ лица, и т. д. — паспортъ, изложенный хорошимъ слогомъ . . . Это значитъ, что юноша не любитъ красавицу; не такъ сталъ бы онъ говорить, если бъ любилъ: не до этихъ формальныхъ опредѣленій было бы ему, онъ поспѣшилъ бы вамъ сказать, какъ она *на него* взглянула, что *онъ* при ней почувствовалъ, и, конечно, одной-двумя чертами онъ изобразилъ бы вамъ и красавицу, и себя самого, и свои взаимныя отношенія гораздо лучше, чѣмъ самымъ длиннымъ описаніемъ ея прелестей.

Наши поэтики не нашли еще своей суженой красавицы, не полюбили еще всей душою; можетъ быть многіе и неспособны страстно полюбить, но всѣ увѣряютъ, что любятъ. Вотъ тутъ-то и надо ловить и обличать ихъ; тутъ-то и годится народія. Если она и никого не исправитъ, то по крайней мѣрѣ облегчитъ, можетъ быть, будущему таланту отысканіе настоящей красавицы и избавитъ его отъ напрасныхъ метаній изъ стороны въ сторону, которыми такъ страдаютъ наши новѣйшіе стихотворцы.

Черты для характеристики русскаго простонародья.

(Разсказы изъ народнаго русскаго быта, *Марка Вовчка*.
Изданіе К. Солдатенкова и П. Щенкина. М. 1859.)

Въ прошломъ году нѣкоторыя обстоятельства, всего болѣе досадныя для насъ самихъ, помѣшали намъ подробно говорить о малороссійскихъ разсказахъ Марка Вовчка, переведенныхъ г. Тургеневымъ. Мы должны были ограничиться только небольшою выдержкою изъ статьи г. Костомарова, написанной имъ для «Современника» еще тогда, когда «Народні оповідання» только что появились въ малороссійскомъ подлинникѣ. Надѣмся быть нѣсколько счастливѣе теперь, при появленіи новой книжки разсказовъ Марка Вовчка, еще болѣе любопытныхъ для насъ, такъ какъ они взяты изъ жизни народа великорусскаго.

Мы вовсе не изъ землячества интересуемся изображеніями великорусскаго быта болѣе, чѣмъ малороссійскаго. У насъ есть на это другія причины, заключающіяся въ тѣхъ мнѣніяхъ, какимъ въ послѣднее время подвергался великорусскій крестьянинъ, преимущественно передъ малорусскимъ. Узкій патріотизмъ, всѣ человѣческіе интересы подчиняющій землячеству, достаточно надобдаетъ и въ нѣмцахъ

какого-нибудь ландграфства Гессенъ-Гомбургскаго или княжества Лихтенштейнскаго; мы можемъ отъ него и освободить себя. У насъ нѣтъ причинъ разединенія съ малорусскимъ народомъ; мы не понимаемъ, отчего же, если я изъ Нижегородской губерніи, а другой изъ Харьковской, то между нами уже не можетъ быть столько общаго, какъ если бы онъ былъ изъ Псковской. Если сами малороссы не совсѣмъ довѣряютъ намъ, такъ тому виной такія историческія обстоятельства, въ которыхъ участвовала административная часть русскаго общества, а ужъ никакъ не народъ. Да это впрочемъ понимаетъ масса людей въ самой Малороссіи: *москалями* зовутъ тамъ солдатъ, такъ точно, какъ *нанами* зовутъ помѣщиковъ . . .

Сами рассказы Марка Вовчка служатъ доказательствомъ того, что благоразумные малороссы умѣютъ цѣнить народъ русскій, не дѣлая рѣзкой разницы между Малою и Великою Россіей. Новая книжка «Народныхъ рассказовъ» проникнута тѣмъ же характеромъ и тенденціями, какъ и прежнія «Народні оповідання». Великія силы, таящіяся въ народѣ, и разные способы ихъ проявленія подѣ влияніемъ крѣпостного права — вотъ что видимъ мы въ этихъ рассказахъ. Тонъ автора, обрывисто-пѣвучій, характеръ рассказа, грустный и задумчивый, второстепенныя подробности, полныя чистой и свѣжей поэзіи въ описаніяхъ и бѣглыхъ замѣткахъ — все это осталось таково же, какъ и въ прежнихъ рассказахъ. Только имена людей и мѣстъ, изображенія природы, игры и пѣсни вводятъ насъ въ великорусскій бытъ, да еще отношенія крестьянъ къ крѣпостному праву имѣютъ здѣсь свой особенный оттънокъ.

Эта-то особенность и занимает насъ всего болѣе. Въ малороссійскихъ разсказахъ мы видѣли злоупотребленія помѣщичьей власти, и злоупотребленія нерѣдко довольны крутыя. Это даже подало, говорятъ, поводъ одному извѣстному русскому критику объявить произведенія Марка Вовчка «мерзостно-отвратительными картинками», и, причисливши ихъ къ обличительной литературѣ, вслѣдствіе этого отвергнуть въ авторѣ ихъ всякій талантъ литературный. Мы не читали статейки строгаго критика, потому что давно уже перестали интересоваться его литературными приговорами; но тѣмъ не менѣе мы понимаемъ процессъ, посредствомъ котораго онъ составилъ свое заключеніе. Онъ—приверженецъ теоріи «искусства для искусства»; разсказы Марка Вовчка нашли себѣ хвалителей тоже въ числѣ приверженцевъ этой теоріи. Можете себѣ представить, что именно правилось въ этихъ разсказахъ такимъ хвалителямъ. Мы сами слышали, какъ двое художественныхъ цѣнителей восхищались необыкновенною прелестью и поэтичностью одного мѣста, которое, кажется, такъ читается: «геть, геть, далеко въ полѣ крестъ надъ его могилою видѣется». Строгій критикъ, осудившій Марка Вовчка, оказалъ даже нѣсколько благоразумиѣ подобныхъ цѣнителей, понявши, что «геть, геть, далеко въ полѣ» еще не есть чрезвычайная высота художественности. А что онъ ничего другого не въ состояніи былъ понять въ «Народныхъ разсказахъ», такъ это опять совершенно естественно, и весьма странно бы было, кто сталъ бы ожидать отъ него такого пониманія. Тогда онъ сдѣлался бы отступникомъ теоріи «искусства для искусства»; а можетъ ли онъ отступить отъ нея? Безъ нея что бы онъ сталъ дѣ-

латъ на свѣтъ, куда бы годился онъ? Безъ нея онъ долженъ былъ бы исчезнуть, какъ исчезъ Иванъ Александровичъ Чернокнижниковъ, какъ исчезалъ Кузьма Петровичъ Прутковъ на то время, когда у насъ поднимались великіе общественные вопросы . . .

Но дѣло не въ приговорахъ художественнаго критика: Богъ съ нимъ, — вѣдь его никто не принимаетъ серьезно, стало быть художественныя потѣхи его остаются совершенно безвредными. Мы имѣемъ въ виду другіе толки, другія мнѣнія, о которыхъ считаемъ удобнымъ поговорить теперь, по поводу книжки Марка Вовчка. Мнѣнія эти довольно распространены въ извѣстной части нашего общества, называющей себя образованною, и между тѣмъ они обнаруживаютъ не только непониманіе дѣла, но и крайнее легкомысліе или самую неразумную недобросовѣстность. Мнѣнія, о которыхъ мы говоримъ, касаются характеристики русскаго крестьянина и его отношеній къ крѣпостному праву. Крѣпостное право приходитъ къ своему концу и дѣлается достояніемъ исторіи; о немъ нечего толковать, оно отжило свой вѣкъ. Но факты, тяготѣвшіе надъ государствомъ въ теченіе столѣтій, не проходятъ даромъ, не остаются безъ всякаго слѣда. Какое-нибудь мѣстничество держится въ нравахъ спустя два столѣтія послѣ его уничтоженія закономъ; можно ли требовать, чтобы внезапно пересоздались всѣ отношенія, бывшія слѣдствіемъ такого явленія, какъ крѣпостное право? Нѣтъ, еще долго будетъ оно отзываться намъ — и въ книжкахъ, и въ гостиныхъ разговорахъ, и въ цѣломъ устройствѣ нашихъ житейскихъ отношеній. Понятія не только отживающаго поколѣнія, не только того, которое теперь дѣйствуетъ, но и того, которое еще только гото-

вится выступить на общественную службу, — сложились если не прямо на основаніи крѣпостного, несвободнаго устройства, то во всякомъ случаѣ не безъ сильнаго его вліянія. До послѣдняго времени нельзя было съ достаточною прямою возставать противъ этихъ понятій, потому что основаніе ихъ — крѣпостное начало — было узаконено и принято государствомъ. Теперь это начало отвергнуто, признано противнымъ правамъ челоѣчества, лишено покровительства законовъ, и стало быть понятія и требованія, имъ порожденныя и воспитанныя, находятъ себѣ осужденіе въ томъ самомъ, что прежде служило имъ оградой. Теперь дѣло литературы — преслѣдовать остатки крѣпостнаго права въ общественной жизни и добывать порожденныя имъ понятія, возводя ихъ къ коренному ихъ началу. Марко Вовчокъ, въ своихъ простыхъ и правдивыхъ разсказахъ, является почти первымъ и весьма искуснымъ борцомъ на этомъ поприщѣ. Въ послѣднихъ своихъ разсказахъ онъ даже не старается, какъ въ прежнихъ, выставять передъ нами преимущественно то, что называется обыкновенно «злоупотребленіемъ помѣщичьей власти». Что ужъ толковать о злоупотребленіи того, что само по себѣ дурно, — о злоупотребленіи пьянства или воровства, напримѣръ! Что ужъ говорить о такихъ явленіяхъ, къ которымъ подавало поводъ крѣпостное право, но безъ которыхъ оно могло иногда и обходиться! Нѣтъ, авторъ беретъ теперь нормальное положеніе крестьянина у помѣщика, не злоупотребляющаго своимъ правомъ, — и кротно, безъ гнѣва, безъ горечи рисуетъ намъ это грустное, безотрадное положеніе. И изъ этихъ очерковъ, — въ которыхъ каждый, кто хоть немного имѣлъ дѣло

съ русскимъ народомъ, узнаеть знакомыя черты, — изъ этихъ очерковъ возстаеть передъ нами характеръ русскаго простолюдина, сохранившій основныя черты свои посреди всѣхъ обезличивающихъ, давящихъ, убивающихъ отношеній, которыми онъ былъ подчиненъ въ теченіе нѣсколькихъ столѣтій. На нѣкоторыя черты этого характера мы и хотимъ теперь обратить вниманіе.

Извѣстно, что о русскомъ народѣ существуютъ два мнѣнія, противоположныя другъ другу въ самомъ корнѣ. Одни полагають, что русскій человѣкъ ни на что самъ по себѣ не годится и представляетъ не болѣе какъ нуль: если подставить къ нему какія-нибудь иностранныя цифры, то выйдетъ что-нибудь, а если нѣтъ, такъ онъ и останется въ полнѣйшемъ ничтожествѣ. Другіе, напротивъ, имѣють о русскихъ то же понятіе, какое имѣють насчетъ обезьянъ нѣкоторые простолюдины, увѣряющіе, что обезьяна все понимаетъ и говоритъ умѣетъ, только, изъ хитрости, скрываетъ свои дарованія. У насъ, видите ли, что ни мужикъ, то геній; мы не учены, да намъ и науки никакой не нужно — русскій мужикъ топоромъ болѣе сдѣлаеть, чѣмъ англичане со всѣми ихъ машинами; все онъ умѣетъ и на все способенъ, да только, — не знаю ужъ почему, — не показываетъ своихъ способностей. Эти два мнѣнія многими распространяются не только на Великую, но и на Малую и Бѣлую Россію и на все славянское племя. Первое мнѣніе, какъ извѣстно, теперь уже отстало: оно процвѣтало до 1812 г. Отечественная война показала намъ, что мы такое есть на свѣтѣ, и мы до того прониклись славою двѣнадцатаго года, что, наконецъ, сдѣлали таки его смѣшнымъ — и у себя, и передъ иностран-

цами. Такимъ образомъ въ одной карикатурной исторіи Россіи, изданной во Франціи во время восточной войны, Олегъ идетъ на Константинополь съ крикомъ: «не посраимъ русской земли, умремъ за вѣру и отечество! *Мы тѣ же герои, что и въ 1812 году!*» То же кричитъ и Игорь, и Святославъ, и т. д. Дѣйствительно, двѣнадцатый годъ сдѣлался для насъ неисчерпаемымъ источникомъ самохвальства и замѣною всѣхъ добродѣтелей. Толкуютъ намъ о взяткахъ, а мы вспоминаемъ двѣнадцатый годъ, указываютъ на комиссаріатъ — мы обращаемся къ двѣнадцатому году, говорятъ о движеніи идей — мы сейчасъ же къ двѣнадцатому году и къ Пушкину... Такъ было до 1857 года, въ концѣ котораго появились первыя офиціальныя распоряженія объ освобожденіи крестьянъ. Тутъ общество осмотрѣлось и, все продолжая восхищаться Пушкинымъ и двѣнадцатымъ годомъ, сдѣлало однакоже болѣе точное опредѣленіе своихъ мнѣній. Оно нашло, что двѣнадцатый годъ, какъ и Пушкинъ, не принадлежитъ всему народу безъ исключенія, что не всякая голь перекатная способна понимать прелести Евгенія Онѣгина, да не всѣмъ поголовно принадлежитъ и заслуга вымораживанія французовъ. Рѣшено было, что въ Россіи движеніе идей и движеніе доблестей совершалось въ одной известной части народа, и о высокомъ значеніи этой части въ судьбахъ всей Россіи, именно въ этомъ отношеніи, «Московскій Вѣстникъ» уже обѣщалъ намъ представить статью одного знаменитаго русскаго писателя. Будемъ ждать обѣщанной статьи и тогда, если позволятъ обстоятельства, попробуемъ вникнуть въ подробности дѣла, защищаемаго знаменитымъ писателемъ, а теперь будемъ продолжать

изложеніе того, какъ въ образованной части общества сформировалось въ послѣднее время нѣсколько болѣе опредѣленное понятіе о доблестяхъ русскаго народа. Доблести эти, по новѣйшей редакціи, принадлежать собственно «извѣстной части», масса же народа, хотя тоже, конечно, имѣетъ ихъ, но еще не можетъ быть вполне признана ихъ обладательницею, ибо еще не начала жить «сознательной жизнью». Это мнѣніе такъ было хорошо выдуманно, что къ нему пристали всѣ — и тѣ, которые увѣряли, что русскій человѣкъ — нуль, и тѣ, которые давали понять, что онъ — хитрая обезьяна. Первые говорили: «Ну да, когда кто-нибудь возьмется за дѣло и внушить русскому человѣку, что и какъ надо дѣлать, такъ онъ и сдѣлаетъ . . . Мы вѣдь о томъ именно и говорили, что онъ *самъ по себѣ, безъ руководителя*, никуда не годится». Другіе тоже восклицали: «Ну да, и мы вѣдь стояли на томъ, что русскій человѣкъ способенъ ко всему; а само собою разумѣется, что надо эту способность направить, надо умѣть его вести хорошенько». Такимъ образомъ всѣ согласились, что русскій человѣкъ есть существо удоборуководимое и неотлагаемо нуждающееся въ руководствѣ, въ мирномъ, такъ сказать, и отеческомъ попеченіи о развитіи и направленіи его рукъ, ума и воли. Читатель, конечно, безъ комментаріевъ понимаетъ, что значить такое соединеніе противоположныхъ мнѣній, и гдѣ тутъ главный жизненный пунктъ . . . Замѣтимъ еще, что здѣсь-то и специализировалось понятіе о русскомъ человѣкѣ, какъ о великорусскомъ крестьянинѣ по преимуществу.. Славянское племя было вызываемо на сцену только въ разговорахъ уже весьма выпренняго свойства, и то преимуще-

ственно людьми любящими толковать о гніеніи Европы. Что же касается до общепринятыхъ толковъ, то въ нихъ великорусскій крестьянинъ явно отдѣлялся даже отъ малорусскихъ и бѣлорусскихъ своихъ собратій.

Относительно бѣлорусскаго крестьянина дѣло давно рѣшенное: забить окончательно, такъ что даже лишился употребленія человѣческихъ способностей. Не знаемъ, въ какой степени ложно это мнѣніе, потому что не изучали спеціально бѣлорусскаго края; но повѣрить ему, разумѣется, не можемъ. Цѣлый край такъ вотъ взяли да и забили, — какъ бы не такъ! Это такъ же, какъ итальянцевъ забили, разслабили, лишили любви къ родинѣ и къ свободѣ! . . . Посмотрите-ко теперь на нихъ . . . Во всякомъ случаѣ вопросъ о характеристикѣ бѣлоруссовъ долженъ скоро быть разъясненъ трудами мѣстныхъ писарей. Кстати, — мы уже слышали, что съ будущаго года предположено изданіе «Бѣлорусскаго Вѣстника», редакцію котораго принимаетъ на себя нѣкто г. А. Крейцъ, человѣкъ, на усердіе и благородство направленія котораго можно надѣяться.

Что касается до малорусскихъ крестьянъ, то они заслужили отзывы гораздо болѣе благопріятные. Наше образованное общество училось исторіи; а извѣстно, что въ исторіи говорится о кровавой, смертельной борьбѣ Украйны за свою народность. Кромѣ того, наше образованное общество отличается вкусомъ къ изящнымъ искусствамъ и поэзіи; а извѣстно, что Малороссія изобилуетъ прелестными пѣснями, прославляющими казацкую удачу и нѣжныя семейныя чувства. Все это, въ соединеніи съ тѣмъ обстоятельствомъ, что крѣпостное пра-

во водворено въ Малороссіи очень недавно (это тоже извѣстно изъ исторіи), и поставило нашихъ образованныхъ людей въ необходимость нѣсколько выгородить малороссовъ изъ того повального осужденія на удоборуководимость, которымъ характеризовали русскаго человѣка. «Малороссъ лѣнивъ, упрямъ, но гордъ и независимъ по характеру; у него тотчасъ слагается протестъ противъ всякаго нарушенія его правъ, и хотя протестъ этотъ остается недѣйствительнымъ, но все же онъ заявляется». Такъ благоволили отзываться о малороссахъ весьма умные люди, такіе, которые даже перестали гордиться тѣмъ, что они малороссовъ лишь изрѣдка, да и то въ шутку, называютъ хохлами. Разумѣется, къ своему разсужденію они все-таки прибавляли, что руководство необходимо и малороссу, потому что и онъ тоже необразованъ и грубъ, но что во всякомъ случаѣ надо стараться, чтобы не было поводомъ къ такимъ попеченіямъ о немъ, какія изображены въ «Народныхъ оповіданняхъ» Марка Вовчка.

Къ великоруссамъ вообще были гораздо суровѣе. Не то чтобы ихъ считали достойными такого обращенія, какое выставлено въ малороссійскихъ разсказахъ, а такъ, знаете, находили, что для великорусса это бы ничего: онъ, дескать, привыкъ, и не очень чувствителенъ къ подобному обхожденію. Тонкія и деликатныя чувства въ немъ заглохли; сознанія собственнаго достоинства и чувства чести для него не существуетъ, правъ собственной личности и личности другого онъ не понимаетъ, и потому весьма многія вещи, которыя возмущаютъ насъ до глубины души, не возбуждаютъ въ немъ ни малѣйшаго негодованія, не вызываютъ

даже слабаго протеста. Мало того: русскій мужикъ даже не понимаетъ иныхъ мѣръ, кромѣ строгости. Напрасно будете вы взывать къ его человѣческому достоинству, къ святымъ чувствамъ долга и права: онъ не пойметъ васъ, потому что эти чувства ему не знакомы. Для него нужны иныя побужденія; нужно, чтобы требованія долга олицетворялись въ извѣстномъ начальствѣ, съ строгою карою за каждое преступленіе ихъ. Оттого-то необходимо удержать еще на долгое время тѣлесное наказаніе въ крестьянскихъ общинахъ, оттого-то опасно выводить ихъ изъ-подъ благодѣтельнаго, отеческаго надзора помѣщиковъ.

Такъ толкуютъ многіе умные люди, даже печатно. Раскройте любую книжку «Журнала землевладѣльцевъ», изъ котораго недавно перепечатаны великолѣпные «Вечера съ разговоромъ», извѣстные, вѣроятно, нашимъ читателямъ по выпискѣ изъ нихъ въ «Свисткѣ». Да обратитесь и къ «Сельскому Благоустройству», — и тамъ найдете то же самое, и ежели захотите поискать, то отыщете нѣчто подобное и въ другихъ журналахъ, только, разумѣется, нѣсколько въ иныхъ формахъ. Мы выставили самую грубую, т. е. самую простую форму мнѣнія о томъ, что, вслѣдствіе чего бы то ни было, мужикъ русскій имѣетъ теперь низшую породу, нежели прочіе люди, принадлежащіе къ привилегированнымъ классамъ. А бываетъ форма гораздо болѣе замысловатая. Напримѣръ: «Удивительно созданъ русскій человѣкъ! Какая сила терпѣнія, какое величіе самоотверженія! Мы кричимъ и хлопчемъ, едва насъ пальцемъ тронетъ кто-нибудь, а русскій мужичекъ безропотно переноситъ всевозможныя тягости обремененія и, въ на-

ждать на милость Божию, спокойно идетъ своей сѣренькой полоской, неустанно работая и зная, что не ему будутъ принадлежать плоды трудовъ его. Мы эгоистически разсчитываемъ каждый свой шагъ, принесетъ ли онъ намъ пользу, а простого русскаго человѣка пошлите на вѣрную смерть, — онъ пойдетъ безпрекословно, даже не спрашивая, зачѣмъ его посылаютъ» . . . и т. д. и т. д. Вы видите, что сущность мнѣнія та же самая: мужикъ, дескать, грубъ и необразованъ, и потому не имѣетъ ни сознанія правъ своей личности, ни собственного разума и воли. Но форма здѣсь очевидно дипломатическая, и потому въ подобныхъ формахъ высказываются обыкновенно такіе образованные люди, которые готовятся къ ораторскимъ торжествамъ и въ ожиданіи ихъ даютъ обѣды знаменитымъ иностранцамъ и предъ *оними* расточаютъ свое краснорѣчіе.

Но справедливы ли въ сущности мнѣнія образованныхъ и краснорѣчивыхъ людей? Точно ли существенная и отличительная черта русскаго простого человѣка — «недостатокъ инициативы», необходимость посторонняго понуканія? «Громъ не грянетъ, — мужикъ не перекрестится», говорятъ въ свое подкрѣпленіе краснорѣчивые знатоки русской народности, выдавая этотъ пошлый афоризмъ какого-то грамотѣя за *народную* русскую пословицу. Но что они подъ громомъ-то разумѣютъ? Не «апплодисменты» ли, о которыхъ говоритъ Щедринъ въ началѣ своихъ «Губернскихъ очерковъ»? Не душеспасительное ли русское слово, убѣждающее русскаго человѣка работать не впрокъ себѣ? Да, если взять юридическую точку зрѣнія и трактовать крестьянина какъ вещь себѣ не при-

надлежащую, то конечно выйдетъ, что у него и не должно быть никакой инициативы, что она была бы преступленіемъ, и что такъ какъ за преступленіе наказываютъ, то онъ очень хорошо дѣлаетъ, что ее не обнаруживаетъ. Но оставьте крѣпостное воззрѣніе, да оставьте не въ формальностяхъ только, а совсѣмъ, въ самой сущности оставьте, и постарайтесь представить себѣ русскаго мужичка какъ обыкновеннаго независимаго человѣка, какъ гражданина, пользующагося всѣми правами и преимуществами свободнаго государства. Если у васъ достанетъ на это воображенія и если вы хоть немножко знаете основаніе характера и быта русскаго простонародья, то въ вашемъ воображеніи тотчасъ явится картина людей, очень хорошо и умно умѣющихъ располагать своими поступками. А чтобы помочь вамъ въ подобномъ представленіи, мы беремъ книжку Марка Вовчка и напомнимъ вамъ нѣсколько русскихъ характеровъ, въ ней изображенныхъ.

Надо замѣтить прежде всего, что характеры эти не воспроизведены со всею художественною полнотою, а только лишь намѣчены въ коротенькихъ рассказахъ Марка Вовчка. Мы не можемъ искать у него эпопеи нашей народной жизни, — это было бы ужъ слишкомъ много. Такой эпопеи мы можемъ ожидать въ будущемъ, а теперь покамѣстъ нечего еще и думать о ней. Самосознаніе народныхъ массъ далеко еще не вошло у насъ въ тотъ періодъ, въ которомъ оно должно выразить всего себя поэтическимъ образомъ; писатели изъ образованнаго класса до сихъ поръ почти всѣ занимались народомъ, какъ любопытной игрушкой, вовсе не думая смотрѣть на него серьезно. Сознаніе великой роли народныхъ массъ въ экономіи человѣ-

ческихъ обществъ едва начинается у насъ, и рядомъ съ этимъ смутнымъ сознаніемъ появляются серьезныя, искренно и съ любовью сдѣланныя наблюденія народнаго быта и характера. Въ числѣ этихъ наблюденій едва ли не самое почетное мѣсто принадлежитъ очеркамъ Марка Вовчка. Въ нихъ много отрывочнаго, недосказаннаго, иногда фактъ берется случайный, частный, рассказываетъ безъ поясненія его внутреннихъ или внѣшнихъ причинъ, не связывается необходимымъ образомъ съ обычнымъ строемъ жизни. Но строгой оконченности и всесторонности, повторяемъ, невозможно еще требовать отъ нашихъ рассказовъ изъ крестьянской жизни: она еще не открываетъ намъ себя во всей полнотѣ, да и то, что открыто намъ, мы не всегда умѣемъ или не всегда можемъ хорошо выразить. Для насъ довольно и того, что въ рассказахъ Марка Вовчка мы видимъ желаніе и умѣніе прислушиваться къ этому еще отдаленному для насъ, но сильному въ самомъ себѣ, гулу народной жизни, мы чуемъ въ нихъ присутствіе русскаго духа, встрѣчаемъ знакомые образы, узнаемъ ту логику, тѣ требованія и наклонности, которыя мы и сами замѣчали когда-то, но пропускали безъ вниманія. Вотъ чѣмъ и дороги для насъ эти рассказы; вотъ почему и цѣнимъ мы такъ высоко ихъ автора. Въ немъ видимъ мы глубокое вниманіе и живое сочувствіе, въ немъ находимъ мы широкое пониманіе той жизни, на которую смотрятъ такъ легко и которую понимаютъ такъ узко и убого многіе изъ образованнѣйшихъ нашихъ экономистовъ, славянистовъ, юристовъ, либераловъ, нувелистовъ, и пр. и пр.

Въ книжкѣ Марка Вовчка шесть рассказовъ, и каждый изъ нихъ представляетъ намъ женскіе

тины изъ простонародья. Рядомъ съ женскими лицами рисуются, большею частью нѣсколько въ тѣни, и мужскія личности. Это обстоятельство ближайшимъ образомъ объясняется, конечно, тѣмъ, что авторъ разсказовъ Марка Вовчка — женщина. Но мы увидимъ, что выборъ женскихъ лицъ для этихъ разсказовъ оправдывается и самою сущностью дѣла. Возьмемъ прежде всего разсказъ «Маша», въ которомъ это высказывается съ особенной ясностью.

Мы помнимъ первое появленіе этого разсказа. Люди, еще вѣрующіе въ святость и неприкосновенность крѣпостного права, пришли отъ него въ ужасъ и съ негодованіемъ упрекали вольнодумную цензуру, осмѣлившуюся пропустить такой разсказъ. А въ разсказѣ раскрывается естественное и ничѣмъ не заглушимое развитіе въ крестьянской дѣвочкѣ любви къ свободѣ и отвращенія къ рабству. Ничего преступнаго тутъ нѣтъ, какъ видите; но на приверженцевъ крѣпостныхъ отношеній подобный разсказъ дѣйствительно долженъ былъ произвести потрясающее дѣйствіе. Онъ залеталъ въ ихъ послѣднее убѣжище, сбивалъ ихъ съ послѣдней позиціи, въ которой они считали себя неприступными. Видите ли, они какъ люди гуманные и просвѣщенные, согласились, что крѣпостное право въ основаніи своемъ противно правамъ человѣчества. Они вполне понимаютъ, что принадлежность человѣка другому такому же человѣку есть нелѣзность, несообразная съ успѣхами современнаго просвѣщенія. Все это такъ... Но вслѣдъ затѣмъ они говорили, что вѣдь мужикъ еще не созрѣлъ до настоящей свободы, что онъ о ней и не думаетъ, и не желаетъ ея, и вовсе не тяготится своимъ положе-

ніемъ, — развѣ ужъ только гдѣ барщина очень тяжела и приказчикъ крутъ . . . «Да и помилуйте, откуда заберется мужику въ голову мысль о свободѣ? Книгъ онъ не читаетъ, не только запрещенныхъ, а и вовсе никакихъ (а вѣдь извѣстно, что все это вольнодумство не отъ чего другого, какъ отъ книгъ происходитъ); съ литераторами незнакомъ; дѣла у него довольно, такъ что утопій сочинять и недосугъ... Живетъ онъ себѣ, какъ жили отцы и дѣды, и если его теперь хотятъ освободить, такъ это чисто по милости, по великодушію . . . И повѣрьте, что мужикъ не скоро еще очнется, не скоро въ толкъ возьметъ, что такое и зачѣмъ даютъ ему . . . Многие, очень многие еще всплачутся по прежней жизни». Такъ увѣряли умные и просвѣщенные землевладѣльцы и ихъ единомышленники, и считали невозможнымъ всякое возраженіе. И вдругъ, представьте себѣ — имъ не возражаютъ даже, а прямо уличаютъ ихъ во лжи, оспариваютъ дѣйствительность факта, на который они ссылаются. Имъ рассказываютъ случай, доказывающій, что и въ крестьянскомъ сословіи возможна и естественна любовь къ свободному труду и независимой жизни, и что развитіе этого чувства не нуждается даже въ пособіи литературы. Вотъ какой простой случай имъ рассказываютъ.

У крестьянской старушки воспитываются двѣ сироты: племянница ея Мана и племянникъ Федя. Федя — какъ быть мальчикъ, веселый, смирный, покорный; а Мана съ малолѣтства выказываетъ большую своеобразность. Она не довольствуется тѣмъ, чтобы выслушать приказаніе, а непременно требуетъ, чтобы сказали ей, зачѣмъ и почему; ко всему она прислушивается и присматривается и чрез-

вычайно рано обнаруживаетъ наклонность имѣть свое сужденіе. Будь бы дѣвочка у строгаго отца съ матерью, у нея эту дурь, разумѣется, мигомъ бы выбили изъ головы, какъ обыкновенно и дѣлается у насъ съ сотнями и тысячами дѣвочекъ и мальчиковъ, обнаруживающихъ въ дѣтствѣ излишнюю пытливость и неумѣстную претензію на преждевременную дѣятельность разсудка. Но, къ счастью или несчастью Машин, тетка ея была добрая и простая женщина, которая не только не карала Машу за ея юркость, но даже и сама-то ей поддавалась и очень конфузилась, когда не могла удовлетворить распросамъ племянницы или переспорить ее. Такимъ образомъ Маша получила убѣжденіе, что она имѣетъ право думать, спрашивать, возражать. Этого ужъ было довольно. На седьмомъ году случилось съ ней происшествіе, которое дало особенный оборотъ всѣмъ ея мыслямъ. Тетка съ Ѳедей поѣхала въ городъ; Маша осталась одна караулить избу. Сидитъ она на заваленкѣ и играетъ съ ребятишками. Вдругъ проходитъ мимо барыня; остановилась, посмотрѣла и говоритъ Машѣ: «Что это такъ расшумѣлась? Свою барыню знаешь? А? чья ты?» Маша оробѣла, что ли, не отвѣтила, а барыня-то ее и выбранила: «дура растешь, не умѣешь говорить». Маша въ слезы. Барынѣ жалко стало. «Ну, поди, говоритъ, ко мнѣ, дурочка». Маша нейдетъ; барыня приказываетъ ребятишкамъ подвести къ ней Машу. Маша ударилась бѣжать, да такъ и не пришла домой. Воротилась тетка съ Ѳедей изъ города, — нѣтъ Машин; пошли искать, искали-искали, не нашли; ужъ на возвратномъ пути она сама къ нимъ вышла изъ чьего-то конопляника. Тетка хотѣла ее домой вести, — нейдетъ.

«Меня, говоритъ, барыня возьметъ, не пойду я». Кое какъ тетка ее успокоила и тутъ же ей наставленіе дала, что надо барыню слушаться, хотъ она и сурово прикажетъ...

— А если не послушаешься? — промолвила Маша.

— Тогда горя не оберешься, голубчикъ, говорю¹. Любо развѣ кару-то принимать?..

Федя даже смутился, смотритъ на сестру во все глаза.

— Убѣжать можно. — говоритъ Маша, — убѣжать далеко... Вотъ Тростянскіе лѣтось бѣгали.

— Ну, и поймали ихъ, Маша... А которые на дорогѣ померли.

А пойманныхъ-то въ острогъ посадили, распинали всячески, — говорилъ Федя.

— Натерѣлись они стыда и горя, дитятко, — я говорю; а Маша все свое: „да чего все за барыню такъ стоять?“

Она барыня, — толкуемъ ей, — ей права даны, у ней казна есть... такъ ужъ ведется.

— Вотъ что, — сказала дѣвочка. — А за насъ-то кто жъ стоитъ?

Мы съ Федей переглянулись: что это на нее нашло?

Неразумная ты головка, дитятко, говорю.

— Да кто жъ за насъ? — твердить.

Сами мы за себя, да Богъ за насъ, — отвѣчаю ей.
(Стр. 29.)

И съ той поры у Маши только и рѣчей, что про барыню. «И кто ей отдалъ насъ? и какъ? и зачѣмъ? и когда? Барыня одна, говоритъ, а насъ-то сколько! Пошли бы себѣ отъ нея, куда захотѣли: что она сдѣлаетъ?» Старушка-тетка, разумѣется, не могла удовлетворить Машу, и дѣвочка должна была сама доходить до разрѣшенія своихъ вопросовъ. Между тѣмъ скоро пришлось ей примѣнить и на

¹ Разсказъ веденъ отъ лица тетки.

практикъ свой радикальный образъ мыслей. Барыня вспомнила про Машу и велѣла старостѣ посылать ее на работу въ барскій садъ. Маша уперлась: «не пойду», говоритъ, да и только. Теткѣ стало жалко дѣвочку: сказала старостѣ, что больна Маша. За эту отговорку и ухватила дѣвченка: какъ только господская работа, она больна. Ужъ барыня и къ себѣ ее требовала и допрашивала: «чѣмъ больна?» — «Все болить», отвѣчаетъ Маша. Барыня побранить, погрозить и прогнать ее. А на другой разъ опять то же.

Сколько ни уговаривалъ Машу братъ ея, сколько ни просила тетка, на которую барыня тоже гнѣвалась за племянницу, --- ничто не помогало. Маша не только не хотѣла работать, да еще при этомъ и держала себя такъ, какъ будто бы она была въ полномъ правѣ, какъ будто бы то, что она дѣлала, такъ и должно было дѣлать ей. Она не хотѣла, на примѣръ, попросить у барыни, чтобъ освободила ее отъ работы. «Стоило только поклониться, попроситься, — разсуждаетъ простодушная тетка, — барыня ее отпустила бы сама; да не такая была Маша наша. Она, бывало, и глазъ-то на барыню не подниметь, и голосъ-то глухо звучить... А вѣдь извѣстенъ нравъ барскій: ты обмани — да поклонись низко, ты злой человѣкъ — да почтителенъ будь, просися, молися: ваша, моль, власть казнить и миловать — простите! и все тебѣ простится; а чуть возмущился сердцемъ, слово горькое сорвалось, — будь ты и правдивъ и честенъ, — милости надъ тобой не будетъ: ты грубіянь! Барыня наша за добрую, за жалостливую слыла, а вѣдь какъ она Машу донимала! «Погодите, — бывало на насъ грозится, — я васъ всѣхъ проучу!» Хоть она и не

карала еще, да съ такими посулами время не весело шло».

А въ Машѣ отвращеніе отъ барской работы дошло до какого-то ожесточенія, вызывало ее на бессознательный, безумный героизмъ. Разъ братъ упрекнулъ ее, что она отъ работы отговаривается болѣзною, а въ пляскахъ да играхъ передъ всею деревней отличается. «Развѣ, говоритъ, ты думаешь, до барыни не дойдетъ? Нехорошо, что ты насъ подъ барскій гнѣвъ подводишь». Послѣ этого Маша перестала ходить на улицу. Скучно ей, тоскливо смотритъ она изъ окошка на игры подругъ, слеза бѣжитъ у ней по щекѣ, а не выйdetъ изъ избы. Тетка стала посылать ее къ подругамъ, братъ сталъ упрашивать, чтобы она перестала сердиться на его попрекъ: «Я, — говоритъ, — Федя, не сердита, а только ты не упрощай меня понапрасну, — не пойду». Такъ и не ходила, а по ночамъ не спала да по огороду все гуляла, одна одинешенька; и никому того не сказывала, — да разъ невзначай тетка ее подстерегла . . . «Богъ съ тобой, Маша, — говоритъ ей тетка. — Жить бы тебѣ, какъ люди живутъ. Отбыла барщину, да и не боишься ничего . . . А то вотъ по ночамъ бродишь, а днемъ показаться за ворота не смѣешь». — «Не могу, шепчетъ, не могу! Вы хоть убейте меня — не хочу». Такъ и оставили ее . . .

Между тѣмъ Маша выросла, стала невѣстой, красавицей. Старуха-тетка начинаетъ ей загадывать о замужней жизни и пророчить счастье замужемъ. Но Машѣ и то не по праву: «Что жъ замужемъ-то, — одинаково, говоритъ. — Какое счастье!» . . . Тетка толкуетъ, что не все горе на свѣтѣ, есть и счастье. «Есть да не про нашу честь», отвѣчаетъ

Маша съ горькой усмѣшкой . . . Слушая такія рѣчи, Одея начинаетъ задумываться и пригорюниваться. Но Одея не можетъ предаваться своимъ думамъ: онъ отбываетъ барщину. Маша же продолжаетъ упорно отказываться отъ всякой работы. Всѣ на деревнѣ стали дивиться и роптать на бездѣлье Мани, а барыня однажды такъ разсердилась, что велѣла немедленно силою привести къ себѣ Машу. Привели ее. Барыня бросилась къ ней, бранится и сериъ ей въ руки суетъ: «выжми мнѣ траву въ цвѣтникѣ». Да и стала надъ нею: «жми!». Маша какъ взмахнула серпомъ — прямо себѣ по рукѣ угодила. Кровь брызнула, барыня перепугалась: «ведите ее домой скорѣе! вотъ платочекъ — руку перевязать!» Тѣмъ дѣло и кончилось; Маша не оцѣнила даже барской милости: какъ пришла домой, такъ сорвала съ руки барыниной платочекъ и далеко отъ себя бросила . . .

Упрямое сопротивленіе Мани всякому наряду на работу, ея тоска, ея странные запросы — дурно подѣйствовали на ея брата. И онъ закручинился, и онъ отъ работы отбился. Старуха-тетка нашла, что парня пора женить, и говорить ему разъ о невѣстахъ. «Коли свои, говорить, не по праву, такъ бы въ Дерновку съѣздить, тамъ есть дѣвушки хорошія». — «Дерновскіе всѣ вольные», отозвалась Маша. «Что жъ что вольные, — вразумляетъ тетка . . . — Развѣ вольные не выходятъ за барскихъ? Лишь бы имъ женихъ нашъ приглянулся». — «Если бы я вольная была, — заговорила Маша, а сама такъ и задрожала, — я бы, говорить, лучше на плаху головою». Одея очень огорчился этимъ отзывомъ. «Ужъ очень ты барскихъ-то обижаешь, Маша, — проговорилъ онъ и въ лицѣ измѣнился: --- они тоже

вѣдь люди Божіи, только что несчастные». Да и вышелъ съ тѣмъ словомъ . . . Тетка начала по обычаю уговаривать Машу, говоря, что кручиной да слезами своей судьбѣ не поможешь, а развѣ что вѣку не доживешь. А Маша отвѣчаетъ, что оно и лучше умереть-то скорѣе. «Что мнѣ тутъ-то, — говоритъ, — на свѣтѣ-то?»

Такъ живетъ бѣдная семья, страдая отъ немѣстно-поднятыхъ и незаконно разросшихся вопросовъ и требованій дѣвочки. У дурной помѣщицы, у сердитаго управляющаго подобная блажь имѣла бы, конечно, очень дурной конецъ. Но рассказъ представляетъ намъ добрую, кроткую помѣщицу, да еще съ либеральными наклонностями. Она рѣшилась дать позволеніе своимъ крестьянамъ выкупаться на волю. Можно представить себѣ, какъ подѣйствовало это извѣстіе на Машу и Одея. Но мы не можемъ удержаться, чтобы не выписать здѣсь вполнѣ двухъ маленькихъ главъ, составляющихъ заключеніе этого рассказа Марка Вовчка.

А Одея все сумрачнѣй да угрюмѣй, а Маша въ глазахъ у меня таетъ... слезла. Одинъ разъ я сижу подлѣ нея — она задумалась крѣпко; вдругъ входитъ Одея — бодро такъ, весело: „здравствуйте“, говоритъ. Я-то обрадовалась: „здравствуй, здравствуй, голубчикъ!“ Маша только взглянула: чего, молъ, веселье такое?

— Маша, — говоритъ Одея! — ты умирать собираешься, — молода еще видно умирать-то.

Самъ посмѣивается. Маша молчитъ.

Да ты очнись, сестрица, да прислушайся: я тебѣ вѣсточку принесъ.

Богъ съ тобой и съ вѣсточкой, отвѣтила. — Ты себѣ веселись, Одея, а мнѣ покой дай.

Какая вѣсточка, Одея, скажи мнѣ, спрашиваю.

Услышь, тетушка милая! — и обнялъ меня крѣпко-крѣпко и поцаловалъ. — Очнись, Маша! — за руку Машу

схватить и приподнять ее. — Барыня объявила намъ: кто хочет откупаться на волю — откунайся...

Какъ вскрикнетъ Маша, какъ бросится брату въ ноги! Цалуесть и слезами обливаетъ, дрожить вся, голосъ у ней обрывается: „Откупи меня, родной, откупи! Благослови тебя Господи! Милый мой! откупи меня! Господи, помоги же намъ, помоги!..“

Өедя-то самъ рѣкою разливается, а у меня сердце покатилося, — стою, смотрю на нихъ.

— Погоди жь, Маша, — проговорить Өедя, — дай опомниться-то! Обсудить, обдумать надо хорошенько.

— Не надо, Өедя! Откунайся скорѣй... скорѣй, братецъ милый!

— Помѣхи еще есть, Маша, — я вступилася: придется продать почитай послѣднее. Какъ, чѣмъ кормиться-то будемъ?

— Я буду работать... Братецъ! безустанно буду работать. Я выпрошу, выплачу у людей... Я закабачусь, куды хочешь, только выкупи ты меня! Родной мой, выкупи! Я вѣдь изныла вся! Я дня веселаго, сна спокойнаго не знала! Пожалѣй ты моей юности! Я вѣдь не живу — я томлюсь... Охъ, выкупи меня, выкупи! Иди къ ней...

Одѣваетъ его, торошитъ, сама молить-рыдаеть... Я и не опомнилася, какъ она его выпроводила... Сама по избѣ ходить, руки ломаетъ... И мое сердце трепещеть, словно въ молодости, — вотъ что загѣвается! Трудно мнѣ было сообразиться, еще труднѣй успокоиться...

Ждемъ мы Өедю, ждемъ не дождемся! Какъ завидѣла его Маша, горько заплакала, а онъ намъ еще изгнали кричить: „слава Богу!“ Маша такъ и унала на лавку, долго еще плакала... Мы унимать: „Пускай поспачу, — говорить, — не тревожьте; сладко мнѣ и любо, словно я на свѣтъ Божій нарождаюсь сызнову! Теперь мнѣ работу давайте. Я здорова... Я сильная какая! если бъ вы знали!..“

Вотъ и откупились мы. Избу, все спродали... Жалко мнѣ было покидать, и Өедь сгрустнулося: садить, растить, — все прощай! Только Маша веселая и бодрая — слезки она не выронила. Какое! Словно она изъ живой воды вышла, — въ глазахъ блескъ, на лицѣ румянецъ; кажется, что каждая жилка радостью дрожить... Дѣло такъ и кишить у нея... „Отдохни, Маша!“ — „Отдыхать? я работать хочу!“ —

и засмѣется весело. Тогда я впервые узнала, что за смѣхъ у нея звонкій! Тогда Маша бѣлоручкой слыла, а теперь Машу первой руководѣльницей, первой работницей величаютъ. И женихи къ намъ толпой... А барыня-то гнѣвалась — Боже мой! Сосѣди смѣются: „Холопка глухая васъ отуманила! Она нарочно больною притворилась... Вѣдь вы, небось, даромъ почти ее отпустили?“ Барыня и вправду Машей не дорожилась.

Поселились мы въ избушкѣ ветхой, въ городѣ, да трудиться стали. Богъ намъ помогать, мы и новую избу срубили... Одея женился. Маша замужъ пошла... Све-кровь въ ней души не слышитъ: „Она меня словно дочь родная утѣшаетъ; что это за веселая! что это за работающая!“ Больна съ той поры не бывала.

«Фантазія! Идиллія въ соціальномъ вкусѣ! Мечты будущаго золотого вѣка!» закричали послѣ этого разсказа практическіе люди съ гуманными взглядами, но съ тайною симпатіею къ крѣпостнымъ отношеніямъ. «Гдѣ это видано, чтобы въ простой мужицкой натурѣ могла въ такой степени развиться любовь къ свободѣ и сознаніе правъ своей личности? Если когда-нибудь и бывало что-нибудь подобное, такъ это чрезвычайный, эксцентрическій случай, обязанный своимъ происхожденіемъ какимъ-нибудь особеннымъ обстоятельствомъ... Разсказъ о Машѣ вовсе не представляетъ картины изъ русскаго быта; онъ есть просто заоблачная выдумка, нравоучительная притча, которая такъ же точно прилична Испаніи, Бразиліи, какъ и Россіи. Авторъ взялъ не типъ русской простой женщины, а явленіе исключительное, и потому разсказъ его фальшивъ и лишенъ художественнаго достоинства. Требованіе художественности состоитъ въ томъ, чтобы воплощать», и пр. . . .

Тутъ почтенные ораторы пускались въ рассу-

жденія о художественности и чувствовали себя совершенно въ своей тарелкѣ.

Но они могли разсуждать сколько имъ угодно, а разсказъ сдѣлалъ впечатлѣніе на публику. Людямъ, не заинтересованнымъ въ дѣлѣ, и въ голову не пришло возражать противъ возможности и естественности такого факта, какой разсказанъ въ «Машѣ». Напротивъ онъ казался вполне нормальнымъ и понятнымъ для всякаго, знакомаго съ крестьянской жизнью. Въ самомъ дѣлѣ, неужели, даже разсуждая а priori, возможно отвергать въ крестьянинѣ присутствіе того, что мы считаемъ необходимою принадлежностью человѣческаго смысла у каждаго изъ людей? Сознаніе своей личности уже непременно предполагаетъ и сознаніе о ея неприкосновенности, о ея правахъ. А неужели мы рѣшимся поставить русскихъ мужиковъ на степень существъ, даже не сознающихъ своей личности? Это ужъ было бы слишкомъ . . .

Но, пожалуй, ставьте ихъ куда угодно, факты докажутъ вамъ, что такія лица, какъ Маша и Оеда, далеко не составляютъ исключенія въ массѣ русскаго народа. Такихъ проявленій самостоятельности, какія выказались въ Машѣ, конечно нельзя встрѣтить часто. Но это ничего не значитъ. Форма можетъ быть та или другая — это зависитъ отъ обстоятельствъ, — но сущность дѣла остается та же. Люди говорятъ разными языками; одинъ бываетъ разговорчивъ, другой нѣтъ, одинъ имѣетъ громкій голосъ, а другой — слабый, — бываютъ даже и совсѣмъ нѣмые, но все-таки остается не подлежащею сомнѣнію та истина, что человѣкъ имѣетъ даръ слова. Такъ точно, при всемъ разнообразіи степеней, въ какихъ проявляется въ русскомъ про-

столюдинѣ мысль о своихъ естественныхъ правахъ, и стремленіе освободиться отъ обязаннаго, барщиннаго труда — никакого сомнѣнія не можетъ быть въ томъ, что эта мысль и стремленіе существуютъ. Что крестьянинъ нашъ находится въ такомъ положеніи, въ которомъ подобныя стремленія встрѣчаютъ обыкновенно препятствія почти неодолимые, это опять несомнѣнно и извѣстно всѣмъ и каждому. Но именно сила-то этихъ препятствій и даетъ намъ мѣру того, какъ сильны внутреннія стремленія простолюдина, которыя сохраняютъ свою жизненность даже среди самыхъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ. Взгляните въ самомъ дѣлѣ на положеніе крестьянскаго мальчика или дѣвочки, и подивитесь, какъ у нихъ могутъ сохраниться человѣческія стремленія. Отецъ, мать, всѣ родные, подчиненные крѣпостной власти, свыкшіеся съ своимъ положеніемъ и извѣдавшіе, можетъ быть, собственнымъ горькимъ опытомъ все неудобство самостоятельныхъ проявленій своей личности, — всѣ стараются, изъ желанія добра мальчику, съ малыхъ лѣтъ внушить ему безпрекословную покорность чужому приказу, отреченіе отъ собственнаго разума и воли. Умственные способности раскрываются въ ребенкѣ какъ бы для того только, чтобы понять весь ужасъ, всѣ бѣдствія, какія можетъ навлечь на человѣка склонность къ разсужденіямъ, вопросамъ и требованіямъ. Всякая свободная, естественная логика замѣняется житейскими правилами, примѣненными къ рабскому положенію ребенка, въ родѣ тѣхъ увѣщаній, какія тетка дѣлала Машѣ, говоря, что «извѣстенъ нравъ барскій: будь негодяй, да поклонись — и все ничего; будь и чистъ и святъ, да скажи слово поперекъ — и нѣтъ тебя хуже».

Исходный пунктъ всѣхъ этихъ разсужденій — отрицаніе личности въ подчиненномъ существѣ, признаніе его за тварь, за вещь, для которой нѣтъ другого закона бытія, кромѣ произвола того, кому она подчинена . . . Къ такимъ понятіямъ приходятъ люди послѣ долгаго ряда страданій, униженій, убѣдившись въ своемъ безсиліи противъ судьбы; и для того только, чтобы предохранить близкихъ людей отъ подобныхъ же страданій и безплодныхъ попытокъ, стараются они внушить и имъ эти понятія. Многое и принимается слабымъ разсудкомъ и слабою волею ребенка; тамъ, гдѣ подобныя внушенія поддерживаются еще практически — пинками да кулаками за всякій вопросъ, за каждое возраженіе, — тамъ и вырастаютъ робкія, безотвѣтныя, тупыя существа, ни на что негодныя, кромѣ какъ на то, чтобы всякому подставлять свою спину: кто хочетъ — побей, а кто хочетъ — садись да поѣзжай . . . Но это исключенія; въ общей массѣ людей невозможно исказить человѣческую природу до такой степени, чтобы въ ней не осталось и слѣда естественныхъ инстинктовъ и здраваго смысла. Одинъ изъ знаменитыхъ современныхъ публицистовъ Европы замѣтилъ недавно, что если бы деспотизмъ могъ только надъ двумя поколѣніями въ мірѣ процарствовать спокойно, безъ протестовъ противъ него, онъ могъ бы навѣки считать обезпеченнымъ свое господство: двухъ поколѣній ему достаточно было бы, чтобы исказить въ свою пользу смыслъ и совѣсть народа. Но въ томъ-то и дѣло, что деспотизмъ и рабство, противныя природѣ человѣка, никогда не могли достигнуть *нормальности*, никогда не могли покорить себѣ вполне и умъ и совѣсть человѣка. Подчиняясь силѣ, даже

заставляя себя строить силлогизмы въ пользу этого подчиненія, человѣкъ однакоже невольно чувствовалъ, что силлогизмы эти условны и случайны, и что естественныя, истинныя, гораздо высшія требованія справедливости — совершенно имъ противоположны. Отсюда постоянно напряженное, неспокойное, недовольное положеніе массъ, даже безропотно повидимому подчинившихся наложенному на нихъ закону рабства. Въ исторіи всѣхъ обществъ, гдѣ существовало рабство, вы видите родъ спиральной пружинки: пока она придавлена — держится неподвижно, но чуть давленіе ослаблено или снято — она немедленно выскакиваетъ кверху. По прямому закону ея устройства она естественно стремится къ расширенію, и только посторонняя сила можетъ ее сдерживать. Такъ и людская воля и мысль могутъ сдерживаться въ положеніи рабства посторонними силами; но какъ бы эти силы ни были громадны, онѣ не въ состояніи, не сломавши, не уничтоживши спиральной пружинки, отнять у нея способность къ расширенію, точно также какъ не въ состояніи, не истребивши народа, уничтожить въ немъ наклонность къ самостоятельной дѣятельности и свободному разсужденію.

Къ счастью, не отнимается эта наклонность и у нашихъ простолюдиновъ. Между крестьянскими дѣтьми вы встрѣтите нерѣдко такихъ же наивныхъ радикаловъ, какъ между дѣтьми другихъ сословій. Вѣроятно, каждому изъ нашихъ читателей не разъ случалось ловить дѣтей въ ихъ мечтахъ и воздушныхъ замкахъ, провозглашаемыхъ ими во всеуслышаніе. Случалось, вѣроятно, входить и въ разсужденія съ дѣтьми по этому поводу, съ цѣлью довести ихъ *ad absurdum*. Вспомните же, какъ

трудно обыкновенно достигалась подобная задача. Для ребенка не существует наша условная, житейская логика, наши приличія, наше положительное законодательство. Тамъ, гдѣ взрослога человѣка можно остановить однимъ словомъ: «не вѣрно, не принято» и т. п., — съ ребенкомъ нѣтъ возможности справиться. Мамы никакъ не можетъ понять, отчего всѣ такъ стоятъ за барыню, и почему ея всѣ боятся: «она вѣдь одна, а насъ много; пошли бы всѣ, куда захотѣли, — что она сдѣлаетъ?..» Такія дѣтскія разсужденія, ставяція втупикъ взрослога человѣка, чрезвычайно часто случается слышать; они общи всѣмъ дѣтямъ, которыхъ не совсѣмъ забыли при самомъ началѣ развитія. Въ крестьянскихъ дѣтяхъ они встрѣчаются не только не меньше, чѣмъ въ дѣтяхъ другихъ сословіи, но даже еще чаще. Причина понятна: крестьянскія дѣти, говоря вообще, свободнѣе воспитываются. отношенія между младшими и старшими тамъ проще и ближе, ребенокъ раньше дѣлается дѣятельнымъ членомъ семьи и участникомъ общихъ трудовъ ея. А съ другой стороны и то много значитъ, что естественный, здравый смыслъ ребенка тамъ меньше искажается искусственными, повидимому удовлетворительными, отвѣтами, какіе находитъ мальчикъ или дѣвочка образованнаго сословія. Мы вѣдь съ раннихъ лѣтъ изучаемъ множество наукъ въ родѣ міоологіи и геральдики и съ малолѣтства искажаемъ свой разсудокъ разными казуистическими тонкостями и софизмами. Крестьянскій ребенокъ въ своей необразованной семьѣ не можетъ слышать ничего подобнаго, и потому долго остается вѣренъ природѣ и здравому смыслу, пока наконецъ не угомонитъ его тяготѣніе виѣшней силы, вооружен-

ной всѣми пособіями новѣйшей цивилизаціи, и опирающейся на всѣ силлогизмы и хрѣи, изобрѣтенныя просвѣщенными и краснорѣчивыми людьми . . .

Вотъ эта-то сила, тяготящая надъ простолюдиномъ и останавливающая нормальный ходъ его мысли, и оставляетъ обыкновенно болѣе свободы женщинѣ, нежели мужчинѣ; и вотъ почему сказали мы выше, что самая сущность дѣла оправдываетъ выборъ женскаго лица для изображенія живыхъ, свободныхъ стремленій мысли и воли въ крестьянскомъ сословіи. Крестьянскій мальчикъ рано надѣваетъ на себя тягу, испытываетъ на дѣлѣ несостоятельность всѣхъ своихъ думъ и мечтаній и пріучается регулярно убивать свою мысль и заглушать свои высшія стремленія. Дѣвушка, какъ ни много раздѣляетъ она общіе труды съ мужчинами, все-таки имѣетъ нѣсколько болѣе свободы предаться своимъ мыслямъ. Самый родъ многихъ занятій благопріятствуетъ этому: за пряжей, тканьемъ, шитьемъ и вязаньемъ гораздо удобнѣе думать и мечтать, нежели при сѣяныи, паханьи, жнитвѣ, молотьбѣ, рубкѣ дровъ и пр. При томъ же можно предполагать, что и у крестьянъ, какъ вообще во всѣхъ сословіяхъ, воспріимчивость и воображеніе сильнѣе у женщинъ, нежели у мужчинъ. И дѣйствительно, припомнивъ многія наблюденія надъ жизнью простонародія, мы находимъ, что женщины здѣсь вообще болѣе мужчинъ склонны къ разсужденіямъ о предметахъ возвышенныхъ — о душѣ, о будущей жизни, о началѣ міра и т. п. Знахарство, врачебное искусство, знаніе травъ и наговоровъ — — принадлежитъ преимущественно женщинамъ. Сказки, легенды и всякаго рода преданія хранятся въ устахъ старушекъ; рассказы о

святыхъ мѣстахъ и чужихъ земляхъ также разносятся по Руси странниками и богомолками. На разговоръ о томъ, какъ на свѣтѣ правды не стало, и какъ всѣ въ мірѣ беззаконствуютъ — можно въ нѣсколько минутъ навести всякую бабу. Правда, заключеніе разговора будетъ не отрадное: «все, дескать, это по грѣхамъ нашимъ, и видно ужъ такъ намъ на роду написано, судьба наша такая несчастная, и ничего съ нею не подѣлаешь...». Но говорится это больше по привычкѣ; а когда станешь продолжать разговоръ и предлагать средства для выхода изъ настоящаго положенія, то и окажется, что самая фаталистическая старуха не прочь бы ими воспользоваться, да только боится и не довѣряетъ.

У мужчинъ замѣчается тотъ же видимый фатализмъ; но это опять не фатализмъ вѣры, а фатализмъ отчаянія: такъ больной, убѣжденный въ неизбежности близкой смерти и потерявшій довѣренность къ лѣкарямъ, не хочетъ принимать лѣкарства. Такъ и мужикъ, отчаявшись въ возможности выйти изъ своего положенія, не хочетъ и говорить о немъ. Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы больному хотѣлось умереть, и чтобы мужику было сладко его положеніе. И тотъ, и другой приняли бы съ радостью всякое средство, которое бы могло послужить къ ихъ дѣйствительному облегченію. Мало того, — врачи-психологи говорятъ — и нельзя не вѣрить этому, — что всякій больной, самый отчаянный, до послѣдней, рѣшительной минуты не теряетъ надежды на возможность такого средства, не перестаетъ въ глубинѣ души ждать его, хотя повидимому уже совершенно покорился своей участи и готовится къ смерти. То же самое и съ

людьми, находящимися въ стѣсненномъ положеніи и повидимому примирившимися съ нимъ: они отчаялись и смирились только видимо, а внутри ихъ непремѣнно бродитъ желаніе и надежда выйти изъ этого положенія. Первые слухи объ освобожденіи были встрѣчены крестьянами очень недовѣрчиво. Намъ не разъ случалось, въ отвѣтъ на эту новость, слышать отъ мужика: «Давно ужъ объ этомъ толкуютъ; да гдѣ ужъ тому быть? И такъ вѣкъ изживемъ». Но, при всемъ своемъ недовѣріи и наружномъ равнодушіи, тотъ же крестьянинъ съ любопытствомъ разспрашивалъ о подробностяхъ разныхъ правительственныхъ распоряженій, относящихся къ дѣлу освобожденія. А потомъ, когда стало ясно, что съ нимъ не шутятъ, вопросъ освобожденія сталъ для крестьянъ нашихъ рѣшительно на первомъ планѣ, какъ самое важное и жизненное дѣло. Теперь нѣтъ уголка во всей Россіи, гдѣ бы не рассказывали о томъ, какъ при началѣ дѣла освобожденія помѣщичьи крестьяне собирали сходки и отправляли депутаціи — или къ помѣщику, или къ священнику, или даже къ земскимъ властямъ, чтобы разузнать, что и какъ намѣрены рѣшить насчетъ ихъ... Памятенъ также и тотъ азартъ, съ которымъ народъ въ Петербургѣ бросился къ сенатской книжкѣ лавкѣ, когда однажды, въ началѣ 1856 г., разнесся слухъ, что вышелъ и продается указъ объ освобожденіи крестьянъ.

Да и безъ этихъ демонстрацій, — есть одинъ фактъ, безмолвный, но убѣдительно свидѣтельствующій въ пользу того, что отвращеніе къ крѣпостному состоянію, крѣпостному труду сильно развито въ массѣ. Совсѣмъ отказаться отъ работы, протестовать прямо крестьянинъ не можетъ. От-

дѣлываться отъ барскихъ приказовъ такъ, какъ Маша въ разсказѣ Марка Вовчка, возможно очень рѣдко, да и то въ одиночку, а не скопомъ, не цѣлою гурьбою. Какъ скоро подобная наклонность отказать отъ барской работы обнаруживалась по мѣстамъ, то послѣдствія, какъ извѣстно, бывали для крестьянъ очень непріятныя. Поэтому, волей-неволей, надо было работать. Но что же однако? Во всей Россіи, во всѣхъ крѣпостныхъ имѣніяхъ, безъ всякаго, конечно, соглашенія и уговора, крестьяне заявляютъ свой протестъ противъ обязательнаго труда особымъ способомъ: они работаютъ плохо. Большею частью они даже сами не умѣютъ формулировать объясненія для своихъ поступковъ, но фактъ, что барщинская работа очень неспора, — повсемѣстенъ. Кромѣ профессора Горлова и (вѣроятно) его усердныхъ слушателей и поклонниковъ въ университетѣ, всѣ согласны въ томъ, что вольнонаемный трудъ несравненно спорѣе и выгоднѣе обязательнаго. Объ этомъ даже многіе землевладѣльцы писали въ своемъ журналѣ. Чего же вамъ еще? Отъ чего происходитъ это явленіе, какъ не отъ безсознательнаго присутствія въ каждомъ мужикѣ, въ каждой бабѣ крестьянской того же чувства, которое такъ ясно и сознательно выразилось въ Машѣ Марка Вовчка? Разница въ степени развитія и въ формѣ проявленія, а основа и здѣсь и тамъ одна и та же.

Да, мы находимъ, что въ «Машѣ» разсказанъ не исключительный случай, чуждый нашей жизни и могущій произойти развѣ съ одною изъ ста тысячъ крестьянскихъ душъ, — какъ претендуютъ плантаторы и художественные критики. Напротивъ, мы смѣло говоримъ, что въ личности Машы

схвачено и воплощено высокое стремленіе, общее всей массѣ русскаго народа, терпѣливо, но неотступно ожидающей свѣтлаго праздника освобожденія. Мы никогда не согласимся съ тѣми, кто хочетъ отрицать въ народѣ даже это ожиданіе, утверждая, что онъ еще не получилъ вкуса къ самостоятельной жизни, къ свободному распоряженію своими поступками. Благодаря историческимъ трудамъ послѣдняго времени и еще болѣе новѣйшимъ событіямъ въ Европѣ, мы начинаемъ немножко понимать внутренній смыслъ исторіи народовъ, и теперь менѣе, чѣмъ когда-нибудь, можемъ отвергать постоянство во всѣхъ народахъ стремленія, — болѣе или менѣе сознательнаго, но всегда проявляющагося въ фактахъ, — къ восстановленію своихъ естественныхъ правъ на нравственную и матеріальную независимость отъ чужого произвола. Въ русскомъ народѣ это стремленіе не только существуетъ наравнѣ съ другими народами, но вѣроятно еще сильнѣе, нежели у другихъ. Говоримъ это вовсе не потому, чтобы раздѣляли хоть малѣйшую долю миѣнія о превосходствѣ славянскаго племени надъ всѣми прочими и о данномъ ему свыше призваніи —

Хранить для міра достоянье
Высокихъ жертвъ и чистыхъ дѣлъ,
Хранить племень святое братство,
Любви живительный сосудъ,
И вѣры пламенной богатство,
И правду, и безкровный судъ, —

и всѣ подобныя прелести, о которыхъ такъ звучно умѣетъ пѣть господинъ Хомяковъ. Нѣтъ, безъ всякихъ тонкихъ соображеній о племенныхъ разли-

чїяхъ, мы просто смотримъ на предшествоующія событія и на результатъ ихъ — современное положеніе народа. Всякому ясно, что человѣкъ всѣмъ голодный съ большимъ аппетитомъ будетъ ѣсть свой обѣдъ, нежели тотъ, кто передъ обѣдомъ успѣлъ позавтракать; тотъ, у кого вовсе нѣтъ никакихъ средствъ къ жизни, будетъ ихъ отыскивать энергичнѣе и упорнѣе, нежели тотъ, у кого есть хотя плохая возможность прожить кое-какъ. Изъ всѣхъ европейскихъ народовъ самый консервативный, самый преданный установившимся законамъ и преданіямъ, конечно, англичане; и это какъ нельзя болѣе понятно. Они имѣли время внутренняго броженія, время, когда они должны были дорогою цѣною покупать себѣ самыя ничтожныя права; но, купивши ихъ, они успокоились, если не вполне удовлетворенные, то по крайней мѣрѣ обезпеченные въ самыхъ первыхъ, необходимыхъ своихъ требованіяхъ. При этой обезпеченности, дальнѣйшія стремленія сами собою получаютъ характеръ спокойный, умѣренный, чуждый всякой порывистости и лихорадочности. Человѣкъ, запасшійся зонтикомъ, хотя и чувствуетъ непріятность подъ дождемъ, но все-таки онъ прикрытъ хоть нѣсколько, и потому не имѣетъ надобности бѣжать къ дому такъ торопливо, какъ тѣ, у которыхъ ничѣмъ прикрыться... Вотъ этого-то зонтика, подъ которымъ переносить дождь большая часть европейскихъ народовъ, и не успѣла дать намъ наша предшествоующая исторія. Мы еще только готовимся вступить на тотъ путь, которымъ прошла Европа; мы еще недавно и глядѣть-то стали на ея путешествіе и едва начинаемъ различать дорогу. Отъ этого идемъ мы робко, неровно, какъ бы ощу-

пью; отъ этого и кажется, что у насъ нѣтъ инициативы. Но мы чувствуемъ надобность идти, хотя бы до первой станціи; намъ нельзя оставаться на одномъ мѣстѣ, нельзя и остановиться на дорогѣ. Ясно, что начало нашего пути должно быть совершаемо съ болѣею рѣшимостью, спѣшностью и твердостью, нежели продолженіе пути, которое мы видимъ теперь у другихъ народовъ. Наши нужды настоятельнѣе, безъ удовлетворенія ихъ труднѣе прожить, нежели безъ удовлетворенія того, къ чему стремятся теперь европейскіе народы. Брайттовская реформа въ Англіи, свобода прессы во Франціи, требуемая какимъ-нибудь Фавромъ или Оливье, безъ сомнѣнія вещи нужныя, и современемъ онѣ будутъ достигнуты; но для нихъ еще время терпѣть, онѣ далеко не такъ существенны и настоятельны, какъ законное обезпеченіе гражданскихъ правъ и матеріальнаго быта милліоновъ народа, до сихъ поръ болѣе или менѣе терпѣвшихъ отъ тяжелаго вліянія произвола. Для этихъ милліоновъ дѣло идетъ не о какой-нибудь прибавкѣ къ правамъ, которыя они уже пріобрѣли прежде, а чисто-начисто о созданіи хоть какихъ-нибудь правъ, потому что подъ вліяніемъ крѣпостного принципа они, если не *de jure*, то *de facto*, не имѣли вовсе никакихъ. Ясно, что жажда пріобрѣтенія этихъ правъ, если ужъ она разъ почувствована, должна быть сильнѣе, нежели всякое стремленіе къ расширенію правъ уже существующихъ, ясно, что здѣсь именно всего сильнѣе можетъ обнаружиться дѣятельность народнаго духа, и потому этотъ предметъ заслуживаетъ особеннаго вниманія всѣхъ людей, истинно-любящихъ народное благо. Многіе до сихъ поръ полагаютъ, что народъ, еще

не получившій свободы, не долженъ заслуживать и серьезнаго вниманія, такъ какъ онъ живетъ и дѣйствуетъ не самъ по себѣ, а какъ ему велятъ. И это разсужденіе было бы справедливо, если бы оно относилось къ массѣ окончательно обезличенной и совершенно лишенной всѣхъ человѣческихъ стремленій. Но мы уже сказали, что не вѣримъ даже въ возможность подобнаго обезличенія цѣлаго народа, и ни въ какомъ случаѣ не можемъ навязать его народу русскому. А если потребность возстановить независимость своей личности существуетъ, то намъ нѣтъ надобности знать, получила ли она формальное разрѣшеніе или нѣтъ: будетъ ли она освящена формальнымъ образомъ, или нѣтъ, во всякомъ случаѣ она проявится въ фактахъ народной жизни, рѣшительно и неотлагаемо. Заглушить эту потребность или повернуть ее по-своему никто не въ состояніи; это рѣка, пробивающаяся черезъ всѣ преграды и не могущая остановиться въ своемъ теченіи, потому что подобная остановка была бы противна ея естественнымъ свойствамъ.

Но какое же именно направленіе можетъ принять на практикѣ это стремленіе къ пріобрѣтенію самостоятельности и свободы? Извѣстно, что эти понятія самыя неопредѣленныя, и можетъ быть ни одно изъ словъ, обращающихся въ разговорномъ обиходѣ человѣчества, не возбуждало столько споровъ, какъ слово «свобода». Ученые и философствующіе люди доселѣ не могутъ окончательно согласиться въ опредѣленіи этого понятія; какъ же пойметъ его нашъ простолюдинъ? Многіе увѣряютъ, что, по глупости и необразованности своей, подъ свободой онъ будетъ разумѣть возможность ничего не дѣлать, никого не слушаться, каждый день

напиваться и буянить; читатели наши уже знаютъ, въ какомъ разрядѣ принадлежать люди, провозглашающіе такое мнѣніе. Потому мы о нихъ не станемъ распространяться, а скажемъ только, что эти люди, отзываясь подобнымъ образомъ о крестьянахъ, судятъ по себѣ, не принимая въ соображеніе разницы условій, подъ которыми вырастаютъ они и простолюдины. Для изученія этой разницы имъ опять надо обратиться къ Марку Вовчку: у него найдутъ они поучительный рассказъ въ этомъ смыслѣ, подъ названіемъ «Игрушечка».

Въ «Игрушечкѣ» разсказывается исторія развитія прекрасной дѣтской натуры, подобной Машѣ, но только натуры барской. Сравните оба разсказа, и вы увидите, какъ несравненно больше залоговъ правильнаго, здороваго развитія заключаетъ въ себѣ жизнь простолюдина, нежели жизнь барченка или барышни. Тамъ и требованія проще, и цѣль ближе и опредѣленнѣе, и самый способъ разсужденія не такъ искаженъ. Самое печальное и губельное искаженіе мысли простолюдина состоитъ въ томъ, что онъ теряетъ ясное сознаніе своихъ человѣческихъ правъ, своей личной самобытности и непринадлежности никому другому. На этомъ пути онъ дѣйствительно доходитъ до величайшихъ нелѣпостей, насильственно убивая въ себѣ самыя законныя требованія и стремленія своей природы. Но такъ какъ природныя требованія всегда сохраняютъ извѣстную долю силы надъ человѣкомъ, то всегда есть надежда навести бѣдняка на правильную точку зрѣнія. А какъ скоро ужъ онъ на эту точку станетъ, — онъ ее примѣнитъ и къ дѣлу; въ этой практичности состоитъ особенность крестьянской мысли, и въ этомъ заключается ея сила.

Мы обыкновенно философствуемъ для препровожденія времени, иногда для пищеваренія, и большею частью о предметахъ, до которыхъ намъ дѣлать и которыхъ мы никакимъ образомъ измѣнить не въ состояніи, да и не намѣрены. Крестьянину вовсе не до такой умственной роскоши; онъ человѣкъ рабочій, онъ задумывается надъ тѣмъ, что можетъ имѣть отношеніе къ его жизни, и задумывается именно для того, чтобы въ душѣ своей найти основаніе для практической дѣятельности. Припомните, о чемъ разсуждала, чего допытывалась Маша, и къ чему ее привели всѣ ея размышленія. Намъ кажется, что въ ея лицѣ авторъ весьма удачно выставилъ главнѣйшіе вопросы, съ которыхъ должна начинаться работа мысли въ цѣломъ сословіи. Первый вопросъ, разумѣется, долженъ касаться личной неприкосновенности: «Что же это такое? Я не хочу, а меня тащатъ; зачѣмъ — неизвѣстно, по какому праву — непонятно; этого не должно быть». Въ этомъ простомъ разсужденіи заключается уже зародышъ всѣхъ возможныхъ правъ и гарантій общественныхъ. Извѣстенъ процессъ мышленія: когда я хочу объяснить чей-нибудь поступокъ со мной, я ставлю самого себя на мѣсто другого и стараюсь придумать, что могло бы заставить меня на этомъ мѣстѣ поступить такимъ образомъ; если никакихъ достаточныхъ мотивовъ не оказывается, я признаю поступокъ несправедливымъ. Поэтому, если ребенокъ задумывается надъ тѣмъ, по какому праву другіе посягаютъ на его личность, и кончаетъ тѣмъ, что не находитъ тутъ никакого права, то уже въ этомъ разсужденіи вы находите гарантію того, что въ ребенкѣ нѣтъ склонности посягать самому на чужую личность. Такимъ

образомъ люди, возстающіе противъ насилія и произвола, тѣмъ самымъ даютъ уже намъ нѣкоторое ручательство въ томъ, что они сами не будутъ прибѣгать къ насилію и не дадутъ простора своему произволу; желаніе неприкосновенности для своей личности заставитъ ихъ уважать и личность другихъ. Конечно, и въ людяхъ, дѣйствующихъ произвольно и насильственно, надобно тоже предполагать присутствіе нѣкотораго желанія, чтобы съ ними не поступали такъ, какъ они съ другими: но позволительно думать, что, вслѣдствіе совершенно уродливаго развитія, даже это желаніе въ нихъ не довольно сильно и при томъ подвержено множеству ограниченій. Замѣчено, что люди, гордые и деспотичные съ низшими, почти всегда являются подлыми ласкателями и безпрекословными овечками передъ высшими. Замѣчено также, что самые неумолимые, самые неслосные управляющіе въ помѣщичьихъ имѣніяхъ — бывають изъ лакеевъ, и что вообще лакеи себя держатъ предъ мужиками гораздо высокомернѣе, чѣмъ ихъ господа. Читатель можетъ самъ дополнить эти наблюденія еще нѣсколькими примѣрами изъ болѣе обширнаго круга, и онъ непремѣнно придетъ къ заключенію, что употребленіе насилія надъ другими заглушаетъ или по крайней мѣрѣ очень ослабляетъ въ чловѣкѣ способность истинно и глубоко возмущаться противъ насилія надъ нимъ самимъ. Въ послѣднее время мы видали, правда, что люди, весь свой вѣкъ не знавшіе другого закона, кромѣ произвола, вдругъ начинали кричать противъ произвола, когда онъ задѣвалъ ихъ интересы. Но зато эти люди обыкновенно покричатъ, пошумятъ, да и отстанутъ: энергически, дѣятельно защищать то, что они счи-

таютъ своимъ правомъ, они не могутъ, потому что сознаніе права вообще у нихъ очень потускибло и стерлось.

Итакъ, первое, что является непререкаемою истиною для простаго смысла, есть неприкосновенность личности. Рядомъ съ этимъ неизбѣжно является и понятіе объ обязанности и правахъ труда. «Я не имѣю права на стѣсненіе чужой личности, такъ какъ никто не имѣетъ права стѣснять меня самого; значитъ, я не могу разсчитывать жить на чужой счетъ: это значило бы отнимать у другихъ плоды ихъ трудовъ, т. е. насиловать, порабощать ихъ личность. Стало быть, я необходимо долженъ заботиться самъ объ обезпеченіи своей жизни, долженъ работать: живя своимъ трудомъ, я не буду имѣть надобности отнимать чужое, и вмѣстѣ съ тѣмъ, имѣя матеріальное обезпеченіе, буду имѣть средства постоянно сохранять свою собственную независимость». Таковы простѣйшія соображенія, изъ которыхъ вытекаетъ обязанность трудиться, ясная, какъ день, для всякаго простаго человѣка. И эти соображенія не выдуманы нами теоретически: они прочно и глубоко лежатъ въ душѣ каждаго простолюдина. Ему обыкновенно даже и въ голову не приходитъ, чтобы можно было жить на свѣтѣ ничего не дѣлая: такъ онъ далеко отъ этого на практикѣ. Скажите любому крестьянину въ рабочую пору, чтобъ онъ отдохнулъ, бросилъ работу, вы получите простой отвѣтъ: а гдѣ жъ мы хлѣба-то возьмемъ? Не поработаешь, такъ и не поѣшь.

Стоитъ только обернуть разсужденіе, приводящее къ мысли объ обязанности работать, и мы получимъ выводъ о правахъ труда. «Если я дол-

женъ работать для своего обезпеченія, потому что не могу и не долженъ воспользоваться плодами трудовъ моего сосѣда, то очевидно, что и сосѣдъ долженъ имѣть въ виду то же самое соображеніе. Онъ долженъ работать для себя, и я никакъ не хочу и не считаю справедливымъ отдавать ему то, что я заработалъ». И вотъ мы прямо приходимъ къ требованіямъ и рѣшеніямъ, къ которымъ пришла Маша у Марка Вовчка, и которыя въ гораздо меньшей, едва замѣтной степени проявляются во всемъ крѣпостномъ населеніи русскомъ. «Что мнѣ работать на другихъ? Лучше я ничего не буду дѣлать», — такъ разсуждаютъ люди, лишенные полныхъ правъ на свой трудъ, и — или вовсе отказываются отъ труда, гдѣ можно, какъ Маша, напримѣръ, или стараются употреблять какъ можно меньше усилій и усердія для чужой работы, какъ дѣлаютъ помѣщичьи крестьяне по всей Россіи. Отсюда мы можемъ сдѣлать простой выводъ о томъ, куда направлятся крестьянскія силы, какъ скоро они получаютъ право свободно располагать своимъ трудомъ: какъ Маша, при первой вѣсти о возможности свободы, закричала, что она работать будетъ, хоть закабалить себя, только бы заработать свой выкупъ, такъ точно и цѣлая масса, послѣ освобожденія, обратится къ усиленному труду, къ заботамъ объ улучшеніи своего положенія. Теперь вѣдь ужъ весь трудъ освобожденнаго работника — его, ему принадлежитъ неотъемлемо, значитъ, чѣмъ больше онъ потрудится, тѣмъ больше и пріобрѣтетъ, тѣмъ лучше будетъ и его положеніе. При такихъ условіяхъ даже и временное лишеніе личной свободы не такъ тяжело. Замѣчательно, что Маша для пріобрѣтенія свободы хочетъ закабалить себя: это значитъ,

что для нея главнымъ образомъ не то тяжело, что она не можетъ дѣлать всего что хочетъ, а то горько, что она должна отречься отъ правъ на свой трудъ безъ всякаго резона, Богъ вѣсть зачѣмъ. Отдавая себя въ кабалу, она знаетъ, что тутъ условія дѣлаются обязательными съ обѣихъ сторонъ; она будетъ въ кабальной работѣ, а за нее зато выплатятъ выкупъ. Такимъ образомъ для нея видно здѣсь начало и основаніе ея рабства; да виденъ и конецъ, и при томъ конецъ, до нѣкоторой степени все-таки сообразный со смысломъ, такъ какъ кабальный терминъ разсчитывается пропорціально величинѣ уплаты и стоимости работы закабаленнаго. Ничего подобнаго не было въ томъ состояніи, подъ которымъ жила Мана у своей барыни: тамъ ни начала, ни конца, ни входа, ни выхода, ни смысла, ни разсчета, — одинъ только произволь и вслѣдствіе того полное отсутствіе всякихъ личныхъ гарантій и опредѣленныхъ правъ; что захотятъ, то съ тобой и сдѣлаютъ, безъ резона, безъ отчета, безъ отвѣта . . . Это-то всегда болѣе и невыносимо для человѣка, у котораго хоть чуть-чуть начинается просыпаться требованіе справедливости, отъ природы присущее всѣмъ людямъ, но во многихъ заглушаемое приниженіемъ и придушеніемъ ихъ личности.

Такимъ образомъ, предполагая, что крестьяне получаютъ свободу, мы видимъ вслѣдъ за этимъ, какъ прямой результатъ, увеличеніе количества и возвышеніе качества ихъ труда. Само собою разумѣется, что мы не смѣемъ прилагать всѣхъ выше изложенныхъ разсужденій, какъ непремѣннаго условія, къ правительственнымъ мѣрамъ освобожденія, приводимымъ теперь къ концу въ редакціонной ко-

миссін. Мы говорили только о томъ, что должно быть вообще по требованію логики и наблюденій надъ крестьянскимъ бытомъ и характеромъ; но мы нимало не хотимъ касаться спеціально хозяйственныхъ и административныхъ вопросовъ, подлежащихъ разсужденію комиссін, и заранѣе опредѣлять возможные послѣдствія тѣхъ мѣръ, какія будутъ приняты правительствомъ. Мѣры эти весьма естественно могутъ произвести свои особыя дѣйствія, весьма различныя отъ тѣхъ, какія мы можемъ предвидѣть, разсуждая о дѣлѣ въ общихъ чертахъ и представляя только логическія его опредѣленія. Но наша задача состоитъ только въ указаніи на нѣкоторыя черты народнаго характера, а вовсе не въ опредѣленіи способа дѣйствій крестьянскихъ комитетовъ и комиссій, до которыхъ намъ здѣсь совсѣмъ нѣтъ дѣла. Поэтому, останавливаясь на самыхъ общихъ намекахъ на то, какимъ образомъ должна быть принята и употреблена свобода каждымъ простолюдиномъ нашимъ, мы теперь возвратимся къ той параллели, къ которой, какъ мы сказали, подастъ поводъ разсказъ «Игрушечка».

Игрушечка есть не болѣе какъ искаженіе имени Аграфена, Груша, Грушечка, но искаженіе, полное грустнаго и тяжелаго значенія. Эта Груша, крестьянская дѣвочка, въ самомъ дѣлѣ была весь свой вѣкъ игрушечкою своей барышни и барыни, а барышня и барыня, загубившія ея вѣкъ, были въ сущности совершенно невинныя, добрыя созданія, которыя никогда бы не согласились мучить, губить людей: онѣ могли только *играть*, забавляться ими. Вся барская жизнь, изображенная въ «Игрушечкѣ», полна такой идилліи, что становится совѣстно ска-

затъ жесткое слово объ этихъ господахъ. Ни малѣйшаго слѣда какого-нибудь разсчета, преднамѣренности, злобы или хитрости не видно во всей ихъ жизни, во всѣхъ ихъ, даже самыхъ дурныхъ, поступкахъ. Какъ они живутъ и что ихъ занимаетъ, это намъ всего лучше разскажетъ сама Игрушечка (стр. 132—135).

Господа наши были молоды. Нашу барыню все красавицей величали. Такая была высокая да статная, чернобровая, бллая, — только лѣнивая... Господи, какая она ужь лѣнивая-то уродилась! И глядеть-то она на тебя въ полглаза. Всей работы у нея было, всего дѣла, что изъ горницы въ горницу плавать, склонивши голову на бокъ, и длиннымъ своимъ платьемъ шелковымъ шуршить. Оживится немножко она развѣ, какъ гости наѣдутъ, говорливая, да веселая, да осудливая. Поднимутъ на зубки и чепчики разные, и генеральшу московскую, поахаюгъ объ городъ Парижъ да побранять своей уѣздъ. — тогда и наша барыня голову подниметъ и заговорить себѣ громче... Баринъ поживѣе ея былъ, веселая пѣсенки все пѣвать да насвистывать. Говорили, что *не баиковатъ онъ, ну да это смиренъ былъ. Съ барынею они жили согласно. И она была барыня дѣлая. Никого они не карали, не казнили, они и сердиться-то рѣдко сердились. Приди кто изъ людей съ какой просьбой къ нимъ — ничего, не выгонять, развѣ только пускать не велитъ, коли докучило, или пообѣщаютъ, да не сдѣлаютъ — забудутъ. Жили да поживали наши господа довольны да веселы, мирны да спокойны. Вотъ это сидятъ, бывало, въ гостиной; баринъ свиститъ, а барыня глазками по горницу поводитъ, и вдругъ ей въ голову пришла: „Мой другъ, — говоритъ барину, — а вѣдь голубые-то обои были бы лучше въ гостиной!“ — Баринъ такъ и вскопитъ горошкомъ: „Душечка, какая мысль тебѣ хорошая пришла! Гдѣ у меня-то разсудокъ до сихъ поръ былъ?“ И давай себя по дублясать... „Ну, такого дѣла откладывать нечего, сегодня же въ городъ поплемъ, а къ воскресенью чтобы все готово было.“ — „Да, да! — подхватитъ барыня, — придетъ Анна Петровна и Клавдія Ивановна, — вотъ удивятся-го! А ужь*

Анна Федоровна такъ разсердится, что за обѣдомъ ничего ѣсть не станетъ. Непременно къ воскресенью, мой дружокъ! И примутся хлопотать, примутся суетиться. *Въ страхъ эти дни живутъ*: все имъ чудится, что карета въ дворъ въѣзжаетъ. „Охъ, кто-то прѣхалъ, кажется“, — говорятъ, а сами въ лицѣ мѣняются. Удивить хотять, видне, и вдругъ — если бъ застали, что сѣны ободраны! *А иныхъ тревогъ, другихъ заботъ у нихъ, кажись, и не бывало. Никогда я не видала, чтобы баринъ нашъ призадумался, чтобы барыня всплакнула, — нешто безденежье, или барышня захвораетъ.* А безденежье ихъ часто пристукивало. Любили они оба и жить роскошно, и наряжаться богато. Барыня все шелковые разные платья носила, да въ тонкихъ кружевахъ ходила. Баринъ тоже щеголь великій былъ: *шейный платочекъ все голубинымъ крылышкомъ завязывалъ, да бывало иной разъ съ утра до самаго обѣда бьется и не сладитъ.* „Вотъ день-то несчастный выдался, — вздохнетъ: — никакъ не слажу!..“ И барыня къ нему тугъ на помощь придетъ, и Арину Ивановну кликнуть, да словно къ вѣнцу прибираютъ. *все около него въ заботы такой, хлопотахъ...* А ужъ какъ вырядится онъ --- такимъ брындикомъ выйдетъ, передъ зеркалами останавливается, да такъ пріятно на себя поглядываетъ и рукой все себя по щекъ поглаживаетъ...

Эго еще все бы не разоръ былъ, если бъ только не мѣняли они всего до ниточки каждый годъ по сколько разъ. Мало ли на одинъ домъ шло? И къ Рождеству, и къ Святой, бывало, все обновляютъ. И какъ ужъ весело тогда баринъ хлопочегъ! Самъ картины прибиваетъ... *Вѣдь чудно покажется какъ сказать, а скажу правду: до страсти любилъ онъ гвоздики вбивать, и случись, что по усердію кто ему услужить поспѣшитъ, то такъ огорчится...* Потомъ ужъ все такъ и знали, сами не брались никогда, а ему приготовятъ молотокъ. И правду тоже надо сказать, что ужъ никто такъ гвоздичка не вобьетъ: такъ онъ наловчился, что только глянетъ — и потрафитъ, куда надо гвоздику...

Поѣдутъ ли въ городъ господа — чего они не купятъ! И самоваровъ навезутъ, и сушенного горошку, а дома подъ самоварами въ кладовой полки ломаются, и горошку

садовники на цѣлый годъ запасаютъ; понавезутъ они обоишгофные, какихъ-то рыбокъ горькихъ въ банкахъ, табакерки съ музыкой... Разносчики ли наѣдутъ — куницы хитрые, зоркіе — сколько они денегъ оберутъ! „Не берите, батюшка, — говорятъ барину, — это очень дорогое, вы вотъ себѣ подешевле возьмите“. *Барина слово подожметъ*: „*Подавай мнѣ самое дорогое!*“. Да и купить такое жѣ самое втридорога. *Еще, бывало, и свачи не возьметъ*. И поглядываетъ на куцовой бородастыхъ: „Вотъ я вамъ пустилъ пыли въ глаза!“.. А куницы отъ радости даже вздыхать почнуть... А какъ именины справляютъ или рожденіе! Пойдутъ тугъ сборы да приборы такіе, — сохрани Боже! И вина выносиваютъ, и конфекты выносиваютъ, и шаль и чепчикъ барынѣ, и шейный платочекъ и желтыя перчатки барину... „Да ужъ кстати будутъ посылать, — говорятъ, — то вынести и то, и вотъ этобъ вынести“, и пятое-десятое... Да такъ и наберется, что на почту телегу надо посылать... Хоть много имъ утѣхи на именинахъ бывало, да много жѣ и хлопотъ, и тревогъ не мало: вѣдь совсѣмъ измучатся, пока отбудутъ, ходючи да думаячи тяжело: что лучше къ обѣду подать? да какъ цвѣты уставить? да чѣмъ генеральшу бы удивить и покойнаго сна ее лишить? *Изморятся, бывало, словно на барицынѣ*.

Это изображеніе барской жизни надо причислить къ лучшимъ страницамъ послѣдней книги Марка Вовчка. Въ добродушномъ тонѣ рассказчицы намъ слышится уже не раздраженный, озлобленный памфлетизмъ, не страстная борьба, а спокойный, неліцепріятный, торжественный судъ исторіи надъ самой сущностью, надъ принципомъ крѣпостного права. Въ этомъ рассказѣ видны намъ не только пустота и ничтожество добрыхъ господъ, выросшихъ въ крѣпостныхъ понятіяхъ, но ясно просвѣчиваютъ самыя основныя причины этой пустоты и ничтожества. Вы видите, что этихъ людей забили и обезличили хуже, чѣмъ всякаго крестьянина; ихъ лишили сознанія своего достоин-

ства и обязанностей, у нихъ отняли всякую возможность серьезно взглянуть на себя, у нихъ вынули душу и замѣнили ее нѣсколькими условными требованіями и сентенціями житейской цивилизаціи. вмѣсто всѣхъ вѣлѣній здраваго смысла, имъ съ малолѣтства вбито въ голову и срослось съ ними понятіе, что они должны жить на чужой счетъ, сами ничего не дѣлая, что это ихъ право, ихъ призваніе на землѣ. Сообразно съ этимъ призваніемъ ведено было все ихъ воспитаніе, все умственное и нравственное развитіе. Оттого они ничему не выучены, ничего не умѣютъ, ни къ чему не склонны особенно, оттого они не знаютъ чѣмъ наполнить пустоту своего времени, оттого они не умѣютъ даже разсчитать своихъ расходовъ, предвидѣть свое безденежье, сообразить, что имъ нужно купить и чего не нужно. У нихъ не можетъ быть подобнаго разсчета, потому что имъ сказано: «ты имѣешь то-то и можешь наслаждаться тѣмъ-то», но никогда не дано даже и мысли о томъ, что они собственными трудами должны пріобрѣсти право на пользованіе благами жизни. Мысль о трудѣ, какъ необходимомъ условіи жизни и основаніи общественной нравственности, столько же недоступна имъ, какъ и мысль бѣ уваженіи въ каждомъ человѣкѣ его естественныхъ, неотъемлемыхъ правъ. Имъ никогда не придетъ въ голову взглянуть на себя серьезно, задать себѣ вопросъ — зачѣмъ они живутъ на свѣтѣ и что такое составляютъ они среди общества, отъ котораго требуютъ и получаютъ всякаго рода блага и услуги. Вотъ о нихъ-то можно съ полнымъ правомъ сказать, что въ нихъ нѣтъ никакой инициативы, и что жизнь ихъ лишена всякаго внутренняго смысла. Сами по себѣ

они — ничто; они живутъ животною, почти автоматическою жизнью, покамѣсть не истощены средства, доставшіяся имъ по милости судьбы; какъ скоро этихъ средствъ нѣтъ, они — несчастнѣйшія, безпомощнѣйшія существа. Лишенные всякой опоры въ себѣ самихъ, не понимая даже того, что значить уваженіе къ самому себѣ, они готовы на всевозможныя униженія и пошлости, чтобы только перебитъ-ся какъ-нибудь. Игрушечкины господа, промотавши безъ толку все свое имѣніе, переѣзжаютъ на житье къ тетенькѣ, старой ханжѣ и скрягѣ, которая каждый день попрекаетъ ихъ и читаетъ имъ наставленія. И они принуждены безмолвно и покорно сносить ея обращеніе: имъ ничего болѣе не остается какъ жить у кого-нибудь изъ милости, предаваясь совершенно капризамъ того, кто ихъ кормитъ. Зато у нихъ остается привилегія дармоѣдства и ничегонедѣланія. . .

А между тѣмъ ничегонедѣланіе-то привито къ нимъ искусственно! Естественная, ничѣмъ и никогда не заглушаемая потребность дѣятельности не теряетъ и надъ нимъ своего вліянія. Бѣда только въ томъ, что по-своему уродливому воспитанію ни баринъ, ни барыня — не только взяться ни за что не умѣютъ, но даже не могутъ и придумать для себя какой-нибудь дѣльной работы: такъ ограниченъ кругъ ихъ знаній и стремленій! И пріискиваютъ они для себя спеціальности въ родѣ вбиванія гвоздиковъ да повязыванья галстука голубинымъ крылышкомъ, и придумываютъ труды и заботы въ родѣ перемѣны обоевъ и мебели. . . Вѣдь вотъ при-страстился же этотъ господинъ къ вбиванію гвоздиковъ, и сдѣлался весьма искуснымъ мастеромъ своего дѣла: почему же не быть бы ему искуснымъ

плотникомъ, сапожникомъ, обоищникомъ? И конечно, будь бы онъ иначе воспитанъ и находился въ другихъ обстоятельствахъ, — такъ онъ бы и нашелъ какое-нибудь полезное занятіе для себя и не былъ бы такимъ паразитнымъ существомъ, способнымъ только заѣдать чужой вѣкъ и чужіе труды. Тогда бы онъ былъ и гораздо самостоятельнѣе, тверже, независимѣе, не зналъ бы этихъ маленькихъ, но для него тяжкихъ огорченій, которыя онъ испытываетъ при неудачной повязкѣ галстука или въ то время, какъ въ гостиной стѣны ободраны. Тогда естественно получилъ бы онъ склонность и разсчитывать и обдумывать свою жизнь, и не впадалъ бы въ такое положеніе, которое описываетъ «Игрушечка»: «Пирѣ у господѣ за пирами, а тутъ глядь — денегъ нѣтъ. Вотъ, сядутъ тогда они въ гостиную, и сидятъ — пріуныли. Одинъ въ окошко глядитъ, другой въ другое; «ахъ-ахъ, ха-ахъ», — ахаютъ. А прошла бѣда, продали или заложили деревеньку, денежки зазвенѣли опять, и опять обѣды званые, гости нахлынули, пиръ герой, и весело живетъ, и хорошо имъ» (разумѣется, опять до перваго безденежья). Ничего нельзя представить глупѣе такого положенія, и только съ малолѣтства къ нему пріученные въ состояніи выдержать его. Зато какую же и скуку-то они испытываютъ: недаромъ ходятъ изъ угла въ уголъ, да смотрятъ вполглаза, точно сонные, недаромъ убиваютъ время надъ повязываніемъ галстука голубинымъ крылышкомъ. Да и обѣды-то, и вечера-то они больше затѣмъ даютъ, чтобы чѣмъ-нибудь занять и развлечь себя: тоска ихъ одолеваетъ смертная, а помочь не знаютъ чѣмъ, и не думаютъ, что тутъ серьезная помощь нужна...

И у такихъ-то родителей, въ такой жизни хочеть развиться живая, пытливая натура дѣвочки, ихъ дочери! Нечего и говорить, что стремленія ея не получаютъ удовлетворенія, и всѣ попытки остаются совершенно безуспѣшными. Но исторія ея развитія, такъ знакомая во многихъ подробностяхъ каждому изъ насъ, свидѣтельствуешь, съ одной стороны, какъ сильны и незаглушны въ человѣкѣ естественныя, природныя требованія мысли и сердца, и съ другой стороны — какое безчисленное множество препятствій противопоставляется имъ въ барской жизни и нашемъ уродливомъ воспитаніи.

Откуда, въ самомъ дѣлѣ, у дочери такихъ родителей, видящей вокругъ себя все то, что выше описано, можетъ родиться склонность къ самымъ радикальнымъ вопросамъ, къ пыливой, недѣтски-серьезной думѣ о жизни и ея условіяхъ? Откуда въ ней уваженіе къ требованіямъ справедливости, презрѣніе къ самоуниженію и рабству? Никто ей не внушаетъ ничего подобнаго, ничто кругомъ не располагаетъ къ такимъ мыслямъ... Но достаточно одного: чтобы милые родители избавили ее отъ своего надзора и не заботились объ ея нравственномъ воспитаніи, достаточно этого, чтобы естественныя стремленія человѣческой природы явственно выразились въ ней и получили свою силу. Достаточно было самаго легкаго соприкосновенія съ бѣдной дѣвочкой, съ «Игрушечкой», которой она помыкала, чтобы расшевелить въ ней природныя требованія добра и правды... Но все это ни къ чему не могло повести: естественно человѣку дышать, но не можетъ же онъ дышать безъ воздуха; естественно зерну прозябать, но не взойдетъ же

сѣмя, брошенное на голую каменную плиту; такъ не разовьется и живой организмъ человѣческій, попавши въ среду такого бездушнаго, автомическаго, барскаго существованія, какое мы видимъ у Игрушечкиныхъ господъ. Вотъ исторія барышни, большею частью вертящаяся около ея отношеній къ «Игрушечкѣ».

Барышня увидала на улицѣ въ деревнѣ дѣвочку: «Дай мнѣ эту дѣвочку!». — Привели ее въ барскій домъ, заставили играть съ барышней. На другой день послѣ того господѣ собирались выѣзжать въ другую вотчину, и дѣвочку надо было отпустить. Но барышня заупрямилась: «Хочу дѣвочку съ собою взять». Такъ и сякъ ее уговаривать, — нѣтъ, слушать ничего не хочетъ, плачетъ. Дѣлать нечего, барыня велѣла снарядить дѣвочку въ дорогу. Мать ея бѣдная приходитъ, съ горькими слезами упрашиваетъ: «Отдайте дочку». Барыня отвѣчаетъ кротко и резонно: «Я бы тебѣ отдала, да барышня не пускаетъ, — очень ей твоя дочка понравилась; ты не плачь, пожалуйста: она вѣдь скоро барышнѣ прискучитъ, — дѣтямъ забава ненадолго — тогда сейчасъ твою дочку мы перешлемъ къ тебѣ». И не подозрѣвая, сколько людоѣдства заключается въ этомъ добродушномъ отвѣтѣ, барыня довершаетъ его, говоря своей ключницѣ и приживалкѣ Ариинѣ Ивановнѣ: «Ахъ, какъ жалко мнѣ эту женщину, — просто, я на нее смотрѣть не могу! Идите, душечка Арина Ивановна, скажите ей что-нибудь, дайте ей вотъ денегъ... ну отдайте что-нибудь изъ моихъ вещей похуже... только поскорѣе чтобъ она шла себѣ, чтобъ тутъ не плакала». Видите ли, какое положеніе безвыходное: барыня здѣсь сама точно на барицинѣ, точно чиновникъ,

исполняющій свой долгъ: «По совѣсти, какъ чело-
вѣкъ, я вамъ сочувствую, но по точному смыслу
законовъ я должна васъ посадить въ тюрьму». Такъ
и она: у нея доброе сердце, она сама мать, ей
жалко бѣдную женщину: по *noblesse oblige*, и по-
мѣщичье право тоже *oblige*, — противъ своей воли
она должна отнять дочь у матери . . . А чтобъ утѣ-
шить мать, она хочетъ дать ей за дочь нѣсколько
денегъ, какъ будто не отъ этой самой женщины и
подобныхъ ей получала она свои деньги: денежное
великодушіе! . . . И цѣль этого великодушія — глав-
ная та, чтобы избавить себя отъ зрѣлища слезъ и
отчаянія матери: чтобъ она плакала себѣ, чтобы только
тутъ не плакала . . .

Барышня, требуя себѣ Грушу, которую тутъ же
и называли Игрушечкой, разумѣется и не подозрѣ-
ваетъ всей безнравственности своихъ требованій,
потому что она еще не имѣетъ понятія о юриди-
ческихъ отношеніяхъ, существующихъ между нею
и крестьянскою дѣвочкой. Ей просто хочется имѣть
подругу, и она не отпускаетъ отъ себя ту, которая
ей понравилась. Но въ ея положеніи нельзя безна-
казанно имѣть никакихъ требованій: окружаю-
щая жизнь немедленно обращаетъ самое простое ея
желаніе въ деспотическое насиліе и безчеловѣчный
произволъ. Вотъ, напр., сцена, показывающая намъ,
какъ ребенокъ развращается гнуснѣйшимъ обра-
зомъ въ самомъ дѣтскомъ возрастѣ.

Игрушечку любитъ барышня, и зато терпѣть не
можетъ Арина Ивановна. Разъ приходитъ въ бар-
скія хоромы мужичекъ, съ поклономъ и гостинцемъ
отъ матери къ Игрушечкѣ; Арина Ивановна не пу-
скаетъ его, онъ упрашиваетъ, она бранится. Игру-
шечка, играя съ барышней недалеко отъ дѣвичьей,

услыхала ихъ споръ и зарыдала. Барышня тотчасъ пристала: «О чемъ плачешь?». Та сказала. Тогда, несмотря на увѣщанія Арины Ивановны, барышня настоятельно потребовала, чтобы мужичка пустили и гостинецъ Игрушечкѣ отдали; даже сама дверь растворила мужичку. Поговорила съ мужичкомъ дѣвочка, разумѣется, припомнила свою мать, родной домъ, и принялась плакать, разсматривая свой гостинецъ — двѣ рубашечки, да глиняную уточку, да пряничекъ медовый. Арина Ивановна принялась насмѣхаться надъ рубашечками и хотѣла ихъ взять да «зашвырнуть куда-нибудь подальше». Но барышня не позволила и Арину Ивановну прогнала изъ комнаты. Между тѣмъ Игрушечка все плачетъ, и барышня все подлѣ нея сидитъ, да поглядываетъ на нее призадумавшись. Богъ вѣсть что она думала; можетъ, приходила къ мысли, зачѣмъ же это она такое горе дѣлаетъ бѣдной дѣвочкѣ, разлучая ее съ матерью. Но въ комнату, переждавши немного, опять входитъ Арина Ивановна. Происходитъ слѣдующая сцена (стр. 127).

— Что вы, Зинаида Петровна, такъ заскучили? — спрашиваетъ барышню Арина Ивановна.

Барышня вздохнула и на меня пальчикомъ показала...

— Она все плачетъ по своей мамѣ, она къ своей мамѣ хочетъ.

— Да пусть себѣ хочетъ! Чего жъ вамъ-то беспокоиться? Не хотите — не пустимъ, мой ангелъ, вы не беспокойтесь!

— А плачетъ?

— Мало ли что! Да вы вѣдь ее взяли себѣ въ забаву, вы ея госпожа, мое сокровище, — что съ ней захотите, то и сдѣлаете: плакать прикажете — плачь! прикажете веселиться — веселись!

— А какъ она не станетъ?

— Не станеть? Да мы ее такъ проучимъ, что она у насъ шелковая будетъ!

— Миѣ жалко Игрушечку...

— Вотъ то-то и есть, что вы все жалѣете! И проку изъ нея не будетъ. Вы не жалѣйте!

— Жалко Игрушечку, твердить барышня, жалко Игрушечку!

— Говорю, перестаньте жалѣть, перестанеть она и плакать, и всю ее блажь какъ рукой сниметь.

Такъ въ самомъ зародышѣ подавляются добрыя и справедливыя стремленія барышни. У нея есть не только доброта, по которой она жалѣетъ плачущую дѣвочку, но и зачатки уваженія къ человѣческимъ правамъ и недовѣріе къ насильственному праву собственнаго произвола: когда ей говорятъ, что можно заставить Игрушечку дѣлать что угодно, она возражаетъ: «А какъ она не станеть?». Въ этомъ возраженіи уже видно инстинктивное проявленіе сознанія о томъ, что каждый имѣетъ свою волю, и что насиліе чужой личности можетъ встрѣтить противодѣйствіе совершенно законное. Но всѣ эти зародыши здоровой мысли тотчасъ же уничтожаются рабскимъ внушеніемъ подлой ключницы и приживалки, а главное — само положеніе барышни очень благопріятствуетъ заглушенію здоровыхъ тенденцій. Между тѣмъ какъ Маша и ей подобныя упорно идутъ дальше и дальше въ своихъ разсужденіяхъ и запросахъ, однажды проявившихся. Зиночка рада, напротивъ, усыпить все, что поднимается изъ глубины ея сознанія. Дѣло понятное: для Маши, кромѣ естественнаго влеченія, и самый интересъ жизни состоитъ въ томъ, чтобы добыть теоретическаго и практическаго торжества здоровыхъ понятій: вѣдь искаженіе человѣческаго смысла и господство произвола обрушивается на нее вся-

каго рода стѣсненіями и насиліями. Барышня находится совершенно въ обратномъ отношеніи къ вопросу. Производя въ ней сначала нѣкоторое замѣнительство и неловкость, какъ все противное естественнымъ требованіямъ организма, принципъ произвола и насилія принимается ею однакоже довольно легко и скоро проникаетъ въ ея существо. Онъ убиваетъ въ ней нравственную жизнь, онъ ядовитъ для нея такъ же точно, какъ и для тѣхъ, которымъ приходится страдать отъ нея; но способъ его дѣйствія на нее и другихъ чрезвычайно различенъ: тѣхъ онъ отравляетъ, какъ обыкновенный ядъ, производящій мучительныя конвульсіи; на нее онъ дѣйствуетъ какъ опиумъ, дающій ей плѣнительные призраки, но чрезъ то самое притупляющій и медленно губящій здравыя силы организма. Трудно отказаться отъ отравы ханшиша тому, кто разъ допустилъ себя ею увлечься; еще труднѣе отказаться отъ нравственнаго яда произвола и господства, когда они приносятъ намъ, хотя тоже призрачныя, но для человѣка, стоящаго еще на низшихъ ступеняхъ развитія, весьма привлекательныя удобства. Основаніе уваженія къ чужимъ правамъ заключается, какъ мы говорили, прежде всего въ инстинктъ самосохраненія, въ желаніи оградить неприкосновенность и своихъ собственныхъ правъ; а если постоянные примѣры показываютъ ребенку, что онъ можетъ нарушать чужія права безнаказанно, то гдѣ жъ его слабой мысли найти достаточную опору противъ соблазна? Первоначальнымъ побужденіемъ къ труду служить также естественная необходимость упражнять свои силы, и слѣд. охота трудиться должна находиться въ прямой пропорціи съ количествомъ силъ человѣка, которое

опять зависить во многомъ отъ упражненія. Поэтому естественно, что пока силъ мало, то и охота къ труду слаба, и ежели никакихъ другихъ побужденій къ работѣ нѣтъ, то ребенокъ очень охотно привыкаетъ лѣниться, отчего силы его, оставаясь безъ упражненія, такъ и не получаютъ надлежащаго развитія. Это мы видимъ не только въ физическомъ, но и въ нравственномъ развитіи: при началѣ ученія дѣти очень неохотно принимаются за всякій урокъ, гдѣ имъ нужно много соображать и добиваться толку; они предпочитаютъ, чтобъ имъ все было растолковано, и чтобъ съ ихъ стороны требовалось только пассивное воспріятіе. Многіе родители и заботятся объ этомъ: цѣлую толпу учителей, гувернеровъ и репетиторовъ приглашаютъ, чтобъ разжевать и положить въ ротъ ихъ дѣтямъ всякое знаніе; зато такія дѣти и остаются на весь вѣкъ обезьянами, иногда очень учеными и вообще понятливыми, но неспособными возвыситься до самообытной человѣческой мысли.

И не одними матеріальными удобствами способствуетъ положеніе барышни искаженію ея мысли и чувства: неестественное само въ себѣ, положеніе это вызываетъ такіе уродливые факты, которые еще болѣе сбиваютъ ее съ толку. Возьмемъ для примѣра хоть продолженіе той же сцены Зиночки съ Игрушечкою.

Выслушавши совѣты Арины Ивановны, барышня приступаетъ къ дѣвочкѣ съ приказаніемъ, чтобъ та веселилась, при чемъ Арина Ивановна покатывается со смѣху.

Веселись, Игрушечка, — приказываетъ барышня; — веселись и маму свою сейчасъ забудь. Слышишь, что я тебѣ приказываю? Ну, забыла свою маму?

— Нѣтъ, — говорю, — не забыла!

Арина Ивановна ко миѣ:

— Да ты смѣешь ли такъ отвѣчать барышнѣ, а? что? Ахъ, ты грубіянка! Велятъ тебѣ смѣяться — сейчасъ у меня смѣйся!

Смѣюсь я передъ ней, слезы свои горькія глотаючи.

— Ну, вотъ видите, мой ангелъ, она и смѣется, — утѣшаетъ барышню Арина Ивановна. *А барышня глядитъ на меня такими-то пытливыми глазенками...*

— Игрушечка, — говорить: — какъ же ты и плачешь и смѣешься? *А я вотъ не стала бѣ.*

И, голубчикъ, равняетесь съ кѣмъ! — ей на это Арина Ивановна. — Ей что прикажутъ, то она и можетъ.

Вотъ, Игрушечка, ты какая! — проговорила барышня: — вотъ какая!.. (Стр. 128.)

Совѣты и увѣренія Арины Ивановны, какъ видите, подтверждаются фактами, которые производятъ на барышню непріятное, но неотразимое впечатлѣніе. Она *пробуетъ* себя и Игрушечку, приказываетъ ей веселиться, она еще не довѣряетъ, чтобы подобныя истязанія надъ подобнымъ же ей человѣкомъ могли быть дѣйствительны. И что же? Бѣдный ребенокъ, запуганный и безпомощный, поддается: это озадачиваетъ и даже какъ будто огорчаетъ барышню: она чувствуетъ, что тутъ что-то неладно. «Я бы этого не сдѣлала», говоритъ она, переходя отсюда къ мысли, что и Игрушечка, какъ «такой же человѣкъ», не должна была бы этого дѣлать. Но тутъ сейчасъ готово объясненіе, что Игрушечка вовсе не «такой же человѣкъ», а холопка, которая «что ей прикажутъ, то и можетъ»... Фактъ налицо: отчего же и не повѣрить такому объясненію, тѣмъ болѣе что оно усиливаетъ инстинктивное безпокойство барышни на этотъ счетъ, снимаетъ съ нея нравственную отвѣтственность и льститъ ея тщеславію, подни-

мая ее на степень существа высшаго, по праву могущаго распоряжаться волею и личностью другихъ людей!.. Такимъ образомъ мысль о своемъ родствѣ со всѣми людьми и полноправности каждаго человѣка, мысль о солидарности человѣческихъ отношеній быстро заглушается въ ней при самомъ зарожденіи. Остается только на первыхъ порахъ какое-то общіе сожалѣніе, какъ будто разочарованіе въ надеждахъ на друга: «Вотъ, Игрушечка, ты какая!» восклицаетъ барышня въ первую минуту. Но потомъ и это проходитъ: она сама, уже безъ подстреканій Арины Ивановны, начинаетъ впослѣдствіи стращать Игрушечку: «Не скучай; ты знаешь, — я все съ тобой могу сдѣлать; я вѣдь тебя баловать не буду», и пр. . .

Такія сцены, повторяясь каждый день и каждый часъ, способны убить всякій здравый смыслъ и человѣческое чувство уже прежде, нежели они успѣютъ проявиться. Такъ и бываетъ со многими. Но Зиночка, какъ мы сказали, оставлена родителями на произволъ судьбы въ обществѣ Игрушечки, и никто, кромѣ Арины Ивановны, не внушаетъ ей барской теоріи. Это спасаетъ ея нравственныя силы и даетъ имъ возможность развиться хоть до степени пытливаго и упорнаго желанія и исканія, если не настоящей самодѣятельности. Нѣкоторые вопросы преслѣдуютъ ее очень серьезно: ей все хочется знать отчего и какъ. Она спрашиваетъ Игрушечку объ ея прежней жизни, о деревенскихъ работахъ; та рассказываетъ. Послѣ этихъ рассказовъ, — говоритъ Игрушечка, — «случалось, что такъ меня обниметъ она крѣпко да и говоритъ мнѣ: «Игрушечка, я бѣ сама не дошла, какъ все это дѣлается. Кто жъ у васъ додумался, Игрушечка?».—«Я не знаю,—говорю

ей,—кто додумался, а всѣ у насъ умѣютъ».—«Можетъ, твоя мама, Игрушечка?»—«Можетъ, говорю». Тѣмъ, разумѣется, и ограничивались объясненія съ Игрушечкой, да это еще было лучшее, что барышня могла слышать. Съ отцомъ и матерью дѣло ужъ вовсе не шло на ладъ. Разъ, напр., Игрушечка заплакала, услыхавши, что продано ея родное село, и стало быть она ужъ туда больше не вернется. Барышня потолковала съ ней, посмотрѣла на нее, да и задумалась. «Какъ,—говорить,—это все на свѣтѣ дѣлается!»—«Да что?»—спрашиваетъ Игрушечка.—«Да какъ же, — говоритъ Зиночка, — ты замѣчаешь ли, что когда одни плачутъ, другіе смѣются; одни говорятъ одно, а другіе опять совсѣмъ другое. Вотъ ты плачешь, что Тростино продали, а мама всегда въ радости, когда деньги получаютъ». И вдругъ въ тревогѣ она бросается къ Игрушечкѣ: «Да нельзя развѣ, чтобъ всѣ веселы были? Нельзя, Игрушечка?» — «Видно нельзя», — говоритъ. — «Отчего жъ?» — «Да не бываетъ такъ, -- -- говоритъ та: — вотъ вѣдь и мы съ вами, все мы вмѣстѣ, а мысли у насъ разныя приходятъ». — «Да отчего жъ такъ? Отчего?» На этомъ разговорѣ застаютъ дѣвочекъ Арина Ивановна и допрашиваетъ, о чемъ такъ горячо разсуждаютъ. Но барышня уже не довѣряетъ ей и не хочетъ сказывать; тогда Арина Ивановна напускается на Игрушечку, дѣлаетъ тревогу и докладываетъ господамъ, что Игрушечка барышню пугаетъ и въ слезы вводитъ. Тѣ приходятъ и начинаютъ допросъ. Эта сцена тоже очень характерна и показываетъ, какое участіе въ воспитаніи дочери принимаютъ добрые господа, не лишенные впрочемъ привычекъ образованнаго общества. Мать спрашиваетъ:

— Зиночка, что такое было? О чемъ ты съ Игрушечкой говорила? Поди ближе и скажи мамѣ.

— Говорили, что одни люди плачутъ, а другіе веселы...

— Что, дружочекъ?

Удивилась очень барыня, и баринъ во все глаза глядитъ; а барышня опять:

— Что одни люди смѣются, а другіе въ слезахъ.

Барыня съ баринѣмъ переглянулись и оба на барышню посмотрѣли.

— Ну, скажи, мама, — заговорила барышня: — скажи мнѣ, отчего это такъ на свѣтѣ?

Вскочила она къ баринѣ на колѣни, обнимаетъ и прижимается къ ней, и въ глаза глядитъ — ждетъ слова отъ нея завѣтнаго, а барыня ей въ отвѣтъ:

— Умныя дѣти, мой дружочекъ, никогда не плачутъ.

— А бываетъ же скучно, мама, и умнымъ, бываетъ чего-то больно будто и скучно...

А барыня: „Умныя дѣти, дружочекъ мой, всегда веселы“.

Ахъ, Боже мой, какая ты мама! Ну, глушныя скучаютъ, плачутъ — развѣ ужъ тебѣ ихъ совѣмъ и не жалко?

Глушыхъ дѣтей наказываютъ, Зиночка, — отозвался баринъ, взявши себя за подбородокъ, — и они сейчасъ умнѣютъ.

Да Зиночка у насъ умница, — говоритъ барыня: она никогда у насъ не скучаетъ, никогда не плачетъ. Это какой-то мужичекъ иногда приходитъ, подь окномъ у нея плачетъ, а Зиночка умница.

Поднялись и пошли себѣ. Выходя, говоритъ барыня Аринѣ Ивановнѣ:

— Вы напугали меня, Арина Ивановна; я думала Богъ знаетъ что такое, а вышло пустяки такіе, что даже и понять-то трудно.

Тѣмъ и покончилась исторія; барышня только вздохнула тяжело, и слезы у нея къ глазамъ подступили...

Въ такихъ-то условіяхъ томится живая душа, жаждущая знанія, правды, порывающаяся разрѣшить себѣ загадку жизни. Когда она подросла не-

мнѡжко, ей и гувернантокъ выписывали: одна была тихая, добрая, но педантическая въ своемъ дѣлѣ и вовсе неумѣлая нѣмочка; она все дѣлала по пунктамъ и никакъ не хотѣла удовлетворить любознательности ученицы, любившей забѣгать и впередъ и въ сторону. Не сошлись онѣ, и видя, что дѣло нейдетъ на ладъ, нѣмочка сама просила, чтобъ ее отпустили. Пріѣхала на ея мѣсто вертлявая французенка; та принялась болтать и рассказывать, и сначала совершенно околдовала Зиночку и прибрала къ рукамъ весь домъ. Но и французенка не удовлетворила пытливую дѣвочку: ей надо было знать корень и причину всего, надо было серьезно разобрать и понять каждую вещь, а у Матильды Яковлевны все было, разумѣется, легко, мило, поверхностно и пусто. Черезъ нѣсколько времени барышня сама это замѣтила, охладѣла къ французенкѣ, перестала ее и разспрашивать, а все сама задумывалась. Арина Ивановна приписывала ей скуку тому, что мамзель ее ученьемъ замучила; но Зиночка отвѣчала печально: «Да я ничего не знаю и ничему не выучилась, — какъ же замучила?». И стала она все больше и больше задумываться, да и кончила тѣмъ, что на пятнадцатомъ году стала умомъ мѣшаться. Грустное и тихое было ея помѣшательство, — все она задумывалась да плакала, особенно когда видѣла чужія слезы. Игрушечка хотѣла утѣшать ее: «Полноте, — говорить, — со всѣми плакать не станетъ васъ». — «Игрушечка, — отвѣчала помѣшанная: — когда плачетъ человѣкъ, ты знаешь ли, какъ ему больно! А я знаю! Я знаю, какъ больно!» Вскорѣ въ этомъ помѣшательствѣ она и умерла.

Мы нарочно остановились на нѣкоторыхъ чер-

тахъ характера и развитія этой дѣвушки, чтобы яснѣе указать разницу условій, отъ которыхъ зависить направленіе мысли и воли — въ образованномъ обществѣ и въ простыхъ классахъ. Каждый согласится, что въ нашемъ воспитаніи, даже самомъ лучшемъ, очень мало серьезности, мало пищи для пытливаго ума, гораздо больше ненужныхъ и непонятныхъ формальностей и отвлеченностей, нежели отвѣтовъ на живые вопросы о мірѣ и людяхъ, весьма рано возникающіе въ дѣтской душѣ. Слѣдовательно, всѣ мы, считающіе себя образованными, подвергались болѣе или менѣе той нравственной порчѣ и тому медленному умерщвленію силъ духа, которое такъ ярко рисуется намъ въ сценахъ Зиночки съ Ариной Ивановной и съ милыми родителями. Къ этому прибавимъ еще, что внѣшнее положеніе весьма многихъ людей въ такъ называемомъ образованномъ обществѣ совершенно схоже съ положеніемъ Зиночки: нѣтъ надобности самому трудиться, есть возможность распоряжаться другими и употреблять ихъ для своихъ капризовъ, есть поводъ считать себя чѣмъ-то высшимъ, чѣмъ эта масса людей, какъ будто созданныхъ только для службы намъ. Все это чрезвычайно деморализируетъ и разслабляетъ человѣка, и вотъ гдѣ истинная причина той общей вялости, мелочности и пустоты, на которую такъ много и такъ давно жалуются серьезные люди въ нашемъ образованномъ обществѣ. Рѣшимся выговорить слово правды: цѣлыя поколѣнія жили и проживали у насъ, не сдѣлавъ ничего путнаго и показавъ только, что они негодны къ настоящему дѣлу потому именно, что въ ихъ понятіяхъ и привычкахъ всегда бродила закваска крѣпостныхъ воззрѣній, и вся жизнь ихъ сложилась, съ самаго начала, подъ влія-

ніемъ крѣпостного устройства. Пригнетая и сдавливая однихъ внѣшнимъ образомъ, оно въ то же время еще рѣшительнѣе, внутренно и существенно, губило и тѣхъ самыхъ, которые хотѣли жить угнетеніемъ другихъ. Оно ихъ разслабило, оношлilo, развратило, обездушило и сдѣлало гораздо жалче, гораздо ничтожнѣе и негоднѣе тѣхъ, которыхъ они эксплуатировали своимъ произволомъ... Хорошо, что теперь уже прекратилась возможность такой эксплуатаціи; а то Богъ знаетъ до чего бы она довела и ту и другую сторону...

Послѣ смерти барышни еще продолжается грустная исторія Игрушечки, но мы уже не будемъ на ней останавливаться, — Игрушечка такъ и осталась до конца жизни игрушечкою судьбы и добрыхъ господъ своихъ. Хотѣла было она хорошо, счастливо пристроиться: полюбился ей Андрей, барскій столляръ, и она ему понравилась. Да пришли они просить барскаго разрѣшенія на свадьбу въ то время, какъ господа послѣднюю свою вотчину, и Андрея съ Игрушечкою въ томъ числѣ, продали. Приходъ ихъ только напомнилъ барынѣ, что ей жалко разстаться съ Игрушечкой, и она принялась упрашивать новаго владѣльца, чтобъ онъ уступилъ ей эту дѣвушку. Тотъ согласился. Игрушечка закинулась было, что любитъ Андрея, но барыня жалостливо возразила: «Ахъ, ахъ, Игрушечка! Не стыдно ли тебѣ, и ты могла бы меня оставить? Ахъ, какъ можно! Боже мой! Все насъ покидаетъ!» И заплакала. Повели ее подъ руки въ карету, посадили; и Игрушечку втолкнули тоже, и помчались они... Андрей только издали смотрѣлъ на это, блѣдный, какъ смерть. Новый баринъ его былъ очень крутъ, не какъ прежніе господа. Черезъ два мѣсяца Игру-

шечка узнала, что въ селѣ ихъ «несчастье случилось Шестъ человѣкъ на поселенье пошло Андрей шестымъ» . . . (стр. 171). Такъ погибла ея послѣдняя надежда на счастье, на возможность быть наконецъ чѣмъ-то побольше «игрушечки».

Въ Игрушечкѣ видимъ мы лицо совершенно пассивное: постоянно тоскливое, грустное расположеніе — вотъ ея единственный протестъ на свою несчастную судьбу. И немудрено: вспомнимъ, что она оторвана отъ своихъ, выхвачена насильно изъ простой народной жизни и брошена въ этотъ тихій омутъ, гдѣ ее держать для забавы, насильно заставляютъ веселиться и безпрестанно запугиваютъ и придавливаютъ. Простотѣ и свѣжести первыхъ лѣтъ жизни, первыхъ впечатлѣній дѣтства, надо приписать еще и то, что она въ этой обстановкѣ не слѣлалась подлой и льстивой холеркой, доносчицей и смутьянкой, подобной тѣмъ «благороднымъ» приживалкамъ, типъ которыхъ находимъ мы въ Василисѣ Перегриновнѣ, въ «Воспитанницѣ», Островскаго.

Но въ самой покорности несчастныхъ, вынужденныхъ покориться поневолѣ, мы видимъ часто гораздо болѣе рѣшимости и энергіи, нежели въ суетливыхъ исканіяхъ и метаніяхъ изъ стороны въ сторону, въ которыхъ такъ часто изживаютъ у насъ цѣлый вѣкъ даже очень хорошіе люди. Для дополненія параллели, которую мы проводили выше, мы укажемъ теперь на коротенькій рассказъ Марка Вовчка «Саша».

Исторія простая: Саша привезена изъ деревни въ горничныя къ барынѣ; барынинъ племянникъ соблазнилъ ее, да потомъ такъ привязался къ ней, что хотѣлъ на ней жениться. Какъ только онъ о

женитьбѣ заикнулся, Сашѣ сейчасъ косы обрѣзали и заперли ее въ темную . . . Онъ ходилъ, плакалъ, кланчилъ, бился, какъ рыба объ ледъ, наконецъ, выпросилъ Сашѣ свободу, поклявшись, что не будетъ пытаться жениться на ней. И пошло все своимъ чередомъ, только Сашѣ такъ горько было что все опостылѣло, и она вымолила у господъ позволеніе въ монастырь идти, гдѣ и умерла вскорѣ. А онъ — «и до сей поры ходить на ея могилу и все молится тамъ». Жениться не захотѣлъ; всегда ходитъ печальный такой: «Нѣтъ, — говорить, — никто ужъ меня не повеселитъ такъ, какъ моя Саша покойница! Богъ судья дяденькѣ и тетенькѣ . . .».

Изъ остова разсказа уже видно отчасти, какая разница между этими двумя людьми. Но вотъ нѣсколько частныхъ чертъ, еще яснѣе рисующихъ оба характера.

Саша отдалась молодому человѣку вполнѣ, беззавѣтно; она исчезла въ немъ, заключила всѣ чувства и стремленія въ любви къ нему. Когда узнали объ ихъ любви и стали надъ ней издѣваться, она говорила: «Что жъ, люди смѣются, пускай себѣ! Я люблю его, я его! Что жъ мнѣ о себѣ думать-то? Думай онъ. Хорошо ему — весело, что смѣются — смѣйтесь; а обидно ему покажется — самъ онъ знаетъ что сдѣлать. А я послушаюсь его слова, его приказа». Это разсужденіе какъ нельзя болѣе сообразно съ положеніемъ Саши и показываетъ въ ней очень умный взглядъ на свои отношенія къ молодому барину. Полюбивши ее и воспользовавшись ея расположеніемъ, онъ дѣлался естественно ея заступникомъ, покровителемъ, связывался съ нею единствомъ интересовъ, и онъ первый долженъ былъ бы понимать это, если бы былъ человѣкъ, здраво

и честно развитый. Саша считала его такимъ и понимала за него то, до чего онъ еще не сумѣлъ возвыситься со своимъ образованіемъ. Онъ былъ человѣкъ добрый и честный въ душѣ, хотя и легкомысленный; онъ очень полюбилъ Сашу, и самъ признавался ей: «Я вѣдь тебя обмануть собирался, Саша, обмануть хотѣлъ и потомъ бросить, — ты прости меня! Не бросилъ — силъ не было, потому что полюбилъ крѣпко». И онъ точно не бросилъ ее: до конца жизни любилъ, и по смерти любилъ. Но его воспитаніе и положеніе были таковы, что не давали ему никакой возможности серьезно вникнуть въ свои обязанности и поступить такъ, какъ предписывало и требованіе честности и даже его собственное сердце. Саша покорна своей судьбѣ; что же ей въ самомъ дѣлѣ предпринять можно въ ея положеніи? Она тутъ не при чемъ; у нея нѣтъ ни силы, ни воли; онъ долженъ все устроить, и будь бы у него сердце и смыслъ Саши — онъ бы не призадумался надъ ничтожными препятствіями, представлявшимися ему, и не сталъ бы потомъ плакаться на дяденьку и тетеньку. Но въ томъ-то и дѣло, что *такой* смыслъ, *такой* характеръ не даются людямъ его положенія. Саша поработчена внѣшнимъ образомъ, и снимите съ нея этотъ гнетъ, — она способна поднестись до какихъ угодно нравственныхъ и умственныхъ высотъ. А любимый ею юноша лишенъ внутренне всякой самостоятельности, всякой опоры въ себѣ самомъ и поработченъ всѣмъ существомъ своимъ забавнымъ ничтожностямъ, которыя такъ цѣнятся въ свѣтѣ. Онъ жалуется, что отецъ съ дѣтства забилъ и запугалъ его; но отецъ отцомъ, а главное то все-таки въ томъ, что ему не хочется потерять нѣкоторыхъ преимуществъ своего поло-

женія, хотя и ничтожныхъ, но уже привычныхъ ему и льстящихъ его тщеславію. Онъ настолько образованъ, что понимаетъ отчасти ихъ ничтожность, но понимаетъ лишь теоретически, холоднымъ соображеніемъ, безъ участія сердца. Оттого-то онъ и для борьбы не находитъ въ себѣ силъ, да и покориться-то не можетъ съ достоинствомъ и твердостью. Вотъ, напримѣръ, разговоръ его съ Сашей: «Скажи, Саша, скажи, что дѣлать? — спрашиваетъ онъ ее въ тоскѣ. — Мучусь я, и голова кругомъ идетъ... Охъ, Саша, если бѣ можно мнѣ было жениться на тебѣ.» — «Женись», — говоритъ Саша очень просто, понимая, что тутъ никакой невозможности нѣтъ. — «А люди-то что скажутъ? — возражаетъ онъ. — Подумай-ка, Саша, какъ люди-то напустятся, — дядя, жена его злая еще пуще, — всѣ, всѣ родные! Заключаютъ они насъ, Саша! Умеръ бы я теперь съ радостью». И заплакалъ. А Саша опять говоритъ ему простой отвѣтъ: «Ну, умремъ, коли хочешь». Она на все готова; по ней, если съ нимъ нельзя жить, то и умереть нипочемъ... Но онъ поплакалъ, поплакалъ и рѣшилъ: «Нѣтъ, говорить, — грѣхъ умереть отъ своей руки (благочестіе тутъ напало!); лучше я женюсь на тебѣ, Саша, — будь что будетъ». И храбро прибавляетъ: «Что мнѣ они? чего мнѣ ихъ бояться?..». И точно, ему отъ нихъ даже наслѣдства получать не приходится; а между тѣмъ онъ выговариваетъ свое рѣшеніе, точно геройскій подвигъ совершаетъ, и придаетъ ему несравненно больше значенія, чѣмъ Саша своей готовности умереть, высказанной ею совершенно искренно и съ прямою рѣшимостью исполнить ее на дѣлѣ. И чѣмъ же разрѣшается его геройство? тѣмъ, что онъ проситъ у тетеньки съ дядень-

кой позволенія жениться на Сашѣ, съ приговоромъ, что вѣдь «всѣ мы равны передъ Богомъ, тетенька», а потомъ слезливо смотритъ, какъ барыня тутъ же, при немъ, его возлюбленной косы обрѣзываетъ... Тутъ и поняла его Саша, и когда онъ потомъ пришелъ къ ней въ ея чуланчикъ, она «не обрадовалась и не опечалилась при видѣ его, а такъ, будто скучнѣе ей стало». Въ другой разъ собрался онъ какъ-то къ тетенькѣ съ требованіемъ, и такъ бодро пошелъ; подруга Сани обрадовалась и испугалась, а Саша говоритъ ей: «Ахъ, милая, сядь да утѣшься: не изъ тучи громъ... Пошелъ онъ къ господамъ, — и храбръ онъ пока идетъ: а лицомъ къ лицу станетъ, руки у него опустятся — оробѣетъ. Я знаю его; повѣрь моему слову». И точно, такъ и вышло: храбрость героя нашего кончилась тѣмъ, что онъ обѣщалъ теткѣ оставить мысль о женитьбѣ на Сашѣ... Зато Сашѣ свободу дали; подруга ея опять стала выражать надежду, что «можетъ послѣ...». Но Саша уже совершенно осмотрѣлась въ своемъ положеніи и поняла его во всѣхъ частяхъ. Вотъ что она отвѣчаетъ: «Попусту не надѣйся; онъ пугливъ болыю. Не всякую вѣдь любовь въ люди показать хочется, милая! Какъ не цвѣтно наряжена, не красно убрана, то дома, въ уголкѣ подъ лавку хронятъ: «Сиди, любовь, утѣнай меня, а въ люди не выходи; осудятъ люди и хозяина пристыдятъ». И на возраженіе подруги, что «онъ вѣдь любитъ ее», она прибавляетъ: «ахъ, себя-то самого еще болыне любить, скажу тебѣ». Въ другой разъ, когда подруга совѣтуетъ ей: «Да прямо скажи ему, научи его», — Саша отвѣчаетъ: «На цѣлый вѣкъ не научишь, голубушка. Эта грамотка не дается ученьемъ». И такимъ образомъ понявши, что

ей нечего ждать и надѣяться, Саша точно недолго ждала: пошла въ монастырь, да и тамъ немного прожила: исчезло то, что ее привязывало къ жизни, исчезли и ея жизненные силы... А онъ ничего — живетъ, и все къ ней на могилку ходитъ... И зачѣмъ шляется?..

Подобное же явленіе, но нѣсколько съ другой развязкою съ мужской стороны, раскрывается передъ нами въ разсказъ «Надѣжа». Вникнувши въ этотъ разсказъ, мы еще яснѣе понимаемъ ту разницу, которая отличаетъ чувства и поступки простаго человѣка отъ чувствъ и поступковъ людей, развращенныхъ неестественнымъ своимъ воспитаніемъ и положеніемъ. Общее разслабленіе, болѣзненность, неспособность къ сосредоточенной и глубокой страсти характеризуетъ если не всѣхъ, то большинство нашихъ «цивилизованныхъ» собратій. Оттого-то они и мечутся безпрестанно то туда, то сюда, сами не зная, чего имъ нужно и чего имъ жалко. Желаютъ они — такъ что жить безъ того не могутъ, и все-таки ничего не дѣлаютъ для осуществленія своихъ желаній; страдаютъ они — такъ что умереть лучше, — а живутъ себѣ, ничего, только меланхолическій видъ принимаютъ. Не то у простаго человѣка: онъ или неглижируетъ, вниманія не обращаетъ на предметъ, и ужъ не толкуетъ о своихъ желаніяхъ: или ужъ, если привяжется, если рѣшится, то привяжется и рѣшится энергически, сосредоточенно, неотступно. Страсть его глубока и упорна, и препятствія не страшатъ его, когда ихъ нужно одолѣть для достиженія страстно-желаннаго и глубоко задуманнаго. Если же нельзя достигнуть, простой человѣкъ не останется сложа руки: по малой мѣрѣ, онъ измѣнитъ все свое положеніе, весь

образъ своей жизни, убѣжить, въ солдаты наймется, въ монастырь пойдетъ; часто онъ просто, естественнымъ образомъ не переживаетъ неудачи въ достиженіи цѣли, которая уже проникла все существо его и сдѣлалась ему необходима для жизни; если же физическое сложеніе его слишкомъ крѣпко и можетъ нанести больше, нежели сколько нужно для крайняго раздраженія нервовъ и фантазіи, — онъ не церемонится покончить съ собою насильственнымъ образомъ. И это тоже служитъ для насъ свидѣтельствомъ, какъ для простаго, здороваго чловѣка, разъ почувствовавшаго свою личность и ея права, несносна жизнь безплодная, бесполезная, автоматическая, безъ принциповъ и стремленій, безъ смысла и правды, жизнь, подобная той, какую проводятъ, напр., Игрушечкины господа и многіе другіе въ томъ же родѣ.

Въ «Надѣжѣ» мы видимъ дѣвушку, полюбившую крестьянскаго парня и ожидающую, что онъ на ней посватается. Тутъ то же положеніе: надъ ней смѣются, ей колютъ глаза ея женихомъ, потому что завидуютъ ей дѣвушки — женихъ ея Иванъ лучше всѣхъ парней на селѣ, — она сноситъ все и ждетъ, пока онъ порѣшитъ дѣло. А онъ поѣхалъ въ другое село, тамъ у него пріятель завелся, фабричный, — подпоили тамъ его, сосватали, да и женили на роднѣ этого фабричнаго. Воротился онъ къ себѣ въ село, очнулся, увидѣлъ, что надѣлалъ, да ужъ поздно было. Тутъ начинаются страданія бѣдной Надѣжи, которую на смѣхъ поднимаютъ многія, а пуще всѣхъ жена Ивана, баба бойкая и безстыжая. Горько Надѣжѣ: и любовь ея была сильна, такъ что ей тошно жить безъ милаго, да и натура у нея нѣжная, деликатная, что называется, — такъ

что попреки и насмѣшки глубоко язвятъ ее и заставляютъ тяжело страдать. Ивану тоже не легко: онъ горячо любитъ Надѣжу, да и совѣсть его неспокойна, — чувствуетъ онъ, что виноватъ предъ дѣвушкой, что загубилъ ее вѣкъ. Оба страдаютъ, но страдаютъ внутренно, сосредоточенно, молча: ни она никому не пожаловалась, ни онъ никому слова не сказалъ, и между собой они ничего не говорили, да и видѣлись издали. Разъ онъ хотѣлъ остановить ее и высказать свое горе, но она отъ него убѣждала; онъ издалека слѣдилъ за ней, а самъ изсохъ, пожелтѣлъ, измѣнился весь. Наконецъ не выдержалъ онъ, зашелъ разъ въ избу къ Надѣжиной теткѣ, горько заплакалъ передъ Надѣжей, а она только и могла сказать ему: «Ты забудь, что я на свѣтѣ живу, не томи, не мучь меня, желанный! . . .». Тутъ вломилась вдругъ въ избу жена Ивана, слѣдившая за мужемъ, началась горячая перебранка; Надѣжа бросилась вонъ изъ избы . . . Вечеръ былъ холодный, дождливый; она, сама не своя, простояла, прижавшись у плетня, пока тетка выпроводила ссорившихся и отыскала ее. Этого вечера было довольно, чтобы окончательно ее сгубить. Слегла она въ этотъ же вечеръ и больше не встала. Иванъ какъ безумный ходилъ это время; передъ смертью Надѣжи, когда она уже лежала безъ памяти, прибѣжалъ онъ къ ней, посмотрѣлъ, поплакалъ, да потомъ и самъ слегъ. «Въ четвергъ схоронили Надѣжу, а въ среду на другой недѣлѣ и Ивана на погостъ отнесли . . .»

Разсказъ этотъ болѣе, нежели какой нибудь другой изъ разсказовъ Марка Вовчка, можно заподозрить въ идеализаціи: мы такъ привыкли смотреть на крестьянина какъ на существо грубое, не-

доступное тонкимъ ощущеніямъ любви, нѣжности, совѣстливости и т. п. Но едва ли мы можемъ вполне довѣрить нашимъ наблюденіямъ на этотъ счетъ: чувства простолюдина немногорѣчивы вообще, а мы такъ привыкли къ краснорѣчію, что легко можемъ не замѣтить самаго сильнаго чувства, если оно не украшено риторикой. При томъ же простолюдинъ передъ нами постарается затантъ даже и то немногое, что передъ своимъ братомъ онъ бы и могъ высказать. Судить намъ о нѣжныхъ чувствахъ крестьянъ по ихъ поведенію передъ нами — будетъ столько же основательно, какъ судить о кротости и сострадательности воиновъ по ихъ дѣйствіямъ во время сраженія. Мы, къ несчастью, должны признать справедливость наблюденія, — давно впрочемъ сдѣлавшагося общимъ мѣстомъ, — что мундиръ и сюртукъ не внушаютъ особеннаго довѣрія крестьянамъ.

Но, сколько можно судить по нѣкоторымъ частнымъ случаямъ и по отрицательнымъ признакамъ, мы готовы утверждать, что такого рода нѣжныя, деликатныя натуры существуютъ и въ простомъ классѣ, по крайней мѣрѣ въ той же мѣрѣ какъ въ другихъ сословіяхъ. Надо замѣтить, что подобныя натуры вообще встрѣчаются рѣже, чѣмъ намъ кажется. Мы часто восхищаемся нѣжною прелестью дѣвицы, плачущей о смерти собачки и приходящей въ восторгъ отъ искусства какого-нибудь художника въ родѣ павловскаго Штрауса. Но вѣдь не въ этомъ состоитъ истинная нѣжность и деликатность души. Не въ безплодныхъ сожалѣніяхъ и восторгахъ надо искать ее, а въ дѣйствительной чуткости души къ страданіямъ и радостямъ другихъ. Прежде чѣмъ разсудокъ успѣетъ опредѣлить образъ

поведенія, требуемый въ извѣстномъ случаѣ, человѣкъ деликатный по первому внушенію сердца уже старается расположить свои дѣйствія такъ, чтобы они принесли какъ можно болѣе добра и удовольствія для другихъ, или по крайней мѣрѣ, чтобы никому не причинили непріятностей. Сущность деликатнаго характера состоитъ въ томъ, что ему въ тысячу разъ легче самому перенести какое-нибудь неудобство, даже несчастіе, нежели заставлять другихъ переносить его. Если онъ потеряетъ вашу вещь, онъ продастъ послѣднее, останется безъ гроша самъ, но во что бы то ни стало постарается вознаградить васъ за потерю. Если онъ далъ вамъ денегъ взаймы и видитъ, что вы нуждаетесь, онъ самъ будетъ переносить нужду, но не спроситъ своего долга. Если онъ самъ занялъ, онъ не успокоится, пока не расквитается съ вами. Главная его мысль, главная забота — о томъ, чтобы не стѣснить кого-нибудь, не быть кому-нибудь въ тягость. И точно, можетъ быть такой человѣкъ не доставитъ вамъ особеннаго удовольствія (и даже навѣрное не доставитъ, если вы его къ тому не вызовете), но зато и никакой непріятности онъ вамъ не сдѣлаетъ. Онъ постоянно и чутко смотритъ, не помѣшалъ ли онъ вамъ, не скучно ли вамъ съ нимъ, не стѣсняетесь ли вы его присутствіемъ или обращеніемъ съ вами, и т. п. Въ нормальномъ своемъ положеніи, то есть въ соединеніи съ энергіей характера и правильно развитымъ сознаніемъ своего достоинства, такая деликатность составляетъ одно изъ высшихъ достоинствъ человѣка. Въ ней соединяются тогда и честность, и справедливость, и дѣятельное участіе въ судьбѣ ближняго... Но вслѣдствіе ложнаго направленія воспитанія и вообще извращеннаго об-

щественнаго устройства, врожденная деликатность нѣжныхъ натуръ большею частью принимаетъ неправильное развитіе. Извѣстно, что у насъ въ воспитаніи господствуетъ начало слѣпого авторитета, способное убить дѣятельную силу въ самыхъ энергическихъ и гордыхъ натурахъ. Но если тѣ еще способны къ борьбѣ и нерѣдко выбиваются изъ-подъ нравственнаго гнета, налагаемаго на нихъ, то натуры нѣжныя и тонкія всегда склоняются подъ этимъ гнетомъ, и очень рѣдко въ состояніи бываютъ подняться. Онѣ обыкновенно бываютъ богато одарены отъ природы; чуткая воспріимчивость очень рано обогащаетъ ихъ множествомъ разнообразныхъ наблюденій и такимъ образомъ облегчаетъ имъ широкое развитіе разсудка и воображенія и даетъ пищу для сердечныхъ стремленій. Но ничего нѣтъ легче какъ забить такія натуры: для нихъ упрекъ хуже, чѣмъ строгое наказаніе для другого, насмѣшка тяжеле, чѣмъ для другого брань, неудачная и строго осужденная попытка повергаетъ ихъ въ уныніе и заставляетъ опустить руки. Имъ можно съ дѣтства натвердить, что они глупы, — и они не станутъ разсуждать при другихъ. И не то чтобъ они повѣрили въ свою глупость, нѣтъ, они убѣждены въ глубинѣ души, что они умнѣе многихъ, даже, можетъ быть, всѣхъ окружающихъ, но природная деликатность не позволяетъ имъ высказывать при другихъ сужденій, которыя могутъ показаться и кажутся глупыми. «Что же за охота людямъ слушать то, что имъ представляется глупымъ», думаютъ они, и хранятъ свои мысли при себѣ. Позже, вышедши на практическую дѣятельность, волей-неволей показавши себя, попавши въ другой кругъ, въ которомъ замѣчаютъ уже не пренебреженіе, а ува-

женіе къ себѣ, они все-таки не могутъ освѣдѣдиться изъ-подъ вліянія прежнихъ впечатлѣній и остаются молчаливы, скромны и переносливы гораздо болѣе, чѣмъ бы имъ слѣдовало. Разсудокъ заставляеть ихъ знать себѣ цѣну, но онъ рѣдко бываетъ въ силахъ побѣдить ихъ закоренѣлое недовѣріе къ себѣ, во многихъ случаяхъ превращающееся въ чистое малодушіе. У нихъ нѣтъ предпріимчивости, потому что они постоянно опасаются взяться за что нибудь выше своихъ силъ; они сторонятся отъ управленія всякимъ дѣломъ, боясь, чтобы своимъ вліяніемъ не стѣснить другихъ; они не хотятъ даже правильно оцѣнить результатовъ своей дѣятельности, изъ опасенія поставить себя слишкомъ высоко и заслонить чью-нибудь чужую заслугу. Такимъ образомъ они постоянно въ борьбѣ и противорѣчіи съ собственнымъ разсудкомъ, вѣчно недовольны собою, вѣчно страдаютъ отъ самоосужденія, и нерѣдко дѣйствительно отказываются отъ роли, въ которой могли бы быть полезные всякаго другого. Нужно уже слишкомъ сильно возбудить въ нихъ страсть къ чему-нибудь, чтобы вызвать ихъ на энергическую, рискованную дѣятельность, въ которой нужно доставлять не только удовольствія, но и непріятности другимъ и идти наперекоръ многому. И надо прибавить однако, что и самая страстность у подобныхъ людей принимаетъ обыкновенно оттѣнокъ нѣкоторой робости: далекая отъ порывистости, страсть имѣетъ у нихъ хроническій, продолжительный, но тихій, сдержанный характеръ. Для дѣла это бываетъ даже хорошо, но для нихъ и тутъ мало радости: они все боятся компрометировать и себя и свое дѣло и сдѣлаться смѣшными, сожальютъ о недостаткѣ энергіи въ себѣ, сокрушаются о своей апа-

тичности, и т. п. Спокойное разсужденіе доказываетъ имъ, что у нихъ и энергія есть, и страстности достаточно, и что апатія далека отъ нихъ; но — спокойный разсудокъ гораздо меньше имѣетъ на нихъ вліяніе, нежели они сами думаютъ. Недовѣріе къ себѣ, проникшее въ ихъ натуру, заставляетъ ихъ не довѣрять и разсудку, а чуткая, болѣзненная воспріимчивость беретъ свое.

Такимъ образомъ неблагопріятныя обстоятельства могутъ весьма несчастно направить врожденную нѣжность и деликатность души: они могутъ лишить ее энергіи и привести къ отчаянію въ самомъ себѣ. Обратимся же теперь къ крестьянскому міру: кто не согласится, что тамъ развѣ въ видѣ рѣдкаго исключенія могутъ встрѣтиться обстоятельства, которыя бы лѣтѣли правильное и полное развитіе нѣжной, доброй натуры! Напротивъ, вся обстановка жизни тамъ ведетъ къ тому, чтобы натура твердая огрубѣла и ожесточилась, а слабая, нѣжная — запугалась, сжалась и пропала въ покорномъ отчаяніи. Такъ зачастую и бываетъ, и вотъ гдѣ, намъ кажется, можно найти объясненіе двухъ противоположныхъ мнѣній о русскомъ народѣ, одного — что онъ звѣрь дикій, а другого — что онъ скотина безгласная. И къ тому и къ другому можетъ приближаться не одинъ русскій мужикъ, а всякій человѣкъ, какого бы то ни было сословія и народа. Полной гармоніи чувствъ, такъ называемыхъ въ психологіи симпатическихъ и эгоистическихъ, т. е. полного и неразрывнаго сліянія самопожертвованія съ само-сохраненіемъ мы еще не достигли въ человѣческихъ обществахъ. Поэтому вездѣ встрѣчаются два разряда натуръ — одинъ съ преобладаніемъ эгоизма, стремящагося наложить свое вліяніе на другихъ, а

другія съ избыткомъ преданности, побуждающимъ отречься отъ своихъ интересовъ въ пользу другихъ. При несчастномъ развитіи натуры перваго рода дѣлаются враждебными всему, что не ихъ, забываютъ всѣ права и становятся способными ко всевозможнымъ насиліямъ; а натуры послѣдняго разряда теряютъ всякое уваженіе къ своему чловѣческому достоинству и допускаютъ другихъ помыкать собою, дѣлаясь дѣйствительно чѣмъ-то въ родѣ укрощеннаго, домашняго животнаго... Къ несчастью, надо признаться, что объ крайности въ крестьянскомъ нашемъ сословіи выказываются несравненно ярче, нежели въ другихъ классахъ общества. Но обратилось ли это въ природу простолюдина? Точно ли надо вѣрить, что вкусъ къ рабству, привычка возить кого-нибудь на своихъ плечахъ и быть погоняемымъ — сдѣлались второю натурою мужика? И точно ли надо, съ другой стороны, серьезно опасаться, что тѣ мужики, которые желаютъ свободы, непременно распорядятся съ нею звѣрски, принявшись буйствовать, какъ только ихъ предоставятъ самимъ себѣ? Мы не думаемъ именно потому, что, при всѣхъ искаженіяхъ крестьянскаго развитія, мы видимъ въ народныхъ массахъ нашихъ много того, что мы назвали «деликатностью». Мы знаемъ, что это слово многимъ покажется очень страннымъ въ примѣненіи къ крестьянству, но мы не умѣемъ найти лучшаго выраженія. Смиреніе, покорность, терпѣніе, самопожертвованіе и прочія свойства, воспѣваемые въ нашемъ народѣ профессоромъ Шевыревымъ, Тертіемъ Филипповымъ и другими славянофилами того же закала, составляютъ жалкое и безобразное искаженіе этого прекраснаго свойства деликатности. Но, произ-

веденное насильственно, это искаженіе и поддерживается постоянно искусственными комбинаціями разнаго рода. А какъ скоро жизнь получитъ свой естественный ходъ, тогда и внутреннія свойства человека скоро примутъ свое прямое направленіе. Звѣрства человекъ не станетъ показывать, если его къ тому не вынудятъ, — это ужъ всякому понятно: нынче ужъ перестали вѣрить даже и въ то, что змѣя стремится непременно ужалить человека безъ всякой причины, просто по ненависти къ человеческому роду; тѣмъ менѣе вѣрятъ въ существованіе подобныхъ мнѣчески-змѣйныхъ натуръ между людьми. Точно такъ же нельзя вѣрить и существованію овецъ, которыя бы за честь считали попасть на зубы льву, или людей, отъ природы имѣющихъ склонность къ тому, чтобъ ихъ таскали за носъ и плевали имъ въ фізіономію. Если мы видимъ, что множество людей позволяютъ подвергать себя подобнымъ экспериментамъ, то повѣрьте, что это дѣлается не иначе какъ по необходимости. Съ этой стороны, значить, бояться нечего: искаженная, убитая и обращенная во вредъ простолюдину «деликатность» его приметъ свое естественное направленіе при первой возможности.

Но и въ теперешнемъ, искаженномъ состояніи крестьянскаго быта и мысли мы видимъ слѣды живого, хорошаго направленія этой деликатности. Сюда причисляемъ мы прежде всего сознаніе, о которомъ мы говорили выше и которое въ простомъ классѣ несравненно развитѣе, нежели въ сословныхъ, обезпеченныхъ постояннымъ доходомъ, — сознаніе, что надо жить своимъ трудомъ и не дармоѣдствовать. Извѣстно, что «міробѣдъ» на всей Руси составляетъ одно изъ самыхъ позорныхъ названій, а

этимъ именемъ величаютъ не только какого-нибудь старосту, земскаго или сотскаго, но и всякаго мужика, разжирѣвшаго на мірской счетъ. Въ крестьянскомъ сословіи почти невообразимъ тотъ разрядъ людей, къ которому принадлежитъ такое множество прекрасныхъ, образованныхъ, молодыхъ и старыхъ господъ въ большихъ городахъ, — господъ, многіе годы очень недурно проживающихъ «на шаромыжку», безъ всякихъ определенныхъ средствъ и съ вѣчными, тоже неопредѣленными, долгами. Между крестьянами сохраняется обыкновенно очень вѣрный и умный взглядъ на людей, вышедшихъ изъ среды ихъ и нажившихъ себѣ большое состояніе разными темными путями. Намъ самимъ случилось говорить съ мужиками, помнившими карьеру нѣкоторыхъ извѣстныхъ богачей, вышедшихъ изъ простоародья: не только преклоненія предъ богатствомъ, такъ обыкновеннаго между нашими просвѣщенными и «учеными» людьми, мы не замѣтили здѣсь, но даже встрѣтили очень суровое сужденіе о средствахъ необычайнаго обогащенія милліонеровъ, о которыхъ шла рѣчь. Изъ словъ крестьянина видно было, что онъ очень хорошо понимаетъ эти средства, но что душа его отвращается отъ нихъ и что ежели бы ему даже представился случай ими воспользоваться, то онъ не рѣшился бы. Говорятъ, наши мужики лукавы и при случаѣ надуютъ васъ самымъ мошенническимъ образомъ, чтобы зашибить себѣ лишнюю копейку. Да, бываетъ и это, хотя не такъ часто, какъ рассказываютъ, и при томъ болѣе въ городахъ и придорожныхъ или торговыхъ селахъ, имѣющихъ много случаевъ позаимствоваться моралью отъ высшихъ классовъ общества. Но надо замѣтить, во-первыхъ,

что нужда чего не заставитъ дѣлать? а во-вторыхъ, что обманъ и надувательство крестьяне позволяютъ себѣ по большей части относительно другихъ классовъ общества, съ которыми они не только не чувствуютъ никакого родства и солидарности, но даже, напротивъ, находятъ себя въ правѣ быть недоувѣрчивыми и враждебными. Съ своимъ же братомъ, въ своемъ обществѣ они, по общимъ отзывамъ, бываютъ очень честны. И это неудивительно: съ одной стороны — надобность трудиться для своего обезпеченія понимается простыми людьми гораздо живѣе и осуществляется легче, нежели въ высшихъ классахъ общества, которыхъ члены надѣются достаточнымъ запасомъ матеріальныхъ удобствъ еще прежде своего рожденія; объ этомъ мы говорили много, разбирая рассказъ Маниа . Съ другой стороны, уваженіе къ личности и правамъ другихъ и вѣдѣніе того внимательность къ общему мнѣнію также сильнѣе въ людяхъ простыхъ, нежели въ тѣхъ, кто поставленъ судьбою въ положеніе болѣе благопріятное для лѣни и капризовъ. Какимъ образомъ въ людяхъ послѣдняго разряда развивается пренебреженіе къ чужимъ правамъ и на мѣсто всякаго закона ставится вздорный, самолюбивый произволъ, это мы видѣли въ воспитаніи барышни, описанной намъ «Игрунечкою». Что дѣлается у нихъ изъ общественнаго мнѣнія, показываетъ намъ баринъ, отказывающійся жениться на Санѣ, изъ опасенія, «что скажутъ? . .» Основаніе этого опасенія, конечно, можетъ быть выведено изъ добраго источника — уваженія къ общественному мнѣнію; присутствіе того же начала мы видимъ, напримѣръ, и въ Надѣжѣ. Но, всматриваясь ближе въ тотъ и въ дру-

гой случай, мы находимъ между ними большую разницу. Скажемъ здѣсь объ этой разницѣ нѣсколько словъ, чтобы еще дополнить сдѣланную уже нами прежде параллель между простолюдинами и людьми «образованными» въ нашемъ обществѣ.

Наше образованное общество, какъ извѣстно, не имѣетъ себѣ подобнаго въ безразличности, съ которою оно смотритъ на общественную мораль. Люди, завѣдомо негодные, уличенные, осужденные, принимаются у насъ въ хорошемъ обществѣ, какъ будто бы за ними ничего дурного не бывало. Являясь въ домъ къ человѣку, извѣстному своей честностью, вы никакъ не можете быть поэтому увѣрены, что не встрѣтитесь у него съ людьми очень и очень нечистыми. Въ другихъ земляхъ, даже не пользующихся особенной славою гражданскаго героизма, бывали примѣры, что люди, уличенные, на примѣръ, въ казнокрадствѣ, видѣли вдругъ, что съ ними вмѣстѣ никто обѣдать не хочетъ, а другіе, при одномъ подозрѣніи ихъ въ такомъ же дѣлѣ, приходили въ такое волненіе, что лишали себя жизни. У насъ нѣтъ надобности въ такой крутой мѣрѣ, и невозможно ожидать подобныхъ манифестацій: общественное сознаніе нейдетъ дальше сплетенъ. На какомъ вамъ угодно балу или великосвѣтскомъ вечерѣ, за званымъ обѣдомъ, въ какомъ хотите собраніи, гдѣ довольно много публики, разговоритесь съ первымъ попавшимся на глаза болтуномъ о другихъ господахъ, которые будутъ подвертываться вамъ на глаза: Боже мой, сколько грязныхъ исторій, отвратительныхъ анекдотовъ, безобразныхъ сценъ передадутъ вамъ чуть не о половинѣ присутствующихъ! . . . Этотъ вышелъ въ люди наущ-

ничествомъ и шпионствомъ, тотъ залѣзъ въ казенный сундукъ, тотъ находится на содержаніи у такой-то старухи, черезъ которую и сдѣлалъ карьеру; одинъ занимался контрабандой, другой сводничествомъ, третій тиранить крестьянъ, четвертый — отъявленный взяточникъ, пятый — шулеръ . . . Болтунъ вамъ, можетъ быть, и прибавить и перевертъ многое; но замѣчательно, что все собравшееся общество не разъ уже слышало подобныхъ болтуновъ, знаетъ все, что говорятъ о каждомъ изъ присутствующихъ, и нимало не заботится даже о томъ, чтобы хотъ удостовѣриться въ справедливости или ложности слуховъ. «Говорятъ, что онъ наворовалъ все, что теперь имѣетъ; да и точно, откуда бы вдругъ взялся безъ того его богатству? Но, впрочемъ, что намъ за дѣло? Обѣды у него хорошіе; князь такой-то и генералъ такой-то къ нему ходятъ, и по службѣ онъ хорошо идетъ; стало быть и намъ не-стать передъ нимъ спесивиться и гнушаться его знакомствомъ». Такъ обыкновенно разсуждаютъ у насъ — и жмутъ руку негодяю, котораго въ душѣ готовы презирать, да не смѣютъ. Мы не хотимъ пускаться здѣсь въ разборъ причинъ такого состоянія образованнаго нашего общества, предоставляя себѣ разсмотрѣть это при другомъ случаѣ. Здѣсь же отмѣтимъ только фактъ, что общественный судъ о нравственномъ достоинствѣ людей если и существуетъ у насъ, то лишь въ видѣ сплетенъ и разговоровъ, ничего не значущихъ для практики; вся же строгость общественнаго мнѣнія обращена на принятыя формы и приличія. Несоблюденіе ихъ карается безпощадно; съ людьми «неприличными» не знакомятся; людей, не умѣющихъ держать себя, не пускаютъ въ порядочное обще-

ство, — развѣ если они ужь очень богаты . . . Такимъ образомъ забота о всякаго рода щенетильностяхъ исполняетъ всю нашу жизнь, опредѣляетъ все наши дѣйствія, отъ повязки галстука и часа обѣда, отъ подбора мягкихъ словъ въ разговорѣ и ловкаго поклона — до выбора себѣ рода занятій, предмета дружбы и любви, развитія въ себѣ тѣхъ и другихъ вкусовъ и наклонностей. Не сущность дѣла, а лишь принятая и условленная форма обращаютъ на себя общее вниманіе. А чѣмъ условливается принятая форма, по чему судятъ о ея достоинствѣ? По тому, насколько въ ней выражается барство въ дурномъ его смыслѣ, т. е. съ произволомъ и тунеядствомъ. Неприлично быть актеромъ — не потому, что это пустое занятіе, а потому, что актеръ, видите ли, наемникъ, за деньги выдѣлывающій всякія штуки передъ публикой, т. е. человѣкъ, все-таки хоть какимъ-нибудь трудомъ достаютій себѣ хлѣбъ. Это ужь не годится: порядочный человѣкъ долженъ не нуждаться въ трудѣ для поддержки своего существованія: онъ долженъ быть бюручкою и бездѣльникомъ, а трудъ — это плебейское дѣло . . . Не такъ лестно служить въ арміи, какъ въ гвардіи. Почему? Не потому, чтобы въ гвардіи представлялось болѣе возможности принести пользу службѣ, а всего болѣе потому, что тамъ форма лучше и что гвардейская экипировка и содержаніе, будучи гораздо дороже, съ перваго же взгляда обличаютъ человѣка, который можетъ тратить много денегъ. Неприлично шутить съ прислугою, — не изъ опасенія, чтобы своею шуткою случайно не оскорбить человѣка, который, по своему положенію, не можетъ отвѣтить на нее обратно, а, напротивъ, изъ боязни, чтобы на

наши шутки слуга и самъ не вздумать отвѣтить шуткою и такимъ образомъ не стать бы съ нами за панибрата . . . Нельзя жениться на простой двушкѣ — не потому, чтобы она не могла удовлетворить стремленіямъ образованнаго человѣка и понять его интересы, а просто потому, что она нашихъ пріемовъ не знаетъ, и манерами и разговоромъ будетъ насъ компрометировать. Вотъ къ чему сводится вся боязнь барина, который не смѣетъ жениться на Санѣ, хотя онъ любитъ ее, находитъ въ ней полное удовлетвореніе и не можетъ не видѣть, что она умнѣе и чище его самого и всѣхъ его родныхъ и знакомыхъ, которыхъ мнѣнія онъ боится . . .

Не тотъ характеръ имѣетъ страхъ общественнаго суда въ простомъ быту. Есть, правда, и тамъ свои привычки, которыя всѣмъ слѣдуетъ соблюдать; но и несоблюденіе ихъ не возстановляетъ всего общества противъ виновнаго. Молодой парень можетъ, напр., брить себѣ бороду, нуждающійся бѣднякъ можетъ въ воскресенье, вмѣсто храма Божія, отправиться работать на свою полосу — это не вызоветъ преслѣдованій со стороны односельцевъ. Зато дѣйствительные нравственные грѣхи судятся очень строго, и если общее мнѣніе не имѣетъ часто серьезныхъ практическихъ послѣдствій, такъ это отъ рѣшительной невозможности привести въ дѣйствіе общее желаніе. При въѣздѣ въ деревню нашъ ямщикъ встрѣчается съ мужиченкомъ, котораго онъ не преминетъ обругать и которому вслѣдъ пошлетъ еще нѣсколько недобрыхъ словъ, называя его, между прочимъ, Ванькою-воромъ. Вы спрашиваете, что это значитъ, и ямщикъ объясняетъ вамъ похождения Ваньки, изъ которыхъ видно, что онъ

дѣйствительно боръ всесвѣтнѣйшій и отъявленный. «Такъ зачѣмъ же вы его у себя держите и даете ему шлѣться на волѣ?» — «Да что же намъ съ нимъ дѣлать-то? — возражаетъ крестьянинъ. — Въ солдаты сдать его хотѣли — не годится, дескать, не приняли... Колотили сколько разъ — не ѣмется... Что жъ тутъ будешь дѣлать? Вѣдь не судиться же съ нимъ». — «А отчего жъ бы и не судиться?» — «Э!» съ досадою крикнетъ ямщикъ въ отвѣтъ и только рукой махнетъ, не желая словъ тратить. Изъ его восклицанія и жеста поймите его положеніе и сообразите, сколько ему надо нравственной чистоты и твердости, чтобы не развратиться въ концѣ подъ вліяніемъ тяготѣющихъ надъ нимъ обстоятельствъ разнаго рода. Немудрено, что и въ крестьянскомъ быту общее мнѣніе часто бываетъ нелѣпо, иногда нечестно по неискренности, иногда совсѣмъ скрыто по малодушію. Противъ всего этого мы не думаемъ спорить; мы даже готовы прибавить, что во всѣхъ случаяхъ, гдѣ нужно собирать голоса и по нимъ узнавать общее мнѣніе, въ крестьянскомъ сословіи, вслѣдствіе его непривычки вести собственныя дѣла по своему собственному желанію, оказывается гораздо больше безтолковщины, чѣмъ гдѣ-либо. Но мы утверждаемъ одно, что тамъ болѣе внимательности къ достоинству человѣка, менѣе безразличны къ тому, каковъ мой сосѣдъ и какимъ я кажусь моему сосѣду. Забота о доброй славѣ тамъ встрѣчается чаще, чѣмъ въ другихъ сословіяхъ, и въ видѣ болѣе нормальномъ. Извѣстно, что естественная потребность заслужить доброе расположеніе людей переходитъ нерѣдко въ болѣзненное исканіе репутаціи, для которой нерѣдко и совершаются всевозможныя гадости. Но это

именно бываетъ у людей «образованнаго» общества, которые, обогащаясь всякаго рода познаніями, открываютъ для себя множество цѣлей и путей, но чтобы достигнуть этихъ цѣлей, не имѣютъ достаточно силъ, да и на счетъ пути-то оказываются очень лѣнны... Видя, что существеннаго-то не могутъ достигнуть, они начинаютъ гоняться за видимостью: «пусть, дескать, я не богатъ, да другіе будутъ говорить, что богатъ — все пріятнѣе». Такое исканіе репутаціи въ простомъ языкѣ называется просто надувательствомъ и шельганствомъ; и стремленіе къ доброй славѣ никакъ нельзя съ нимъ смѣшивать. Это послѣднее есть прямое послѣдствіе благожелательства къ людямъ и уваженія къ ихъ личности. Въ своемъ крайнемъ развитіи оно переходитъ опять въ излишнюю угодливость, робость, боязнь собственнаго мнѣнія, — и это мы нерѣдко видимъ въ нашихъ крестьянахъ, которыхъ вообще всѣ обстоятельства жизни такъ и ведутъ къ пресловутому *смиреномудрію* славянофиловъ. Но во всякомъ случаѣ, по своему основанію и существеннымъ свойствамъ, эта чуткость народа къ общественному мнѣнію, къ доброй славѣ служитъ однимъ изъ доказательствъ способности его къ высокому гражданскому развитію, на началахъ живыхъ и справедливыхъ.

Мы отдалились отъ разсказа о Надѣжѣ, по поводу котораго заговорили о деликатности, объ уваженіи къ личности другого и о доброй славѣ, какъ выраженіи того, довольны или недовольны нами наши ближніе. Но мы опять приходимъ именно къ этому разсказу, и въ немъ хотимъ показать разницу возрѣній на то, что постыдно и что не постыдно въ простомъ и въ такъ называемомъ ци-

вильзованномъ обществѣ. Надѣжа страдаетъ отъ намековъ и насмѣшекъ подругъ, Надѣжа считаетъ себя обезславленной; а между тѣмъ, какъ видно изъ разсказа, Иванъ не соблазнилъ ее, не сдѣлалъ ей того, что на житейскомъ языкѣ нашемъ называется «безчестьемъ» дѣвушки. Страдаетъ и Иванъ, и всѣ дѣйствующія лица этой исторіи признаютъ его глубоко виновнымъ, хотя онъ и не воспользовался любовью дѣвушки. Отчего жъ они оба страдаютъ и сокрушаются? Чего имъ стыдно и тяжело? По нашимъ житейскимъ понятіямъ онъ ничѣмъ не обязанъ передъ ней, она ничѣмъ не осрамила себя передъ нимъ и передъ людьми, потому что не дала ему ничего сдѣлать надъ собою неприличнаго . . . Да, но понятія простыхъ людей не таковы. Мы знаемъ, что насчетъ физической чистоты они не очень даже и заботятся, и мы говоримъ поэтому, что деревенскіе нравы очень развратны. Пожалуй, смотрите на это какъ хотите, но согласитесь, что въ отчаяніи Надѣжи и Ивана нравственная сторона дѣла понята гораздо выше и чище, нежели въ нашихъ житейскихъ сужденіяхъ и привычкахъ. Надѣжа знаетъ, что она хоть и сохранила свое физическое цѣломудріе, но поругана въ самыхъ святыхъ, самыхъ задушевныхъ своихъ чувствахъ; онъ тоже знаетъ, что нарушилъ внутренний міръ дѣвушки, отравилъ ея душевное спокойствіе и осквернилъ святыню ея сердца уже тѣмъ, что привлекъ на ея тайну нескромное и насмѣшливое вниманіе постороннихъ людей. Припомнимъ же и сравнимъ съ этой тонкостью и гуманностью чувства грубость какого-нибудь Андрея Колосова, котораго гуманные друзья его считаютъ еще лучшимъ изъ многихъ! . . . И точно, онъ лучше дру-

нихъ: вѣдь другіе-то поступаютъ болѣею частью какъ князь Н., описанный въ «Лишнемъ человѣкѣ...».

Но отчего же Надѣжа стыдится своего чувства, если оно такъ чисто? Да она и не то чтобы стыдилась, а ей просто чего-то неловко. Она живетъ какъ будто подъ вліяніемъ той мысли, что на нее съ подруги сердятся за предпочтеніе, оказанное ей Иваномъ, думаютъ, что она его завлекла, и потому насмѣхаются надъ нею за неудачу... Болѣзненное развитіе ея тонкой и нѣжной организаціи дѣлаетъ ее слишкомъ робкою и подозрительною: она сама себя считаетъ отверженною обществомъ. При томъ же въ ней дѣйствительно страдаетъ ея достоинство: она вдругъ очутилась въ положеніи человека, которому ни съ того, ни съ сего дали въ обществѣ пощечину. Конечно, если разсудить хладнокровно, такъ это само по себѣ вздоръ: при обсужденіи нравственнаго достоинства человека надо смотрѣть на то, заслуживалъ ли онъ быть битымъ; а тамъ быть ли онъ былъ въ дѣйствительности или нѣтъ, это уже другой вопросъ, вопросъ силы, а не права. Но спрашиваемъ: много ли въ образованномъ обществѣ найдется людей, которые могли бы возвыситься надъ фактомъ пощечины и не сконфузиться — не только если самимъ придется незаслуженно получить ее, но даже если случится быть хоть свидѣтелями при подобномъ казусѣ?..

Здравостью и основательностью общественнаго мнѣнія едва ли какое-нибудь сословіе въ обществѣ свѣмъ можетъ особенно похвалиться. Не могутъ ими похвалиться и простолюдины: тотъ же рассказъ «Надѣжа», рисуя намъ отношенія къ ней

подругъ ся, показываетъ намъ всю грубость и ошибочность ихъ сужденій. Это обстоятельство не осталось для насъ незамѣченнымъ, и мы не намѣрены его оправдывать, хотя и должны оговорить, что подобнаго рода ложныя и невѣжественныя понятія гораздо простибельнѣе крестьянамъ, нежели другимъ, высшимъ классамъ общества, имѣющимъ претензію на образованность. Мы уже говорили выше о томъ, какъ много препятствій въ своемъ развитіи встрѣчаетъ крестьянинъ, и какъ много внутренней силы нужно ему имѣть для того, чтобы уберечься отъ полнаго искаженія въ себѣ здраваго смысла и чистой совѣсти. И при этомъ-то положеніи все еще мы видимъ здѣсь существованіе такихъ натуръ, въ которыхъ хоть слабо и неровно, но неугасимо горятъ живые человѣческіе инстинкты, такъ что оскорбленіе и неудовлетвореніе ихъ влечетъ за собою смерть самого организма. Такія лица, какъ Надѣжа, съ перваго взгляда представляющіяся исключительными, оказываются при внимательномъ разсмотрѣніи обстоятельствъ и характера вовсе не такъ рѣдкими въ крестьянскомъ словіи, какъ мы привыкли думать. Повторяемъ, если не чаще чѣмъ въ средѣ благовоспитанныхъ юношей и барышень, то по крайней мѣрѣ столько же часто и встрѣчаются деликатныя натуры, подобныя Надѣжѣ, и въ простонароды.

Да еще это пассивная сторона, пассивная роль подобныхъ натуръ. Сама по себѣ Надѣжа прекрасная личность; но ее надо поконить и лелѣять, и отъ нея за то дожидаться нѣжности и ласки. А чуть на нее невзгода, она и сожмется вся, и спрячется въ самое себя, и ничего, кромѣ горькихъ слезъ, отъ нея не добьешься... Бываютъ въ про-

столюды натуры столько же нѣжныя и благожелательныя, но поэнергичнѣе, подвѣтлыѣе. Такія натуры тоже не покажутся совсѣмъ непонятными тому, для кого не совсѣмъ чуждо изученіе нашего простолюду. Одну изъ такихъ личностей видимъ мы въ Катеринѣ Марка Вовчка.

Катерина тоже очень чутка къ насмѣшкамъ, упрекамъ и даже простымъ шуткамъ, имѣющимъ самый невинный характеръ. Еще маленькой дѣвочкой привезла ее барыня изъ Малороссіи въ великорусскую деревню: здѣсь показались странными — и ея языкъ, и рубашка вышитая, и взглядъ томный и задумчивый... Стали ее тормошить дѣвченки и смѣяться надъ ней. Само собою разумѣется, что у маленькой дѣвочки не могло быть твердаго разумнаго сознанія о смыслѣ и достоинствѣ всего, что она дѣлаетъ; она не могла, подобно философу какому-нибудь, продолжать дѣлать свое, презирая крики толпы; она должна была принимать къ сердцу выходки подругъ. Если бъ она была сварлива, она стала бы со всѣми ссориться и защищать себя силою; но ея деликатность, инстинктивное уваженіе къ себѣ и къ другимъ не допускали ее до этого. Потому она просто переставала дѣлать то, что другимъ казалось страннымъ или смѣшнымъ. Осмѣяли разъ ея шитые рукавчики на рубашкѣ: она больше ни разу не надѣла своей вышитой рубашки. Подкараулили ее разъ у курганчика, къ которому она одна уходила, и подслушали малорусскую пѣсню, которую она тамъ пѣла, да стали приставать къ ней и спрашивать, она перестала ходить къ кургану и никогда больше не пѣла той пѣсни... Но вмѣстѣ съ этой чуткостью ко вся-

кому виѣшнему впечатлѣнію, Катерина обладала внутреннею силою, которая непременно требовала себѣ исхода, непременно должна была выразиться въ какой-нибудь дѣятельности. Долго обстоятельства жизни шли наперекоръ стремленіямъ Катерины: ее увезли съ собою господъ въ другую вотчину, незнакомую; ее выдали замужъ за человѣка, котораго она не могла любить. Она никому не пожаловалась на свою судьбу, слова не сказала о своемъ житьѣ-бытьѣ, никого не допустила даже пожалѣть ее въ глаза, и съ мужемъ не ссорилась, а «только опустить глаза и неподвижная такая станетъ, строгая и суровая предъ нимъ...». Хотѣлось ей найти себѣ какое-нибудь дѣло въ жизни, да не находилось такого дѣла. Выучилась она пѣть хорошо, такъ что душа рвалась и томилась отъ ея пѣсенъ. На всѣ свадьбы ее первую приглашали, и она пѣла тамъ грустныя пѣсни, и душу отводила себѣ. Да не довольно ей было этого: тяжело ей было до того, что она было пить пріучилась. Разъ ей сказала подруга: «Катерина, голубушка! не пей много: тутъ чужіе люди есть — осудятъ тебя: лучше ты спой намъ!». Тогда она отвѣтила вотъ что: «Ахъ, вы, люди безжалостные! Все вамъ пойдѣ да пойдѣ, — отдохнуть не дадите! Дайте отдохнуть, дайте выпить вина забывчатаго!» Горько, видно, казалось ей жить на свѣтѣ безъ дѣла, безъ пользы. Такъ бы, можетъ, и загубила она свою душу, да къ счастью отыскалось ей дѣло: прослышала она про знахарку въ околоткѣ и рѣшилась выучиться у нея лѣчить болѣзни; она же съ малолѣтства имѣла страсть разсматривать да узнавать всякіе цвѣты и травы. Вотъ какъ рассказываетъ сама знахарка о приходѣ къ ней Катерины (стр. 57):

Приходитъ ко мнѣ, спрашиваетъ: — Какъ мнѣ на свѣѣ жить? — А сама во всеѣ глаза глядитъ на меня, — перену-гала. „Живи косатка, какъ люди“, говорю. — Нѣтъ, скажи, какъ мнѣ жить, мнѣ! — „Сядь-ко, да перекрестись, да молитву прочитай: на тебя наущено“. Она сѣла, перекрестилась и заплакала. А тутъ у меня травы висѣтъ по стѣнамъ, и на окнѣ на солнышкѣ сушились. — На что тебѣ травы столько? — спрашиваетъ. — „Людямъ помогаю“. — Помоги же и мнѣ, родная! — „Да что у тебя болитъ-то? скажи“. — Душа моя болитъ! — проговорила тихо, а у самой слезы потекли. — „А голова не болитъ?“ — И голова болитъ, и вся я больна! — Вотъ я ей травку даю; она поклонилась и пошла. Я было вздремнула, слышу — опять стучатся, опять она. — „Что тебѣ? — Научи меня, родная, какими ты зельями лѣчишь? — Я разсердилась и гоню ее, а она ужь такъ-то плачетъ, разливается. — Не научишь, то убей меня тутъ! Все равно я пропаду. *Я вотъ, — говоритъ, — ужь сколько маялась на свѣтъ — все пусто да пусто, никого не радую, и ничто меня не веселитъ, и дѣла у меня нѣтъ душевнаго никакого.* — Я думаю — дурѣетъ она, а жалко мнѣ ее. Я тамъ и показала ей кое-что, больше для утѣхи ей. Гдѣ жь, думаю, ей запомнить! А она вѣдь запомнила все. Начала, слышу ужь, сама лѣчить. Досадно мнѣ и обидно было, что она у меня кусокъ хлѣба отбиваетъ. Разъ она пришла, и полны руки травъ. Я ее неласково встрѣчаю, а она словно не видитъ. — Знаешь эти травы, бабушка? — „Не знаю, — говорю, — да и знать не хочу“. — Нѣтъ, говоритъ, — ты возьми. Я тебѣ это принесла. Полезныя травы, цѣлющія! — „Ты на чемъ ихъ испробовала-то, что ручаешься?“ — Да на себѣ, бабушка. „Какъ на себѣ?“ — А такъ, — говоритъ: — вѣдь я прежде-то всегда сама поую; не свалить — тогда и людямъ даю. — Удивила она меня, ей богу! А говоритъ-то вѣдь такъ, вѣдь сердце ей вѣрнѣе. . И вотъ съ той поры она мнѣ травы-то всякія носитъ. *Спасибо ей, не обидѣла меня за мою науку.*

И какъ только нашла себѣ Катерина «дѣло душевное», тотчасъ она и пить бросила, и ласковая такая стала, привѣтная. Сама за себя она ста-

ла спокойна, только чужая печаль все крушила ее и не давала ей покою. У всякаго больного разспрашивала она прежде, нѣтъ ли у него печали какой. Одна больная сказала ей: «Что рассказывать-то? Чужая бѣда никому не разумна». — «Ужъ мнѣ ли не разумна! — отвѣтила Катерина: — мнѣ ли не горька! Нѣту на свѣтѣ бѣломъ, нѣту мнѣ чужой печали, — все моя печаль. Пожила бы ты съ мое — узнала бы!». Больная удивилась и, вспомнивъ про мужа Катерины, котораго та не хотѣла утѣшить и полюбить, какъ онъ ни любилъ ее, проговорила въ видѣ возраженія: «А мужъ-то твой?». Катерина не разсердилась, а только подумала немного и сказала: «И его печаль — моя печаль, да не мое дѣло помочь ему . . . Не своей волей за бѣду я ему стала; а у него воля была неразумная». Какъ ярко высказывается въ этихъ простыхъ словахъ сознательная, самобытная энергія характера Катерины! . . . Она далеко выше, на примѣръ, Игрушечки или Саши: она не дастъ распоряжаться своей душою, не предастся тому, съ кѣмъ связала ее судьба противъ воли; она хочетъ всѣхъ любить, всѣхъ видѣть счастливыми, но она ищетъ свободнаго простора для своей дѣятельности и любви. Если ее приведутъ насильно и скажутъ «осчастливь вотъ этого, а не того», — вся натура ея возмутится противъ такого насилія, и при всей ея любвеобильности у нея не останется силъ для выполненія приказанія. Мягкость и нѣжность ея натуры призываютъ ее посвятить себя на пользу ближнихъ; но отъ этого вольнаго служенія далеко до отреченія отъ своей личности, до допущенія себя сдѣлаться игрушкой чужого произвола. Нѣтъ, въ ней сознаніе своего достоинства, своей самостоятельности настолько

же сильно, какъ и сознаніе кровнаго родства ея съ людьми и взаимной обязанности людей поддерживать другъ друга въ общихъ трудахъ и заботахъ жизни. Только благопріятныхъ обстоятельствъ развитія да болѣе обширнаго круга дѣятельности недостаетъ ей для того, чтобы занять высокое мѣсто въ ряду лучшихъ дѣятелей, которыхъ память сохраняется въ исторіи и въ преданіяхъ народныхъ.

Рѣдко встрѣчаются лица, до такой степени чисто сохранившіяся отъ двухъ противоположныхъ крайностей — отъ доведенія благодунія до потери собственной свободы и отъ эгоистическаго возвышенія собственной личности до забвенія правъ другихъ. Но надо замѣтить, что рѣдки они не въ одномъ простонародьи; во всѣхъ классахъ общества мы видимъ, къ сожалѣнію, что если въ человѣкѣ преобладаетъ доброта, то ужъ она до того доходитъ, что имъ всѣ помыкаютъ, а если въ немъ самолюбіе сильно, то онъ надъ другими озорничаетъ, сколько можетъ. При такомъ ходѣ дѣлъ, мы нерѣдко еще удивляемся нравственнымъ качествамъ иныхъ людей за то только, что они не столько подличаютъ, или не столько вольничаютъ надъ другими, сколько могли бы по своему положенію. Такъ мы восхваляемъ добраго помѣщика, берущаго не слишкомъ обременительный оброкъ съ крестьянъ, честнаго откупщика, у котораго въ откупъ продается сносная водка, чиновника, хотя и кривящаго душою по приказу начальства, но умѣющаго держать себя не слишкомъ по-лакейски, и пр., и пр. Принужденные имѣть такую мѣрку для оцѣнки нравственнаго достоинства людей среди нашего общества, мы должны быть очень довольны, когда видимъ хоть возможность появленія въ крестьян-

скомъ сословіи такихъ личностей, какъ Катерина. Если бы изъ такихъ людей состояло большинство, то конечно исторія, не только наша, но и всего человѣчества, имѣла бы совсѣмъ иной характеръ. Намъ важно ужъ и то, что подъ грудой всякой дряни, нанесенной съ разныхъ сторонъ на наше простонародье, мы въ немъ еще находимъ довольно жизненной силы, чтобы хранить и заставлять пробиваться наружу добрые человѣческіе инстинкты и здравыя требованія мысли. Часто эти обнаруженія природныхъ силъ бываютъ слабы, едва примѣтны, часто замираютъ, едва пробившись на свѣтъ Божій; рѣдко сохраняются они такъ упорно противъ всѣхъ невзгодъ, какъ мы видѣли въ Машѣ и Катеринѣ. Но и то уже много, если мы замѣтимъ въ слабой степени присутствіе въ народѣ тѣхъ началъ, которыя такъ ярко выразились въ этихъ двухъ женщинахъ. А что мы ихъ замѣтимъ, если будемъ внимательно и съ любовью наблюдать бытъ простонародья, — за это можно смѣло ручаться. Затѣмъ уже не трудно намъ будетъ сообразить, отчего развитіе этихъ началъ въ народѣ по большей части останавливается такъ рано и нерѣдко совсѣмъ заглушается; не хитро также будетъ понять и то, въ какой степени самъ простолюдинъ бываетъ виновенъ въ неполнотѣ или совершенной остановкѣ своего развитія, и въ какой степени виноваты въ этомъ мы всѣ, причисляющіе себя къ людямъ образованнымъ. Удостоивши же подумать объ этомъ, мы должны придти къ вопросу о томъ: что намъ дѣлать, чтобы устранить по возможности все, что такъ страшно мѣшаетъ развитію хорошихъ качествъ народа?

Вопроса этого мы не станемъ рѣшать здѣсь; рѣ-

шеніе его несравненно легче вывести, нежели понятнымъ образомъ написать въ русской книгѣ: длинная и трудная можетъ изъ этого выйти исторія! Но мы можемъ здѣсь еще разъ обратить вниманіе читателей на мысль, развитіе которой составляетъ главную задачу этой статьи, — мысль о томъ, что народъ способенъ ко всевозможнымъ возвышеннымъ чувствамъ и поступкамъ наравнѣ съ людьми всякаго другого сословія, если еще не больше, и что слѣдуетъ строго различать въ немъ послѣдствія внѣшняго гнета отъ его внутреннихъ и естественныхъ стремленій, которыя совсѣмъ не заглохли, какъ многіе думаютъ. Кто серьезно проникнется этой мыслью, тотъ почувствуетъ въ себѣ болѣе довѣрія къ народу, больше охоты сблизиться съ нимъ, въ полной надеждѣ, что онъ пойметъ, въ чемъ заключается его благо, и не откажется отъ него полѣни или малодушію. Съ такимъ довѣріемъ къ силамъ народа и съ надеждою на его добрыя расположенія можно дѣйствовать на него прямо и непосредственно, чтобы вызвать на живое дѣло крѣпкія, свѣжія силы и предохранить ихъ отъ того искаженія, какому они такъ часто подвергаются при настоящемъ порядкѣ вещей.

Искаженіе это доставляетъ много страданій несчастнымъ, но служитъ большею частью къ выгдѣ тѣхъ, кто поставленъ выше ихъ, кто владѣтъ ими. Но не надо забывать, что бываетъ оборотъ и въ противную сторону: не все натуры мягкія и податливыя, какъ Саша или Надѣжа, не все твердыя и благоразумныя, какъ Катерина, не все отрицательно-упорныя противъ зла, какъ Маша,—встрѣчаются и другія, суровыя и безпощадныя натуры, въ которыхъ внутренняя реакція всякому посягатель-

ству на ихъ личность развивается до размѣровъ поистинѣ сокрушительныхъ и получаетъ наступательный характеръ. Намъ заставилъ подумать объ этомъ обстоятельствѣ (котораго впрочемъ упускать изъ виду ни въ какомъ случаѣ не слѣдуетъ) характеръ Ефима, въ разсказѣ Марка Вовчка «Купеческая дочка». Мы ничего еще не говорили объ этомъ разсказѣ; обратимся же кстатѣ къ нему и закончимъ нашу статью, растянувшуюся такъ неимоვნю и неожиданно для насъ самихъ.

Ефимъ — мужикъ, кучеръ барскій, высокій бородачъ, смуглый, румяный; глаза у него такъ и сверкаютъ, лицо такое удалое, гордое, улыбка веселая да насмѣшливая. Барыня его горничную наняла, купеческую дочку бѣдную, Анну Акимовну. Съ перваго раза понравилась ему она, и съ перваго же раза обидѣла: прошла мимо его — не взглянула, на первый вопросъ его едва слово молвила. Задѣла она его за живое своею спесью, и пошелъ онъ ее неотступно преслѣдовать, рѣшившись во что бы то ни стало смирить ее, овладѣть ею. Множество дѣлалъ онъ ей всяческихъ маленькихъ непріятностей, ссорились они постоянно, и между тѣмъ все больше другъ другомъ интересовались. Прошелъ годъ; дворня замѣчаетъ, что у Анны Акимовны разговоръ все какъ-то на Ефима сводится. «Вотъ Ефимъ поѣхалъ лошадей ковать; Ефимъ пѣсни хорошо поетъ; вотъ Ефиму бы жениться, и на комъ это ему Богъ приведетъ?» такъ — разсуждаютъ дворовые при Аннѣ Акимовнѣ, а она сама ничего, только слушаетъ, да старается похитрѣе на эту рѣчь навести. Догадался про ея хитрость поваренокъ Миша и пересказалъ Ефиму; замѣтила Анна Акимовна, что Ефимъ что-то знаетъ, и вышла у нихъ

ссора нешуточная; Анна Акимовна попрекнула Ефима мужичествомъ.

— Зазнался, зазнался ты очень, накиннулась на него Анна Акимовна. — Вотъ ужъ посади за столъ... Забылъ, кто ты такой... что за вельможа?.. Что ты о себѣ думаешь?

Ефимъ сталъ передъ нею, головою покачивается:

— Ты-то отъ какихъ князей родъ ведешь?

— Да какъ ты смѣешь равняться-то? Безсовѣстный ты такой! Мой батюшка купецъ былъ, свою торговлю велъ...

— Да-съ, да-съ! Намъ не безызвѣстно съ! Ну, что вы, купцы? Вѣдь одинъ обманъ отъ васъ только. Я вотъ хоть бы вчера платокъ купилъ; божилось лихое твое племя: износу нѣтъ,—а вотъ посмотри-ка,—весь свѣтится!

И покойно такъ рассказываетъ, платокъ развертываетъ; а она-то дрожить, вся блѣдная.

— Я барынь жаловаться буду! — крикнула. — Ты не смѣй издѣваться, мужикъ безтолковый.

— Постой, постой, — заговорилъ Ефимъ, словно изумился.

— Да, — мужикъ безтолковый! — кричить Анна Акимовна.

Ефима словно кто противъ шерсти повелъ; кудрями онъ тряхнулъ и бороду погладилъ.

— Погоди, погоди! началъ онъ, сдерживая свой голосъ звучный. — Говоришь ты: мужикъ... Ну, признаюсь тебѣ самъ, точно, я мужикъ. И изъ деревни я недавно — тоже признаюсь. Жилъ я, пахалъ, сѣялъ, кормился самъ и продавать, и съ людьми чисто поступать, дружно жить. Я праву веселаго. А ты, купеческая дочка, Анна Акимовна, чѣмъ ты взяла? Что изъ себя-то взглядна? Это сущій пустякъ. Первое дѣло — душа, правъ. Ты задорна, строптива больно.

— Какъ ты смѣешь? — запищала она. А онъ свое:

— Лѣтъ ты хоть не молодыхъ, а уваженія тебѣ ни отъ кого нѣту... Какъ ты себѣ ни величайся, какъ ни ки-чись,—идутъ люди, а сами и не спросятъ: что это за Анна Акимовна на свѣтѣ живетъ?.. Мой-то батюшка землю пахалъ, и всякъ скажетъ: „Добрый мужичокъ былъ покой-

никъ!". А твой, хоть и въ лисьихъ шубахъ ходить, да слава-то нехороша.

Размолвились они шибко и говорить другъ съ другомъ перестали, только за столомъ одинъ другому все шпильки разныя подпускаютъ. А между тѣмъ оба похудѣли, поблѣднѣли, оба задумываются и пригорюниваются, когда одни. Наконецъ Ефимъ пошелъ рѣшительно. Разъ, послѣ долгихъ насмѣшекъ Анны Акимовны надъ мужиками и мужицкими привычками, Ефимъ выговорилъ: «Эхъ, матушка Анна Акимовна! А я, мужикъ, вѣдь за васъ посвататься хотѣлъ. Что? — думаю, — дѣвушка она хоть нетолковая, хоть вздорная, ерошливая, да за обозомъ сбредеть». Она вспыхнула и вздрогнула; а онъ продолжалъ: «Полноте, матушка, не извольте гнѣваться: нездоровье приключится. Опаски насчетъ сватовства не имѣйте. Пришла было дурь въ голову и прошла. Всякъ сверчокъ знай свой шестокъ. Мы себѣ ровню повысмотримъ». И точно, Ефимъ сталъ почти каждый день уходить со двора, принарядившись; приходилъ съ пѣсней и весь повеселѣлъ. Анна Акимовна притихла; ждетъ, что будетъ. Разъ вечеромъ приходитъ Ефимъ и объявляетъ въ людской, что хочетъ идти къ барынкѣ — позволенья просить жениться; потомъ обращается къ купеческой дочкѣ: «Ужъ вы, Анна Акимовна, стараго гнѣва не помяните, не обидьте мою суженую. Дѣвочка славная!». Анна Акимовна побѣлѣла вся, и губы у нея задрожали. Побѣлѣла вся и вышла. Спряталась въ уголку на лѣстницѣ и принялась горько плакать; долго плакала и къ ужину не пришла... Какъ сказали объ этомъ Ефиму, онъ прямо къ ней бросился, обнялъ ее крѣпко и цѣловать сталъ... Она такъ и ахнула, глянула на

него, узнала, да такъ и обвилась руками около его шеи, а сама плачетъ-плачетъ . . .

Онъ ее на рукахъ вынесъ изъ того уголка. Она вырваться, — не пускается; поставилъ противъ мѣсяца-свѣта: — Ага, кунеческая дочка, Анна Акимовна! — промолвилъ:—теперь ты моя!

И такъ вымолвить, словно онъ врага своего лютаго полонилъ; и у самого слезы двѣ скатились, и такая усмѣшка злобная! Странно и чудно на него смотрѣть тогда было...

Женились они. Съ перваго же дня свадьбы Ефимъ началъ чудить надъ женою, смирять ее. Попросилъ онъ ее, чтобы на дѣвишникъ и на свадьбу позвала своихъ знакомыхъ и родню дальнюю — купчихъ; она позвала. Ефимъ никого отъ себя на дѣвишникъ не пригласилъ, и Анна Акимовна была очень рада: она очень боялась убогихъ гостей, — чуть дверь отворится, она въ лицѣ измѣнится, но никто не пришелъ изъ убогихъ, купчихи одиѣ сидѣли и орѣхи щелкали. Зато на другой день, только что изъ-подъ вѣнца, въ дверяхъ уже молодые были встрѣчены съ хлѣбомъ-солью мужиченкомъ въ лаптишкахъ и въ зипунишкѣ ветхонькомъ. Отворили дверь, — вся изба полна мужиками въ лаптяхъ. Анна Акимовна запнулась и могла только прошептать: «Злодѣй!». Купчихи попятились назадъ, надулись; Ефимъ попросилъ ихъ не спешиваться, погулять на свадьбѣ; онѣ отъ него къ стѣнѣ отвернулись; тогда Ефимъ имъ и двери настежь . . . Анна Акимовна такъ была убита, что на другой же день захворала серьезно. Ефимъ затужилъ, закручинился, цѣлыя ночи надъ нею просиживалъ и все глядѣлъ на нее; но и тутъ былъ суровъ съ нею, и только разъ нѣжными словами упраши-

валъ ее, чтобъ лѣчилась. Она только отвернулась. Послѣ того онъ сталъ еще суровѣе; а когда она выздоровѣла, то житья ей не давалъ, — все за прежнюю гордость оплачивалъ. «Утерjali, — говорить, — вы, Анна Акимовна, свое-то княжество за мною! Вотъ вѣдь маху-то дали, — просто бѣда!» Она все молчитъ, а онъ все глядитъ на нее, какъ на своего врага жестокаго, да приговариваетъ иной разъ съ усмѣшкой: «Жгуча крапива родится, да уварится!» Она сохла и чахла отъ его попрековъ; да ему и самому не легко было жить такъ: постарѣлъ онъ, сморщился, веселость свою потерялъ, усмѣшка стала у него язвительна, да и слова такія ѣдкія и злобныя... Недолго выдержала Анна Акимовна; умерла она осенью, тихо, безъ мученій. Ефима не было дома въ это время: усланъ былъ куда-то барынею. Какъ воротился, увидѣлъ ее на столѣ — сталъ тутъ, ни слова не сказавши, и «простоялъ цѣлую ночь, не шевельнулся, не вздохнулъ. На утро пошелъ, гробъ купилъ, къ священнику зашелъ, попросилъ и могилу вырылъ ей самъ. Сзывалъ на похороны. Совсѣмъ спокоенъ человѣкъ былъ, кажись, а все чего-то странно было; все сердце недоброе чужло, вѣщало...». И точно, вышло недоброе:

Отнесли на погостъ Анну Акимовну, и въ сырую землю схоронили. Заходили съ кладбища люди; номинальный обѣдъ былъ, и Ефимъ самъ распоряжался. Какъ разошлись всѣ, онъ лошадей на водопой повелъ и говорить Мишѣ:

— Миша, слунай да помни! Коли я пропаду, все мое добро отказываю женщиной геткѣ; пусть ей все отдадутъ. Слышалъ?

Перепугался до смерти Миша.

— Слышу, — говорить.

— Ну, помни!.. — И поскакалъ.

Вбѣжалъ Миша въ людскую, дрожитъ всѣмъ тѣломъ.

— Ефимъ хочетъ руку на себя наложить!

Всполошилъ всѣхъ: побѣжали къ водопою. Всѣ лошади подъ горою къ ракушкѣ привязаны, а Ефима нѣтъ нигдѣ... Окликать, искать, и нашли его шапку около колодца, стараго, заброшеннаго... А въ колодецъ томъ давно еще дѣвочка утонула, - - и дна въ немъ не было. Около этого самаго колодца шапку его нашли, скликали людей съ баграми и съ крюками, да съ говоромъ шумнымъ Ефима мертваго выволокли. (Стр. 113.)

Нѣтъ сомнѣнія, что въ Ефимѣ всякій признаетъ черты чисто-русскаго характера, и при томъ характера не сглаженнаго образованностью, т. е. обыкновеннаго именно въ простонародьи. Это дурачество, эта неспособность къ мирному забвенію и прощенію, эта бессмысленная охота неотступно и безконечно шить человѣка попреками, въ то же время чувствуя къ нему сильную привязанность, — это все такія черты, какія любятъ приписывать русскому человѣку и сонмъ его порицателей и партія его quasi-защитниковъ. Послѣдніе видятъ здѣсь, конечно, величіе духа, находятъ прототипы подобныхъ характеровъ въ Иванѣ Грозномъ и Петрѣ Великомъ и даже иногда для параллели тревожатъ суровыя добродѣтели спартанцевъ и древнихъ римлянъ. Мы признаемся, что почтенные защитники русскаго народа хватаютъ немножко далеко. Восхищаться такимъ характеромъ, какъ у Ефима, довольно трудно для человѣка, не лишеннаго сердца. Но одного нельзя отнять у него — силы; одного нельзя не признать, что опасно шутить съ этою силою.

Посмотрите въ самомъ дѣлѣ, какимъ страшнымъ мщеніемъ отплатилъ онъ за оскорбленіе своего самолюбія Аншѣ Акимовнѣ! И какой фаталь-

ный, неотразимый характеръ имѣеть его мщеніе! Если бъ онъ просто задумать и холодно исполнить свой планъ — довести дѣвушку до замужества съ нимъ, — это была бы жалкая интрига, свидѣтельствующая только о червственности и злости его. Но тутъ дѣло шло не такъ: онъ самъ полюбилъ ее, оттого-то онъ и обидѣлся такъ глубоко ея пренебреженіемъ; добиваясь ея любви, онъ удовлетворилъ скорѣе потребности сердца, нежели голосу мести; онъ не могъ хотѣть загубить ее, — доказательство въ томъ, что онъ не перенесъ ея гибели. Но какая-то сила подталкиваетъ его на безпрестанныя и жестокія оскорбленія ея. Сила эта дика, неразумна, гибельна для него самого; но онъ не силенъ преодолѣть ея влеченія, потому что враждебныя обстоятельства не дали въ немъ достаточно развиться гуманнымъ и разумнымъ требованіямъ природы. Побѣда надъ гордой женщиной доставила ему двойное наслажденіе — и удовлетвореніе самолюбія, и достиженіе взаимности, которой онъ добивался. Но злоба его была сильнѣе любви: онъ былъ столько гордъ и самонадѣянъ, что не могъ слишкомъ дорого цѣнить полученную взаимность женщины; а оскорбленія, ею нанесенныя, запали глубоко въ его сердце, и онъ не могъ забыть и простить ихъ. Никакой покорностью, никакимъ пожертвованіемъ нельзя было умиловить его; ему самому было тяжело, его гнала какая-то тоска, онъ становился все мрачнѣе, но мѣрѣ того какъ исполнять свое мщеніе надъ любимой женой; но остановиться не могъ. Въ немъ проснулось какое-то ненасытное, безконечное желаніе унижать ее, вымещать надъ ней свою тоску и свое терпѣніе, надругаться надъ нею, какъ будто въ намѣреніи возстановить такимъ образомъ

свои собственные поправныя права, свое достоинство, которое видѣлъ униженнымъ и презрѣннымъ. Все его поведеніе объясняется тѣмъ общимъ закономъ реакціи, по которому крайность вызываетъ всегда другую крайность. Много лѣтъ прожилъ Ефимъ, не думая о своемъ человѣческомъ достоинствѣ и вынося, по своему положенію, множество унижительныхъ условій. Но представился случай, гдѣ его достоинство особенно больно было поражено — въ столкновеніи съ женщиной, которая ему нравилась и которой положеніе онъ считалъ равнымъ своему; горечь обиды пробудила въ немъ сознаніе; а разъ подумавши о своемъ униженіи, почувствовавъ его, онъ со всею энергіею своей натуры устремился къ тому, чтобы поднять свое достоинство. Женитьба на Аннѣ Акимовнѣ была для него недостаточна; онъ не могъ ясно сознавать всю великость того шага, который дѣлала «кунеческая дочка», выходя за него, мужика; для того чтобы вполне чувствовать свою побѣду, ему нужно было постоянное напоминаніе о ней, непрерывное упражненіе правъ побѣдителя надъ своею жертвою. Сколько онъ ни обижалъ ее, сколько ни смирялъ, сколько ни издѣвался надъ нею, все ему казалось мало. Она покорно и молча признала свое безсиліе, признала его права надъ ней, а ему все казалось, что онъ еще недостаточно доказалъ и возстановилъ предъ нею свое достоинство. Оттого его мщеніе было безсмысленно, невольно, мучительно для него самого, и ничѣмъ не могло удовлетвориться, сдѣлалось условіемъ жизни. Умирая, Ефимъ думалъ вѣроятно, что онъ еще не довольно показалъ себя, и если бы его жена воскресла, нѣтъ сомнѣнія, что онъ началъ бы съ ней опять ту же исторію, при

первомъ удобномъ случаѣ. Вѣдь онъ было пришелъ въ разумъ во время ея болѣзни — сталъ ее уговаривать нѣжными словами; но она отвернулась тогда отъ него, и онъ сдѣлался еще суровѣе, еще безпощаднѣе.

Величія духа тутъ, конечно, мало; но въ натурѣ, дѣйствующей такимъ образомъ, нельзя отрицать присутствія силы, которая, будучи иначе воспитана и направлена, могла бы получить болѣе разумный человѣческій характеръ. Прибавимъ еще, что сила эта вовсе не есть исключительная принадлежность немногихъ натуръ, а составляетъ явленіе довольно обыкновенное въ нашемъ простонародьи. Обстоятельства не благопріятствуютъ правильному ея развитію и упражненію; оттого она проявляется большею частью въ дѣйствіяхъ уродливыхъ, незаконныхъ, даже преступныхъ. Нельзя хвалить этого, но можно все-таки въ самыхъ недостаткахъ и преступленіяхъ различать то, что производится виѣшнимъ гнетомъ обстоятельствъ, отъ того, что даетъ сама натура человѣка. Къ чему ведутъ наше простонародье всѣ виѣшнія обстоятельства, его окружающія? Какой характеръ долженъ сообщаться всѣмъ его наклонностямъ отъ того положенія, въ которомъ онъ находится? Едва ли кто-нибудь изъ самыхъ заклятыхъ поборниковъ плантаторства станетъ утверждать, что положеніе нашихъ крестьянъ могло способствовать развитію въ нихъ прямоты, силы, гражданскаго героизма и т. п. Не нужно доказывать, что все окружающее бытъ и воспитаніе нашего простонародья вело его, въ большей или меньшей степени, къ развитію пороковъ слабости, неизбѣжно соединенныхъ съ рабскимъ или крѣпостнымъ, вообще унѣтеннымъ состояніемъ, — лести,

обмана, подличанья, продажности, лѣни, воровства и пр., — вообще, всѣхъ тѣхъ пороковъ, въ которыхъ надо дѣйствовать тайкомъ, исподтишка, а не употреблять открытую силу, не идти прямо, глядя въ лицо опасности... И при всемъ томъ посмотрите, какъ много сохранилось въ народѣ именно этого энергическаго, отважнаго элемента. Мы не станемъ здѣсь указывать на доблестные подвиги нашихъ крестьянъ для спасенія погибающихъ въ огнѣ и въ водѣ, не будемъ припоминать ихъ храбрости въ охотѣ на медвѣдя или хотъ бы въ послѣдней войнѣ. Что бы ни доказывали всѣ подобныя факты, мы оставляемъ ихъ въ сторонѣ; мы заговорили о порокахъ и преступленіяхъ, и потому, не выходя изъ этой колѣн, укажемъ только на уголовную статистику низшихъ классовъ нашего народа. Прочтите хоть рядъ извѣстій въ этомъ родѣ въ бывшемъ «Русскомъ Дневникѣ» или въ нынѣшней «Сѣверной Пчелѣ», и постарайтесь дать себѣ отчетъ о преобладающемъ характерѣ преступленій. Вы придете въ удивленіе, если привыкли считать русскій народъ только плутоватымъ, а впрочемъ слабымъ и апатичнымъ: южныя страсти встрѣчаете вы на каждомъ шагу, кровавыя сцены изъ-за любви и ревности, отравленія, зарѣзыванія, зажигательства, примѣры мщенія самаго звѣрскаго — попадаютъ вамъ безпрестанно въ этихъ извѣстіяхъ; а извѣстно, любятъ ли у насъ все дѣлать извѣстнымъ, и какъ много вслѣдствіе того доходитъ до публички изъ того, что дѣлается.

Что вывести изъ этого? Намъ кажется возможнымъ одно заключеніе: народъ не замеръ, не опустился, источникъ жизни не изсякъ въ немъ; по силы, живущія въ немъ, не находя себѣ правильнаго

и свободного выхода, принуждены пробивать себѣ неестественный путь и поневолѣ обнаруживаться шумно, сокрушительно, часто къ собственной гибели. Какъ это дурно, нечего и говорить; какъ же-лательно, чтобы силы народа направились лучше и служили въ пользу, а не во вредъ ему самому, этого тоже объяснять не нужно. Но, къ сожалѣнію, еще очень многимъ нужно доказывать, что эти силы существуютъ въ народѣ, и что дурное или хорошее направленіе ихъ зависитъ отъ обстоятельствъ народной жизни, а не отъ того, чтобы масса народа нашего принадлежала къ какой-нибудь особенной породѣ, способной только либо къ апатіи, либо къ звѣрству. Еще не мало у насъ, въ образованномъ обществѣ, такихъ господъ, которымъ ничего не стоитъ обвинить погавально цѣлый народъ въ неспособности къ гражданской жизни и всякому самостоятельному устройству, равно какъ не мало и такихъ, которые готовы такъ защитить народъ и принести ему такія возвышенныя чувствованія, что, слушая ихъ, слѣдуетъ только оплакивать совершенную гибель народного достоинства. Для тѣхъ и другихъ господъ мы считаемъ весьма полезнымъ внимательное размышленіе надъ книжкою рассказовъ Марка Вовчка. Чтобы облегчить имъ этотъ трудный процессъ, мы пробовали въ этой статьѣ анализировать нѣкоторыя, наиболѣе любопытныя черты народной жизни, представленныя въ «Народныхъ рассказахъ» очень живо и ярко, но при бѣгломъ и поверхностномъ чтеніи могущія не возбудить въ читателяхъ того вниманія, какого онѣ заслуживаютъ. Чтобы расширить кругъ сужденія о качествахъ нашего народа, мы старались также провести нѣсколько параллелей между людьми простого званія и ме-

жду лицами того общества, которое называетъ себя образованнымъ на томъ основаніи, что, одолѣвши пять-шесть головоломныхъ наукъ, въ размѣрахъ германскихъ гимназическихъ курсовъ, по сѣгрѣху и поламъ, и ударившись въ ранній космополитизмъ, оно разорвало связь съ народомъ и потеряло способность даже понимать основныя черты его характера. Не много преимуществъ, въ отношеніи къ нравственнымъ качествамъ, нашли мы въ этомъ обществѣ; не много оказалось въ немъ правъ на особенное возвышеніе его предъ простонародіемъ. Не заходя далеко, а только раскрывая подробности смысла немногихъ разсказовъ Марка Вовчка, такъ вѣрныхъ русской дѣйствительности, мы нашли, что неестественныя, крѣпостныя отношенія, существовавшія до сихъ поръ между народомъ и высшими классами, будучи матеріально и нравственно вредны для крестьянъ, были еще болѣе губительны для самихъ владѣльцевъ. Людямъ въ положеніи Пгрушечкиныхъ господъ они приносили повидимому нѣкоторую выгоду внѣшнюю; но черезъ это самое они, во всей своей недѣльности и безчеловѣчій, вшивались въ душу этихъ господъ, дѣлались основаніемъ ихъ морали, изгоняли изъ нихъ здравыя понятія и дѣлали ихъ нигде негодными, — между тѣмъ какъ на «Ману», «Катерину», «Надѣжу» и всѣхъ, находившихся въ ихъ положеніи, тѣ же отношенія дѣйствовали болѣе внѣшнимъ образомъ, не проникая внутрь ихъ уже и потому, что были всегда тяжелы и непріятны. Правда, и въ этомъ классѣ людей крѣпостное устройство произвело значительное искаженіе понятій и стремленій: въ Надѣжѣ и ея подругахъ, въ безотвѣтной Пгрушечкѣ, въ свирѣпомъ Ефимѣ мы видѣли, какъ ложно развиваются въ нихъ

перѣдко самыя добрыя начала, самыя естественныя требованія. Но это во всякомъ случаѣ дѣйствіе не прямое, а посредственное, не положительное, а отрицательное, и, главное, — это ложное развитіе естественныхъ началъ вовсе не доставляетъ бѣднякамъ выгоды, даже и внѣшней. Ихъ можно сравнить съ людьми, которые вынуждены ѣсть хлѣбъ пополамъ съ мякиной: долгое употребленіе такой пищи конечно имѣетъ вліяніе на организмъ и искажаетъ его здоровье; но едва ли кто-нибудь станетъ утверждать, что, поѣвши нѣсколько лѣтъ мякиннаго хлѣба, человѣкъ дѣлается неспособнымъ ѣсть чистый хлѣбъ. Напротивъ, тѣхъ людей, которымъ бывшее крѣпостное устройство и всѣ общественныя отношенія, бывшія слѣдствіемъ его, или въ прокъ, можно угодить гастрономамъ, разслабившимъ и изнѣжившимъ свой желудокъ тончайшими изобрѣтеніями поварского искусства: ясно, что они, во-первыхъ, будутъ гораздо крѣпче держаться за свой изящный столъ, нежели бѣдняки за свою мякину, а во-вторыхъ, если ужъ принуждены будутъ сѣсть на грубую пищу, то гораздо скорѣе погибнуть отъ нея, нежели тѣ же бѣдняки, переведенные съ мякины на чистый хлѣбъ . . .

Прочитавъ наши отрывочныя и несвязныя замѣчанія (которыя въ печати представятся еще болѣе несвязными, нежели какъ были въ рукописи), одни, конечно, найдутъ ихъ давно знакомыми и излишними, а другіе — неосновательными, преувеличенными и неправдоподобными. Большая часть людей, любящихъ литературу, замѣтитъ при этомъ, что въ статьѣ нашей вовсе нѣтъ *критики* Марка Вовчка. Мы привыкли къ подобнымъ замѣчаніямъ и, кажется, уже не одинъ разъ объясняли, какъ мы

понимаемъ задачи критики русскихъ беллетристическихъ произведеній. Но теперь кстати будетъ сказать еще нѣсколько словъ объ этомъ предметѣ, въ заключеніе нашей статьи.

Мы сказали въ началѣ, что Марко Вовчокъ не даетъ намъ поэмы народной жизни, что у него видимъ мы только намеки, абрисы, а не полныя, отдѣланныя картины. Слѣдовательно, нечего намъ было и пускаться въ опредѣленіе абсолютно-эстетическихъ достоинствъ «Разсказовъ». Нужно было показать, въ какой степени ясны, живы и вѣрны эти намеки, и въ какой мѣрѣ важны тѣ явленія жизни, къ которымъ они относятся. Мы и обратились къ этому пути: мы анализировали характеры, изображенные Маркомъ Вовчкомъ, приводили обстоятельства, способствовавшія правильному или ложному ходу ихъ развитія, припоминали русскую дѣятельность и говорили, насколько, по нашему мнѣнію, вѣрно и живо воспроизведены авторомъ русскіе характеры, насколько обширно значеніе тѣхъ явленій, которыхъ онъ коснулся. По нашимъ соображеніямъ вышло, что книжка Марка Вовчка вѣрна русской дѣйствительности, что рассказы его касаются чрезвычайно важныхъ сторонъ народной жизни и что въ легкихъ наброскахъ его мы встрѣчаемъ штрихи, обнаруживающіе руку искуснаго мастера и глубокое, серьезное изученіе предмета. Для подтвержденія этихъ выводовъ, мы пускались въ довольно пространныя разсужденія о свойствахъ нашего проstonародья и о разныхъ условіяхъ нашей общественной жизни. Теперь читателю представляется рѣшить, вѣрно ли, во-первыхъ, поняли мы смыслъ разсказовъ Марка Вовчка, а во-вторыхъ — справедливы ли и насколько справедливы наши за-

мѣчанія о русскомъ народѣ. Рѣшая эти два вопроса, читатель тутъ же рѣшитъ для себя и вопросъ о степени достоинства книги Марка Вовчка. Если мы показали ея смыслъ или наговорили небывальщины о народной жизни, т. е. если явленія и лица, изображенныя Вовчкомъ, вовсе не рисуютъ намъ нашего народа, какъ мы старались доказать, — а просто рассказываютъ исключительные, курьезные случаи, не имѣющіе никакого значенія, то очевидно, что и литературное достоинство «Народныхъ разсказовъ» совершенно ничтожно. Если же читатель согласится съ нами во взглядѣ на смыслъ разобранной нами книги, если онъ признаетъ общность и великое значеніе тѣхъ чертъ, какія нами указаны въ книгѣ Марка Вовчка, то, разумеется, онъ не можетъ не признать высокаго достоинства въ литературномъ явленіи, такъ разнообразно, живо и вѣрно изображающемъ нашу народную жизнь, такъ глубоко заглядывающемъ въ душу народа. Такимъ образомъ литературно-критическая цѣль наша будетъ достигнута безъ помощи эстетическихъ туманностей, всегда очень скучныхъ и безплодныхъ.

Что касается до другой цѣли, которую мы имѣли въ виду въ этой статьѣ, — она также не чужда литературѣ. Именно, пользуясь книгою Марка Вовчка, мы хотѣли привлечь вниманіе людей пишущихъ на вопросъ о виѣннемъ положеніи и внутреннихъ свойствахъ народа, готоваго теперь вступить въ новый періодъ своей жизни. До сихъ поръ мы слышали самые краснорѣчивые отзывы о нашемъ простонародьи, и — нечего скрывать — всего громче высказывались самыя невѣжественныя и враждебныя мнѣнія. Литература, по своему существу,

долженствующая быть проводникомъ идей просвѣщенныхъ, а не невѣжественныхъ, сдѣлала однако очень мало по этому вопросу, который теперь для насъ несравненно важнѣе не только нѣтическаго описанія разныхъ видовъ розы, или лекцій о санскритскомъ эпосѣ, но даже и всѣхъ достоинствъ г-жи Свѣчиной. Мы можемъ насчитать въ нашей литературѣ рядъ именъ въ родѣ статскаго совѣтника Григорія Бланка, министра Николая Безобразова, графа Н. Толстого, Орлова, Давыдова и т. п., можемъ припомнить мнѣнія въ родѣ того, что грамота портитъ мужика, что палка необходима для порядка въ народѣ, и т. д. Но мало наберемъ мы людей, которые бы съ любовью и знаніемъ дѣла старались возстановить предъ публикой достоинство народа и защитить его полное право на участіе во всѣхъ преимуществахъ гражданской жизни. Противъ мракобѣсія и палки возставали много; но и тутъ самыя блестящія статьи были написаны съ точки зрѣнія отвлеченнаго права и общихъ требованій цивилизаціи и едва ли была хоть одна статья, въ которой бы толковъ разбиралось, до какой степени и при какихъ условіяхъ *нашъ народъ* можетъ обойтись безъ палки и не получить вреда отъ грамоты. Видно къ сожалѣнію, что литература наша еще мало имѣетъ общаго съ народомъ. Участъ разсказовъ Марка Вовчка служить новымъ тому доказательствомъ: уже около двухъ лѣтъ они извѣстны публикѣ изъ «Русскаго Вѣстника»; въ началѣ нынѣшняго года вышли они отдельной книжкой; а журналы наши до сихъ поръ едва сказали о нихъ «нѣсколько теплыхъ словъ», по журнальной рутинѣ. А пополнялись они въ это время важными разсужденіями о первой любви, о художественности

г. Никитина, о нравственности Елены въ «Наканунѣ» и тому подобныхъ художествахъ. Одинъ критикъ взялся было сказать свое слово о Маркѣ Вовчкѣ, да и то доказалъ только полную несостоятельность свою говорить о предметѣ, такъ далеко превосходящемъ его разумѣніе . . . Неужели же такъ и суждено нашей литературѣ навсегда остаться въ узенькой сферѣ пошленькаго общества, волнуемаго карточными страстишками, любовью къ звѣздамъ и боязнью пожелать чего-нибудь страстно и твердо? Неужели только эта грошовая «образованность», дѣлающая изъ человѣка ученаго попугая и подставляющая ему, вмѣсто живыхъ требованій природы, рутинныя сентенціи отжившихъ авторитетовъ всякаго рода,—неужели она только будетъ всегда красоваться передъ нами въ лучшихъ произведеніяхъ нашей литературы, занимать собою нашихъ талантливыхъ публицистовъ, критиковъ, поэтовъ? Не пора ли ужъ намъ, отъ этихъ тощихъ и чахлыхъ выводовъ неудавшейся цивилизаціи, обратиться къ свѣжимъ, здоровымъ росткамъ народной жизни, помочь ихъ правильному, успѣшному росту и цвѣту, предохранить отъ порчи ихъ прекрасные и обильные плоды? Событія зовутъ насъ къ этому, говоръ народной жизни доходитъ до насъ, и мы не должны пренебрегать никакимъ случаемъ прислушаться къ этому говору.

Читатели, признающіе истину этихъ соображеній, — надѣмся, — поймутъ и извинятъ намъ длинноту нашей статьи.

Собрание сочинений

Гюи де Мопасана.

Съ портретомъ автора.

15 томовъ по 1 руб., въ изящн. кол. перепл. 22 руб. 50 коп.
Допускается разсрочка платежа по 1 руб. въ мѣсяцъ.

Собрание сочинений

Эдгара По.

Съ портретомъ автора.

3 тома по 1 руб., въ изящн. кол. перепл. 4 руб. 50 коп.
Допускается разсрочка платежа по 1 руб. въ мѣс.

Собрание сочинений

Эмиля Зола.

Переводъ съ франц. подъ редакц. и со вступит. статьями
проф. Е. В. Аничкова и Ѳ. Д. Батюшкова.

30 томовъ по 1 руб. 50 коп., въ изящныхъ кол. перепл. цѣна 60 рублей.

Допускается разсрочка платежа по 1 руб. въ мѣс.

Собрание сочинений

Георга Брандеса.

Съ портретомъ автора.

20 томовъ по 75 коп., въ изящн. кол. перепл. 25 руб.
Допускается разсрочка платежа по 1 руб. въ мѣс.

Англ. и рус. Общество
ЦѢНА 1 РУБЛЬ

ЦѢНА 2 руб. — и.

Обращаемъ внима-
ніе подписчиковъ на
изготовленные нами

ИЗЯЩНЫЕ
переплеты
для нашего изда-
нія классиковъ.

По желанію, подпис-
чики могутъ полу-
чать дальнѣйшіе томы
уже переплетенными,
чѣмъ ими будутъ
сбережены издерж-
ки, которыя должны
бы въ послѣдствіи по-
требоваться на вы-
писку и отдѣльную
пересылку крышекъ
и на вплетеніе въ
нихъ книгъ.

Цѣна переплетен-
наго тома на 50 коп.
дороже цѣны книги.
Цѣна крышки от-
дѣльно — 40 коп.

Товарищество
„Просвѣщеніе“

112 / 54-5